СССР – ФРАНЦИЯ
ДЭМ
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

FRANCE – URSS
DEM
SOCIETE MIXTE

Юлиан Семенов

НЕНАПИСАННЫЕ РОМАНЫ

ЮЛИАН СЕМЕНОВ

СССР - ФРАНЦИЯ
ДЭМ DEM
FRANCE - URSS
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
SOCIETE MIXTE

Юлиан Семенов

НЕНАПИСАННЫЕ РОМАНЫ

МОСКВА
ДЭМ — 1990

ББК 84.3Р7
С30

С 4702010201—013 Без объявл.
ДЭМ—89

ISBN 5—85207—001—7

© Составление и оформление «ДЭМ», 1989
© Ю. С. Семенов, 1990

НЕНАПИСАННЫЕ РОМАНЫ

© Главы 1—17, журнал «Нева», 1988, № 6
© Главы 18—30, журнал «Нева», 1989, № 4

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Хочу предложить вниманию читателей короткие сюжеты из «Ненаписанных романов», которые уже никогда не станут романами: не успею, увы.

В новеллах нет вымысла: они построены на встречах с живыми свидетелями и участниками описываемых событий.

Литератор не прокурор. Он имеет право на свою версию истории, хотя высшее право беспристрастного судьи присуще именно Истории. Стремление к однозначным оценкам скрывает неуверенность в себе или страх перед *мыслью*. Лишь те выводы, к которым человек приходит самостоятельно, единственно и формируют его нравственную позицию.

Главное, что меня занимало, когда я работал над этой вещью, — это проблема неограниченной власти в годы, именуемые сейчас периодом культа личности.

Механика такого рода власти, ее непреклонная и неконтролируемая воля, низводящая гражданина великой страны до уровня «винтика», — вот что трагично и тревожно, вот что следует в первую очередь анализировать — без гнева и пристрастия.

Понимание такого рода феномена должно помочь наработать в каждом из нас гражданское противодействие даже легчайшим рецидивам возможности возрождения чего-либо подобного в той или иной форме.

1

Сталин читал работы Сергея Булгакова еще до того, как тот был выслан в Париж и стал протоиереем; строй рассуждений философа казался ему любопытным, в нем не было ничего от убеждающе-стремительной легкости Бердяева, которая болезненно его раздражала, потому что в ней он чувствовал нечто похожее на стиль Троцкого —

такая же парадоксальность, раскованность, блеск; естественно, это привлекает к нему широкого читателя, жаль.

Булгаков был ближе к надежной теологической доказательности; очень русский, оттого постоянно искал исток духовности и правды; именно у него Сталин как-то прочитал длинную цитату из Библии без сноски на страницу; это помогло ему на диспуте с лидером меньшевиков Ноем Жордания: когда стало очевидно, что легендарный «Костров» берет над ним верх, Сталин процитировал пассаж, абсолютно подтверждавший его правоту, сказав слушателям, что он оперировал выдержкой из Маркса, — это и решило исход дела; изумленный Авель Енукидзе спросил: «Из какой работы ты это взял, Коба?» Сталин усмехнулся: «Пусть ищут! Откуда я знаю? Главное сделано, люди пошли за нами».

Поэтому, узнав, что Политпросвет не разрешает МХАТу показ пьесы Михаила Булгакова, — как говорят, родственника столь уважаемого им православного философа, — Сталин попросил Мехлиса позвонить Луначарскому и предупредить наркома, чтобы без его, Сталина, посещения театра окончательного решения по пьесе не принимать: «Хочу посмотреть сам».

...Он тяжко страдал от того, что в свое время высказался против привлечения Троцким военспецов в Красную Армию: «Опасно давать командирские звания бывшим офицерам-золотопогонникам; сколько волка ни корми — в лес смотрит!» Он полагал, что его поддержат Дзержинский, первый красный главком Крыленко, Антонов-Овсеенко с Раскольниковым, Невским, Дыбенко и Подвойским: не могут же первые народные комиссары Армии и Флота так легко уступить свое место «команде» Троцкого, все же каждым движет не только понятие чести за содеянное, но и память, неужели так легко отдадут то, что по праву принадлежит им?

Однако и Подвойский, и Крыленко с Раскольниковым, и Дыбенко с Антоновым-Овсеенко согласились с доводами Троцкого; наверняка запомнили его, Сталина, возражение, именно поэтому, вероятно, главком Вацетис и его штаб так настороженно относились к нему во время сражения против Колчака.

...Время кидать камни и время собирать камни, воистину так. Сейчас, когда Троцкий, Каменев и Зиновьев потеряли свои позиции в ЦК, именно он, Сталин, должен приблизить к себе буржуазных спецов в сфере культуры; Горький позволил себе стать эмигрантом; таким образом,

его детище, ЦЕКУБУ[1], вполне может послужить его, Сталина, целям: буржуазные деятели культуры — при том, что маскируются, — таят в себе заряд русской государственной идеи, а это надежный заслон против «мировой революции» Троцкого и иже с ним; русский народ не сможет не оценить этого — в будущем, понятно; торопиться негоже, выдержка и еще раз выдержка, только она являет собою вернейшую константу окончательной победы... Он мучительно, до щемящей боли в сердце, сознавал, что ему ничего не остается, кроме как ждать: он не мог, не имел права выйти на общесоюзную трибуну до тех пор, пока рядом Бухарин — с его эрудицией, раскрепощенностью, с блестящим русским языком; пока приходится терпеть Луначарского, пока в народе свежа память о зажигательных речах бывшего предреввоенсовета Троцкого — никакого акцента, фейерверк мыслей, какое-то странно-вольготное отношение к чувству собственного достоинства на трибуне...

...И ведь снова он, именно он, Троцкий, — в пику мнению большинства ЦК — выступил с эссе о «талантливом русском поэте Сергее Есенине»; снова оказался впереди, хотя потерял и Армию, и Политбюро. Однако популярность — с ним; ведь именно он заступился за русского поэта; ничего, когда перестанем печатать Есенина, то и статью Троцкого забудут... Пусть порезвится; сжать зубы и ждать, уж недолго осталось...

С его, Сталина, акцентом, с его директивностью стиля и чувством гордой ответственности за каждое произнесенное слово (Мехлис — надежный редактор, недаром его так не любят; ясное дело, зависть: не у них, а у него, Сталина, такой помощник), сейчас надо готовить поле боя, но не выходить на него, рано, народ не созрел еще, он должен устать от дискуссий и свободы, он должен возжаждать единого вождя — кто знает русских, как не он, Сталин?!

Итак, Сталин приехал на *закрытый* спектакль во МХАТ; в ложе рядом с ним сидели Станиславский, Немирович-Данченко, начальник ПУРККА Бубнов; наркома Луначарского, Крупскую, Ульянову не пригласили, Мехлис вызвал завагитпромом Стецкого, замзавотделом Кагановича и Николая Ежова.

Сталин оглядел зал: множество знакомых лиц; ясно, собрали *аппарат*.

---

[1] Центральная комиссия улучшения быта ученых (здесь и далее — *прим. авт.*).

После первого акта, когда медленно дали свет, зрители обернулись на ложу, стараясь угадать реакцию Сталина; он, понимая, чего ждут все эти люди, нахмурился, чтобы сдержать горделивую — до холодка в сердце — улыбку; медленно поднялся, вышел в *квартирку*, оборудованную впритык к правительственной ложе; заметив ищущий, несколько растерянный взгляд Станиславского, устало присел к столу, попросил стакан чаю; на смешливый вопрос Немировича-Данченко — «Ну как, товарищ Сталин? Нравится?» — и вовсе не ответил, чуть пожав плечами.

И после второго акта он видел взгляды зала, обращенные к нему: аплодировать или свистеть? Он так же молча поднялся и ушел, не позволив никому понять себя, — много чести, учитесь выдержке. С острой неприязнью мазанул быстрым взглядом лицо Сольца, члена ЦКК; ишь, «совесть партии»; а как Старик склонен к политическим спектаклям?! Дело в том, что Мехлис доложил ему: Сольц, ехавший в ЦК, как всегда, на трамвае, зачитался книгой и не заметил свою остановку. Легко вскочив с места, бросился к выходу; здоровенный верзила с мутным, похмельным взглядом закрывал проход.

— Товарищ, разрешите, пожалуйста, — обратился к нему Сольц.

Тот осклабился:

— Куда торопишься, юркий?! Больно шустрый!

Сольц не понял потаенный смысл сказанного, повторил просьбу. Верзила зло осклабился:

— Подождешь, жиденыш!

Стоявший неподалеку милиционер усмехнулся:

— Да пусти ты старика пархатого.

— Как же вам не стыдно?! — тихо сказал Сольц, обернувшись к милиционеру. — Что можно пьянице, то непозволительно вам, представителю Советской власти!

Милиционер лениво посмотрел на пассажиров:

— Все слыхали, товарищи? Слыхали, как при вас оскорбили красного милиционера?! — И не дождавшись ответа, взял Сольца за руку и подтолкнул его к выходу...

В отделении дежурный выслушал милиционера, потом обернулся к Сольцу и попросил дать показания; Сольц рассказал все, как было. Дежурный пожал плечами:

— Конечно, про жида нехорошо, но мы вам не позволим оскорблять красного милиционера!

Сольц потребовал встречи с начальником отделения; тот слушать его не стал, махнул рукой:

— Нечего оскорблять наших людей, они же вас и защищают, в камеру его!

— Я хочу позвонить Дзержинскому, — сказал Сольц, — немедленно!

Все трое рассмеялись:

— Только что и дел до вас Феликсу Эдмундовичу!

И только после этого Сольц достал трясущимися руками свое удостоверение; имя этого политкаторжанина, героя революции, ленинца было известно всем. Он позвонил Дзержинскому. Через двадцать минут Феликс Эдмундович был на Солянке, в милиции; дверь и окна приказал заколотить досками; через час в ОГПУ был отдан приказ, вычеркивавший это отделение из списка московских: нет такого номера и впредь не будет, рецидив охранки, а не Рабоче-Крестьянская милиция...

...В сороковых годах отделение восстановили: Сталин никогда ничего никому не прощал, оттого что все *помнил*...

...После окончания спектакля Сталин так же медленно поднялся, подошел к барьеру ложи и обвел взглядом зал, в котором было так тихо, что пролети муха — гудом покажется...

Он видел на лицах зрителей растерянность, ожидание, восторг, гнев — каждый человек — человек: кому нравится спектакль, кто в ярости; нет ничего опаснее затаенности; церковь не зря обращалась к пастве, но не к личности — слаба Духом, падка на Слово...

Сталин выдержал паузу, несколько раз похлопал сухими маленькими ладонями; в зале немедленно вспыхнули аплодисменты; он опустил руки; аплодисменты враз смолкли; тогда, не скрывая усмешки, зааплодировал снова; началась овация, дали занавес, на поклон вышли плачущие от счастья актеры.

Сталин обернулся к Станиславскому и, продолжая медленно подносить правую ладонь к мало подвижной левой, сказал:

— Большое спасибо за спектакль, Константин Сергеевич...

В правительственном кабинете при ложе был накрыт стол — много фруктов, сухое вино, конфеты, привезенные начальником кремлевской охраны Паукером; напряженность сняло, как рукой; Немирович-Данченко оглаживал бороду, повторяя: «Я мгновенно понял, что Иосиф Вис-

сарионович в восторге! Я это почувствовал сразу! Как всякий великий политик, — нажал он, — товарищ Сталин не может не обладать даром выдающегося актера».

Сталину явно не понравилось это замечание, он отвернулся к Станиславскому и, принимая из рук Паукера бокал с вином, чуть кашлянув, поднялся; сразу же воцарилась тишина.

— Скажите, Константин Сергеевич, сколь часто наши неучи из Политпросвета мешают вам, выдающимся русским художникам?

Не ожидая такого вопроса, Станиславский словно бы споткнулся:

— Простите, не понял...

Сталин неторопливо пояснил:

— Вам же приходится сдавать спектакли политическим недорослям, далеким от искусства... Вас контролируют невежды из охранительных ведомств, которые только и умеют, что тащить и не пущать... Вот меня и волнует: очень ли мешают вам творить эти проходимцы?

И тогда Станиславский, расслабившись, потянулся к Сталину, словно к брату, сцепил ломкие длинные пальцы на груди и прошептал:

— Иосиф Виссарионович, тише, здесь же кругом ГПУ!

...Когда Сталин, отсмеявшись ответу Станиславского, сделал маленький глоток из своего бокала и сел, рядом сразу же устроился Немирович-Данченко; мгновенно просчитав их отношения во время всего вечера, понимая, как Немирович тянется к нему, Сталин обернулся к Владимиру Ивановичу:

— А вот как вам кажется: опера Глинки «Жизнь за царя» имеет право на то, чтобы быть восстановленной на сцене Большого театра?

Немирович-Данченко растерянно прищурился, поправил «бабочку» и в задумчивости откинулся на спинку стула.

Сталин, улыбнувшись, придвинулся к нему еще ближе:

— Говорите правду, Владимир Иванович... Мне — можно, другим — рискованно.

— В конечном счете это опера не о царе, но о мужике Иване Сусанине. Это гордость русской классики, Иосиф Виссарионович. Восстановление этой оперы вызовет восторг артистической Москвы...

Сталин достал трубку, закуривать не стал, спросил задумчиво:

— И Мейерхольд будет в восторге?

— Конечно!

Сталин покачал головой:

— Хм... Любопытно... Впрочем, если Троцкий так поднимает на щит Есенина, почему бы Мейерхольду не повосторгаться Глинкой?

О Немировиче подумал: «Чистый человек, весь наружу, наивен, как ребенок».

...Спустя почти десять лет генсек предложил на Политбюро восстановить оперу Глинки, переименовав ее в «Ивана Сусанина».

...Мехлис позвонил Самуилу Самосуду — в ту пору ведущему дирижеру театра — и сказал, что эту оперу будет готовить Голованов, заметив:

— Кстати, вас правильно поймут, если вы порекомендуете заслуженную артистку Веру Давыдову на главную роль в этом спектакле...

Мехлис знал, что это будет приятно «хозяину», поэтому решение принял самостоятельное: «кто не рискует — тот не выигрывает...»

Спустя некоторое время Сталин, — зная все обо всех заслуживавших мало-мальского внимания, — позвонил домой больному, затравленному Булгакову: «Может, вам поехать в Париж? Отдохнете, подлечитесь, как бы здесь не доконали, а?»

Булгаков ответил, что русский писатель умирает дома, за любезное предложение поблагодарил, и только; странный человек; насильно мил не будешь.

Положив трубку, Сталин тем не менее усмехнулся: завтра об этом звонке будут знать в Москве; что и требовалось доказать.

2

...Я никогда не забуду руки Сталина, — маленькие, стариковские уже, ласковые...

...Звонок «вертушки» раздался около одиннадцати; отец подошел к аппарату — точное подобие того, что стоял в ленинском кабинете, копия с фотографии Оцупа.

— Слушаю.

— Бухарина, пожалуйста.

— Его нет, — ответил отец, дежуривший в кабинете редактора «Известий».

— А где он?

— Видимо, зашел к Радеку.

— Спасибо.

Голос был знакомым, очень глухим, тихим.

Через две минуты снова позвонили:

— Что, Бухарин не вернулся? У Радека его нет...

— Наберите номер через десять минут, — ответил отец, — я поищу его в редакции.

Он, однако, знал, что Николай Иванович уехал к Нюсе Лариной, своей юной, красивой жене, матери маленького Юры: поздний ребенок — родился, когда Бухарину исполнилось сорок семь, копия отца, такой же лобастый, остроносенький, голубоглазый.

Отвечать по «вертушке», что редактора нет на месте, — невозможно: руководители партийных и правительственных ведомств могли разъезжаться по домам лишь после того, как товарищ Сталин отправится на дачу; обычно это бывает в два-три часа утра, когда на улицах нет людей, абсолютная гарантия безопасности во время переезда из Кремля за город.

Отец поэтому решил — от греха — уйти из кабинета, где стояла «вертушка». Тем более в типографии у дежурного редактора Макса Кривицкого возникли какие-то вопросы, есть отговорка: перед самим собой, не перед кем-то...

Вернулся он что-то около трех, лег на диван, положив под голову подушку-думку Николая Ивановича, — тот привез ее из Америки, спал на ней в тюрьме, куда его посадили в семнадцатом: не хотели пускать в Россию, знали, что этот человек может стать одной из пружин новой революции, страшились...

В три часа снова раздался звонок «вертушки». Голос был тот же, тихий, глухой:

— Алло, простите, что я вас так поздно тревожу, это Сталин говорит...

Отец, испытывая звенящую горделивую радость, сказал, что он счастлив слышать Иосифа Виссарионовича, какие указания, что следует сделать?

— Бухарина, видимо, в редакции уже нет? Пусть отдыхает... Тем более сегодня уже воскресенье... Ваша фамилия? Кто вы?

Отец ответил, что он помощник Бухарина, заместитель директора издательства «Известий».

— Вы в курсе той записки, которую Бухарин направил в Политбюро? — спросил Сталин.

— Мы готовили ее проект вместе с Василием Семеновичем Медведевым.

— А не Бухарин? — Сталин чуть усмехнулся.

— Николай Иванович попросил нас сделать лишь экономические расчеты, товарищ Сталин.

— Завтра в три часа приезжайте ко мне на дачу, вас встретят, передадите Бухарину и редколлегии мои соображения по поводу записки...

...Я отчетливо помню, как отец усадил меня в свой маленький «фордик» — подарок Серго Орджоникидзе за организацию выставки «Наши достижения к XVII партсъезду». Называли эту машину «для молодоженов с тещей», потому что впереди было два места для шофера и пассажира, а сзади откидывался багажничек, куда мог поместиться третий человек; вот журналисты и шутили: «Там будет сидеть теща с зонтиком, чтобы не промокли во время дождя», — «фордик»-то был открытый, без крыши...

...Через восемнадцать лет, в январе пятьдесят четвертого, когда приговор по делу отца, осужденного особым совещанием на десять лет тюремного заключения во Владимирском политическом изоляторе, был отменен и его вернули в Бутырку, меня вызвал полковник Мельников, ставший — во время преследствия — другом отца.

— Обыск проводили только в вашей квартире? — спросил он.

— Верно, — ответил я.

— А у бабушки, где в ту ночь ночивал отец, обыска не было?

— Не было.

— Скажите, а какие-нибудь отцовские документы могли остаться у вашей бабушки?

— Какие именно?

Мельников помолчал, потом глянул на молчаливого соседа по кабинету, размял папиросу и, наконец, ответил:

— Ну вот, в частности, одним из пунктов обвинения вашего отца было то, что он получил в подарок от Бухарина автомобиль... А ваш отец утверждает, что был премирован лично товарищем Орджоникидзе...

— А что, нельзя запросить архив Наркомтяжпрома?

— Наркомтяжпрома нет и архива нет, — ответил Мельников. — Я пытался...

Я вспомнил пятидесятые, ночь двадцать девятого апреля, когда подполковник Кобцов руководил группой, приехавшей забирать отца, вспомнил, как на полу квартиры

валялись книги, документы, записки, фотографии, вспомнил, как возле моей левой ноги лежала бумажка: приказ по Наркомтяжпрому о награждении отца автомобилем, подписанный Серго, вспомнил, как, страшась самого себя, я осторожно подвинул каблуком эту бумагу под тахту, а потом, когда обыск кончился, все документы и фотографии отца (с Серго, с генералом Берзариным в Берлине, с маршалом Говоровым, с Константином Симоновым, с Ворошиловым) увезли, а комнату опечатали, я ночью вскрыл форточку, влез в бывший кабинет и достал из-под тахты этот приказ Серго — все, что у меня отныне оставалось от *памяти*...

— А что, если я вам найду этот документ? — спросил я Мельникова. — Это во многом поможет делу?

— Во многом. Отпадет одно из самых серьезных обвинений: согласитесь, подарок от троцкистского диверсанта Бухарина не украшает советского человека...

...Итак, отец усадил меня в свою машиненку, и был он тогда одет в черную косоворотку с белыми пуговичками, в коричневый пиджак, и было ему тогда двадцать девять (одногодка моей старшей дочери Дунечки. Спаси Бог их поколение от повторения ужаса тех лет) и счастливо шепнул:

— Сынок, я еду к товарищу Сталину!

И каким же одухотворенным было его лицо, когда он шепнул мне это, сколько в нем было мальчишеского счастья и невыразимой гордости от того, что увидит «фельдмаршала революции», «вождя народов», «творца нашего счастья», «отца всех одержанных нами побед»...

...Оставив машину возле ворот сталинской дачи, назвал свое имя, несуразно ответив на то, как ему, вытянувшись, откозыряли люди из личной охраны Сталина, отец попросил их поглядеть за мною: «пусть мальчик поиграет рядышком, только б далеко не отходил, ладно?»

...Спустя восемнадцать лет, вернувшись из тюрьмы, он рассказал мне все, что произошло дальше, — в подробностях.

По песчаной дорожке к дому Сталина его сопровождали два человека в форме; Сталина отец увидел издали: тот окапывал молодое грушевое деревцо, делал он это неторопливо, вкрадчиво, но одновременно резко нажимая маленькой ногой на остро отточенную лопату, входившую на штык в жирную, унавоженную землю.

— Знаешь, — говорил мне потом отец, — в его фигуре, особенно когда он наваливался на лопату, чувствовалась литая сила; он наслаждался этой работой, и что-то неестественное было в его единении с жирной землей, тем более что рядом стояла легкая плетеная мебель: столик и три кресла; на столике лежал утренний номер «Известий», придавленный ножницами, коробкой «Герцеговины Флор», трубкой и спичками.

— Садитесь, — Сталин кивнул на кресло, словно бы спиною заметив, что отец подошел к нему.

Вогнав лопату в землю, он обернулся, достал платок, вытер маленькие руки, сел рядом и, неторопливо набив трубку папиросным табаком «Герцеговины», заговорил:

— Мы в Политбюро познакомились с запиской Бухарина... Он предлагает понизить стоимость газеты с пятнадцати копеек до десяти потому, что вырос тираж, газета стала популярной в народе... Передайте редколлегии, что это наивное предложение... Надо просить Пэ-бэ не понижать стоимость номера, а повышать его... До двадцати копеек... Так мы решили... Возможно, Бухарин согласится с нашим мнением... Я бы просил также передать редколлегии ряд моих соображений и по поводу верстки номера... Она пока что оставляет желать лучшего, слишком недисциплинированна, разностильна, точнее говоря... Вы правительственный официоз, поэтому, если первая полоса несколько суховата, надо взрывать ее изнутри — темой передовицы, например. Не стоит бояться острых тем, больше критики, нелицеприятной критики... Газета должна быть единым целым — это азы пропаганды и агитации. Поэтому, во-вторых, на следующей полосе должен быть фельетон, публицистика, развивающая основные тезисы передовицы. И не бойтесь, наконец, и на третьей полосе, где печатаются иностранные материалы, заверстать что-либо, связанное с основной темой номера... Ну, а четвертая — в ваших руках, ищите в ней свою, «известинскую», индивидуальность... Вот, собственно, и все...

— Спасибо, товарищ Сталин, я передам редколлегии все ваши пожелания.

Сталин заметил движение отца за мгновенье перед тем, как он *решил* встать с кресла.

— Погодите, — сказал он, пыхнув трубкой. — У меня к вам ряд вопросов...

— Слушаю, товарищ Сталин...

— У вас дети есть?

— Да, товарищ Сталин, есть.

— Сколько?

— Сын — Юлька...

В это время к Сталину подошел высокий крутолобый человек, склонился к нему:

— Звонит Калинин... По поводу сегодняшнего мероприятия... Что сказать?

Сталин неторопливо пыхнул трубкой, положил ее на стол, поднялся и подошел к дому. Отсутствовал он минут пятнадцать; когда вернулся, лицо его чуть побледнело, улыбчивых морщинок вокруг глаз не было, жестче обозначился рот под седеющими усами.

— Трудно содержать ребенка? — спросил Сталин, словно бы все то время, что говорил с Калининым, помнил ответ отца.

— Нет, товарищ Сталин, нетрудно.

— Вы сколько получаете в месяц?

— Партмаксимум, «кремлевку»...

— А жена?

— Она библиотекарь... Зарабатывает сто десять, вполне обеспечены...

— Хорошо, а могли бы вы содержать двух детей на этот ваш максимум?

— Да, товарищ Сталин, смог бы!

Сталин усмешливо посмотрел на отца, но глаза были строгие, несмеющиеся, желтые:

— У грузин есть присказка: «один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын»... Смогли бы содержать на ваши оклады трех детей? Честно отвечайте, не пойте...

— Конечно, товарищ Сталин, смогли бы...

Сталин, неотрывно глядя в глаза отца, спросил:

— Почему вы ногами егозите? В туалет надо?

— Нет, спасибо, товарищ Сталин... Просто у меня в машине сын остался, я поэтому несколько волнуюсь...

— А что же вы его не привели сюда? Разве можно бросать ребенка? Пойдите-ка за ним...

...Я помню большие, крестьянские руки отца, помню, как он прижал меня к себе, помню, каким горячим было его лицо, помню его восторженный шепот:

— Сейчас ты увидишь товарища Сталина, сынок!

...А я не смог поднять глаз на вождя, потому что торжественное, цепеняще робкое смущение обуяло меня...

Но зато я увидел его маленькие руки, ощутил их ласковое тепло, Сталин легко поднял меня, посадил на колени,

погладил по голове и, кивнув на газету, что лежала на плетеном столике, сказал отцу:

— Этот номер «Известий» возьмите с собою... Тут есть ряд моих замечаний по верстке... Может быть, пригодятся Бухарину и Радеку... Счастливой дороги...

...Кортеж «паккардов» обогнал нас у въезда в Москву — Сталин возвращался в Кремль.

В это же время, только с другой стороны, в Кремль въехала машина с зашторенными стеклами, в которой сидели Каменев и Зиновьев; их привезли из внутренней тюрьмы для встречи со Сталиным и Ежовым; вчера они наконец — после двухлетнего заключения — согласились писать сценарий своего процесса, который закопает Троцкого, докажет его фашистскую сущность — взамен заверениям о том, что им будет сохранена жизнь, а малолетних детей выпустят из тюрьмы.

...А когда был принят указ, запрещающий аборты, я помню, как отец ликующе говорил всем, кто приходил к нам:

— Как же он мудр, наш Коба, как замечательно он готовит решения! Сначала советуется с рядовыми работниками, выясняет всю правду, а только потом санкционирует указ государства! Мы непобедимы нерасторжимостью связи с вождем, в этом наша сила!

Все, конечно, с ним соглашались.

Бухарин, однако, глядя на отца с грустной улыбкой, восторги его никак не комментировал, молчал.

Только дядька Илья, один из самых молодых наших комбригов, покачал головой:

— Сенька, ты что, как тетерев, заливаешься? Ты хоть знаешь, где аборты запрещают? Только в католических странах! Там, где последнее слово за церковью. У них за аборт в тюрьмы сажают, а коммунисты поддерживают женщин, которые выступают за то, чтобы не власть, а она сама решала, как ей следует поступить... Кому охота нищих да несчастных плодить?!

Отец побледнел, резко поднялся:

— Что, повторения двадцать седьмого года захотел?! Неймется?!

...Тогда, в ноябре двадцать седьмого, после разгона демонстрации оппозиционеров — отец принимал в ней участие — братья подрались.

Жили они на Никитской, дом этот сейчас снесен; длинный коридор, заложенный поленцами, — еще топили печи; затаенные коммуналки с толстыми дверями — до револю-

ции здесь размещался бордель, греховная любовь требует тишины. Комнатушка деда и бабки была крохотной, метров десять, курить выходили в коридор, здесь и схватились, когда Илья, выслушав восторженный рассказ отца, хмуро заметил: «Что ж ты раньше Каменева не тащил за ноги с трибуны, когда его портреты на демонстрации выносили? Как сказали «ату!», так и бросились...» — «Ты на кого?!— отец задохнулся от гнева. — Ты кого защищаешь?! На кого голос подымаешь?!» — «Да ни на кого я голос не поднимаю... Голова у тебя есть? Есть. Ну и думай ею, а не повторяй чужие слова, как попка-дурак».

Отец тогда схватился за полено. Илья легко выбил полено у него из рук, *вертанул* кисть за спину, повернулся и уехал к себе в Люберцы — он был там начальником НКВД. С тех пор братья два года не разговаривали, тяжко переживая размолвку.

Помирились на похоронах общего друга, Васи Сиротkина, его зарезали во время командировки на коллективизацию, виновных не нашли, а двое сирот у него осталось, Нюра и Зина, погодки.

...После того как в «Известиях» начали печатать сообщения о расстреле троцкистско-фашистских наймитов Каменева и Зиновьева (заместителя Ленина по Совнаркому и председателя Коммунистического Интернационала), лицо Бухарина сделалось желтым, измученным; он лег на землю (это было на Памире), взял свечку, зажал ее в руках, сложил их на тоненькой груди и, посмотрев на отца, усмехнулся:

— Семен, я похож на покойника, а?

3

Федор Николаевич Петров, один из старейших большевиков, консультировал в шестидесятых мой роман и фильм «Пароль не нужен» о Блюхере и Постышеве.

Он-то и рассказал мне историю, которая теперь подтверждается косвенными свидетельствами; хочу верить, что вскоре откроются новые обстоятельства, опровергнуть которые невозможно.

— Когда Каменева и Зиновьева сломали, уговорив признаться в том, что они — по заданию Троцкого — организовали убийство Кирова, когда, после того как Сталин дал им честное слово, что они не будут расстреляны, если помо-

гут «закопать троцкизм как идейное течение», суд провели быстро, в суматохе не проверили «показания» обвиняемых, заранее написанные людьми наркома Генриха Ягоды, тогда и случился трагедийный конфуз, — Петров еще больше прибавил звук в старинном радиоаппарате, стоявшем на его большом письменном столе возле окна, из которого открывался прекрасный вид на Москва-реку и Кремль. — Один из зиновьевцев «признался», что он приезжал в Копенгаген для встречи с Львом Седовым — сыном Троцкого и останавливался в отеле «Бристоль». А скорые на розыск датские журналисты через неделю после того, как обвиняемые были расстреляны, опубликовали официальную справку, что отель «Бристоль» был снесен за много лет перед описываемыми событиями, фальшивка чистой воды... Именно тогда Серго потребовал у Сталина нового рассмотрения этого дела с вызовом свидетелей, оставшихся в живых.

Сталин пообещал и сразу же начал готовить второй процесс — на этот раз против заместителей Орджоникидзе Пятакова и Серебрякова. Их обвиняли уже не только в троцкизме и диверсиях, но и в шпионаже. Однако, в отличие от Зиновьева (честно говоря, он был слабым, амбициозным человеком, но, понятно, ни в каком терроре не участвовал), Юрий Пятаков никогда не дрался за власть, от оппозиции отошел. Серго утвердил его первым заместителем народного комиссара тяжелой промышленности — на нем был и Сталинградский тракторный, и Горьковский автозавод имени Молотова, и Кузбасс, и Магнитка, человек действительно горел на работе... Мы все чтили память его брата, Леонида, замученного петлюровцами в девятнадцатом, словом, чистый был человек, чистый и открытый... Как можно было повернуть его на признание в шпионаже? Коммунист, ленинец — и гестаповский шпион? Давить на него, как давили на Каменева — у того осталось двое детей, — трудно, семья у Пятакова не сложилась, жена больна, он и ночевал-то порою у себя в кабинете...

...В поселке «Известий» на Сходне, рядом с той дачей, где жили мы, стоял дом Карла Радека, возглавлявшего иностранный отдел редакции; друг Дзержинского и Розы Люксембург, принимавший участие в спартаковской революции, человек не простой, ядовито-остроумный, он, после того как публично отрекся от Троцкого и был за это возвращен в двадцать девятом году из ссылки, стал одним из тех, кто более всего славил Сталина, причем делал это вдохновенно и талантливо. Он-то и рассказывал тогда: «Коба — человек

поразительный! Он узнал, что новый заместитель наркома ютится в крошечной квартирке, и приказал перевезти его семью в роскошные апартаменты, обставленные чудной мебелью... Вот как Коба относится к тем, кто честно разоружился и порвал с оппозиционерами, поняв чудовищную сущность Троцкого...»

(Когда прошла очередная волна арестов, во время торжественного банкета по случаю дня рождения Максима Горького помрачневший лицом Радек, неотрывно глядя при этом на секретаря ЦК Ежова, произнес тост: «Я пью за нашу максимально горькую действительность...»

Сталин, не выпуская трубки изо рта, сухо посмеялся вместе с Алексеем Максимовичем, который не отпускал от себя Бухарина; лицо последнего порою теряло обычную живость, замирало и чуть желтело, становясь не по возрасту старческим...)

Из квартиры, подаренной Сталиным, Пятакова вскорости и забрали — в один день с Радеком...

Федор Николаевич вздохнул чему-то и, устроившись поудобнее в кресле, словно бы затолкав свое усохшее тело в привычно-малое пространство между спинкой и подлокотниками, снова изучающе-требовательно обсмотрел меня:

— Я-то скоро уйду, а вам надо сохранить память, только оттого все это и рассказываю, хоть и рискую... Да, да, это так... Каждый, кто прикасается к той поре, — рискует... Словом, Серго Орджоникидзе потребовал устроить ему встречу с Пятаковым... И получил ее... Никто не знает, о чем шла речь, никто, кроме Сталина, потому что тот дал Орджоникидзе слово: «Пятаков не будет казнен...» Но Пятакова, как и Каменева, расстреляли... Серго был в ярости; Ежов ему отьетил: «Пятаков жив». Серго потребовал встречи. Ему пообещали; Ежов уверял наркома: «Юрий (он и после процесса над «шпионом» продолжал так называть Пятакова) перенес шок после фарса, разыгранного норвежцами... Как только он придет в себя, вы увидите его, Григорий Константинович...» Шок действительно был, но не для Пятакова, а для тех, кто писал за него показания: он заученно произнес на суде, что, мол, летал на немецком самолете в Осло на встречу с Троцким. А норвежские социал-демократы опубликовали в газете опровержение: в тот месяц, когда Пятаков якобы летал в Осло, ни один иностранный самолет там не приземлился...

...Серго позвонил Сталину; тот отказался его принять; Серго сказал: «Коба, если нам необходимо развенчать

Троцкого, то партии совершенно неугодно избиение ленинцев!» И — начал готовить *свое* выступление на февральском Пленуме ЦК... Он знал, что его поддержат Постышев, Чубарь, возможно, Калинин... Он понимал, что Сталин наверняка поднимет на Пленуме вопрос об аресте Бухарина, а тот был его другом... Он допускал, что если открыто и честно сказать Пленуму всю правду, то далеко не все станут поддерживать Сталина, потому что геноцид, начатый против старой гвардии, принял чудовищные формы. Нам предлагали верить в бред, произносимый на скамье подсудимых теми, кого Ленин вел вместе с собою, поручая ответственнейшие должности в самые крутые месяцы гражданской войны и интервенции. Но мы помнили состав нашего первого правительства! Мы-то помнили, кто составлял костяк Политбюро в самые грозные пять лет — с октября семнадцатого! А теперь оказывается, что эти люди уже тогда были предателями! Чего ж они тогда не захватили власть?! Их — при Ленине — было подавляющее большинство! А был ли один я такой памятливый?! Да нет! Как минимум, миллион партийцев! И столько же — беспартийных активистов! Это — минимум миниморум! Значит, тогда *жили* два миллиона людей с кровоточащей памятью — я имею в виду большевиков со стажем. А их семьи?! Понимаете, каким резервом обладали те, кому был дорог Ленин? Понимаете, как шатки тогда были позиции Сталина, несмотря на то что Ежов с его *рукавицами* душил всех, кто продолжал оставаться личностью, — то есть, зная правду, не отрекся от памяти?! Понимаете, что Серго — с его авторитетом — мог повернуть ход истории, прекратив чудовищный террор?! Понимаете, что он мог потребовать у Пленума выполнения воли Ленина о снятии Сталина с поста генерального секретаря?!

...Вторым человеком, консультировавшим наш фильм «Пароль не нужен», был генерал Штеменко. С громадными усами, удивительно тактичный, с печально-доброжелательной улыбкой, неторопливый в словах, он во время одной из встреч со съемочной группой, всматриваясь в лицо Николая Губенко, игравшего роль Василия Константиновича Блюхера, заметил:

— Я попрошу подобрать все архивы по маршалу... Надо бы вам *поискать* чего-то еще для этого замечательного образа.

Я сказал тогда, что все архивы уничтожены; пояснил, что находил *огрызки* документов, просматривая отчеты ветеринарной службы дальневосточной армии, — там чудом

сохранились резолюции Блюхера, в которых удивительно прочитывался человек, его моральный стержень, мягкость и непримиримость.

Штеменко усмешливо покачал головой:

— Мы свои архивы не трогали, через три дня вам их покажут.

Однако, когда мы увидались через три дня, он заметил:

— Да, к сожалению, вы правы... Архивов нет, все уничтожено, надо *собирать* по памяти.

...Иван Степанович Конев, служивший в армии Блюхера командиром бронепоезда, а затем ставший начальником оперативного отдела штаба его фронта, показал мне маленькую фотографию главкома легендарного ОКДВО — Особого Краснознаменного Дальневосточного военного округа — Блюхера, стоявшую у него на столе:

— Я не убирал ее с этого места и после того, как маршал пал жертвой клеветы.

...Маршал Блюхер не пал жертвой клеветы; его *надо* было убрать, ибо он посмел сказать друзьям, что не судил Тухачевского, хотя его именем был подписан приговор одному из самых блестящих военачальников двадцатого века. «Суда не было, — повторял он, — Тухачевского и Якира просто убили...»

Василий Константинович покончил с собой сразу после ареста, чтобы не оказаться сломанным, чтобы не предать свое прошлое чудовищными показаниями на очередном процессе, эти показания убивали не жизнь, а то дело, которому он служил, — Революцию...

...Петров устало поднял руку, указал пальцем на книжные стеллажи и, прикрыв веки, сказал:

— Посмотрите речи Сталина на февральско-мартовском Пленуме тридцать седьмого года... Обратите внимание, что там впервые не было привычных «бурных аплодисментов, переходящих в овацию». Просто — «аплодисменты»... И главный удар Сталин нанес по не названному Серго — по «хозяйственным успехам, которые привели к беспечности»... Серго постоянно говорил, что чем больше наши успехи, тем лучше живут люди, чем они явственнее ощущают прямую связь между трудом и благополучием, тем меньше будет врагов в стране, нет поля для вражды, то есть пришло гражданское замирение.... А Сталин, наоборот, гнул свою линию: «чем больше успехов, тем сильнее сопротивление врагов»... А ведь Бухарин еще не был арестован, объявил голодовку, написал письмо членам ЦК о своей невиновнос-

ти, сидел в кремлевском зале — кандидат в члены ЦК! Именно тот Пленум должен был решить его судьбу... «Бухарин — любимец партии» — не случайная фраза... Ее помнили... После того как Пятаков сказал на суде про аэродром в Осло и всему миру стало понятно, что второй процесс тоже построен на фальшивках, Сталин решил, что Пятаков это сделал намеренно — прокричал о своей невиновности из камеры тюрьмы. И помог ему в этом, считал он, Серго... — Петров говорил тяжело, с одышкой, часто замолкал, словно собираясь с силами. — А за Серго действительно была школа в Лонжюмо, Ленин открыто называл его своим другом. Серго никогда — в отличие от Сталина — против Ленина не выступал, он шел за ним ледоколом...

— А дело Мдивани? — спросил я. — Помните, как Ленин тогда обрушился на Серго? С какой яростью, открыто?!

Петров раздраженно пожал плечами:

— Политическая борьба предполагает чувство! Не надо из Ленина делать икону! Как всякий гениальный стратег, он был при этом ранимым человеком... Он не считал возможным скрывать того, что думал! Увидав, что вытворили его любимцы Каменев и Зиновьев в октябре семнадцатого, он прилюдно назвал их «проститутками»! Но ведь через пять дней после этого Каменев стал председателем ВЦИКа! То есть президентом революцьённой России! (Петров сказал это именно так, «революцьённой», строкой Блока.) А Зиновьев — секретарем Петроградской парторганизации! А Троцкий, которого — опять-таки поделом — Ленин называл в свое время «иудушкой», по его же, ленинскому, предложению был единогласно избран народным комиссаром иностранных дел, хотя сначала именно Ленин предложил его — председателя Петроградского Совета рабочих депутатов — на пост председателя Совнаркома! А Троцкий отказался! Троцкий сказал, что председателем Совнаркома может быть только один человек — Ленин! Это же правда! Как ее ни прячь, она все равно не исчезнет... А как Ленин «колотил» Бухарина и Дзержинского во время Брестского мира?! Но ведь он не предлагал сместить Феликса Эдмундовича с поста председателя ЧК! А у Бухарина — отобрать редакторство «Правды»! Мы отучились дискутировать! Нас приучили к поражирному повиновению! Мы поэтому... Нет, *вы*... Хотя это нечестно. — Петров прерывисто, всхлипывающе вздохнул, — *мы*, именно *мы*, вина моего поколения перед вами — неизмерна... Мы поэтому не понимаем, как это можно обмениваться резкостями, но при этом продолжать оставаться на одной стороне баррика-

ды... Нам стало важно *слово*, а не *дело*... Постепенно победила Сталинская семинария, дисциплина казармы...

Медленно, словно бы собирая себя, Петров поднялся, отошел к кровати:

— Словом, говорили, что Сталин поручил начальнику охраны Ежова убить Серго. И Серго был застрелен у себя на квартире... Наиболее доверенным сказали, что Серго покончил с собой — слишком дружил с Бухариным, Рыковым, Пятаковым. Но ведь шила в мешке не утаишь: те, кто первым вошел в квартиру Орджоникидзе, подписали себе смертный приговор, составив акт о том, что в маузере Серго было семь патронов, а пороховой гари в стволе не было... Этих дзержинцев расстреляли, но — через неделю! Понимаете?! И мы узнали правду... И мы поняли: теперь все возможно, время всепозволенности, конец надеждам, крах вере в справедливость... А на похоронах Сталин рыдал на груди того, кто был им убит... А было тогда Серго сорок девять лет... А наркомздрав Каминский, который подписывал официальный бюллетень о *«болезни»* Серго, был расстрелян, как и все, кто знал трагедию или слышал о ней... Вот так и закончился термидор... А вот я уцелел...

Петров медленно поднял на меня серые глаза, в которых постоянно жили печаль и невысказанный укор:

— Да, я молчал, это правда... Но я и молчал-то для того лишь, чтобы дожить до сегодняшнего дня... Чтобы сохранить для вас мою память... Хоть какую-то, но все же... Притча о гласе вопиющего в пустыне еще ждет своего толкователя.

4

...Это случилось во время традиционного авиапарада в Тушине.

Рано утром к нам позвонил Бухарин:

— Семен, вы туда едете?

— Конечно, Николай Иванович.

— Слушайте, я ни разу не наблюдал этого зрелища с поля — всегда с трибуны... Заберите-ка меня с собой, а?

Отец заехал за Бухариным, тот взял огромный бинокль, две бутылки боржоми, сказал, что близкие за городом, поэтому бутербродов, увы, не будет, и, задержавшись возле окна, внимательно обсмотрел улицу.

— В пятом году, перед тем как уйти с квартиры,

я всегда проверялся, нет ли слежки, — улыбнулся Бухарин. — Не думал, что привычка так въедлива... Даже когда меня охраняли как члена Политбюро, порою ловил себя на мысли: отчего сопровождающие не глядят, *чисто* ли на улице?.. Впрочем, — заключил он, — к несвободе привыкаешь значительно быстрее, странно...

...В ту пору брат моего отца, Илья, комбриг, вступивший в Красную Армию в восемнадцатом году, когда ему было четырнадцать, работал заместителем легендарного начальника московской милиции Вуля. В тот день он отвечал за обеспечение и координацию деятельности ОРУДа. Поскольку на парад приехало все руководство во главе со Сталиным — Молотов, Ежов, Ворошилов, Калинин, Каганович, Андреев, Микоян, Хрущев, Чубарь, Рудзутак, Косиор, Постышев, — регулировка движения на трассе от Кремля до Тушинского аэродрома была делом весьма ответственным, как и порядок на поле: «...страна кишмя кишит троцкистско-зиновьевскими диверсантами и шпионами, они готовят теракты против товарища Сталина, бдительность и еще раз бдительность, враг не дремлет...»

В отличие от отца, прослушавшего курс у Бухарина в ту пору, когда Николай Иванович возглавлял Институт красной профессуры, Илья был самоучкой, закончил четыре класса в деревне Березине, потом занимался в школе рабочей молодежи, будучи уже командиром эскадрона. Отличала его военная косточка, поэтому, заметив отцовский «фордик» (редакционный пропуск разрешал заезжать на поле), он подошел, никак не предполагая, что человек в косоворотке и кепчонке, устроившийся на капоте машины, не кто иной, как Бухарин; вскинув ладонь под козырек, Илья отрапортовал:

— Товарищ член Центрального Исполнительного Комитета, обстановка на поле нормальная, никаких происшествий не было!

Бухарин недоумевающе посмотрел на отца.

— Это мой брат, — чуть смущенно пояснил отец.

— Ах, это и есть ваш легендарный Илья?! — Бухарин протянул ему руку. — Приятно познакомиться...

И в это как раз время над полем аэродрома пронеслись самолеты; Бухарин, взбросив бинокль, словно любопытный ребенок, приник к окулярам; проводив серебряные машины, подивившись слаженной стройности их треугольника, он случайно *мазанул* биноклем правительственную трибуну и увидел, как Сталин неотрывно рассматривает в бинокль его, Бухарина.

Не оборачиваясь к отцу, Николай Иванович негромко сказал:

— Семен, пусть ваш брат продолжает работу на поле, а вам бы лучше сесть на землю... Подстелите газету, вы хорошо сидите по-азербайджански, как настоящий кунак...

...Через двадцать минут Илья вернулся и, снова взяв под козырек, обратился к Бухарину:

— Товарищ член Центрального...

— Да вы проще, — досадливо попросил Бухарин, не отрывая глаз от бинокля, — обращайтесь ко мне по-человечески...

— Николай Иванович, товарищ Сталин просит вас подняться на правительственную трибуну, мне поручил это передать вам замнаркомвнудел товарищ Берман...

Бухарин снова *мазанул* окулярами места под полотняным тентом, где наблюдали парад члены Политбюро, и снова *уткнулся* в бинокль Сталина, направленный точно на него.

— Передайте Берману благодарность, — ответил он. — Но мне очень интересно наблюдать парад как журналисту, среди зрителей...

...За неделю до того, как Бухарина — прямо с заседания пленума ЦК — отправили в тюрьму, Илью арестовали.

Следователь, молоденький парень, мобилизованный в НКВД после расстрела практически всего прежнего аппарата дзержинцев, внимательно посмотрел на те места в петличках дядькиной гимнастерки, где еще утром были эмалированные ромбы, отличительный знак комбрига, и очень тихо сказал:

— Нам все известно о вашей преступной связи с врагом народа Бухариным. Вы знаете законы, поэтому нет нужды разъяснять, что чистосердечное признание о совместной вражеской деятельности с троцкистским прихвостнем облегчит вашу участь.

— Я видел Бухарина один раз в жизни, — ответил Илья. — На Тушинском аэродроме... Я подошел, чтобы приветствовать его, как полагается по уставу...

— Как вы его узнали среди десятков тысяч трудящихся? По условному знаку? Или было заранее обговорено место встречи?

— Да не было ничего обговорено!

— Кто привез Бухарина в Тушино?

— Не помню.

— Кто вам его показал?

Илья усмехнулся:

— Вы с какого года?

— Здесь мы задаем вопросы, — так же тихо и корректно ответил следователь. — А вы отвечаете...

— Вам двадцать два, — сказал Илья. — Не больше. Значит, в двадцать девятом вам было четырнадцать, и вы помните, что портреты Бухарина выносили на Красную площадь наряду с другими членами Политбюро...

— И вы не препятствовали этому?

— Чему?

— Прославлению одного из диверсантов и убийц?!

— Да разве член Политбюро может быть диверсантом и убийцей?!

— Прошу ответить на конкретный вопрос: вы, лично вы, не препятствовали прославлению Бухарина?

— Слушай, ну что ты, ей-богу, вола крутишь? — Илья вздохнул. — Скажи, что произошло, чего ты от меня хочешь, и на основании этого, когда я пойму суть дела, станем говорить по-людски...

— Это что, призыв к сговору? Так вас надо понимать? Повторяю: с какого года вы поддерживаете конспиративную связь с врагом народа Бухариным, формы, пароли, явки?! Пока не ответите на эти вопросы, из кабинета не выйдете.

И — начался «конвейер»: один следователь сменял другого, работала бригада; в конце вторых суток Илья почувствовал, что готов на все, лишь бы соснуть хоть десяток минут. И вот в то именно время вошел Иван Коробейников, они вместе участвовали в польском походе, в двадцатом.

Он долго сидел за столом, обхватив голову ладонями, потом подбежал к Илье, схватил его за шею, поднял со стула и закричал:

— Ты сколько времени будешь издеваться над людьми, вражина сучья? А?! Ты сколько времени будешь жопой вертеть?!

И, приблизив свое лицо к лицу Ильи, одними губами прошептал:

— Спи, а я буду орать.

И, обматерив *комбрига,* швырнул его на стул.

Илья сразу же уснул, как выключился. Он не знал, сколько времени спал, но очнулся от того, что Коробейников хлестанул его по лицу, заорав истошно:

— Встать! Я что говорю, вражина сучья?!

Илья, не понимая, что происходит, смотрел на него изумленно.

— Почему не выполняете указаний следователя? — услыхал он чей-то голос у себя за спиной; с трудом обернувшись, увидел замнаркома Бермана. Тот стоял рядом с Николаем Ивановичем Ежовым — маленьким, похожим на калмыка, в скромной гимнастерке и мягких сапогах.

Раскачиваясь, Илья поднялся:

— Я не сплю двое суток, товарищ заместитель наркома.

— Гусь свинье не товарищ, — отрезал Берман. — Будете и дальше отпираться, пенять придется на себя. Сколько лет сыну? Пять? Смотрите, останется сиротой! Пролетарская диктатура умеет прощать заблудших, но беспощадна к вражинам.

Ежов кивнул Коробейникову:

— Продолжайте работать, соблюдая корректность, — и вышел; Берман — следом.

В ту ночь Илья спал четыре часа, это дало ему возможность вынести еще двое суток «конвейера», пока не пришел черед Ивана; и снова тот, надрываясь, кричал, а Илья, отвалив голову на спинку стула, спал.

После этого, на исходе пятого дня, Илью отправили в тюрьму: «с этим типчиком надо работать более серьезно».

И первым, кого он увидел в камере, был тот самый первый молоденький следователь — уже без *кубаря* в петлице и с сорванным с рукава гимнастерки шевроном НКВД; Илья заметил его сразу, хотя вместо четырех человек было набито более тридцати; сидели и лежали по очереди, пока остальные, кто покрепче, стояли, подпирая друг друга спинами, — какой-никакой, а отдых.

Сосед Ильи, судя по следам от ромбов, — начдив, то и дело усмехался, как скалился:

— Я — троцкист, а?! Ты понимаешь?! Троцкист! Все, кто был в Красной Армии с восемнадцатого, — троцкисты! Сами с Троцким на трибунах стояли и в президиумах сидели, а нам — отдувайся! Кто виноват, что Ленин с собою в Смольный одних врагов народа привел?! Кто?! Мы?!

Ночью комдива и еще семерых военных вызвали по *списку*.

— Прощай, браток, — сказал он Илье и дал ему

мундштучок, который не выпускал изо рта. — Нас ведут кончать. И тебя кончат, если не признаешься в какой дури... Соглашайся на то, что Климента Ефремовича критиковал, шутковал над ним, но только *дай* им что-нибудь... Я поздно это понял — чего с меня взять, троцкист долбаный, дурак...

...Через три месяца Илья признался, что однажды слышал антисоветский анекдот в трамвае, рассказывал старик в очках, с родинкой на носу, увижу где — сразу на него укажу, виноват, что не задержал на месте, потерял бдительность, готов отвечать по всей строгости закона.

Решением особого совещания ему дали пять лет, и он был этапирован во Владивосток; там, вокруг вокзала, уже ждало отправки в ванинский порт более тридцати тысяч зэков, спали на земле, где кто как устроится...

Осмотревшись, Илья понял, что урки наверняка пришьют его за чекистскую форму, — «сука», а особенно за следы от ромба — «большая сука». Поэтому, вспомнив молодость (хотя во время ареста ему было всего тридцать три), бои с бандформированиями, когда его под видом блатного мальчишки засылали в состав группировок Булак-Булаховича, он и присел к уркам — кинуть «очко».

То ли урки были квелые, то ли карта шла Илье, то ли он умело *тасовал*, но к утру снял банк, унес наволочку с деньгами, купил валенки, ватник, теплую шапку, кожаную куртку; свою форму продал фраерам и через месяц оказался на руднике «Запятая» — в двухстах километрах от Магадана.

С повозок им сбросили колючую проволоку, чтобы сами обнесли зону, и простыни: «Устраивайте себе ледовые палатки, ничего, перезимуете, челюскинцы трудней жили...»

И началось его лагерное житье.

В забое работал вместе с секретарем Ленинградского горкома (*доходил*, арестовали в тридцать шестом) и начальником политотдела Сталинской железной дороги — Василием Борисовым.

Секретарь горкома тощал на глазах, сох; однажды шепнул Илье:

— Не в коня корм, Илюшка... Меня несет, язва... Как горох поем, так он целеньким и выходит... Горошинка от горошинки... Добро пропадает... Промывай и ешь. Тут выжить надо, для этого все сойдет, скоро этот бред кончит-

ся, погоди, дай только узнать обо всем товарищу Сталину...

Илья начал промывать дерьмо, заливал кипятком и, зажмурившись, ел *горошинки*...

Когда секретаря похоронили — в забое, сил не было тащить наверх, — начальник политотдела сказал:

— Илья, с полгода протянем, глядишь, а потом сдохнем... Надо идти в побег, нести правду Москве: здесь же цвет партии гибнет.

— А чего ты жрать в побеге будешь? — спросил Илья. — До железной дороги не дочапаешь, до Магадана две сотни верст, замерзнем...

— Говорят, есть путь... Помнишь чекиста Бурова? Он еще с помощником Дзержинского, товарищем Беленьким, дружил? Ну, он и говорил, что отсюда было два побега, выходили на материк...

— А где этот Буров?

— Похоронили.

— А Беленький?

— Того в Москве расстреляли, он сокамерникам говорил...

— А ты поверил? Здесь же ссылок не было, тут ссылку начали год назад создавать, Вася, сказки это...

— Так что ж, так и подыхать здесь?!

— Не надо, — усмехнулся Илья, — стоит пожить...

Помог, как и всегда, случай: единственный трактор, который забросили в лагерь еще летом тридцать шестого, сломался. Начальник выстроил зэков:

— Кто исправит машину — дам килограмм масла и три буханки хлеба.

Илья шагнул из строя:

— Я механик, гражданин начальник... Позвольте попробовать?

— Попробовать? Нет, пробовать не разрешу. А запорешь машину до конца, сядешь в бур.

— Слушаюсь, гражданин начальник, согласен.

Было это уже в декабре, мороз лютый, за сорок; Илья развел костры вокруг трактора, взял в помощники начальника политотдела Васю, хотя тот в технике был ни бум-бум, а дядька как-никак кончил шоферские курсы и по праву считался одним из самых лихих водителей Москвы.

Словом, трактор они сделали, начальник был человеком справедливым, дал полтора килограмма масла и четыре буханки.

«Я это мороженое масло топором рубил, ел кусками и

Васю политотдельского заставлял, — рассказывал потом дядька. — Я блюю, и он блюет, понял-нет?! "Не могу, — стонет, — кишки выворачивает". А я ему: "Жри! Надо кишки-то смазать, дать им витамин, доходягой в побег не уйдешь!" — "А как же товарищи?! Им что принесем?!" Ну, я тогда и озлился: "Здесь двадцать тысяч наших товарищей, понял-нет?! Хочешь накормить их полутора килограммами?!"»

— Однако же, — заключил Илья, — в сердце у меня была тяжесть, неудобство какое-то, хоть лагерь быстро лечит от сентиментальностей. Отнесли мы маслица старикам-доходягам, политкаторжанам, что еще с Бакаевым сидели, с Рудзутаком и Эйхе, понял-нет?.. А самый уважаемый человек, вроде «пахана», был у нас, политиков, член Реввоенсовета одиннадцатой армии, фамилии не помню, только знаю, что он с Иваном Никитовичем Смирновым дружил, — красный командир был, его одним из первых посадили, в начале тридцатого... Так вот, полизав масла и выслушав слова Васи, что надо нести правду в Москву, он засмеялся беззубым ртом: «Дурачок ты! Сталину, говоришь, намерен нести правду?! Да все, что происходит здесь, угодно одному лишь человеку — Сталину! Он же всех тех *должен* истребить, кто *помнит* Октябрь, кто знает, как он перед Троцким заискивал, как он в его честь в газете "Севзапкоммуны" в восемнадцатом году статью написал, мол, когда говорим "товарищ Троцкий", подразумеваем "Красная Армия". Когда говорим "Красная Армия", всем ясно: "товарищ Троцкий"... Вы погодите, погодите, он еще какие-нибудь документы напечатает, каких слабаков об колено сломит и будет процесс против Ленина как немецкого шпиона! Что контра не успела сделать, он доделает...» Вася тогда аж побелел, масло у него вырвал, сукой обозвал, фашистом... Словом, решили мы с Васей идти в побег в июне тридцать девятого, понял-нет? К счастью, в ту пору меня на трактор перевели, так мы с Васей то хлеба своруем, то масла, подкармливали стариков-ленинцев, да и себе на побег делали запасы... Главное, чтоб в Москву прорваться, иначе следующим летом тут вообще никого не останется, одно кладбище, понял-нет? Назначили мы день побега, а тут утром, понял-нет, начальник лагеря объявляет, что приговор по моему делу отменен: Сеньку-то в партии восстановили после расстрела Ежова, ну, он и пошел за меня молотить... Да, понял-нет... Это я еще тебе смешного не рассказал, у нас там смеху тоже хватало, страх вспомнить...

...На Новодевичьем кладбище на могильной плите моего деда Александра Павловича до сорок девятого года было выбито: «Прости, не успел. Илья. 20-го мая 1940 года» — дядька вернулся в Москву через три дня после похорон его отца.

Я помню, как он — худой, с ввалившимися щеками — посмотрел на обеденный стол, накрытый у нас на Спасо-Наливковском, и спросил отца:

— А водка где?

Бабушка Дуня принесла пол-литра, Илья накрошил черный хлеб в большую тарелку, нарезал туда лук, залил все это водкой и начал есть большой ложкой — молча и сосредоточенно. Он съел всю тарелку; пододвинул сковородку с яичницей и салом, поковырял вилкой и усмехнулся:

— А ведь правду говорил наш пахан-политик.

...Он продолжал усмехаться, уплетая яичницу, а по щекам его катились быстрые слезы.

5

Хотя Каменев и Зиновьев согласились — после двух лет мук в камере — встретиться с членами Политбюро, Сталин не торопился их принимать, хотя понимал, что это — капитуляция его врагов.

Он ждал смерти «защитничка», — Максима Горького; пока тот жив, процесс невозможен.

Сразу после похорон Горького он приказал привезти своих врагов в Кремль.

Медленно расхаживая по кабинету, Сталин глухо говорил, обращаясь к своим бывшим коллегам по Политбюро; обращался не к ним — к Ягоде:

— Если *товарищи* поведут себя на процессе так, что смогут раз и навсегда похоронить троцкизм как идейное течение, если они докажут миру, что Троцкий не остановится ни перед чем в борьбе против Державы нашей и партии, тогда, конечно, аресты бывших оппозиционеров будут немедленно прекращены, члены их семей отпущены домой, а сами товарищи (Сталин наконец поднял глаза на Каменева и Зиновьева) после вынесения приговора, который будет однозначным, отправятся на дачу, чтобы продолжать свою литературную работу, а затем будут помилованы...

Сталин снова посмотрел на Каменева, остановившись посреди кабинета, и в уголках его рта можно было прочесть горькую, но в то же время ободряющую улыбку.

Каменев поднялся:

— Мы согласны.

Он сказал это человеку, который в семнадцатом считался его другом; во всяком случае он, Сталин, именно так называл себя в редакции «Правды», где они — до ареста Каменева Временным правительством — были соредакторами...

Каменев считался другом Сталина и в двадцать четвертом, когда они вели совместную борьбу против Троцкого: «члены ленинского Политбюро Зиновьев, Каменев и Сталин — идейные продолжатели дела Ильича».

И вот спустя двенадцать лет против Сталина, организовавшего убийство Кирова, стоял Каменев, согласившийся принять на себя вину за это убийство и прилюдно растоптать свое прошлое...

...Через два месяца Каменева расстреляют.

...Миронова, присутствовавшего при том, как Сталин дал слово сохранить жизни Каменева и Зиновьева, расстреляют через семь месяцев.

...Затем расстреляют Ягоду, которому Ежов дал честное слово не казнить его, если он обвинит Бухарина.

Самого Ежова убьют в камере вскоре после расстрела Бухарина...

6

Писатель Александр Воинов рассказал мне поразительную историю:

— В конце ноября сорок первого я получил недельный отпуск — после контузии и награждения орденом. Поехал в Куйбышев, там тогда находилась наша вторая столица. Встречаю на улице Киселева, режиссера кинохроники по кличке «Рыжий».

— Хочешь посмотреть мой новый фильм? — спросил Киселев.

— Конечно, хочу.

И мы отправились в то здание, где было выделено несколько комнаток кинохронике. В маленький просмотро-

вый зал натолкалось народа видимо-невидимо; фильм смотрели затаенно, многие плакали; мягкие хлопья снега царственно и беззвучно ложатся на брусчатку Красной площади, на Мавзолей, на шинели красноармейцев и командиров, на осунувшееся лицо Сталина и его соратников — товарищей Молотова, Берия, Кагановича, Щербакова, Микояна... Снежное безмолвие, тревожная тишина, ожидание... Только одно живое во всей панораме — дыхание людей; кто простужен — ловит воздух ртом; счастливчики в валенках и теплом белье дырявят студеный воздух струйками теплого белого пара из носа.

Апофеозом фильма был тот момент, когда Сталин приблизился к микрофону и произнес свою короткую речь. Я представил себе счастье красноармейцев моего батальона, когда они увидят эти кадры: Отец — в скромной солдатской шинели, осунувшийся, но такой родной и любимый, — говорит со своими Детьми...

— Слушай, — спросил я Киселева, жадно вглядываясь в лицо Вождя, — а почему у него пар не идет изо рта?

Киселев окаменел. Я почувствовал, как замерло его плечо; он словно бы не слышал моего вопроса, а мне тогда исполнилось двадцать шесть, дипломатии учен не был, свято верил догмам: «ничего не таи в душе, спрашивай все, что не понял, товарищи помогут разобраться во всем».

— Нет, но почему все же у товарища Сталина не идет пар изо рта? — продолжал удивляться я. — У всех шел, а у него — нет...

Сзади, из напряженно-тревожной темноты, кто-то спросил требовательным шепотом:

— Кто задал этот вопрос?

Киселев яростно толкнул меня коленом, закашлялся и показал глазами на дверь; поднимаясь со стула, шепнул, стараясь скрыть свои слова надрывным кашлем: «Иди за мной».

Недоумевая, я вышел; в коридоре поразился мертвенной бледности Киселева: «Немедленно возвращайся на фронт, — прошептал он. — Забудь об этом просмотре! Никому не говори ни слова! Знаешь, кто о тебе сейчас спрашивал?! Беги на вокзал, и чтоб ноги твоей здесь не было! Я твою фамилию не помню: какой-то журналист, и ты молчи, что мы дружили, ясно?!»

С этими словами «Рыжий» вернулся в зал. Я по-прежнему не очень-то понимал, что произошло, но то, как он

был испуган, как выступили мелкие веснушки на его побелевшем лице, как тряслись руки, подсказало мне: «дело пахнет керосином, я прикоснулся к чему-то запретному, надо драпать».

И я бегом бросился на вокзал, сел в проходящий эшелон и вернулся на фронт, терзаемый безответным: «так почему же не шел пар изо рта товарища Сталина?»

...С режиссером Киселевым я познакомился летом пятьдесят седьмого в Кабуле, где работал на торгово-промышленной ярмарке переводчиком с пушту и английского.

Киселев делал документальный фильм об этой ярмарке; престиж кинематографиста был тогда еще достаточно велик, он властно командовал директорами павильонов, переводчиками, гостями, организовывая нужные ему сцены; пару раз я переводил ему, когда он снимал эпизоды с наиболее уважаемыми пуштунами.

Вот к нему-то я и обратился с вопросом: «Так почему же не шел пар изо рта товарища Сталина?»

С той поры, когда он снимал легендарный парад, прошло пятнадцать лет, Сталин умер, пришло время Хрущева, в стране настала кратковременная оттепель, люди начали постепенно — со страхом и неверием — пытаться изживать из себя въевшийся страх и привычное неверие друг в друга.

Киселев ответил мне не сразу; мялся, глядя на меня, молодого еще совсем; потом вдруг отчаянно махнул рукой:

— Ладно, расскажу... Наркомкино Большаков назначил меня ответственным за съемку парада на Красной площади... Честь огромная... Сняли... В ту же ночь проявили на Лиховом переулке... Кадры — поразительные, однако речь Сталина на звукопленку не записалась... Представляете?! Нет, вы себе этого представить не можете... Это гибель не только всех нас, всех наших родственников и друзей, но и разгром кинохроники: «злостный саботаж скрытых врагов народа, лишивших человечество уникального документа»... Именно тогда я и начал седеть, в те страшные минуты, когда звукооператор, едва шевеля посиневшими губами, сообщил эту новость.

«Как это могло случиться? — спросил я его, придя в себя. — Ты понимаешь, что нас ждет? Ты понимаешь, что мы — объективно — льем воду на мельницу Гитлера?» —

«Да, — ответил мой товарищ едва слышно. — Понимаю... Но ведь я не имел времени, чтобы проверить кабель, все ж было в спешке... Снег... Наверное, что-то не сработало в соединительных шнурах... Я за своих ребят ручаюсь головой, ты ж их тоже знаешь, большевики, комсомольцы...» — «Рыков тоже называл себя большевиком, — ответил я ему, — а на поверку оказался гестаповским шпионом».

— Словом, — продолжил Киселев, — я поехал к председателю комитета кинематографии Ивану Григорьевичу Большакову. Тот выслушал меня, побледнел, походил по кабинету, потом, остановившись надо мною, спросил: «Какие предложения? Кто виноват в случившемся?» — «Виноват я. С меня и спрос. Предложение одно: сегодня ночью построить выгородку декорации в одном из кремлевских залов и снять там товарища Сталина». — «А как объяснить, что съемка на Красной площади была сорвана?» — «Съемка не сорвана. Кадры сняты уникальные. Но из-за того, что у нас не было времени заранее подготовиться к работе, один из соединителей микрофона *отошел* — снег, обледенело, — охрана постоянно гнала наших людей к камере, подальше от Мавзолея...»

Большаков снова походил по кабинету, потом снял трубку «вертушки», набрал трехзначный номер: «Товарищ Сталин, добрый вечер, тревожит Большаков... Кинохроника сняла замечательный фильм о параде на Красной площади... Однако из-за неожиданных погодных условий звук получился некачественный. Интересы кинематографа требуют построить выгородку в Кремле и снять фрагмент речи в Грановитой палате. Что? Выгородка — это часть Мавзолея, товарищ Сталин... Да... Именно так... Это займет тридцать минут, товарищ Сталин... Да, не больше... Хорошо... Выгородку мы построим часа за четыре... Сегодня в три? — Большаков посмотрел на меня с растерянностью; большие настенные часы показывали одиннадцать вечера; я решительно кивнул, мол, успеем; нарком покашлял, потом тягуче ответил: — Лучше бы часов в пять... Хорошо, товарищ Сталин, большое спасибо, в половине пятого съемочная группа прибудет к Спасским воротам, строителей и художников вышлют немедленно...»

...Ровно в четыре тридцать утра дверь Грановитой палаты отворилась и вошел Сталин. Видимо, Большаков его предупредил уже, Верховный был в той же солдатской шинели, что выступал давеча; хмуро кивнув съемочной группе, он поднялся на выгородку, сколоченную за

это время нашими художниками; я дал знак осветителям, они врубили юпитеры; свет был ослепительным, внезапным; Сталин прикрыл глаза рукой, медленно достал из кармана текст выступления и начал говорить — в своей неторопливой, *обсматривающей* манере. Я наблюдал его вблизи, видел, как он похудел, какие тяжелые мешки у него под глазами, как отчетливы оспины и седина; обернувшись к операторам, я сделал едва заметное движение рукой; они поняли: надо избегать крупных планов, вождю это могло не понравиться, народ привык к совершенно иному облику Верховного: широко расправленная грудь, черные усы, прищурливая усмешливость глаз; здесь же, в Грановитой палате, на деревянном помосте, изображавшем Мавзолей, стоял согбенный, уставший старик.

...И в тот короткий миг, когда я обернулся к операторам, мой коллега, отвечавший за звукозапись, показал руками, что и сейчас, в этом огромном, пустом зале, когда мерно стрекотали камеры и юпитеры *жарили* лицо Сталина, текст Верховного по-прежнему не идет на пленку... Я ощутил приступ тошноты, своды палаты начали рушиться на меня, сделалось душно, и я вдруг ощутил свою никчемную, крохотную малость. Зачем надо было класть жизнь на то, чтобы рваться вперед и наверх?! Жил бы себе тихо и незаметно! Умер бы дома, в кругу родных, не обрек бы их на грядущую муку и ужас! Но именно в момент отчаяния, в ситуации кризисной, решения приходят мгновенно... Когда Сталин, закончив читать выступление, снял фуражку, вытер вспотевший лоб и неторопливо пошел к выходу из Грановитой палаты, я *обежал* Большакова, который сопровождал Верховного, и сказал: «Товарищ Сталин, вам придется прочитать выступление еще раз...» Помню испуг Большакова, страх, который он не мог скрыть; никогда не забуду реакцию Сталина: «Это — почему?» Он спросил меня, не подымая глаз, голосом, полным усталого безразличия. И я, глядя на Большакова, словно гипнотизируя его, моля не выдавать мою вынужденную ложь, ответил: «В кинематографе принято делать дубль, товарищ Сталин». Верховный, наконец, медленно поднял на меня свои глаза; они только издали казались улыбчивыми и отеческими; когда я увидел их вблизи — желтые, постоянно двигающиеся, тревожные, — мне стало не по себе. Сталин медленно оборотился к Большакову; лицо наркома сделалось лепным — прочитывался каждый мускул; однако он согласно кивнул, хоть и не произнес ни слова. Медленно повернувшись, Сталин

вернулся к выгородке, под жаркий свет юпитеров. Я подбежал к звукооператору, шепнул, чтоб он еще раз проверил все соединения, подошел к микрофону и постучал пальцем по сетке; звуковик обмяк в кресле, и некое подобие улыбки тронуло его бескровные губы — все в порядке, *пошло*! А в моей голове мелькнула шальная мысль: «Вот бы попросить, — „товарищ Сталин, скажите-ка: раз-два-три, проба!“» И я подумал: а ведь он бы выполнил мою просьбу — важно только было сказать приказным голосом...

...*Дубль* получился; Сталин так же, как и первый раз, не прощаясь ни с кем, медленно пошел к выходу; я семенил за Большаковым, который был, как всегда, на полшага за Иосифом Виссарионовичем. Уже около двери Сталин жестко усмехнулся: «И в кино одни Макиавелли».

Эти странные слова Сталина, которые так запомнились Киселеву, преследовали меня; я искал ответ на вопрос: «почему именно Макиавелли?»

Искал и не мог найти.

...В 1965 году писатель Лев Шейнин (в прошлом помощник Вышинского) позвонил мне из Кунцевской больницы: «Вы хотели поговорить с Вячеславом Михайловичем Молотовым? Он здесь, вместе с Полиной Семеновной, приезжайте, я вас представлю».

Через час я был у него в палате. Маленький, кругленький, работавший — после освобождения из Лефортовской тюрьмы — главным редактором «Мосфильма», Шейнин был человеком улыбчивым, постоянно тянувшимся к людям. В разговорах, однако, был сдержан: как-никак именно он, помощник Генерального прокурора Союза, прибыл вместе со Сталиным в Ленинград на следующий день после убийства Кирова. О Вышинском как-то сказал во время прогулки по аллеям нашего писательского поселка в Пахре: «Это человек тайны, не стоит о нем, время не подошло». В другой раз, тоже во время прогулки, смеясь, заметил: «Когда меня привезли в Лефортово, я сказал следователю: "Если будет боржоми, подпишу все, что попросите, о моей, лично моей шпионской работе", — я-то знал, что исход один... Впрочем, я еще хранил иллюзии. Черток в этом смысле оказался самым умным». — «Кто такой Черток?» — «Это следователь Льва Борисовича Каменева... Чудовище был, а не человек... Он себе такое позволял, работая с Каменевым... Словом, когда за ним пришли, а это случилось через месяц после того, как Каменев был расстрелян, он прокричал: "Я вам

не Каменев, меня вы не сломите!" — и сиганул с балкона». Я спросил: «Почему?» Шейнин поднял на меня свои глаза-маслины, судорожно вздохнул и ответил: «Милый, не прикасайтесь вы к этому, не надо, так лучше будет для вас...»

...Именно он, Шейнин, и завел меня в большую палату государственного пенсионера СССР, бывшего члена партии Молотова, и его жены, ветерана партии Жемчужиной. Разговор был *светским*; Молотов шутил, говоря, что, прочитав мою «Петровку, 38», он начал с опаской гулять по улицам, расспрашивал, над чем я работаю, как начал писать, имеет ли что-то общее с моей судьбой персонаж из моей повести «При исполнении служебных обязанностей» молодой пилот Павел Богачев, воспитывавшийся в детском доме, куда был отправлен после расстрела отца; когда я попросил о следующей встрече (я тогда готовился к роману «Майор Вихрь»), он ответил согласием, написал свой телефон на улице Грановского, попросив при этом никому его более не передавать.

Позвонил я ему, однако, только через год: то он уезжал на курорт, то я шастал по стране, работая в архивах.

Первый раз я поднялся к нему на Грановского, когда Полины Семеновны не стало уже; мы сидели в маленьком кабинете Молотова, обстановка которого напоминала фильмы тридцатых годов: кресла, обтянутые серой парусиной, стол с зеленым сукном, маленький бюст Ленина, в гостиной — книги в скромных шкафах, китайский гобелен и портрет Энгельса в деревянной рамке.

Молотов рассказал ряд эпизодов, связанных с январем сорок пятого, когда Черчилль обратился к Сталину за помощью во время Арденнского наступления немцев, дал анализ раскладу политических структур в тот месяц — как он ему представлялся; потом, улыбнувшись, заметил, что в то время Сталин уже практически «не затягивался, набивал трубку "Герцеговиной Флор", но табаком лишь пыхал». Не знаю почему, но именно тогда я и решил спросить его о Макиавелли.

Молотов цепко обсмотрел меня своими глазами-буравчиками, снял на мгновение пенсне, потер веки и ответил четкой формулировкой:

— Увлечение Макиавелли симптоматично, ибо свидетельствует о сползании в реакцию.

...Я уже знал тогда, что в тридцать шестом году какое-то время позиции Молотова были шатки, поскольку ни Каменев с Зиновьевым, ни Ольберг не назвали его имя в

числе тех, кто «подлежал уничтожению»; были перечислены практически все ближайшие соратники вождя — Н. И. Ежов, Г. К. Орджоникидзе, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, но Молотова среди них не было. Лишь после того, как был убит Серго и Молотов после этого выступил на февральско-мартовском Пленуме ЦК, его имя уже было включено в список будущих «жертв» на втором процессе по «делу» Пятакова.

Знал я тогда и то, что над Молотовым собрались тучи и накануне смерти Сталина: жена арестована как «враг народа», а сам он оттерт на третий план группой Маленкова — Берия. Поэтому меня потрясала та нескрываемая нежность, с которой он произносил имя Сталина; нежность была какой-то юношеской, восторженной, она даже несколько выпячивалась им, хотя Молотов, казалось, не был человеком позы.

— А как Сталин относился к Макиавелли? — спросил я, несколько опасаясь его реакции, ибо рискованная пересекаемость имен подчас вызывает в политиках (особенно с приставкой «экс») непредсказуемую реакцию.

Молотов ответил сдержанно:

— Сталин понимал, как чужд самому духу нашего общества строй мыслей этого философа. Сталин говорил правду, а Макиавелли всегда искал путь, чтобы ложь сделать правдой, — и, помедлив мгновение, он заключил: — Впрочем, порою наоборот...

...Первый том Собрания сочинений Макиавелли был издан «Академией» в Москве и Ленинграде крошечным тиражом в тридцать четвертом году; второй том так и не опубликовали, поскольку предисловие было написано Каменевым, а его — вскоре после убийства Кирова — арестовали. Хотя в предисловии Каменев и подчеркивал, что одна из порочных идей Макиавелли состоит в отторжении морали от политики и что — следуя флорентинцу — высший смысл человеческого существования заключен лишь в работе во благо государства, но при этом советовал помнить: идеал государства — это республика; Древний Рим дал пример такого сообщества, где каждый гражданин вдохновенно сражался и отвечал за престиж и достоинство родины, поскольку имел на то право, гарантированное Законом; однако Республика становится фикцией, если власть убивает в народе добродетели и личное достоинство, предпочитая править страхом и террором.

Будучи по образованию теологом, Сталин знал толк в

осмыслении заложенного между строк; он считал, что выпуск тома Макиавелли с предисловием Каменева направлен против него, дирижера начинавшегося террора.

Именно поэтому во время процесса Каменеву и было поставлено в вину — наравне с подготовкой покушений и антисоветской борьбой — издание книги Макиавелли.

Сталин достаточно долго думал и о том, чтобы вписать в показания Зиновьева фразы о «вредительской» книге Займовского «Крылатое слово» с предисловием того же Каменева, который утверждал: «Автор далеко не в достаточной степени использовал нелегальную, подпольную прессу эпохи царизма, а также "крылатые слова", созданные революционной эпохой. Но это не личная ошибка автора, а скорей наша общая беда. Можем ли мы сказать, что в должной мере изучили — или хотя бы изучаем — подпольную прессу, ее историю, ее сотрудников, приемы, язык? Конечно, нет!»

Сталин прекрасно понимал, что если — следуя Каменеву — читатели начнут «изучать подпольную прессу», то в массе своей пришлось бы упоминать имена тех революционеров, которые ныне, по его, Сталина, указанию, были объявлены «врагами народа».

Именно поэтому каменевское предисловие к «Крылатым словам» и не было упомянуто на процессе: еще далеко не все книги были запрещены и изъяты из библиотек, еще не до конца была убита память — надо ждать.

Нельзя было вспомнить и «Замогильные записки» Печерина, изданные также с помощью Каменева. Как поставишь ему в вину книгу блестящего профессора университета, сбежавшего на Запад в 1837 году, если придется зачитывать отрывки из нее?!

Каково Генеральному прокурору Вышинскому процитировать: «Я был уверен, что если б я остался в России, то... попал бы в Сибирь ни за что ни про что. Я бежал не оглядываясь, чтобы сохранить в себе человеческое достоинство!»

(Поди, додумайся, царский цензор, что Лермонтов дал своему любимому герою имя первого беглеца из России! Поди, разгадай писательскую хитрость: поставь две точки над «е», — и вся недолга, — «Печёрин», а не изменник «Печерин»!)

Искусству или умению изучать русскую прозу следует помогать компьютерами, хотя, думается, даже компьютер не сможет подсчитать все те трагические компоненты отчаяния, надежды, мольбы, страха, любви, что рвали

сердца тех литераторов, кому господь дал ум, — от него у нас горе, от чего ж ещё?!

...Впрочем, определенные выводы во время подготовки процесса своих бывших друзей Каменева и Зиновьева были сделаны: Сталин запретил издание «Бесов» и «Дневника писателя», как и переиздание Макиавелли, не говоря уже о запрете публикации ряда работ Энгельса о русской истории, с одной стороны, а Соловьева — с другой.

...Среди режиссеров, которых Сталин высоко ценил, был и Чиаурели; тот подробно рассказывал ему о «технологическом процессе» создания фильма; поэтому Верховный узнал, что в документальных лентах «дублей» не делают, — на то они и документальные, одно слово — «хроника».

Большакову — при очередной встрече — Сталин заметил: «А этот ваш режиссер, что снимал в Грановитой палате, смелый человек... Таких бы и посылать на самые боевые участки — не подведет».

Киселев, однако, выжил, судьба не дала ему погибнуть, хотя должен был: «макиавелли» страшны не только в политике, но и в кино.

Александра Воинова от ареста спасло ранение; когда его все же нашли, он лежал в госпитале, думали — не поднимется.

А — поднялся.

7

Летом сорок второго Сталин — после разговора с Черчиллем — затребовал гитлеровскую кинохронику, подчеркнув, что хочет видеть «все, а не цензурированные огрызки, мне политконтроль не нужен».

Просмотрев сцены восторженного приема, устроенного солдатами и офицерами вермахта фюреру в непосредственной близости от линии фронта, он вызвал народного комиссара внутренних дел Л. П. Берия:

— Вашей службе были заранее известны даты приезда Гитлера в окопы?

Берия ответил, что прилет Гитлера на фронт был совершенно неожиданным, заранее не подготовленным, некий экспромт, лишь поэтому «мои люди из Швейцарии не успели нас проинформировать».

— И это вам представляется нормальным? — спросил Сталин. — Разведка, которая «не успевает проинформировать», недорого стоит... Ваш либерализм по отношению к арестованным, когда вы прилетели в Москву, в тридцать восьмом, был оправдан: тот, кто сменил Ежова, обязан быть справедливым... Думаете, мне не писали, что вы санкционировали слишком много пересмотров дел? Полагаете, не сигнализировали, что на Особом совещании вы предлагали давать обвиняемым минимальные сроки вместо максимальных? Но преступно считать, что либерализм — по отношению к бездельничающим нелегалам, которые отдыхают в Женеве, — в дни битвы народов допустим и оправдан.

Сталин медленно поднял на Берия побелевшие глаза — явный признак раздражения; когда Верховный был в гневе, зрачки исчезали, словно бы растворяясь в размытой желтизне.

...Впервые Берия заметил это, окончательно перебравшись в Москву. Ночью, после долгого разговора о том, как следует *выбрать* из Германии нелегалов, чтобы не раздражать Гитлера после заключения договора о дружбе, Сталин неторопливо походил по кабинету, потом достал из стола бумагу — листочек в клеточку, исписанный четким и, как показалось Берия, детским почерком.

— Ознакомьтесь, — сказал Сталин, кивнув на письмо.

Берия протер пенсне замшевой тряпочкой, которую постоянно носил в левом нагрудном кармане, взял листок, пробежал строки, опустив первые, обязательные, в которых говорилось о том, что Сталин — честь, ум и сердце страны, великий гений, друг всех обездоленных, и все в этом роде. Остановился на третьем абзаце: «Когда нашего замечательного дирижера, народного артиста Грузии Микеладзе привезли в кабинет Берия Л. П., он уже был слепым, потому что во время допросов у него выбили глаза, требуя признания в том, что он вместе с поэтами Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе входил в диверсионно-шпионскую группу, руководимую из Парижа лидером меньшевиков Ноем Жордания и неким полковником гестапо.

Микеладзе *втащили* в кабинет тов. Берия Л. П., и тот сказал: "Дирижер, вас изобличили подельцы, у нас достаточно материалов, чтобы расстрелять вас и без официального признания! Но неужели вы не хотите облегчить совесть, выскоблить себя перед народом?!"

— Товарищ Берия, — ответил великий музыкант, — я

ни в чем не виноват, и вам об этом прекрасно известно!

— Откуда ты узнал, что я — Берия?! Ты же слеп!

— У меня абсолютный слух, Лаврентий Павлович. Я узнаю любого человека по голосу...

И тогда Берия Л. П. сказал тем, кто привез к нему гения грузинского народа:

— Так вбейте ему гвозди в уши, чтоб он не мог никого узнавать по голосу!

И это сделали с Микеладзе. И Родина потеряла одного из лучших своих сынов...»

Берия, выгадывая время, начал читать письмо второй раз, но Сталин сказал:

— Положите бумагу, ее незачем читать дважды... Написанное — правда?

Берия мгновенно просчитал, что, если Сталин вызовет сюда тех трех, что присутствовали в кабинете во время *беседы* с Микеладзе, они неминуемо *развалятся*. Поэтому отвечать надо правду, *замотивированную* правду.

— Да, — ответил Берия, — это правда, товарищ Сталин... Микеладзе, Яшвили и Табидзе прилюдно обсуждали вопрос о том, как я «перекроил историю, приписав Сталину те революционные заслуги, которых он не делал». Более того, они говорили, что «убийство Авеля Енукидзе и Камо санкционировано Сталиным, который убирает тех, кто работал на Кавказе в начале века»... И еще: они повторяли слова бывшего полицмейстера Басилашвили, который рассказывал, что якобы «Сталин был впервые арестован не как пламенный революционер-ленинец, но как... некий Робин Гуд, дерзко грабивший богатеев. И только в тюрьме, под воздействием Ладо Кецховели, он примкнул к социал-демократии и с тех пор занимался экспроприациями для партии»...

— Вам более, чем кому бы то ни было, известно, откуда идет эта сплетня... Меня не волнуют сплетни, я их о себе слышал немало... Меня волнует другое: как могло случиться, что информация о факте с Микеладзе, — Сталин кивнул на письмо, лежавшее на столе, — стала известна людям? Да, да, людям, Берия! Многим людям! Думаете, в отделе писем ЦК об этом не говорят?! В их семьях? В семьях их друзей?! Думаете, об этом не говорит Грузия? Меня во всем этом деле меньше всего интересуете вы! Меня беспокоит престиж моих коллег, которые рекомендовали Берия на пост наркомвнудела... Словом, я даю вам три дня для того, чтобы этот факт, — он снова брезгливо кивнул на письмо, — перестал быть фактом... Если что-то

делаете — доводите до конца. У нас в России грузинские *штучки* не проходят, Берия. Ясно?! Или, может быть, вы такого рода всепозволенностью решили похвалиться своей близостью к Сталину? Особенно после того, как выпустили книгу об истории большевистских организаций Закавказья?! Может быть, это не случай, а организованная комбинация?! Может быть, вы забыли, что накануне следствия по делу Каменева было принято постановление, запрещавшее пытки оппозиционеров?!

Берия опустил глаза, боясь, что Сталин *прочтет* его: всем было прекрасно известно, что два года Каменева и Зиновьева кормили соленой рыбой, не давали воды и держали в камерах, где даже в жару топили печки... Зиновьев валялся на полу, начались печеночные колики, на этом его и сломили, потом сдался Каменев, о каком *постановлении* говорит Коба, он же знает все, абсолютно все!

Вот тогда впервые Берия и затаил ненавидящий ужас к этому человеку, задавленный, однако, неподвижной плитою магического преклонения перед ним.

И вот сейчас, спустя три года, походив по кабинету, Сталин раздраженно бросил:

— Во-первых, всю радиосвязь с вашими нелегалами необходимо прекратить начиная с сегодняшнего дня... Вплоть до моего указания... И, во-вторых, послезавтра я выезжаю на фронт, в район Ржева, пусть Серов подготовится...

...Он никому не верит, подумал Берия; он запретил связь с резидентурами, чтобы мы не передали им о его выезде из Москвы, он не дал мне время на подготовку, чтобы *факт* его поездки не стал известен кому бы то ни было. И Ржев выбрал не зря: видимо, именно для беседы о положении на Северо-Западном фронте он вчера вызывал не только Штеменко, но и Шапошникова с Голиковым, которые привезли оттуда двух командармов.

...Наутро генерал Иван Серов отправил под Ржев эшелон с батальонами охраны — «для проведения маневров в условиях боевой обстановки»; вызвал в штаб всех особистов фронта: «Необходимо обсудить вопросы, связанные с переформированием частей особого назначения».

В тот же день в Ржев прибыло еще три эшелона: охрана начала патрулировать все большаки и проселки в радиусе ста километров.

А назавтра туда приехал Сталин; его отвезли на окраи-

ну разбомбленного города и поселили в одном из чудом уцелевших домиков; Серов извинился:

— Товарищ Сталин, беда с водопроводом... Туалет во дворе, там же и умывальник...

— А где, по-вашему, оправлялся Сталин в Туруханском крае? — усмехнулся Верховный. — В ванной комнате?

Утром он вышел из просторной избы; отправился к рукомойнику, прикрепленному к старому вязу. Неторопливо намыливая руки, тщательно вымыл их, потом лицо; больше всего любил земляничное мыло; впервые пользовался им в Берлине, в девятьсот седьмом году, когда, в частности, помогал Литвинову и Красину готовить операцию по спасению Камо из тюрьмы... Золотой был человек Камо, таких больше нет; трагично, но его уход был угоден истории, ибо он знал *все*; тем более, просился к больному Ленину именно в то время, когда тот искал союза с Троцким против него, Сталина. Несмотря на то что завещание Ленина было запечатано в пяти конвертах, генеральный секретарь знал о его содержании; жена, Надя Аллилуева, работала в секретариате Ильича, там об этом говорили, дважды обмолвился Каменев... Сделать подарок Троцкому, разрешить ему узнать свое прошлое — недопустимо; именно Берия тогда и доказал впервые свою преданность, именно он организовал *трагедию* с Камо, больше доверять в ту пору было некому. Риск? Еще какой, но положение было безвыходным: с одной стороны — теоретик Троцкий, с другой — он, Сталин, связанный с экспроприациями, хорош генеральный секретарь, ничего не скажешь...

...Вытирая лицо мягкими прикосновениями крахмального вафельного полотенца, Сталин заметил двух парней из охраны в однотипных коричневых плащах и кепках такого же цвета — с длинными полуквадратными козырьками.

— Кто это? — не оборачиваясь, спросил Сталин.

Серов, кашлянув, ответил:

— Охрана, товарищ Сталин.

— Это называется не охрана, — Верховный неторопливо обернулся; лицо бледное, глаза щелочками, — это намеренная дешифровка — вот как это называется... Любой гитлеровский лазутчик за версту увидит этих загримированных остолопов и сообщит в свой центр... Убрать их всех немедленно...

— Слушаюсь, товарищ Сталин!

Проводив Сталина к завтраку, Серов бросился к ВЧ, соединился с Берия.

— Охрану не снимать, — отрезал тот. — Наверное, поставил в оцепление рослых, а ты найди маленьких, вроде тебя, пусть на корточках ходят.

(Спустя семь лет, во время съемок очередной картины о Сталине, заехавший на «Мосфильм» Роман Кармен увидал поразительную картину: народный артист Советского Союза Геловани, утвержденный решением Политбюро для исполнения роли генералиссимуса, шел перед камерой, а за ним, на корточках, семенили Зубов, игравший Молотова, и Толубеев, исполнявший роль Ворошилова. Изумленный Кармен спросил Чиаурели: «Миша, в чем дело?!» Тот ответил шепотом: «Никто не имеет права быть выше Сталина». Видимо, об этом стало известно генералиссимусу, потому что он вызвал министра кинематографии Большакова и сказал: «Сталин — русский человек, и играть его надлежит русскому. Мне нравится Алексей Дикий... Товарищ Каганович находит, что мы похожи, пусть он играет Сталина в новых картинах».

Превозмогая дерзостный страх, Большаков ответил: «Но ведь Дикий был в свое время репрессирован, товарищ Сталин!» — «В свое время я тоже был репрессирован охранкой, — Сталин усмехнулся. — А ведь — ничего, народ простил...»)

...После первого совещания с командующими армий Сталин, перед обедом, снова вышел мыть руки и заметил коротышек, ходивших по улице.

— Серов, — сказал Сталин негромко, — если вы сейчас же не уберете всех этих дармоедов, которые только привлекают ко мне внимание, вам и Берия не сдобровать. Так ему и передайте.

...Ночью два батальона охраны были загружены в теплушки, но в Москву тем не менее не отправлены.

На следующее утро, убедившись, что вокруг дома нет никого, кроме взвода автоматчиков, Сталин, усмехнувшись, сказал:

— А вечером давайте-ка поедем поближе к линии фронта.

...Всю ночь разведка искала хоть один несгоревший дом примерно в пятидесяти километрах от передовой; нашли; хозяевам было сказано, что приедет «генерал-майор Иванов, остановится на одну ночь, не могли бы переночевать в соседской землянке?»

Здесь, в избе, Сталин и провел совещание с четырьмя комдивами — эти донесут до солдат правду о том, что он, Верховный, был на передовой, но без трезвона, шумихи и пропагандистских штучек, а скромно, как и надлежит вести себя соратнику Ленина, продолжателю его великого дела.

Ящик вина привез начальник его охраны Власик, он же и откупоривал бутылки, угощая молодых генералов «саперави» и «хванчкарой».

За обедом Сталин шутил, расспрашивал комдивов об их семьях, рассказал, как он со Свердловым и Каменевым жил в ссылке, — изба походила на эту; генералы замерли, услыхав в устах Сталина фамилию Каменева, — он говорил о нем спокойно, как о здравствующем и поныне партийце, а не шпионе... Вспомнил и Троцкого: он был маневренным военным, в этом ему не откажешь.

Попрощавшись с гостями, Сталин попросил Власика закрыть бутылки пробками: «Не люблю, когда вино выдыхается... В Грузии тщательно следят, чтобы пробки были хорошо пригнаны, пора бы и нам этому научиться».

Наутро, едва только рассвело, Сталин проснулся, с видимым удовольствием вымылся во дворе, сказал, что время возвращаться в Москву, и поинтересовался:

— Серов, где хозяева этого дома?

— Они ночевали у соседей, в землянке, товарищ Сталин...

— Вы их как-то поблагодарили за это?

— Нет.

— Это плохо, Серов. Очень плохо... Человек, лишенный чувства благодарности, бездуховен... Конечно, особенно баловать крестьян не следует, но отмечать доброе дело — должно... Дайте им в подарок от генерала Иванова денег...

— Слушаю, товарищ Сталин... Сколько?

— Сто рублей, пожалуй, слишком много, — задумчиво ответил Сталин. — А вот тридцать передайте им от меня — в хозяйстве пригодится...

В ту пору буханка хлеба на рынке стоила пятьсот рублей...

По нынешнему пересчету цен этот подарок крестьянской семье выразился бы тридцатью копейками...

8

После того, как операция «Багратион» с блеском закончилась, Советская Армия вышла к границам тридцать девятого года. (Константин Симонов, когда я спросил, отчего он не продолжил «Солдатами не рождаются», усмехнулся: «Я воевал за освобождение моей Родины. Все, что произошло потом, — новый цикл, с иными героями и потаенными целями, но писать его будет кто-то другой».)

Сталин пригласил на Ближнюю Дачу маршалов, — решил устроить в их честь ужин.

Когда все съехались, Сталин приветствовал гостей в холле, пожал каждому руку; остановившись перед Рокоссовским, задумался на мгновение, молча повернулся и вышел; военачальники переглянулись; Жуков ободряюще кивнул: «Сейчас вернется».

Сталин действительно вскоре вернулся с букетом роз, протянул их Рокоссовскому, глухо кашлянув:

— Это за то, что ему больше вас всех досталось.

Понимать эту фразу можно было двояко: либо Сталин говорил о тяжести боев (хотя Жукову доставалось не меньше), либо о том времени, когда маршала таскали на допросы, выбивая показания о принадлежности к «банде троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов».

Потом Сталин пригласил маршалов во двор, где стол был накрыт по-кавказски, под полосатым тентом; дымились карские шашлыки на углях, жарилась молодая козлятина, на старинных сковородках, привезенных с Кавказа, шипел желто-сливочный сулугуни.

Вино было из Тбилиси; бутылки опечатаны особым сургучом, что означало: «проверено, соответствует кондиции»; ЛСУК — «Лечебно-Санитарное Управление Кремля» — проверяло все, что подавалось на стол Верховному; потом, впрочем, была еще одна проверка, негласная, контролировавшая заключение медиков. Был на столе и коньяк «Варцихе»; водки стояло всего две бутылки (Сталин ее не пил, но знал, что Толбухин и Конев коньяк не очень-то любят, пусть себе порадуются «белой»).

Ужин удался на славу; хороший тост произнес Берия; он знал, что тост этот нравится Сталину, поэтому разыгрывал его в лицах: «Однажды юноша зашел на старое кладбище в горах и подивился надписям на крестах и могильных плитах: “Гиви Кварцхава, родился в девятисотом году, умер в девятьсот пятнадцатом, жил тринад-

цать лет"; "Ладо Гудиани, родился в восемьсот сорок пятом, умер в девятьсот двадцатом, жил сорок два дня"... Что такое, думает юноша?! Как такое может быть?! А навстречу ему шел седобородый мудрец в белых одеждах, с посохом. И обратился к нему юноша: "Скажите, уважаемый, отчего такие странные надписи на крестах?" — "Оттого, сын мой, — ответил седобородый мудрец, — что возраст людей в этом краю определяется не годами, прожитыми на земле, но часами дружбы!" Так выпьем же за дружбу наших маршалов, выдающихся военачальников эпохи гениального стратега наших побед Сталина!»

Рассказал свой любимый анекдот и Молотов: «Мужчина был в гостях, постоянно прикладывался к рюмочке, а жена, как и полагается всем женам, удерживала его: "Не надо да не надо!" В конце концов она взмолилась: "Ну хоть съешь что-нибудь! Вон, смотри-ка, хорошая булочка!" Ее муж покорно съел булочку и сразу же обвалился со стула, прошептав при этом: "Это твоя булочка виновата!"»

...Потом плясал Буденный.

Ах, как он плясал в восемнадцатом, когда собирались узким кругом; как *шел* Ворошилов; как же быстролетно время, как неудержимо уходит оно, словно песок сквозь пальцы...

...Сталин чувствовал, что вечер удался; редкое состояние спокойствия размягчило его, он откинулся на спинку кресла, чуть вытянул ногу и с прищурливой доброжелательностью обсматривал лица гостей: все *свои,* никакой затаенности, недоговоренности; случилось то, чего он столько лет добивался: наконец-то окружен гвардией, не кто-либо, но именно они передадут поколениям правду о том, что он, Сталин, сломал шею гитлеризму; конец — всему делу венец! Это еще надо будет посмотреть, по чьей вине случился сорок первый год; не сейчас, конечно, сейчас нельзя мешать людям делать их дело, но придет время, и мы найдем истинных виновников трагедии. Генерал Павлов — что? Сошка, мелюзга... Ворошилов не зря рассказывал, как он нашел его в Белоруссии, в июле, на проселке, под дубом, — ноги солнцу подставил, портянки сушил на глазах у всех... «А я ведь читал твои *донесения*, которые ты против меня сочинял, Павлов, — сказал ему тогда Клим. — Ты ведь *сигнализировал* на меня, псевдонимом подписывался, хотел под монастырь подвести, нехорошо...»

...Перед тем, как пришло время разъезжаться, после того, как все произнесли тосты за Верховного, Берия попросил слова; Сталин несколько удивился — это не в обычаях *стола* просить второй тост, тем не менее посчитал неудобным отказывать, военные могут этого не понять, у них свое представление о тех, кто на вершине пирамиды, нет смысла это представление менять. Сейчас время устойчивости, все — локоть к локтю, война требует единства...

— Товарищ Сталин, я предлагаю выразить благодарность вашим поварам, охране, всем, кто готовил сегодняшний стол, — Берия обернулся к тем, кто стоял у мангалов, — наши грузинские янычары верны вам, как никто!

Сначала Сталин поднял свой бокал, но потом заметил, как Жуков и Конев, обернувшись, следом за Берия внимательно рассматривали поваров и охрану — рослые грузины, в основном голубоглазые, видимо, мегрелы, лица счастливые, вот-вот заплачут от гордости: сентиментальность — гарантия фанатичной преданности.

Сталин поставил бокал на место, лицо собралось старческими морщинами и, не глядя на Берия, а словно обращаясь ко всему столу, сухо посмеялся:

— Значит, грузины Сталина любят и верны ему... Хм... А что русские? Любопытно, как они относятся к Сталину?

Через три дня, перед тем, как маршалы разъезжались по своим фронтам, Сталин неожиданно устроил прощальный обед: ни одного грузинского повара не было; стол обслуживали рослые охранники — все, как один, русские.

Сталин постоянно наблюдал за Жуковым и Коневым, за их реакцией; однако ни один из маршалов попросту не обратил на это внимания.

«...А Троцкий бы понял, — подумал Сталин. — Все-таки разница между профессионалами, техниками войны, и политиком весьма значительна».

...Грузин, однако, возвращать в Москву не стал: то, что сделано, — сделано, нельзя менять решения, интеллигентщина, слава богу, ушла в прошлое и, полагаю, никогда не вернется.

9

Звонок в секретариат Молотова раздался рано, в девять тридцать:

— Американский посол Аверелл Гарриман просит соединить его с министром иностранных дел.

— Министр проводит совещание.

— Когда вы сможете соединить посла с министром?

— Я затрудняюсь дать точный ответ. Пожалуйста, позвоните в двенадцать.

...Помощник Молотова был предупрежден заранее, что с утра будет звонить Гарриман, ибо уже в восемь подписчики получили «Литературную газету» со статьей лауреата Сталинской премии Бориса Горбатова — «Человек в коротких штанишках». Заголовку было предпослано слово, разверстанное на три колонки: «*предатели*». Речь в статье шла о президенте Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэне, главе дружественного — согласно действовавшему тогда Договору — государства.

Молотову было дано указание уклониться от встречи с Гарриманом под любым удобным предлогом; указание пришло от Сталина прошлой ночью.

...Помощник посла звонил в приемную министра иностранных дел до трех часов; в три тридцать Гарриман сам набрал номер секретариата Сталина; по-русски произнес чеканную, нескрываемо резкую, заранее подготовленную фразу:

— Прежде чем я дам рекомендации правительству Соединенных Штатов по поводу известной вам публикации, мне казалось бы необходимым встретиться с маршалом.

(«Генералиссимусом» Сталина никогда не называл, только «маршалом», отговариваясь тем, что привык к его званию во время войны — с одной стороны, и — с другой — ему бы не хотелось аллюзий: тиран Испании Франко тоже генералиссимус, как и Чан Кайши, главный противник Мао, верного ученика русского лидера.)

— А почему бы вам не встретиться с Молотовым или Вышинским? — спросили Гарримана, заранее зная, что он откажется от этого предложения, протокол не позволяет, — слишком долго унижали отговорками.

— К сожалению, я не могу более ждать, пока господа Молотов или Вышинский найдут время для встречи с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов. Просил бы доложить маршалу, что встреча

с ним была бы в высшей мере целесообразной, — в интересах двух наших народов.

Сталин дожидался именно этих слов Гарримана: игра, начатая в конце прошлой недели, входила в свою завершающую фазу.

Во-первых, он, Сталин, поручил сделать публикацию о *предателе* Гарри Трумэне, президенте Америки, не кому-нибудь, а Борису Горбатову, еврею по национальности. Поскольку в Штатах во время войны значительно увеличилось влияние еврейских кругов в прессе, можно рассчитывать, что далеко не все газеты за океаном выступят против публикации «Литературной газеты», а, наоборот, перепечатают пассажи из опуса Горбатова, особенно республиканцы, — выборы на носу, надо валить демократического кандидата Трумэна. Во-вторых, эта публикация есть не что иное, как пробный шар в переориентации не только советского народа, но и европейцев на нового противника, на человека, отринувшего идеи Рузвельта, а следовательно, и всей Большой Тройки, и, наконец, в-третьих, позиция Гарримана — после такого рода публикации — поможет выработать курс на будущее: как будет реагировать Вашингтон на сокрушительные удары такого и не только такого рода? Кампания в прессе? Пусть. У нас их прессу не читают. А если какого-то рода санкциями? Какими именно? Где? Как скоро? С другой стороны, предстоят серьезные события в России, время «братьев и сестер» военной поры прошло, надо кончать с неизбежным либерализмом, отмеченным печатью союзничества с Западом; поговорили — и будет, время работы, суровой дисциплины, абсолютного единомыслия, иначе Россию из руин не поднять, народ надо держать в руках, направляя и контролируя каждый шаг.

Работник секретариата Сталина сказал послу, что он доложит помощнику генералиссимуса о его звонке незамедлительно, попросил оставить телефон, пообещав связаться в течение десяти минут.

И — ровно через десять минут — перезвонил, пригласив господина Гарримана прибыть в Кремль в восемнадцать тридцать.

...Гарриман вошел в кабинет Сталина, зажав в правом кулаке номер «Литературной газеты», — тогда она выходила на четырех страницах, объемом «Известий»:

— Вы видели это, маршал?! — спросил он, вытянув руку с газетой.

— Здравствуйте, господин Гарриман, — поднявшись из-за стола, Сталин пошел ему навстречу. — Рад вас видеть, присаживайтесь, пожалуйста. Что будете пить?

— После этой статьи, — Гарриман кивнул на газету, по-прежнему зажатую в кулаке, — полагается пить коньяк за упокой наших союзнических отношений.

— Рискованно, — ответил Сталин. — Вам же предстоит составлять телеграмму в государственный департамент, давать рекомендации Белому дому... Неловко, если за океаном поймут, что вы делали эту работу нетрезвым... Что же касается номера «Литературной газеты», то я его прочитал лишь перед обедом...

— И каково ваше мнение?

— Видите ли, господин Гарриман, будь это напечатано в «Правде» или «Известиях», словом, в газетах, принадлежащих партии и правительству, — медленно, словно бы взвешивая каждое слово, ответил Сталин, — мы бы серьезно наказали главных редакторов за такого рода публикацию, можете мне поверить... Однако у нас в стране есть лишь одна газета, не подчиняющаяся ни ЦК, ни Совнаркому... Это газета Союза писателей... Конечно, если вы внесете официальный протест, мы еще больше ужесточим цензуру, еще более ужесточим политконтроль... Но ведь это именно то, за что нас так журят в вашей стране... Неужели вы хотите, чтобы мы завернули гайки?

Гарриман мгновение сидел, окостенев от гнева, а потом рассмеялся, поняв весь ужас того положения, в которое он себя поставил: неужели ему, представителю демократического мира, пристало просить тирана начать новые чистки?! Даже против тех, кто написал пасквиль о президенте? Если он, Гарриман, будет настаивать на этом, то, можно не сомневаться, кара свершится, но мир будет проинформирован, что это произошло по настоянию Соединенных Штатов...

— Мы не хотим, чтобы вы «заворачивали гайки», маршал. Да и потом, рано или поздно резьба может свернуться...

— У нас хорошая сталь, — ответил Сталин. — Мы верим в ее надежность... Тем не менее я обещаю выполнить вашу просьбу: мы попросим компетентные органы, занимающиеся литературой, быть особо внимательными, кто может поручиться за то, что выкинут литераторы, благодарю вас за совет...

...Этот разговор произошел, когда Ахматова и Зощенко

были уже «выброшены» из литературной жизни страны; предстояла кампания по травле «космополитов»; в большой политике мелочей не существует — думая о стратегии, не упускай из виду тактику...

10

В пятидесятых, во время обсуждения кандидатов на соискание Сталинских премий, Александр Фадеев в Кремль не явился.

— Где он? — спросил Сталин помощника.

Поскребышев ответил:

— Прихворнул.

Сталин усмехнулся: знал, что это слово обозначает известную слабость первого секретаря Союза писателей, случавшуюся с ним во время стрессовых ситуаций.

— А Тихонов где? — поинтересовался он, продолжая медленно прохаживаться по кабинету — согбенный, в мягких кавказских ичигах; брюки с маршальскими лампасами заправлены трубочками, военный френч обвис, словно стекая с сутулых старческих, очень узеньких плеч.

— Болен, — ответил Поскребышев.

— Что, и этот *страдает*? — спросил генералиссимус.

— Нет, нет, простуда, — ответил Поскребышев, — ему не разрешили приехать врачи, боятся, не носитель ли бацилл...

— Бациллы не носят, — заметил Сталин. — Они слишком маленькие для этого. Носят заразу, так говорят по-русски, пора бы выучить родной язык...

...Он никогда не мог забыть, как Поскребышев *вполз* к нему в кабинет на коленях, зажав под мышкой список, присланный Берия: среди тех, кого надлежало *устранить*, он, Поскребышев, работавший со Сталиным четверть века, увидел имя своей жены.

— Товарищ Сталин, за что?! — шептал он, продолжая ползти по желтому паркету. — За что, товарищ Сталин?!

Сталин дождался, когда Поскребышев подполз к нему вплотную, протянул руку; тот поднял голову — губы трясутся, слезы катятся по щекам, — подал список, словно челобитную, только что лбом об пол не бил.

Сталин просмотрел несколько страниц (на этот раз список на ликвидацию был довольно коротким, всего

четыреста тридцать человек), вздохнул, покачав головою:

— Позвони Берия, скажи, я согласен... И не плачь... Мы тебе русскую жену найдем... Русские — вернее... Она тебя слушаться будет... Она — тебя, а не ты ее... А если не согласен — борись, пиши в ЦКК, будем разбираться...

Через час он снова вызвал Поскребышева. Тот был бледен, но глаза сухие; принес доклад финансиста Зверева о заработках ряда писателей; Сталин просмотрел докладную, глухо спросил:

— Где Зверев?

— В приемной.

— Письмо о жене сочинил?

— Нет, товарищ Сталин.

— Почему?

— Потому что ваша воля — это воля народа...

Сталин покачал головой:

— Я человек маленький, Поскребышев, нечего из меня делать монарха... Я всего не знаю и знать не могу, но я верю моим коллегам по работе, что и тебе советую... Пригласи Зверева...

Когда тот вошел, Сталин, не предложив ему сесть, рассеянно кивнул в ответ на слова приветствия министра и продолжал медленно перелистывать страницы докладной записки о гонорарах.

— Значит, считаете, — негромко заметил он, — у нас появились писатели-миллионеры? Ужасно... Писатели-миллионеры, — он перевернул еще одну страничку, пробежав столбцы цифр. — Писатели-миллионеры... Хм... Ужасно, а, Зверев? Миллионеры-писатели...

— Да, товарищ Сталин, это ужасно.

Сталин поднял свои рысьи глаза на министра и протянул ему папку:

— Ужасно, что у нас так мало писателей-миллионеров, Зверев... Писатели — это память нации! А что они напишут, если будут жить впроголодь? Финансы — это политика. А вы мыслите как завистливый крестьянин, считающий заработки усердного соседа, который не самогон пьет, а работает от зари до зари вместо того, чтобы на собраниях глотку драть...

Снова вызвал Поскребышева, предварительно посмотрев на стенные часы; попросил чая; тот вернулся через десять минут с маленьким подносом — стакан на блюдечке, три кусочка сахару и два обязательных сухих печенья. Обходя стол, Поскребышев ноги поднимал высоко, *словно страус*. (Сталин усмехнулся: помощник начал хо-

дить так в сорок четвертом. У Сталина тогда сидели Жуков и Рокоссовский. Поскребышев вошел в форме генерал-лейтенанта, надел впервые в жизни, только-только сшили в спецателье на Пятницкой. Сталин заметил, как переглянулись Жуков и Рокоссовский: в их глазах ему почудилась издевка; он снова вызвал Поскребышева и попросил разложить на его письменном столе карту — обычно с такой картой работали на длинном столе заседаний. Поскребышев аккуратно расправил клееное полотнище, повернулся, чтобы уйти, и в этот момент Сталин стремительно выставил ногу; Поскребышев неловко споткнулся, чуть не упал; не разжимая рта, Сталин сухо посмеялся:

— Что ж ты, Поскребышев? Генерал, а на ровном месте спотыкаешься?

С армией в ту пору нельзя было не считаться; пусть маршалы сделают свое дело, там видно будет: стратегия и тактика — вопрос вопросов любой политической комбинации; мы, русские, не можем без вождя, без живого бога, так уж мы скроены, но кто знает, что в голове у каждого из нас? Должность бога — заманчива, однако далеко не каждый понимает свою ответственность перед будущим, мы, русские, больше привержены размышлениям о прошлом, вот в чем опасность...

Через двадцать минут Поскребышев вернулся — Верховный попросил убрать карту; был в своем обычном костюме — сталинка, зеленые брюки, заправленные в белые фетровые бурки на мягкой подошве, чтобы шуму не было, когда идешь по паркету, потолки-то высокие, звук *шлепает*, мешает вождю думать...

Жуков с Рокоссовским снова стремительно переглянулись, и Сталин увидел в их глазах нечто похожее на изумление; той издевки, которая почудилась ему ранее, не было и в помине...

Генералиссимус пососал пустую трубку — новые медики, начавшие лечить его после ареста и разоблачения еврейских врачей-изуверов из «Джойнта», категорически отменили все те лекарства, которыми пользовали врачи Сталина, лечившие его с начала двадцатых годов; потребовали провести новые обследования, перешли на качественно новые медикаменты; запретили табак. Сталин, выслушав рекомендации, рассердился: «Братья Коганы и Вовси вытащили меня из инфаркта и инсульта, но отчего-то не требовали ломать привычный ритм! Зачем насиловать волю человека?!» Тем не менее курить прекратил — дисциплина, прежде всего дисциплина, если ты начал ком-

бинацию с врачами, чтобы сделать Средиземное море русским, — следуй ей до конца; стратегия и тактика, ничего не попишешь...

— Хорошо, а кто же будет докладывать вопрос о премиях? — спросил Сталин. — Видимо, товарища Фадеева не волнует судьба писателей и артистов, которые ждут награды за свой труд? Или он обиделся на мои замечания?

...На прошлом заседании Сталин спросил Фадеева, известно ли ему, что один из выдвинутых им, первым секретарем Союза, на премию литераторов с русской фамилией — на самом деле является евреем?

Фадеев ответил, что ему известно об этом, но ведь партия учит пролетарскому интернационализму, важно, чьему делу служит творчество мастера, какой идее...

— А вам известно, что этот *мастер* был репрессирован в свое время как враг народа?

— Да, товарищ Сталин, — ответил Фадеев, — но мы знаем и то, что этот литератор прошел фронт, удостоен правительственных наград, ранен, искупил свою вину кровью...

— Смотрите, — усмехнулся Сталин, — вы внесли предложение, вам его и отстаивать...

Вот после этого-то разговора Фадеев и *занедужил*.

— Значит, следует понимать так, — несколько удивленно, словно себе самому, заметил Сталин, — что мы сегодня работать не сможем?

Поскребышев знал Сталина, как никто; он не торопился отвечать на его вопрос, потому что генералиссимус, спросив, повернулся и медленно пошел в угол, где стояли часы с вестминстерским боем; к окнам не подходил, хоть они и были затянуты белым шелком, сквозь него контур человека уловить нельзя, плотен.

Лишь когда Сталин обернулся, Поскребышев сказал:

— Прибыл ответственный секретарь комиссии Фадеева, товарищ Сталин. Его фамилия Кеменов.

Сталин остановился перед Поскребышевым, обсмотрел его, словно видел впервые, и горестно вздохнул. (В день, когда он, Сталин, санкционировал устранение жены своего помощника, он не зря посмотрел на часы, заказав себе чай; обычно Поскребышев приходил со стаканом через шесть-семь минут, а в тот день вернулся через десять.)

Сталин тогда к чаю не прикоснулся, вызвал Кобулова, предупредив по телефону, чтоб прихватил «чемоданчик Генриха» (наркомвнудел Генрих Ягода в начале тридца-

тых годов занимался ядами и медициной), и попросил одного из самых близких помощников Берия взять на анализ чай, сахар и печенье. Тот позвонил через полтора часа: «Лаборатории сообщают: все чисто, товарищ Сталин». (С тех пор верил Поскребышеву до конца: русский человек добр, не мстителен и быстро смиряется с судьбой — раз так надо, значит, надо, плетью обуха не перешибешь.)

— Кеменов, говорите? — Сталин недоуменно поднял плечи. — Ответственный секретарь?

И, обернувшись к столу, за которым сидели его коллеги по Политбюро, заметил:

— Накануне крушения Римской империи патриции предавались развлечениям, передав право управлять государством юным вольноотпущенникам. Похоже, а? Заседание отменяется...

...Неделю назад преемник Виктора Абакумова министр Игнатьев передал Сталину секретный отчет: людей, находящихся в лагерях, — двенадцать миллионов; членов семей врагов народа — «ЧСВН» — двадцать миллионов; крестьян, лишенных паспортов, — пятьдесят два миллиона; исследования по компьютерной кибернетике, которые он, Сталин, запретил финансировать Академии как «космополитическую псевдонауку», возглавляемую агентом «Джойнта», так называемым профессором Винером, ныне переведены в Штатах в промышленную разработку. Информация об успехах американцев — тревожна. Шумят о генетике в Америке — о лженауке Менделя и Моргана, замахнувшихся на основополагающую конструкцию Творца, — прямотаки сногсшибательно, берут по семьдесят центнеров с гектара, а мы едва-едва скребем двенадцать...

Сталин чувствовал себя раздавленным и покинутым всеми — особенно после того, как прочитал отчет Игнатьева; все чаще думал о своем заместителе Вышинском... Если бы процессы тридцать седьмого года провалились, прошел бы триумфальный суд над меньшевиком Вышинским, заговорщиком, внедрившимся в партию; именно они, меньшевики, организовали провокацию: ужас чисток, гонения ленинцев. Они, кто же еще?! Однако процессы Каменева и Бухарина прошли спокойно; победителей не судят, а поднимают; вот он и поднял генерального прокурора... Что ж, если действительно кибернетика внесет переворот в военную науку на Западе, Вышинский как заместитель председателя Совета Министров получит свое, — меньше-

вики были, есть и будут врагами советской власти, — намеренная ложь Политбюро, сокрытие правды, попытка ослабить оборонную мощь Родины... Да и один ли Вышинский выйдет на этот процесс в качестве обвиняемого?

...Через два дня Фадеев приехал в Кремль — бледный, отекший, без того огня в глазах, который так определял его облик.

Генералиссимус просмотрел список лауреатов Сталинской премии, протянутый ему Фадеевым, и поинтересовался:

— Здоровье поправилось? Врачи помогли?

— Да, — глухо ответил Фадеев, — теперь все в порядке.

— Вы берегите себя, Александр Александрович, — Сталин впервые назвал его по имени-отчеству — высшая степень расположения. — Вы нам нужны, мы вас ценим...

— Спасибо, — нахмурившись, ответил Фадеев.

Генералиссимус снова пролистал список и удивленно поднял голову:

— А где же ваш кандидат, которого вы так мужественно защищали?

— Значится сказать, товарищ Сталин, мы решили вычеркнуть его: действительно еврей... Сейчас, видимо, не стоит акцентировать эту проблему... Да и потом — был врагом народа, это и кровью не смоешь — навечно...

Сталин удивился:

— Разве? Странно... По-моему, одним из первых лауреатов Сталинской премии стал профессор Рамзин, а ведь в тридцатом мы его приговорили к расстрелу — диверсии, антисоветская деятельность, шахтинское дело, промпартия... Значит, Рамзин смыл прошлое? Или мы ошиблись? — Он обернулся к членам Политбюро, но ответа слушать не стал, продолжив: — И потом: что значит «еврейская проблема»? У нас нет и не может быть такой проблемы... Космополиты? Да, проблема. Шпионский «Джойнт» — да, проблема. А еврейской проблемы нет и не будет. Как может быть еврейская проблема в стране, где существует Еврейская автономная область, родина всех советских евреев?! Будущая земля обетованная для всех наших евреев... В прошлый раз я выдвинул свои доводы, дискутируя предложенную вами кандидатуру лишь потому, что мне казалось целесообразным дать вашему подшефному Сталинскую премию третьей степени, но не второй, как настаивали вы... Есть возражения? — спро-

сил Сталин членов Политбюро, вписывая фамилию писателя синим карандашом в *список*...

(Этот ненаписанный роман *заготовлен* на основании бесед с комендантом ДСК «Николина гора», вернувшимся из лагеря в 1955 году, — его брат был дежурным в приемной Сталина начиная с двадцатых, и генерал-лейтенантом Ильей Виноградовым, бывшим начальником разведки Третьего Украинского фронта, консультантом нашего с Ташковым телефильма «Майор Вихрь».)

11

В Гаграх, осенью шестьдесят четвертого, маршал Жуков — тогда уже уволенный — пришел посмотреть концерт мастеров эстрады; я сидел в двух рядах от него; после окончания представления я подошел к нему — тогда это было нетрудно, поскольку люди смотрели на него с почтением, но — издали, как-никак опальный, а у нас и лыко могут в строку поставить: «с кем контактируешь? по какому праву?!»

Я как раз заканчивал подготовительную работу к роману «Пароль не нужен», заново исколесил Сибирь и Дальний Восток — в поисках хоть каких материалов о расстрелянных маршале Блюхере, командарме Уборевиче и кандидате в члены Политбюро, комиссаре гражданской войны Постышеве; именно во время этой поездки мне и рассказали в Красноярске о трагической судьбе Кати, жены Рихарда Зорге, и некоего мальчика, якобы сына Героя[1].

Потому-то я и спросил маршала, что он помнит о Рихарде Зорге, какие донесения произвели на него особое впечатление, как он оценивал его информацию.

— Я это имя впервые узнал из фильма «Кто вы, доктор Зорге?», — ответил маршал. — Ни одно из его донесений мне ни разу не докладывали...

В тот вечер он к разговору, видимо, расположен не был, сказал, как отрезал, продолжать вопросы было бы бестактностью; в голову, однако, запало: предвоенный начальник Генерального штаба Красной Армии ничего не знал о выдающемся военном разведчике РККА.

Заново анализируя ответ маршала, я отметил для себя,

---

[1] Однако ветераны, знавшие Р. Зорге и его жену, утверждают, что сына у него не было, возможно, это был „приемыш" Кати, жены Зорге.

что он соотнес Зорге с названием фильма французского режиссера Ива Чампи: мы узнали имя Героя не из материалов советской прессы, не из наших книг или картин, но из работы француза, да и то случилось это при весьма любопытных обстоятельствах.

Как в годы культа личности, так и во времена «волюнтаризма», не говоря уже о «застойном периоде», зарубежные картины в первую очередь смотрели *наверху*; только после этого, в случае благожелательного отношения к фильму, комитет кинематографии получал указание приобрести ленту у продюсера.

И вот однажды Хрущеву привезли на дачу фильм Ива Чампи о внуке одного из руководителей Первого Интернационала Рихарде Зорге, который жил в Шанхае и Токио как корреспондент немецких газет, являлся при этом секретарем партийной организации национал-социалистической рабочей партии Германии в Японии, но был одним из самых выдающихся разведчиков нашей пролетарской диктатуры.

Посмотрев картину, Никита Сергеевич не без восхищения заметил:

— Вот как надо снимать! Сидишь, как на иголках, а в наших фильмах сплошная тягомотина или барабанный бой, «ура-ура», смотреть тошно!

Среди приглашенных на просмотр был и тот, кто знал правду о Зорге; он-то и заметил:

— Так ведь это не вымысел, товарищ Хрущев, а чистая правда.

Никита Сергеевич даже изменился в лице, огромный лоб свело морщинами, глаза погасли; помедлив мгновение, он поднялся и, не говоря ни слова, отправился к аппарату прямой связи; позвонил генералам армии Захарову и Серову; те подтвердили — да, правда, был такой Зорге; на составление подробной *справки* попросили время; Хрущев дал день; через неделю, не посоветовавшись ни с кем из коллег, продиктовал Указ Президиума Верховного Совета: Зорге стал Героем Советского Союза, хотя подписали указ уже после того, как Хрущева *скинули*.

Ходили слухи, что кое-кто возражал против этого акта (я имею в виду ближайших соратников Хрущева; впрочем, «соратниками» их называть рискованно), славя его прилюдно, они уже тогда готовили против него заговор.

Тем не менее с тех пор имя Зорге было канонизировано; не привези Хрущеву на дачу этот фильм Чампи или будь на месте Никиты Сергеевича другой человек, — так

бы это имя еще на десятилетия оставалось вычеркнутым из нашей истории.

Впрочем, ни один вопрос никогда не остается безответным, тайное — рано или поздно — становится явным, сие — историческая аксиома.

...Через несколько лет после мимолетной встречи с Георгием Константиновичем Жуковым я уехал с моим другом доктором Кирсановым на приокские заливные луга — весенняя охота там была прекрасной, разрешали ее повсеместно и празднично.

Часов в десять, после того как отцвела зоря и солнце упало на табачный слой облаков, мы встретились с Кирсановым в условленном месте на лугу и побрели к нашей палатке.

Неподалеку горел костер, делавший луг тургеневским. Мы подошли к трем охотникам, что грелись у огня.

Кряжистый человек с крупным, морщинистым, очень знакомым лицом спросил:

— Ну, как у вас дела? Был лёт?

Доктор Кирсанов, мой охотничий учитель, ответил, как и положено:

— Да так, болталась утка... Слабо... С тем, что было раньше, не сравнить.

Кряжистый рассмеялся:

— Значит, полный мешок набил, знаю я вас, хитрецов... Чаю, небось, хотите?

И тут я понял: да это же маршал Чуйков, Василий Иванович! Легендарный командарм, герой штурма Берлина... После того, как Жукова сняли и он уехал к себе на дачу, откуда не выезжал многие месяцы, Чуйков опубликовал статью, в которой дерзко утверждал, что мог взять Берлин на несколько недель раньше, если бы не запрет Жукова; тот, понятно, ответить не мог — у нас *бывший* не имеет права на слово, отрезанный ломоть...

...Чуйков кивнул сопровождающим, те протянули нам с Кирсановым по кружке крепчайшего чая; маршал поинтересовался, кто мы; представились; он нахмурился, вспоминая что-то, потом спросил, не я ли писал повесть о трагедии полярного летчика в тридцать седьмом; выслушав ответ, поглядел на меня с любопытством, переглянувшись с высоким синеоким полковником.

— Смелые вы стали теперь — Сталина цепляете, — усмехнулся он, — попробовали б раньше.

И я понял тогда, что удача сама по себе плывет в руки!

Поэтому, согласно посмеявшись крутому замечанию Чуйкова, я спросил:

— А вот интересно, почему Жуков даже сейчас утверждает, что он не слыхал о Рихарде Зорге?

Я намеренно подставился, думая, что Чуйков не преминет лишний раз ударить опального маршала, но он, сёрбающе отхлебнув чая из своей солдатской кружки, задумчиво ответил:

— Про Зорге все знал только Филипп Голиков... Он сменил «Павла Ивановича»[1] и тех, кто его замещал на посту начальника нашей разведки... Берзин-то оказался «троцкистом» — шлепнули... — Чуйков хмуро усмехнулся. — Вообще-то всех наших первых маршалов и командармов, даже Ворошилова с Буденным, по логике тех лет, можно было считать тоже троцкистами... Лев Давыдович утверждал в должностях, кто ж еще, конечно, он, народный комиссар по военным и морским делам... Только Климент Ефремович со времен Царицына работал вместе с Иосифом Виссарионовичем... А Тухачевского в Царицыне не было, да и Блюхера с Якиром и Примаковым — тоже, на других фронтах воевали, вот их и шлепнули в одночасье... Да... Все, абсолютно все высшие командиры времен гражданской войны были открыты и назначены не дядей Васей, а РВС[2]... Вот вы, писатели, об этом напишите, а то все о председателях колхозов сочиняете... Так вот, Голиков этот самый, — коротышка-выдвиженец, сукин сын, — на всех рапортах Зорге писал: «Информация не заслуживает доверия». И — точка. Кто ж такой документ начальнику Генерального штаба будет докладывать?! Так что вы Жукову верьте, он человек высокопорядочный, ложь его характеру противна...

...Я любовался этим кряжистым человеком, его крестьянским лицом с рублеными, глубокими морщинами, чувствовал в его глазах какую-то скрытую, стыдящуюся муку и невольно думал о том, что ломать человека можно не только в застенке, но и на воле: первооснова любого действа — рычаг, а сколько их на земле?! Бесчисленное множество, горазды людишки на изобретательство такого рода...

---

[1] «Павел Иванович» — начальник ГРУ Ян Берзин; он был рекомендован на эту должность Ф. Э. Дзержинским, Н. И. Бухариным и М. В. Фрунзе (*прим. Н. В. Звонаревой, секретаря Берзина*).

[2] Реввоенсовет.

...Слова маршала о том, что Голиков называл Рихарда Зорге «не заслуживающим доверия», запомнились мне.

Поскольку впрямую искать объяснение такого рода заключению было тогда невозможно, я начал исследовать эту загадку, что называется, по касательной; опыт такого рода был у меня уже — накопился в процессе работы над образами Блюхера, Постышева и Уборевича.

Ответ на этот вопрос я получил через два года, *навели* историки и военные, подсказав, что в конце двадцатых годов Рихард Зорге жил в Москве, работал в исполкоме Коминтерна, являясь помощником председателя Исполкома и шефа журнала «Коммунистический Интернационал».

А секретарем Исполкома продолжал еще работать Николай Иванович Бухарин.

Именно тогда, накануне решающей атаки Сталина против Бухарина, тот до конца точно сформулировал одну из своих концепций: судьбу мировой пролетарской революции решит — вместе с Советским Союзом — «большая деревня», то есть национально-освободительное движение Азии, особенно Китая; ситуация на Востоке рано или поздно понудит «большой город» — то есть Западную Европу и Америку — по-иному взглянуть на мир.

Именно поэтому Бухарин так нуждался в избыточно-точной, по-настоящему интеллигентной информации о положении в Китае. Видимо, он довольно долго колебался, размышляя, на каком *фронте* Зорге мог принести наибольшую пользу (до того времени, понятно, пока Зорге не был приглашен Берзиным).

В свое время с подачи Зиновьева генеральный секретарь, являвшийся членом руководящей «тройки» (Каменев, Зиновьев и Сталин), выдвинул лозунг, обвинявший социал-демократию в сползании к фашизму. Бухарин занимал иную позицию; он настаивал на том, что невозможно и неразумно валить социал-демократов в одну кучу с нацизмом; наперекор Сталину и Зиновьеву отстаивал возможность совместных выступлений с социал-демократическими рабочими, более того, с их *низовыми* организациями, в то время как обращение к нацистским организациям, даже в тактических целях, считал недопустимым.

(Лишь устранив Бухарина из Политбюро, Сталин *посмел* сказать на Семнадцатом съезде: «В наше время со слабыми не принято считаться, считаются только с сильными...Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии, но дело здесь не в фа-

шизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной».)

Несмотря на то что Бухарина всегда поддерживали Крупская и Клара Цеткин, официальное отношение к социал-демократии оставалось неизменным, зиновьевско-сталинским: немецкие коммунисты не смели объединяться с социал-демократами в борьбе против нацистов. А ведь объединись они, Гитлер бы не собрал большинства на выборах в рейхстаг и дальнейшее развитие европейской истории могло пойти совершенно по иному руслу.

Поэтому, вероятно, Зорге был направлен сначала в Китай, а после в Японию — в Германии он бы мог содействовать объединению коммунистов с социал-демократами, созданию единого фронта, однако это — по меркам тех крутых лет — было *изменой* выдвинутому лозунгу.

..Жуков о Зорге не знал, ибо он стал начальником Генерального штаба уже после того, как закончились процессы, и все те, кто начинал с Лениным, оказались шпионами и диверсантами; в стране изменилось качество государственной памяти: лишь малая часть делегатов Семнадцатого съезда партии дожили до Восемнадцатого, остальные были расстреляны как враги народа. Все друзья Зорге были ошельмованы и уничтожены.

...А знал ли Сталин о Зорге?

Видимо, знал, ибо, когда в сорок первом году суд в Токио закончился вынесением смертного приговора, советский посол запросил Москву, какие шаги следует предпринять для спасения Зорге.

Москва на запрос никак не реагировала. Токио выжидало; Зорге казнили лишь в сорок четвертом, когда поняли, что Кремлю он не нужен.

А в Сибирь поступил приказ: «решить вопрос с женой» Зорге. В то же время погиб и тот мальчик, о котором некоторые говорили как о сыне Зорге.

Расстрел ребенка был тогда делом узаконенным: накануне «большого террора», десятого апреля 1935 года, по предложению Сталина был проведен закон, по которому уголовной ответственности — вплоть до расстрела — подлежали все граждане Советского Союза начиная с двенадцатилетнего возраста.

12

Так уж повелось, что ни один фильм — до просмотра его Сталиным — на экраны страны не выходил.

Председатель кинокомитета Большаков всегда возил в багажнике машины не только новую советскую картину, но и две-три зарубежные, — вызвать в Кремль могли в самое неожиданное время, чаще всего поздней ночью, вплоть до четырех утра.

(Однако в августе тридцать девятого, после того как был подписан договор с Гитлером и Сталин обменялся дружеским рукопожатием с рейхсминистром Риббентропом, Большакова вызвали в десять вечера — необычное время. Уже потом ему объяснили, что Сталин пригласил Риббентропа посмотреть любимый свой фильм «Волга-Волга». Риббентроп, однако, отказался: «Я должен написать отчет, господин Сталин». — «„Волга-Волга“ — одна из лучших картин мирового кино, получите удовольствие». — «Благодарю, господин Сталин, однако фюрер ждет моего доклада». С этим, вскинув руку в нацистском приветствии, Риббентроп откланялся. Сталин осторожно мазанул взглядом лица Молотова и Ворошилова; они оказались невольными свидетелями того, как ему, Сталину, публично отказали — непреклонно и холодно; последние годы такое в стране сделалось невозможным; его слово стало законом для всех. Сталин как-то странно хмыкнул, взял галифе — словно танцор — двумя пальцами, присел в жеманном поклоне и, кивнув на дверь, закрывшуюся за Риббентропом, тихо произнес: «А все равно мы тебя выеб...»)

Во время просмотров Большаков обычно сидел за Сталиным, потому что *главный* часто задавал вопросы, на которые надо было давать немедленный и определенный ответ, — приблизительности Сталин не терпел. Однажды, принимая фильм «Повесть о русской охоте» с Поповым-старшим в главной роли, заметил: «Почему у волков глаза желтые? Это — неправда, они у них зеленые». Большаков немедленно ответил: «Великий зоолог Брэм, товарищ Сталин, считает, что глаза волков именно желтые, а не зеленые... Впечатление, что они зеленые, складывается у тех, кто видел волчьи глаза лишь в высверке костра, в сумерках». — «На какой это странице?» Большаков назвал. Сталин кивнул удовлетворенно и поудобнее устроился в кресле.

В конце сороковых специально ко Дню Военно-Воздушного Флота — генералиссимус этот праздник высоко

чтил — был закончен фильм «Жуковский». Сталин в те годы решил, что в стране должно выходить не более двенадцати картин в год; больше — баловство, может помешать работе; не следует слишком уж баловать зрелищами наш народ; картины надо делать биографические, рассказывать — средством самого массового искусства — о великих деятелях русской науки и культуры, бороться, таким образом, с низкопоклонством перед загнивающим Западом и проявлениями безродного космополитизма.

Как на грех, именно в день праздника сталинских соколов Хозяин уехал на Кавказ. Связываться со Сталиным по телефону было не принято. Место, где он отдыхал, не знал никто; он часто менял дачи, хотя более всех других на старости лет полюбил дом на озере Рица; Крым и Сочи почти не посещал, тянуло на родину.

А коробки с «Жуковским» лежали в багажнике большаковской машины, и он метался из одного начальственного кабинета в другой, спрашивая совета, как поступить: ждать возвращения товарища Сталина в Москву или же выпустить картину к празднику?

Молотов (говорили, что Большаков начал восхождение, работая у него шофером) от совета воздержался; Берия посмеялся: «Принимай инициативное решение, ты — министр, тебе и карты в руки!»

Полагая, что столь категорические слова ближайшего соратника вождя не могли быть произнесены случайно (чувственному искусству угадывания и математическому *просчету* вероятий учились быстро), Большаков подписал приказ о выпуске фильма на экраны. Улицы всех городов Союза заклеили афишами, о новой работе советских кинематографистов сообщило радио, причем неоднократно, да и пресса откликнулась рецензиями, понятно, восторженными, ибо никто и представить себе не мог, что фильм вышел без санкции вождя.

А наутро после премьеры с Кавказа поступила вэчеграмма от Сталина с *просьбой* срочно поставить на повестку дня один лишь вопрос: «О положении дел в советском кинематографе».

Большаков понял: вот и пробил его последний час.

Вечером того дня, когда вернулся Сталин (его поезд был копией поезда Троцкого), председатель кинокомитета был вызван в Кремль и занял место за маленьким столиком неподалеку от большой дубовой двери; перед ним лежала стопка желтоватой плотной бумаги, стояла бутылка боржоми, стакан и три разноцветных карандаша.

Молотов, Каганович, Берия, Маленков и Хрущев заняли свои места за длинным дубовым столом; Сталин, как обычно, медленно расхаживал по кабинету, зажав в руке трубку.

Объявив заседание открытым, Маленков вопрошающе глянул на Сталина.

Тот, продолжая расхаживать по кабинету, молчал, словно бы собираясь с мыслями; остановился, наконец, под портретом Маркса, примял желтоватым пальцем табак в трубке и тихо, чуть не по слогам, спросил:

— Товарищ Большаков, нас интересует только один вопрос: каким образом на экранах страны появился новый художественный фильм «Жуковский»? Конкретно: кто из руководства смотрел эту работу, когда, какие высказал замечания? Еще конкретнее: кто дал санкцию на выпуск этой картины в свет?

Большаков медленно поднялся; лицо враз отекло, побелело.

— Да вы сидите, товарищ Большаков, сидите, — Сталин чуть махнул рукой. — Сидите...

Большаков тем не менее продолжал стоять, чувствуя в себе мерзкое желание вытянуться по швам:

— Товарищ Сталин... Мы тут посоветовались, — моляще глядя то на Молотова, то на Берия, начал он, ожидая их поддержки; те, однако, сосредоточенно писали что-то на листках бумаги. — Мы тут посоветовались и решили...

Сталин словно бы споткнулся; обернувшись к Большакову, изумленно спросил:

— Вы тут посоветовались? — пожав плечами недоуменно, повторил: — Значит, вы советовались... Хм... А посоветовавшись, решили...

Он постоял мгновение на месте, потом чуть ли не крадучись пошел к двери, глухо повторяя слова Большакова, словно бы обсматривая их и примеряя к чему-то своему, заранее выношенному.

— Они посоветовались и решили, — говорил он все тише и тише, будто устав от этих слов. — Они тут все решили, посоветовавшись...

Открыв тяжелую дверь кабинета, он обернулся и, упершись взглядом в лоб Молотова, повторил в задумчивости:

— Итак, вы тут посоветовались... И решили...

С этим он и вышел.

Настала мучительная тишина, было слышно, как скрипел грифель в руках Берия, по-прежнему что-то писавшего на толстой желтоватой бумаге.

Внезапно дверь отворилась, Сталин заглянул в кабинет и вдруг улыбнулся своей чарующей, обезоруживающей улыбкой:

— И — правильно решили...

Когда дверь закрылась, Маленков, откашлявшись, заключил:

— Товарищи, вопрос о положении дел в советском кинематографе можно считать рассмотренным...

13

В начале пятидесятых Сталин, Ворошилов и Косыгин отплыли из Крыма в Сухуми на крейсере «Молотов».

Секретарь Сухумского обкома Мгеладзе, получив сообщение об этом, немедленно позвонил своему шефу Чарквиани — в Тбилиси; после этого распорядился накрыть праздничный стол на даче в честь генералиссимуса и отправился в порт.

(В это как раз время в Грузии были арестованы Рапава, Заделава и Барамия — выдвиженцы Центра; началось «мегрельское» дело; про Чарквиани стали говорить, что он каким-то краем тоже мегрел.)

Прямо с аэродрома Чарквиани приехал на дачу; Сталин, Ворошилов и Косыгин были уже там; когда все расселись за большим столом, Чарквиани сказал:

— Я предлагаю поднять бокалы за самого выдающегося революционера всех времен и народов, соратника Ленина, гениального стратега нашего счастья, дорогого и любимого товарища Сталина!

Все зааплодировали; Сталин, неотрывно глядя на Чарквиани, поморщился; потом снисходительно усмехнулся в седые, прокуренные усы.

И тут неожиданно для всех поднялся Мгеладзе:

— Я возражаю...

Воцарилась зловещая тишина, оцепенение было общим, давящим; никто не смел глянуть друг на друга.

— Я возражаю, — повторил Мгеладзе еще тише. — По законам грузинского стола, первое слово произносит хозяин, а здесь, в этом доме, я — во всяком случае пока что — являюсь хозяином... Поэтому я не стану поднимать первый бокал за товарища Сталина... Он — грузин, он приехал к себе домой...

Сталин медленно отодвинул свой бокал; Мгеладзе заметил это, как и все присутствовавшие; побледнев до сине-

вы, сухумский секретарь облизнул враз пересохшие губы и на какое-то мгновение замешкался...

...Чем дальше, тем больше Сталина настораживало все то, что было — хоть в какой-то мере — связано с его национальностью. Начиная с той поры, когда он закончил в Вене свою работу «Марксизм и национальный вопрос», к проблемам Закавказья Сталин серьезно не обращался, работал в основном в Петербурге, вращался среди русских рабочих, ни в Тифлис, ни в Баку более не ездил; в крае своей молодости он побывал лишь в начале двадцатых, в пору для него трагическую, когда Ленин требовал его отставки, а его позицию в «грузинском вопросе» клеймил как великодержавную, недостойную большевика.

Ему было непросто приезжать на родину потому еще, что слишком многие знали, как и с кем он начинал свой путь в революцию. У всех на памяти был Красин, координировавший в начале века всю революционную работу на Кавказе. Ладо Кецховели, Филипп Махарадзе, Мдивани, Курнатовский, Кавтарадзе, Енукидзе, Шаумян, Аллилуев, Каменев, Камо, Джапаридзе, Нариманов, Цхакая, Стуруа. О нем, Сталине, в ту пору не вспоминали в газетах, не называли «вождем»; упоминали, да и то не часто, в *перечислении*.

В Москве помнили процесс, возбужденный Мартовым в революционном трибунале против Сталина, когда он шельмовал его тем, что за участие в экспроприациях он, Сталин, «социал-демократ меньшевистской ориентации», был якобы исключен из партии. Слушание дела началось в марте восемнадцатого года; народный комиссар по делам национальностей выиграл процесс: «бесчестно обвинять человека, не имея на руках сколько-нибудь серьезных документов; революционер и клеветник — понятия несовместимые!»

В Тбилиси помнили публикацию, подготовленную в декабре двадцать пятого года газетой «Заря Востока»; там приводилась выдержка из отчета начальника тифлисской охранки о нем, Джугашвили: «Сначала был меньшевиком, потом стал большевиком...»

В Тбилиси, Баку и Батуми архивы таили протоколы его допросов в охранке; кое-кто настаивал на распубликовании этих документов; настаивал на этом не только Троцкий, но и Камо.

Лишь в двадцать третьем году, когда выдвиженец Сталина молодой Лаврентий Берия начал свое триум-

фальное продвижение *вверх*, началась неторопливая, но обстоятельная корректировка фактов. Все, что было неугодно *новой* линии, изымалось из печати, создавались легенды, выстраивалась новая концепция прошлого. Камо вычеркнули из истории, — боевик, экспроприатор, был близок к Сталину, — не нужно вспоминать об этом. Теоретик марксизма и стратег революции, начиная с начала века, каким должен *стать* Сталин, совершенно не обязан, более того, не должен быть связан с теми акциями, которые проводил Камо.

Затем Чичерина сменили Литвиновым — все-таки именно он, Максим Максимович, был первым, кто в начале века написал Ленину о молодых кавказских публицистах-революционерах, — значит, речь шла о Сталине, о ком же еще?! Именно с ним Сталин работал в Берлине в девятьсот седьмом, стараясь облегчить участь Камо и разменять ассигнации во время тбилисской экспроприации, организованной им и Камо.

В начале тридцатых была напечатана статья о революционном *меньшинстве* «Месаме-Даси», возглавлявшемся Кецховели, Цулукидзе и Сталиным: именно таким образом был дезавуирован отчет тифлисского охранника, напечатанный «Зарей Востока», — да, Коба был «меньшевиком» в «Месаме», но эти меньшевики были истинными ленинцами, национальная особенность грузинской социал-демократии, откуда было это знать царскому жандарму?!

Такого рода публикация окончательно дезавуировала и Мартова; впрочем, этот — не страшен, умер в эмиграции, мертвые обречены на молчание.

В тридцать четвертом, после съезда, а особенно когда опубликовали заметки Сталина против марксистского историка Покровского в переводе на грузинский, Берия приехал в Москву и положил на стол вождя папку с высказываниями кавказских большевиков о том, кто действительно стоял во главе революционного движения в Баку и Тифлисе. Хотя имя Сталина и упоминалось (слава богу, не двадцать пятый год), но все кавказские большевики на первое место ставили того же Ладо Кецховели, Наримана Нариманова, Джапаридзе, Мешади, Азизбекова, Виктора Курнатовского, Авеля Енукидзе, Степана Шаумяна; Сталина упорно называли следом за ними.

Просмотрев папку, Сталин усмехнулся:

— Истинным и единственным создателем грузинской социал-демократии был русский марксист Ленин... А Сталин... Что ж, Сталин не гонится за славой, он всегда был

верным учеником Ленина, нет почетнее звания, чем быть его учеником и сподвижником...

В тридцать шестом Берия начал повальные аресты ветеранов большевистского движения на Кавказе; архивы безжалостно сжигались, пришла пора переписать историю: аппарат Берия подготовил ему книгу — «К истории большевистских организаций Закавказья».

Берия *помянул* «соратника» Сталина — Виктора Курнатовского; тот начал борьбу с царизмом в прошлом веке, был подвижником «Народной воли» в те уже годы, когда Сталин только читал «Закон Божий» в духовном училище; дружил с Лениным, когда Коба занимался в семинарии, готовясь стать утешителем людским, священником; вспомнил Берия и «учеников» вождя — Кецховели, Цулукидзе, Джапаридзе, — а ведь именно эти *ученики* и привели в свои рабочие кружки никому неведомого юношу; замалчивалась роль руководителя тбилисского подполья Джибладзе, большевистского ветерана Стуруа, — а ведь они преподавали молодому Кобе азы политической борьбы; тысячи и тысячи грузинских ленинцев и все те, кто все еще осмеливался помнить правду, были уничтожены.

...Просмотрев рукопись Берия, вождь сделал всего несколько редакторских замечаний, добавил абзацы о роли русского рабочего класса, вписал фамилию Калинина (все еще популярен среди крестьян, может пригодиться) и, возвращая манускрипт, заново обсмотрел Берия: этот не подведет, ему и кончать с Ежовым; *подчистит* и в Москве, здесь это легче сделать, Москва — не Тбилиси, здесь горцев нет...

...И вот сейчас в Сухуми молодой еще секретарь обкома (сколько ему было в двадцать втором?) прикоснулся к тому, чего так не любил Сталин — не любил и страшился; ах, люди, бедные, слабые люди, надо бояться грядущего, а мы несем в себе страх перед безвозвратно ушедшим прошлым...

Между тем, *собравшись*, Мгеладзе продолжил свой тост, запрокинув от волнения голову:

— У нас, грузин, первый тост положено поднимать за гостей. А самым дорогим гостем мы сегодня по праву должны назвать замечательного русского большевика Климента Ефремовича Ворошилова, героя гражданской войны, соратника товарища Сталина по работе в Государственном комитете обороны в годы Великой Отечественной, луганского рабочего, ставшего одним из руководителей первого

в мире многонационального государства рабочих и крестьян... За Климента Ефремовича, товарищи, а в его лице — за великий русский народ!

Все сидевшие за столом молчали; бокалов никто не поднял.

Сталин глухо кашлянул, чуть пожав плечами, сказал:

— Спасибо за прекрасный тост, — и, холодно глянув на растерянного Ворошилова, поднял бокал, сделав легкий глоток. — Было бы плохо, доведись мне, москвичу, исправлять ошибку грузина Чарквиани, молодец, Мгеладзе...

...После обеда, удавшегося на славу, Сталин спросил жену Мгеладзе:

— Вы кто по национальности?

Женщина ответила:

— Полукровка.

Сталину говорили, что жена Мгеладзе еврейка; раскурив трубку, поинтересовался:

— Литературный грузинский хорошо знаете?

— Не очень, товарищ Сталин.

— Надо хорошо говорить на языке народа, среди которого живете. Учите грузинский, думаю, пригодится.

Вскоре Мгеладзе был перемещен в Тбилиси — первым секретарем ЦК. Подписывая назначение, Сталин заметил Маленкову:

— Я порою опасался, что последним отважным грузином был Авель Енукидзе; к счастью, ошибся; Мгеладзе достойный человек, не боится постоять за себя, такой наведет порядок...

(Маленков тогда — в который уже раз — подивился тому, сколь дружески Сталин отзывался о тех, кто был расстрелян по его указаниям; с особой теплотою, однако, вспоминал эпизоды, связанные с Енукидзе, Бухариным и Каменевым.)

...Вскоре после смерти вождя Мгеладзе назначили директором совхоза; потом и вовсе сошел на нет, «пенсионер республиканского значения».

14

...Свою последнюю речь Сталин произнес на Девятнадцатом съезде партии, когда ВКП(б) была переименована в КПСС, — большевизм как идейное течение русской

революционной мысли формально перестал существовать, сделался достоянием истории...

Как всегда, он изредка заглядывал в текст — однако на этот раз всего три страницы, может, чуть больше. Напечатано было на специальной машинке с большим шрифтом — генералиссимус не хотел надевать очки; разрушение привычного образа вождя наверняка обыграют враги, да и советские люди будут недовольны — они не любят перемен такого рода; каким был Сталин с двадцать четвертого года, когда начали печатать его фотографии в газетах, таким он должен оставаться навечно...

Сталин читал медленно, часто замолкая на минуту, а то и больше, словно бы наслаждаясь той гнетущей тишиной, какая была в зале. На самом-то деле сейчас ему это было совершенно безразлично, он давно привык к мертвенному вниманию в любом помещении, как только начинал говорить. Однако поскольку в зале сидели Мао, Торез, Энвер Ходжа, Тольятти, Готвальд, Берут, Ракоши, Пик, Георгиу-Дежж, Хо, Ким Ир Сен, Поллит, Долорес, он опасался, что они заметят его старческую шепелявость, хрипящую одышку и то, как порою заплетается язык; *свои* любым примут, Россия стариков чтит куда больше молодых; дожить до старости — значит войти в вечность; молодых политиков легко забывают, имя должно стать привычным, постоянно быть на слуху, как «отче наш»...

Сталину докладывали, что после последних процессов в Праге, когда расстреляли Генерального секретаря ЦК компартии Рудольфа Сланского, а вместе с ним большинство членов ЦК, евреев, воевавших в интербригадах, прошедших антигитлеровское подполье, на Западе началась кампания, организованная, конечно же, «Джойнтом», о том, что он, Сталин, стал творцом качественно новой антисемитской политики.

Генералиссимус попросил приготовить ему переводы из наиболее агрессивных статей в крупнейших журналах и газетах Запада, особенно, понятно, Европы.

Читал Сталин вдумчиво, медленно, делая карандашные пометки на полях; почерк у него был летящий, четкий, почти без нажима; в девятнадцатом году, убедившись, что все его резолюции, записки и пометки на документах навечно останутся в архивах, сделавшись достоянием истории, которая есть не что иное, как вечность, он несколько дней тренировался: раньше-то позволял себе резкости в отзывах, порою даже ломал грифель, раздраженно

подчеркивая ту или иную фразу; во всем нужна самодисциплина, следование логике, не чувству, — даже в том, как и что помечаешь на полях.

Всего несколько раз в жизни он поддался чувству; он помнил каждый эпизод в мельчайших подробностях, цепенея от гнева. Особенно горько было вспоминать, как в двадцатом году он предложил альянс Троцкому; сделал это в своей обычной манере: намек, улыбка, приглашение к соразмышлению. Это было после трагедии в Польше, когда Варшаву не удалось взять и он, Сталин, ждал, что Троцкий не преминет оттереть его и опорочить, но тот был занят ситуацией на Дальнем Востоке и Закавказье, по отношению к нему, Сталину, вел себя на этот раз довольно корректно, не обвинив его ни в чем публично: «на войне, как на войне». Сталин испытал нечто вроде чувства благодарности Троцкому за это и после нескольких дней, ушедших на взвешивание всевозможных прикидок, написал ему — во время заседания Политбюро — записку, предлагая встретиться, чтобы исследовать комплекс причин поражения, — урок на будущее.

Пробежав послание, Троцкий даже не взглянул *на него,* Сталина, шепнул что-то Ленину, а уж потом, усмехнувшись, начал что-то быстро писать в своем блокноте. Сталин следил за каждым его жестом: сначала захолодел от обиды, когда заметил, сколь рассеянно пробежал Троцкий его предложение о заключении пакта дружества, — новичок в политике не поймет, что значит такая записка, а Троцкий дипломат тертый. Когда же Сталин увидел, что тот, низко склонившись над столом, пишет свою записку, отошел, ибо понял: вот он, ответ предреввоенсовета. Троцкий, конечно же, прав, зачем обмениваться взглядами, — и Зиновьев и Каменев наблюдают за каждым движением вождя РККА, тяжко не любят его и завидуют. Они, ученики Ильича, работавшие с ним бок о бок пятнадцать лет (эпизод двадцать четвертого октября не в счет), оттерты на третье, а то и на четвертое место, а тот, кто постоянно воевал против Ильича, стал «человеком номер два», и его портреты почти столь же популярны в стране, как Ленина...

Сталин нетерпеливо ждал, что Троцкий ему напишет; он был убежден, что Лев Давыдович верно поймет его, их блок гарантирует несокрушимое единство ЦК, ибо только они, два исполина, могут удержать страсти: в руках Троцкого армия, без которой невозможно гарантировать порядок, у Сталина — не только государственный

контроль, инспекция всех наркоматов, но и окраины республики, конгломерат национальностей, а это, как-никак, Украина, Белоруссия, Кавказ и Туркестан...

Троцкий, однако, перебросил первую записку Крестинскому, а вторую — Фрунзе, приглашенному на заседание в связи с предстоявшими боевыми действиями, план которых был вчера утвержден.

Именно тогда Сталин ощутил нечто подобное ожогу; обычно бледный, он почувствовал, как кровь пульсирующе прилила к щекам.

Назавтра Троцкий позвонил ему по «вертушке»:

— Когда бы вы хотели заехать ко мне, товарищ Сталин?

— К сожалению, — ответил Сталин, — ситуация изменилась: навалилась куча дел.

— Хорошо, — усмехнулся Троцкий, — как разберете кучу — звоните.

Сталин тогда медленно, как-то даже гадливо опустил трубку на рогоподобный рычаг и подумал: «Жди! Не дождешься!»

...Исследуя реакцию западноевропейской прессы, которая всячески обыгрывала тот факт, что среди расстрелянных руководителей компартий Восточной Европы — Ласло Райка в Венгрии, Анны Паукер в Румынии, Сланского в Чехословакии — большинство были евреями, стояли у колыбели своих партий, Сталин поначалу решил разыграть карту Ракоши, Кагановича и Мехлиса. Действительно, руководителем Венгрии оставался еврей Матиас Ракоши (усмехнулся, вспомнив соленую шутку одного из своих коллег: «Матиас твою в ракоши»), здесь, в Москве, членом Политбюро является Каганович, а его многолетний помощник, Мехлис, стал министром госконтроля; о каком антисемитизме может идти речь?

Однако в свете того, что готовится в следующем, пятьдесят третьем году, Сталин понял, что такого рода ответ западноевропейским оппонентам будет тактикой, а ему пристало думать лишь об отправных вопросах стратегического плана — на многие годы вперед, на века, говоря точнее. Он понимал, что запланированное им на будущий год (а он начал готовить это еще в тридцать шестом, когда Каменев и Зиновьев признались в том, что служили шпиону Троцкому; то, что было продолжено в кампании против космополитов в сорок седьмом; то, что подтвердили процессы Райка и Сланского, рассказавших, что они слу-

жили как Гитлеру, так и еврейскому «Джойнту») будет делом нелегким. Действительно, только наивный политик может верить в то, что старая гвардия простила ему расстрелы членов ленинского ЦК, что она не будет дрожжами памяти о том, что именно Троцкий был первым наркомом обороны, Зиновьев — председателем Коммунистического Интернационала, Каменев — заместителем Ленина; во имя торжества его, Сталина, дела Карфаген должен быть разрушен. Память хранят люди, и только их изоляция гарантирует появление чистого листа, на котором можно написать то, что внуки его внуков будут считать Евангелием от социализма. Именно тогда он заново пересмотрел подготовленный им состав новых членов Президиума ЦК, который надлежит избрать завтра: из стариков, хранящих *память*, остались только Молотов, Ворошилов и Микоян; чужая душа — потемки; смешно предполагать, что Молотов забыл, как он работал с Каменевым, Рыковым и Крестинским; помнит, еще как помнит... А Ворошилов? Забыл, как славил «вождя Красной Армии» Троцкого? Вопрос с Кагановичем и Мехлисом будет решен иначе, все продумано и взвешено... Нет, именно сейчас, на Девятнадцатом съезде, он, Сталин, должен обратиться к Западной Европе совершенно иначе, никак не реагируя на развернувшуюся кампанию об его, Сталина, антисемитизме...

Поэтому-то, тяжело облокотившись на трибуну, он и прочитал то главное, что за кордоном поймут все — как политики, так и трудящиеся:

— Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт нынешними правителями Европы... Его некому поднять, кроме как коммунистам Запада...

(Не отсюда ли, кстати, и надлежит отсчитывать начало «еврокоммунизма»?)

...На закрытом заседании съезда, когда началось выдвижение кандидатур в ЦК, Сталин, сидевший, как обычно, на самой последней скамье президиума, совершенно один, неожиданно для всех поднялся и попросил у председательствовавшего слово; тот вместо ответа истерично зааплодировал.

Сталин медленно шел к трибуне, ощупывая ногами ступени, как слепец, а зал поднялся, устроив ему очередную овацию (первая, когда его имя было названо среди кандидатур в члены ЦК, длилась около пяти минут).

Он снова облокотился на теплое дерево трибуны, словно бы повиснув на ней, как-то безучастно осмотрел неистовствовавший зал, потом медленно поднял руку, прося тишины.

— Товарищи... Я очень устал... Да и годы не те... Спасибо вам за то, что вы так честно и вдохновенно работали вместе со мною... Все эти четырнадцать лет — после Восемнадцатого съезда... Я прошу дать мне самоотвод... Прошу, так сказать, отставку... Я же — в свою очередь — назову того, кого мог бы смело рекомендовать на мое место, — и, повернувшись к президиуму, он медленно обвел взглядом лица членов Политбюро, задержавшись на лице Молотова чуть больше, чем на лицах остальных коллег.

...В зале началось невообразимое:

— Сталина! Сталина! Сталина! — скандировали делегаты съезда. — Хотим Сталина! Сталина! Сталина!

Сталин слушал овацию, по-прежнему обвисающе опираясь на трибуну, а перед глазами стояло демоническое лицо Троцкого, когда тот подал в отставку: было это в июле девятнадцатого из-за разногласий с ним, Сталиным, по поводу стратегии на Южном фронте.

Сталин никогда не мог забыть, что Ленин поручил именно ему, Сталину, подготовить решение ЦК; он понимал, что Ленин не зря поручил именно ему написать проект; обида была непередаваемо тяжелая; это, однако, оказалось для него таким испытанием на прочность и выдержку, за которое он потом не раз благодарил судьбу.

В проекте решения Сталин писал, что Орг. и Политбюро ЦК, рассмотрев заявление т. Троцкого, пришли к единогласному выводу, что принять отставку т. Троцкого они абсолютно не в состоянии. Орг. и Политбюро ЦК сделают все от них зависящее, чтобы сделать наиболее удобной для т. Троцкого и наиболее плодотворной для республики ту работу на Южном фронте — самом трудном, самом опасном и самом важном в настоящее время, — которую избрал сам т. Троцкий... Твердо уверенные, что отставка т. Троцкого в настоящий момент абсолютно невозможна и была бы величайшим вредом для республики, Орг. и Политбюро ЦК настоятельно предлагают т. Троцкому не возбуждать более этого вопроса и исполнять далее свои функции, максимально, в случае его желания, сокращая их ввиду сосредоточения своей работы на Южфронте...

Прочитав проект решения, Ленин тогда как-то по-особому, *взвешивающе* глянул на Сталина и молча подписал

документ, не сделав ни одной правки; вернул машинописную страничку Сталину, попросил согласовать с Каменевым, Крестинским, Калининым и Серебряковым; он, Сталин, свою подпись поставил последним; никогда не мог забыть, с какой помпой Троцкий после этого уехал на своем поезде на фронт, к Воронежу.

Тогда именно Сталин и понял всю томящую сладость отставки, которую просят, заранее зная, что никто ее не примет, — истинный триумф авторитета, еще одна ступенька вверх, звенящее ощущение собственной значимости...

Лишь семь лет спустя Сталин решился на то, чтобы повторить фокус Троцкого; он подал в отставку, когда Троцкий был уже снят с поста наркомвоена, а его бывшие враги Каменев и Зиновьев разгромлены, хотя и кровавой ценой — они публично потребовали зачитать завещание Ленина, в котором содержалось требование: Сталин должен быть смещен. Но с той поры, как Ленин написал свое завещание, прошло три года; Сталин сумел заручиться поддержкой Бухарина, истинного любимца партии, с ним был Председатель Совнаркома Рыков, руководитель профсоюзов Томский, с ним был Серго, которого Ленин называл другом, могущественный зампред ГПУ Ягода, заворготделом Каганович, Куйбышев и Андреев — они сделают так, что делегаты не примут его отставки, отвергнут ее столь же решительно, как он, Сталин, в свое время подготовил решение, отвергавшее отставку Троцкого. Все течет, все меняется; побеждает тот, кто силен, умеет просчитывать вероятия и наделен даром памятливой выдержки. Его, Сталина, жизнь оделила этим даром с лихвой. Он помнил, он помнил все — со страшившей порою его самого фотографической точностью деталей. Он, например, никогда не мог забыть, как в Вене, впервые встретившись с Троцким на квартире одного из меньшевиков, вошедшего затем во Временное правительство, он сидел в углу, возле книжного шкафа, страдая от того, что Лев Давыдович разговаривал с гостями по-немецки, не утруждая себя тем, чтобы хоть пояснить ему, о чем шла речь; один он, Сталин, не знал языков, приехал из глубинки, откуда же в товарище такая невнимательная черствость? Он плохо спал в ту ночь, вертелся под пуховой периной в доме приятеля; чувствовал себя обгаженным, заново анализировал, что думали о нем собравшиеся, когда он, истомившись своим вынужденно-непонимающим молчанием, достал какую-то книгу из шкафа, но и та оказалась немец-

кой, — не ставить же ее на место, да и дверца скрипит, могли б петли смазать... Тем не менее, когда Временное правительство заставило Ленина и Зиновьева перейти на нелегальное положение, а Троцкого и Каменева бросило в тюрьму, именно он, Сталин, написал воззвание: «Никогда еще не были так дороги и близки рабочему классу имена наших вождей, как теперь, когда обнаглевшая буржуазная сволочь обливает их грязью!»

Он боялся этих воспоминаний, гнал их от себя, но, когда начальник кремлевской охраны Паукер рассказал ему, как Зиновьев перед расстрелом падал на колени и молил о пощаде, а Каменев презрительно сказал: «Перестаньте, Григорий, надо умереть достойно», Сталин с мучительной ясностью увидел свои строки, написанные им после того, как Каменев, выпущенный Керенским из тюрьмы, был немедленно обвинен буржуазией в том, что якобы сотрудничал с охранкой: «Контрреволюционных дел мастерам надо во что бы то ни стало изъять и обезвредить Каменева как одного из признанных вождей революционного пролетариата...»

Именно он, Сталин, — по поручению ЦК — разоблачил эту клевету, именно он доказал всю вздорность и гнусность такого рода обвинений Каменева, который был тогда его ближайшим другом.

То же самое с ним, Сталиным, произошло и после того, как по его требованию расстреляли Бухарина. Он лежал на диване, и не мог уснуть, и отгонял от себя навязчивые картины — близкие, ощутимые, слышимые; их первая встреча с «Бухарчиком» в Вене, когда тот проводил с ним целые дни, работая в библиотеке, переводил ему немцев, французов и англичан, делал выписки, советовал, как лучше *строить* «Марксизм и национальный вопрос»... Именно тогда, в ту бессонную ночь, когда все было кончено с последними членами ленинского Политбюро, он услыхал в себе годуновскую страшную фразу, произнесенную кем-то другим, незнакомым: «бухарчики кровавые в глазах»...

И, словно бы защищаясь от нее, этой зловещей, как бы усиленной динамиками фразы, он перекричал ее вопросом, обращенным не к себе, а к кому-то громадному, нависшему над ним давящей тенью: «Каждый из них мог принять бой и умереть молча, но ведь они на это не пошли! А я бы пошел!»

Но он снова вспомнил Троцкого, его указание держать на учете семьи офицеров и принимать их на ответственные

посты в том случае, если имеется возможность в случае измены захватить семью.

Он никогда не забывал этих жестоких слов Троцкого, но применил их он, Сталин, в тридцать шестом, когда перед Каменевым поставили дилемму: или два его сына погибнут, или он, Каменев, сыграет ту роль в спектакле процесса против Троцкого, которая будет для него написана...

«А если бы мне предложили такое? — спрашивал себя Сталин много раз. — Я бы отрекся от себя, своего прошлого, своего честного имени — во имя детей?»

Он никогда не отвечал сразу — даже себе; любой ответ должен быть взвешенным и до конца точным.

Нет, сказал он себе, я бы не отрекся от себя и своего дела. Тарас Бульба пожертвовал сыном во имя общего дела, и он был прав; я бы смог повторить его подвиг, ибо человек до той поры человек, пока за ним не захлопнулась дверь камеры; выхода из нее — так или иначе — не будет, такова жестокая логика политической борьбы. Да и потом, почему я должен верить тому, кто заточил меня в темницу? Это — противоестественно. Почему я должен верить, что моих детей пощадят? Если меня не пощадили, чем они, дети мои, семя мое, лучше? Нет, я бы повел себя не так, как повели себя Зиновьев, Лева и Бухарчик...

Зиновьева — не любил, с Каменевым подружился еще в начале века на Кавказе, когда тот руководил пропагандой, поэтому и сейчас машинально называл его «Левой»; именно так обращался к нему и в ссылке, и весной семнадцатого, в «Правде», когда вместе редакторствовали, стараясь сдержать Ленина от его резкого поворота к социалистической революции, а уж Бухарчик — в самые трудные годы — был словно брат ему, как же ему иначе называть Николая, как?!

...Сталин стоял на трибуне безучастно, недвижно, потом вновь поднял руку, прося тишины, но это подлило бензина в огонь, — казалось, перепонки порвутся от грохота оваций.

Тогда, досадливо махнув ладонью, словно бы отгоняя надоедливую муху, Сталин сошел с трибуны и покинул зал заседаний...

...Назавтра, во время Пленума, Сталин попросил слова сразу после того, как избрали членов Президиума, заме-

нившего Политбюро. Сталин ввел молодежь — не зря в завещании Ленин советовал делать ставку на новые кадры; он, Сталин, соратник Ленина, во всем следует ему. Он, Сталин, выполнил, кстати, и другой его завет: никогда, начиная с двадцать четвертого года, не разрешал называть себя «генеральным секретарем ЦК».

...На трибуну он поднялся легко, обвисать не стал, овации пресек резко, словно бы наложив руку на рты кричавших в его честь здравицы.

— Если вы заставили меня вновь поработать в качестве секретаря ЦК, — атакующе, без давешних придыханий, сказал он, — то я должен сообщить вам, что в партии оформился и функционирует новый оппозиционный уклон. Правый уклон по своей сути. И рассказать об этом должны товарищи Молотов и Микоян... Вот чем нам надлежит заняться на заседаниях нового Президиума, именно этим, а ничем другим.

15

В Барвихе, на небольшой даче, где, ожидая второго ребенка, жила Юля Хрущева, внучка Никиты Сергеевича, я повстречался с маршалом Тимошенко — громадноростым, бритоголовым, в коричневом приталенном костюме и черных лаковых туфлях не менее как сорок пятого размера, наверняка заказных.

После первых же фраз разговор перешел на проблему «культа личности»: только-только закончился Двадцать второй съезд.

— Никогда не забуду лица Сталина, — рубяще, командно заговорил Тимошенко, — когда я приехал к нему на Ближнюю Дачу на второй день войны: запавшие, небритые щеки, глаза тусклые, хмельные... Он сидел у обеденного стола, словно парализованный, повторяя: «Мы потеряли все, что нам оставил товарищ Ленин, нет нам прощенья...» Таким я его никогда не видел, а знакомы-то с восемнадцатого, добрых четверть века... Хотя, помню, видел его однажды хмельным в двадцать седьмом году, в день десятилетия Рабоче-Крестьянской Красной Армии... И случилось это при любопытнейших обстоятельствах... Я тогда командовал войсками в Смоленске, провел торжественное заседание, только-только перешли в банкетный зал, как меня вызывают на прямой провод, звонит Лев Захарович Мехлис, помощник Сталина:

— Срочно выезжай на аэродром, бери самолет и жми в Москву! Я отправляю машину в Тушино.

Через два с половиной часа я подкатил на «паккарде» к Центральному Дому Красной Армии — там гуляли годовщину РККА, не поминая, ясно, ни Троцкого (а ведь как-никак первый нарком обороны республики), ни Вацетиса, которого именно Троцкий протащил на пост Главкома: многие были против, мол, из царского генерального штаба, золотопогонник, но Лев Давыдович настоял на своем, крутой был мужик, Сталин у него, честно говоря, много взял, не во внешнем, конечно, облике, а в умении пробивать свое... Шапошникова Бориса Михайловича, полковника царской разведки, тоже Троцкий в РККА привел наперекор всем, но потом в поддержке отказал: тот уж больно поляков ненавидел, «католические иезуиты, ляхи», даже статью против них бабахнул в двадцатом, за что Троцкий журнал прикрыл, а Шапошникова — «за шовинизм» — бросил, как говорили, на низовку, слава богу, еще не шлепнул сгоряча, он это тоже умел... Потом, когда Троцкого турнули, Шапошников снова поднялся, Сталин его поддержал, был у меня начальником генштаба — единственный беспартийный на таком посту... Думаю, кстати, Сталин его не без умысла ко мне приставил... Да... Прибыл, значит, я, вошел в банкетный зал, а там и Бубнов, и Блюхер, и Егоров, и Якир с Уборевичем, Позерн, Буденный, Лашевич, Раскольников, Примаков, Штерн, Подвойский, Крыленко, Корк, Эйдеман, Тухачевский, ясное дело, ну и Ворошилов со Сталиным... Все, гляжу, хоть и под парами, разгоряченные, но какие-то напряженные, нахохлившиеся... Сталин, пожав мне руку, говорит: «Мужик, ну-ка, покажи себя...» Он меня еще с гражданской называл «мужиком», любил рослых, а особенно тех, у кого в семье был кто из духовенства... Я его спрашиваю, что надо сделать. А он трубку раскурил, — лицо жесткое, глаза потухшие, хмельные, — пыхнул дымком и говорит: «Я предложил провести соревнование по борьбе — кто из наших командиров самый крепкий... Вот Тухачевский всех и положил на лопатки... Сможешь с ним побороться? Но так, чтоб его непременно одолеть?» Я, конечно, ответил, что будет выполнено. «Ну, иди, вызови его на поединок». Я и пошел. А Тухачевский крепок был, не так высок, как я, но плечи налитые, гири качал, как только на скрипке своей мог играть, ума не приложу, она при нем крохотной казалась, хрупенькой, вот-вот поломает... Ну, я к нему по форме, он ведь старше меня был по званию, командарм, я

только комдив, так, мол, и так, вызываю на турнир... Тухачевский посмотрел на Сталина, усмехнулся чему-то, головой покачал и ответил: «Ну, давайте, попробуем». Схватились мы с ним посредине залы; крепок командарм, жмет, аж дух захватывает, а поскольку я выше его, мне не с руки его ломать, захват приходится на плечи, а они у него, как прямо, понимаете, стальные... Вертелись мы с ним, вертелись, а вдруг я глаза Сталина увидел — как щелочки, ей-богу, а лицо недвижное, будто стоит на весенней тяге, так весь и замер... Как я эти его глаза увидел, так отчего-то ощутил испуг, а он порою придает человеку пребо-ольшую, отчаянную силу! Ухватил я Тухачевского за талию и вскинул вровень с собой, а когда борец ног не чувствует, ему конец, потому как опоры нету, будто фронт без тыла... Ладно... Держу я его на весу, жму, что есть сил, а он решил ухватить меня за шею, чтоб голову скрутить, — без нее тоже не с руки бороться... Но я этот миг как бы заранее почувствовал, взбросил командарма еще чуть выше и что было сил отшвырнул от себя. Но — не рассчитал: он спиною ударился о радиатор отопления и так, видно, неловко, что у него даже кровь со рта пошла... А Сталин зааплодировал мне, заметив: «Молодец, мужик! Положил забияку, будет знать, как своей силой похваляться...» Чокнулся со мной, выпил, повернулся и пошел к выходу, ни с кем не попрощавшись...

Тимошенко замолчал, поднял со стола рюмку и, неожиданно для всех, резко поднявшись, откашлялся:

— Предлагаю тост за выдающегося деятеля международного рабочего движения, — начал *рубить* он, — гениального военачальника Великой Отечественной, страстного борца за мир и дружбу между народами, нашего дорогого Никиту Сергеевича Хрущева...

...Воистину, никто так легко не отдает права править собою, как мы... Традиция? Или рок? Неужели закономерность?

16

Сергей Николаевич Новиков, большевик с восемнадцатого года, пришел в ЧК в двадцатом, принимал участие в борьбе с басмачеством, переехал в Москву, учился в институте, затем был отправлен в Казахстан, работал в

Алма-Ате, в тридцать пятом году стал одним из руководителей местного НКВД.

Однажды ночью услыхал, как к дому, где он жил, подъехали три машины; выглянул из-за шторы, увидал оперативную группу, выскочил во двор, перемахнул через забор и ушел в *бега*.

В Москве он объявился в тридцать девятом уже, после расстрела Ежова, когда из тюрем начали выпускать тех ветеранов, кого не успели уничтожить физически, но сломали морально: именно тогда Сталин и начал разыгрывать карту «большого обмана» — мол, прежнее руководство НКВД «обманывало» страну, арестовывая невинных людей.

Женившись на моей тетушке Александре Ноздриной, Сергей Николаевич сдружился с моим отцом; дружба перешла ко мне «по наследству»; выйдя на пенсию и поселившись в деревне, Новиков рассказал, отчего его должны были арестовать.

— Ни Филипп Медведь, начальник Ленинградского ЧК, ни его заместитель Запорожец, готовивший убийство Кирова, не были расстреляны, — Сергей Николаевич заметно нервничал, рассказывая мне сокровенное, что он носил в себе больше тридцати лет. — Их отправили на Восток, да и не в лагеря, а на стройки, и не заключенными, а руководителями... Поэтому от Медведя «пошли круги» — он не мог не поделиться с друзьями о том, как после убийства Кирова в Питер приехал Сталин, вызвал к себе Николаева и задал он ему всего три вопроса, один из них был решающим: «Вы где достали револьвер?» А Николаев ответил в ярости: «У Запорожца спросите, он всучил!» Сталин приказал немедленно Николаева ликвидировать, обматерив при этом Молчанова, одного из помощников наркома НКВД Ягоды, затем вызвал из камеры Борисова, начальника охраны Сергея Мироновича, побеседовал с ним с глазу на глаз; в тот же день Борисова убили.

Пресса, не подготовленная к тому, как комментировать происшедшее, сразу же обвинила в убийстве Кирова белогвардейцев. И лишь после того, как все свидетели были расстреляны или погибли при загадочных обстоятельствах, был дан залп против оппозиции, а в январе тридцать пятого был проведен закрытый процесс против Каменева и Зиновьева: им дали по пять лет лагерей за то, что они якобы несли моральную ответственность за убийство Сергея Мироновича.

Так вот, поскольку с Медведем я неоднократно встре-

чался, в голове у меня шевельнулись первые сомнения — что-то во всем этом деле нечисто... Но дрогнул я лишь после того, как наш казахский нарком вернулся из Москвы в Алма-Ату в январе тридцать шестого, собрал коллегию, стенографиста попросил покинуть кабинет и сообщил, что начальник управления Молчанов проинформировал собравшихся: в стране открыт грандиозный заговор, во главе которого стоят Троцкий, Каменев, Иван Смирнов, Зиновьев. Главная цель: убийство товарища Сталина и его ближайших соратников — Ворошилова, Кагановича, Орджоникидзе, Жданова, Чубаря; наркомат переходит на военное положение, все иные дела (будь то шпионаж, экономические диверсии, злоупотребления по должности) откладываются, *работаем* троцкистско-зиновьевских террористов... А я, брат, возьми, да и бухни: «А кто же этот заговор раскрыл? Почему мы, чекисты, не имели до сих пор никаких намеков на такую разветвленную цепь?» Мой нарком чуть съежился, на вопрос не ответил, но, многозначительно посмотрев на меня, заключил: «За работой следствия будет наблюдать лично товарищ Сталин, а руководить — секретарь ЦК Николай Иванович Ежов. Это все. Готовьте предложения. Срок — двадцать три часа. Точка».

Сергей Николаевич — бровастый, лупоглазый, большелобый — поднялся с табуретки, походил по маленькой кухоньке, застланной домотканными дорожками, остановился возле печки, прижался к ней, словно бы стараясь вдавить в нее свое тело, вобрать ее тепло, ощутить *спину* (нет ничего важнее, чем чувствовать *надежду* у себя за спиной), и, закурив «гвоздик», продолжил:

— Ежова я встречал дважды, — маленький, быстрый, глаза оловянные, улыбка быстрая, располагающая, — и каждый раз дивился тому, отчего товарищ Сталин выдвинул именно его на это дело. Образованием он не блистал, говорил с плохо проставленными ударениями, порой путал падежи; я тогда подумал: мы ж горазды на самоуспокоение, точнее, самообман, — мол, выражается так, чтобы быть понятным самым широким слоям народа. Эрудиция Каменева, честно говоря, порою ставила в тупик, не всем была понятна, — больно уж профессорский тон, сплошная искрометность, афоризмы, иностранные слова... Да, брат...

Был у Ежова друг, заместитель народного комиссара земледелия Конар, приезжал к нам единожды, за день перед этим пришла шифровка: «Обеспечить помощь по всем вопросам. Ежов». Ну, ясно, мы и прыгали вокруг Конара, да разве одни мы? А потом — ба-бах! — берут этого

самого Конара, оказался шпионом, настоящая фамилия Полищук, польская разведка ему дала документы на имя красного командира Конара, убитого в перестрелке, внедрился, «рос» двенадцать лет, обосновался в Москве, вошел в «свет», а как свиделся с Ежовым — сразу сел в кабинет заместителя наркома земледелия... А это, брат, не шутка — вся стратегия борьбы с бухаринским уклоном в МТС проводилась в жизнь им, Конаром. Причем не мы, ЧК, его раскрыли... Молодой большевик, из МТС, случайно увидавший Конара, ахнул: «Да я ж с товарищем Конаром в одном полку служил! Никакой это не Конар!» Только после этого мы поставили наблюдение и получили прямые улики шпионской деятельности замнаркома... А ведь поначалу Ежов звонил Ягоде, кричал: «Не сейте семена подозрительности! Не клевещите на честных большевиков! Занимайтесь лучше своими проходимцами, которые бегут на Запад!»

Да, брат, такие вот были дела... Словом, назавтра, в двадцать три по нулям, собрались мы у наркома. Мне дал слово первому: «Ну, что у тебя? Давай фамилии троцкистско-зиновьевских убийц. Кто даст серьезные показания? Какие улики?» Я ответил, что, по данным тех отделов, что я курировал, никаких зацепок нет, оппозиционеры давно разоружились, честно трудятся, никаких претензий. А он: «Плохо работаете». — «Что ж, *выбивать* угодные показания, как в охранке?» Он аж крякнул: «Товарищ Ягода издал приказ, завтра огласите всем сотрудникам: „Любые меры принуждения, угрозы, обещания подследственным будут караться как преступление! Мы работали, работаем и будем работать с чистыми руками!"».

А назавтра наркома забрали. А ведь не кем-то был — родственником Сталина, комиссар госбезопасности Реденс... Ясно? А послезавтра я ушел в бега, убедившись, что действительно начался термидор, заговор против самой памяти Феликса Эдмундовича.

В *бегах* я отлеживался в горах, жил в пастушеской сараюшке, газеты — хоть с опозданием, но читал. И постепенно создалось у меня впечатление, что дружба Конара с Ежовым не случайна, Ежов — самый настоящий шпион, вражина, делает все, чтобы оставить товарища Сталина одного, лишить его всех тех, с кем он был в революции. И я написал подробное письмо Сталину. Почерк, конечно, изменил, не подписался, отправил из другого города, в полтысяче километров от тех мест, где скрывался; никакой реакции; еще, наоборот, больше портретов

Ежова, да еще новый лозунг выдвинули: «Учиться жить и работать по-сталински у товарища Ежова»...

Когда Ежов исчез, после Восемнадцатого съезда уже, я прочитал в газетах отчет о судебном процессе над Луньковым, бывшим начальником НКВД в Кузбассе, который арестовывал малолеток и выбивал из них показания, что они, мол, готовили теракт против товарища Сталина. Детей бросали в те камеры, где было полным-полно старых большевиков, а тюрьма — организм особый, через стены, перестуком, информация расходится не то что по городу — по стране, не удержишь... Тогда я и понял, чем Ягода и Ежов вырывали показания у ленинцев: страхом за жизнь детей... Логика: если чужие малыши сидят, значит, и мои мучаются в соседней камере... Вот после того, как открытый суд приговорил Лунькова к расстрелу, я и решил вернуться в Москву... Устроился в Покровском-Стрешневе завхозом строительства и начал чекистскую комбинацию: поскольку в газетах ничего о Ежове не писали, я решил вновь вернуться к гипотезе о его шпионской деятельности: надо ж народу вразумительно объяснить, что страшная трагедия, свидетелями которой мы были, — дело рук иностранной разведки... Поэтому я начал слежку — да, да, именно так, форменную слежку — за домами, где жили сотрудники НКВД, там мои друзья, верные друзья, с гражданской еще... Я хотел поговорить со «стариками», глядишь, подскажут, как надежнее передать письмо о Ежове лично товарищу Сталину... Один дом я наблюдал месяц — каждое воскресенье садился в скверике с газетой и «срисовывал» всех входящих и выходящих... Ни одного из стариков не увидал, все новые лица, значит, *моих* постреляли... Потом перешел ко второму дому — тоже никого... Словом, брат, четыре месяца я *работал*... И только на пятом повезло: увидел Вадима, мы с ним в двадцатых учились вместе... Окликнул его негромко, он заметил меня, но не подошел, только чуть кивнул. Я сберинулся — слежки вроде за ним не было, остался на лавочке, сижу, читаю, жду... Он вякольнул вечером, проходя мимо, шепнул, чтоб, мол, я ехал в парк «Эрмитаж», там поговорим. Ну, и поговорили... Выслушав меня, он выпил граненый стакан водки, закусывать не стал, словно воду минеральную проглотил, и, склонившись ко мне, шепнул: «Дурак ты, Сережка! Дурак, как все мы... Я присутствовал на собрании, когда Ежов нам объявил, отчего Ягода арестован... Он, оказывается, изобличен в том, что был агентом охранки еще с девятьсот седьмого года... А ведь Ягода

вроде б в девяносто седьмом родился, об этом в энциклопедии было написано... Десятилетний агент?! А мы? Молчали, Сережа. Все, как один, молчали... А потом я узнал, что важнейшие ответы Бухарина на процессе писал Сталин... И сочинил ему такое признание, что, мол, я, Бухарин, подозревал Ленина в том, что тот немецкий шпион, еще с семнадцатого года, когда проехал в «пломбированном» вагоне Германию, чтоб скорей попасть в Россию... А после того, как Ленин потребовал Брестского мира, я, Бухарин, до конца убедился, что Ленин — немецкий шпион, и поэтому решил его убить... И тут Бухарин взорвался: «Ради Нюси и Юры я готов погибнуть, оклеветав себя, но такого я не подпишу! Стреляйте всех нас, убивайте нас троих, но я не дам Сталину обвинить мертвого Ленина в шпионаже! Не дам, и все тут!» Сережа, Сережа, о чем ты?! Бухарин спас Ленина! Согласись он сказать на процессе то, что написал ему Сталин, — вычеркнули б Ильича из учебников, помяни мое слово! А кто нам телеграмму прислал: «применяйте пытки»? Сталин, Сережа, Сталин... Нам эту телеграмму зачитали, потому я тебя домой и не пригласил, я один остался из тех, кто ее слыхал, значит, дни мои сочтены, так или иначе *подберут*... А ты — «письмо товарищу Сталину»... Забудь, Серега, Ежов был его подметкой, а никаким не шпионом...

Сергей Николаевич прерывисто вздохнул, еще резче вмял свое кряжистое крестьянское тело в печку и глухо закончил:

— После Двадцатого съезда я на партсобрании выступил против того, что о Сталине говорили как о человеке, который руководил войной по глобусу... Это было... Но я и за то выступил, чтоб открыть все правду про убийство Кирова... Зачем я тебе говорю все это? Отвечу. Один старик, из могикан, сказал мне: «Ты ж Юльку знаешь, спроси, зачем он в «Семнадцати мгновениях» Сталина помянул? Разве можно славить сатрапа?!» А я ему ответил: «Трагедия наша в том, что Сталин, который выбил ленинцев, стоял на трибуне Мавзолея седьмого ноября сорок первого, и для нас, в окопах, это было счастьем — для всех без исключения: и кто знал правду, и кто не знал ее... Хочешь, чтоб снова писали лишь одну грань правды? Но разве это история? Нет, брат, история — это когда пишут *всё*... И — как бы со стороны — без гнева и пристрастия. Иначе — не история это, а подхалимский репортаж; тоже придется вскорости переписывать...»

17

Сразу же после расстрела Каменева и Зиновьева самый массированный удар был нанесен по дзержинцам, ибо все они были потрясены коварством Сталина, обещавшего сохранить жизнь обвиняемым взамен на «спектакль».

Никто из ветеранов ЧК не верил, что те являлись агентами Троцкого, убийцами и заговорщиками, но все они были убеждены в необходимости окончательного идейного разгрома троцкизма, — в этом и видели смысл операции «Процесс 1936».

К концу тридцать восьмого года практически весь аппарат Дзержинского, то есть все те, кто создавал ЧК, были расстреляны — без суда и следствия, как злейшие враги народа, шпионы и диверсанты.

Один из создателей советской контрразведки Артузов первую коронную операцию за кордоном назвал «Трест»; название утвердил Феликс Эдмундович.

Именно «Трест» позволил молодой Республике Советов сломать боевые отряды контрреволюционной эмиграции.

Не один лишь Борис Савинков (человек беспримерного мужества, уходивший из-под царской петли, адепт террора, вождь боевки социалистов-революционеров) был обезврежен ЧК; генералы Кутепов и Миллер, руководители «Русского Общевоинского Союза», также были нейтрализованы службой Артузова.

После смерти Дзержинского (Артузов не верил в естественную *смерть* Феликса Эдмундовича; у всех на памяти была гибель Фрунзе, — кто владеет армией и ЧК, тот контролирует ситуацию) Артузов замкнулся, ушел с головой в работу; против Республики Советов работали все секретные службы на Востоке и Западе.

Попытку вовлечь его в написание *сценария* первого процесса против Зиновьева и Каменева в 1935 году отверг с гневом: «Я против своих не воюю, врагов достаточно».

Будучи арестован с группой первых дзержинцев, вскрыл вены и написал на простыне, вывесив ее — умирающий уже — в окно камеры (тогда они еще были без «намордников»): «Каждый большевик, верный идеям ленинской революции, обязан — в случае первой же возможности — уничтожить Иосифа Сталина, предателя, изменившего делу коммунизма, сатрапа, мечтающего о государстве единоличной тиранической диктатуры!»

18

Отношения Сталина с Глебом Максимилиановичем Кржижановским, первым председателем Госплана республики, задуманного Лениным как высший совет выдающихся ученых и практиков науки — «не более ста человек первоклассных экспертов», — были натянутыми с начала двадцать первого года.

Сталин знал, что Кржижановский был одним из ближайших друзей Ильича, отношения их сложились еще с конца века, в шушенской ссылке; вместе *выстрадали* эмиграцию, вместе работали над планом ГОЭЛРО, любили одних и тех же композиторов (прежде всего Бетховена), никогда не расходились в вопросах теории и практики большевизма. В двадцать первом — с подачи Орджоникидзе, Дзержинского и Троцкого — Ленин порекомендовал Кржижановскому согласиться на то, чтобы его заместителем стал Пятаков: «У него административная хватка, такой вам — интеллигенту с добрым сердцем — поможет по-настоящему, очень талантлив, хоть и крут, подражает Льву Давыдовичу, военная школа...»

Генеральный секретарь разрешал себе подшучивать над Глебом Максимилиановичем иначе — в присутствии тогдашних своих друзей Каменева и Зиновьева: «Кржижановского надо назначать на самые ответственные участки работы, дать ему собрать аппарат из себе подобных, затем набраться терпения, пока не напортачит, а после выгнать всех его протеже взашей, а Кржижановского перевести на новую работу: пусть снова порезвится в подборе так называемых «кадров» — отменная форма бескровной чистки аппарата».

Зиновьев над предложением Сталина хохотал: «Разумно, а главное — без склок и истерик».

Каменев, однако, качал головой: «Не слишком ли по-византийски? Лиха беда начало, не обернулось бы потом против всех, кто мыслит не по шаблону и подвержен фантазиям. Революции нужны фантазеры в такой же мере, как и прагматики».

Кржижановский знал об этом; Ленину, понятно, ничего не говорил, друга щадил, работал из последних сил, день и ночь; благодаря помощи первого «красного академика» Бухарина привлек к работе Госплана цвет науки: Вавилова, Иоффе, Крылова, Рамзина.

Именно Кржижановский и рассказал семье Подвойских поразительный эпизод, многое объясняющий — не

прямо, но косвенно — из того, что произошло в стра после смерти Ильича.

Когда друзья Ленина приехали в Горки, «Старик» — так называли его самые близкие — уже лежал в гробу: маленький, рыжий, громаднолобый. Каждый из приехавших подходил к нему; слез не скрывали, стояли подолгу, силясь навсегда вобрать в себя лицо друга, человека, который воистину потряс мир.

Всеми нами, вспоминал Кржижановский, владела страшная, пугавшая каждого растерянность: «А что же дальше? Как поступать? Что сказать Надежде Константиновне? Какие найти слова? Когда выносить тело? Мыслимо ли это вообще?!»

— Я, как и мы все, — рассказывал Подвойским Кржижановский, — ощущал себя маленьким ребенком, брошенным на мороз, — ужас, одиночество, растерянность.

Прощаясь, мы стояли подле Ильича, не в силах оторвать глаз от его прекрасного, скорбного лица, стояли безмолвно, потом медленно отходили в сторону, уступая место следующему, надеясь, что Зиновьев ли, Калинин, Бухарин, Рыков, Каменев, Бонч найдет в себе смелость прервать этот леденящий душу процесс прощания с *эпохой*, революцией, Россией, в конечном счете.

Но никто из них не произносил ни слова: молча плакали; плечи тряслись — странный, как в детстве, звук шмыгающих носов, когда безутешно рыдают малыши, стараясь таить свое горе от взрослых...

А потом к гробу подошел Сталин. Глаза его были сухи, только горели лихорадочно, словно у человека, больного тяжелейшим воспалением легких.

Как и все мы, он стоял возле гроба несколько минут, потом вдруг наклонился к Ильичу, обнял за шею, *поднял* из гроба и поцеловал в губы долгим, *открытым* поцелуем. Это потрясло всех; мы никогда бы не простили ему этого кощунства, если бы он, опустив голову Ильича на подушечку, не сказал сухо, командно даже — всем и никому:

— Выносите тело.

Я никогда не мог и предположить, что именно он, Сталин, найдет в себе дерзостную отвагу *взять* на себя слова такой простой, но столь необходимой всем нам команды.

(Надо бы нам постараться понять, а значит, и объяснить — себе и нашим детям, — для чего революционерам, приехавшим в ту страшную ночь в Горки, людям, испытавшим каторги, эмиграцию, тюрьмы, ссылки, совершав-

шим побеги из-за Полярного круга, пришедшим в Революцию для того именно, чтобы бороться за личное достоинство сограждан, которое невозможно вне свободы, в условиях абсолютизма, когда за тебя решают, тебе приказывают и от тебя ждут лишь слепого исполнения приказанного, — отчего этим людям, пророкам Революции, потребовалась команда на поступок, резкая, как удар хлыста?!

Каждая секунда истории человечества хранит в себе триллионы тайн. Однозначный ответ на них невозможен, даже если самые совершенные компьютеры будут включены в работу. Впрочем, последние исследования, проведенные с мозгом Альберта Эйнштейна, дали совершенно новое направление философии науки, подтвердив лишний раз, что мы, надменные земляне, стоим на берегу безбрежного океана таинственного незнания: если ранее — до нового исследования мозга гения — считалось, что главной его субстанцией является нейронная масса, а *глия* — лишь связующее звено между нейронами, то теперь ученые просчитали, что мозг Эйнштейна, провозгласившего новое качество мышления, состоял на семьдесят процентов именно из глии... А ведь вся система компьютеров строилась на нейронном принципе! Значит, и в этом случае человечество избрало ложный путь, лишив себя гигантского объема знаний?!)

— Я никогда не забуду те речи, которые были произнесены над гробом Ильича, — продолжал Кржижановский. — Я не любил и поныне не люблю Сталина, но его речь, не редактированная еще его помощниками Товстухой и Мехлисом, была самой сильной из всех, хотя и резко отличалась от той, которая опубликована в собрании его сочинений...

Спустя четырнадцать лет, в том же Колонном зале, Сталин (когда еще не началось прощание) зарыдал и, прижав к себе голову Серго, убитого по его приказу, повалился — в истерике — на пол, увлекая за собой тело человека, воспитанного Лениным в маленьком французском городке Лонжюмо.

* * *

Когда гроб с телом Сталина выносили из Колонного зала, я стоял возле Манежа. Однако среди тех, кто шел в похоронной процессии, был мой друг — журналист Олег

Широков, женатый в ту пору на одной из дальних родственниц Иосифа Виссарионовича. Он-то и рассказал мне эпизод, который навсегда отложился в памяти.

Гроб выносили из подъезда Дома союзов Берия и Маленков, ростом значительно ниже сатрапа; во втором ряду шли Хрущев и Молотов. Гроб чуть перекосило. Берия, не скрывая раздражения, *приказал*:

— Выше поднимайте! Выше!

Все вздернули руки. Только один человек не внял его команде. Его звали Хрущев.

19

Алексей Ильич Великоречин был парторгом того эскадрона, где комсоргом был мой отец; вместе служили на границе с Турцией в двадцать девятом, с тех пор побратались; в начале тридцатых Великоречина избрали секретарем одного из райкомов партии в Горьком, отец стал работать в Москве, в Наркомтяжпроме, у Серго Орджоникидзе.

Великоречина посадили в тридцать седьмом; несмотря на применение «недопустимых методов ведения следствия», он ни в чем не признался; в тридцать девятом состоялся открытый суд, его реабилитировали «подчистую» — Берия провел по стране около двадцати «показательных» процессов такого рода, нарабатывал образ сталинского «борца за справедливость».

Войну Великоречин провел в окопах, был отмечен солдатскими наградами, получил звание батальонного комиссара; потом закончил аспирантуру, защитился и стал преподавателем марксизма в Горьковском педагогическом институте; единственным человеком, кто осмелился написать письмо моему отцу, когда тот сидел во Владимирском политическом изоляторе, был именно он, Алексей Ильич; люди моего поколения понимают, каким мужеством надо было обладать, чтобы пойти на это.

Вот он-то и рассказал мне, почему единственный раз в жизни напился допьяна, — ни до, ни после с ним такого не случалось.

— Я ведь мужик крестьянский, значит, памятливый... Поэтому меня, знаешь, прямо-таки ошеломило постановление Сталина о закрытии обществ — старых большевиков и политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Произо-

шло это летом тридцать пятого, вскоре после того, как Каменев и Зиновьев были выведены на первый процесс в связи с убийством Сергея Мироновича... В день закрытия обществ я поднял в нашей истпартовской библиотеке подшивки номеров журнала «Каторга и ссылка». Просидел над ними всю ночь напролет — это, кстати, мне потом ставили в вину на следствии: мол, интерес к «троцкистской клеветнической литературе»... И чем больше я читал, тем зябче становилось: и про Дзержинского там были статьи, и про Фрунзе, Каменева, Свердлова, про Ивана Никитича Смирнова, Антонова-Овсеенко, Дробниса, Радека, Енукидзе, Крыленко, Рыкова, Стуруа, Троцкого, Муралова, Пятакова, Шляпникова, Варейкиса, Кецховели, Бадаева, Орджоникидзе, Шаумяна, Бакаева, Мрачковского, Тер-Петросяна — Камо, Литвинова, а про Сталина — однова два упоминания, всего-то... Писать про него стали после тридцать первого года, когда Зиновьев, восстановленный в партии, короновал Иосифа Виссарионовича «железным фельдмаршалом революции»... А уж как только Общество старых большевиков закрыли и журнал политкаторжан прихлопнули, порекомендовав перевести его на «спецхранение», — вот тогда и пошли захлебные статьи про то, что лишь Ленин и Сталин делали революцию.

Понял я той ужасной ночью, зачем Сталину понадобилось уничтожить академика Покровского! Друг Ильича, партийный историк, — вся наша плеяда по его книгам училась! В тридцать первом Сталин писал, что царскую Россию лупили все, кому не лень, — за ее отсталость; теперь, когда он стал «вождем», надо было переориентировать народ: «не нас били, а мы бьем и будем бить!» Покровский-то ограничивал рассмотрение советской истории лишь двадцать третьим годом — последним годом работы Ильича; Сталин потребовал продлить *историю*, включить в учебники Семнадцатый съезд — съезд «Победителей», когда он сделался «Великим Стратегом»... А знаешь, кому он поручил эту работу в тридцать шестом? Не столько Жданову, сколько Бухарину, Радеку, Сванидзе, Файзулле Ходжаеву, Яковлеву, Лукину и Бубнову, зная уже, что дни этих людей сочтены, все они будут расстреляны! Можешь объяснить его логику?! Я — не могу! Почему именно смертникам он поручил сделать книгу о себе — «великом вожде революции»?! Полагал, что те до конца растопчут себя, принеся ему еще одну клятву в верности? Опозорятся, создав фальшивку? Или ему были нужны имена тех революционеров, которых знал мир, — как таким не пове-

рить?! Но почему же тогда он не дождался выхода этой книги и расстрелял их?!

Алексей Ильич отхлебнул горячего, крепкого чая — волгарь, он был «водохлёбом» — и, сокрушенно покачав головой, продолжал:

— Напился я в ту ночь гнусно, до сих пор самого себя стыдно... Теперь-то я понимаю, отчего это случилось: когда я кончил читать старых большевиков, то по всем нормам чести я был обязан на первом же партийном собрании подняться и объявить во всеуслышанье то, что я для себя открыл: не был Сталин «великим революционером» в начале века, никто тогда его не знал: не был он — наравне с Лениным — «вождем Октября»! Что ж нам сейчас голову дурачат?! Неужели мы беспамятное стадо, а не союз мыслящих?! Но, возражал я себе, отчего же все те, кто работал с Лениным до революции: Каменев, Орджоникидзе, Рыков с Зиновьевым, Бухарин, — все они, начиная с тридцатого года, звали партию следовать именно за Сталиным?! Как же им-то не верить?! Ведь Каменев с Зиновьевым начали славить Сталина не в тюрьме, а когда еще жили на свободе! А Радек?! Они, именно они начали создавать его культ, перья-то у них были золотые, воистину! Ну, и придумал я тогда себе оправдание: мол, историки двадцатых годов были необъективны к Сталину, пользовались его скромностью, замалчивали его роль в революции...

Алексей Ильич набычился, голова у него была античной лепки, крепкая, круголобая; замер, словно роденовский мыслитель, а потом закончил:

— Когда меня привели на пересуд — уже после расстрела Ежова, один из профессоров, шедший со мной по делу, сказал: «Я закончу свои показания здравицей в честь товарища Сталина — ведь именно он спас ленинцев от уничтожения бандой Ягоды и Ежова». А новый сосед, которого привезли из Москвы — он раньше в Наркомпросе работал, у Крупской, — процедил сквозь зубы: «Дорогие мои сотоварищи, если даже нонешний суд нас оправдает, то все равно через пару лет шлепнут, ибо по стране все равно *поползет* правда о том, что мы, ленинцы, перенесли, а ее, эту правду, без нового тридцать седьмого не изничтожить...»

...Когда отец вышел из тюрьмы, я спросил его, получил ли он письмо Алексея Ильича. Старик ответил, что ни от кого, кроме меня, писем ему не передавали.

А ведь великоречинское письмо я самолично опустил в почтовый ящик...

Алексей Ильич Великоречин умер в горькие годы «застоя»: сердце не могло смириться с ощущением тинной, засасывающей болотности — заплыл далеко в Черное море и не вернулся...

20

Мой многолетний партнер по бильярду, писатель Николай Асанов, был человеком труднейшей судьбы; впервые его арестовали в начале тридцатых, потом выпустили, вскоре забрали снова; каждый день он писал письма наркому внутренних дел Ягоде и прокурору Вышинскому, ответов, понятно, не получал. Отчаявшись, обратился к Сталину. Через две недели, в день Первого мая, в три часа утра, его подняли с нар и повели по бесконечным коридорам внутренней тюрьмы, пока он не оказался в большом кабинете.

Напротив него сидела женщина в глубоко декольтированном платье, ангельской красоты и кротости.

— Я не поверил своим глазам, — рассказывал Асанов, выцеливая шар. — Это была Марьяна, видный работник эн-ка-ве-дэ, жена одного из руководителей нашего писательского Союза. Я потянулся к ней, ощутив слезы счастья на щеках; она, однако, чуть отодвинулась, но сделала это так, что я сразу не ощутил пропасть между нами... Тем не менее ласковым, доброжелательным голосом она спросила, как я себя чувствую, нет ли каких жалоб, а затем предложила объяснить — более подробно, чем в письме товарищу Сталину, — почему я считаю несправедливым происшедшее со мной.

Сбиваясь, путаясь, испытывая желание приблизиться к ней, ощутить ее тепло — ведь мы же были на «ты» раньше, — я принялся излагать свое дело, а это ужасно, когда тебе приходится оправдываться в том, в чем ты никак не повинен. Наверное, я был смешон, жалок и неубедителен.

А за окном была рассветающая Москва, и гулькающие голуби ходили по отливам окон громадного кабинета Марьяны. Я ощущал запах ее духов и горечь длинных папирос, которые она курила, сосредоточенно слушая мое бормотание. Марьяна вдруг резко поднялась, и прелесть

ее точеной фигуры снова ошеломила меня, сделала арестантом, мастурбирующим на *мечту*, подошла ко мне, протянула папиросу и тихо, с горечью сказала:

— Послушай, Асанов, хватит нитки на хер мотать! Садись-ка лучше за стол и пиши правдивые показания, это, убеждена, спасет тебе жизнь...

Последние ее слова я слышал уже в состоянии полуобморочном, потому что начал сползать со стула на ковер.

Асанов красиво положил шар, посмотрел на меня своими постоянно смеющимися глазами, в глубине которых прочитывалась неизбывная горечь, и, намелив свой фирменный кий, купленный за четвертак у нашего маркера Николая Березина, поинтересовался:

— Не правда ли, прелюбопытнейший сюжетец, а?

Асанова вскоре выпустили. А Марьяну расстреляли — пришел Ежов, начал «подчищать» последние кадры Ягоды; расстрельщик Васюков (официально назывался «исполнитель») с работой не справлялся, пришлось поставить дело на конвейер, убивали из пулеметов; чтобы не было слышно, во дворе заводили грузовики; шоферам велели газовать на всю «педаль» — полная гарантия тишины...

21

ЛЕТО ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО

Нас тогда на Спасо-Наливковском осталось трое: Витёк, Талька и я. По утрам мы собирались возле шестого подъезда, читали по складам «Пионерку», играли в «классики» или «штандер», а потом ходили по этажам — смотреть опечатанные квартиры. Каждую ночь в нашем доме опечатывали несколько квартир. Иногда их опечатывали сургучом, и тогда мы уходили ни с чем, но если сургуча не хватало, опечатывали воском или пластилином; мы осторожно соскабливали его, лепили солдатиков, опускали их в лужи, и они становились совсем как оловянные.

— Говорят, вчера маршала Буденного арестовали, — сказал я, — за то, что у него на даче жила японская балерина.

— Откуда знаешь? — сердито спросил Талька; он не любил, когда кто-нибудь из нас первым сообщал наиболее важные новости.

Я ответил уклончиво, потому что мама настрого запретила рассказывать про то, что я слышал дома. «Ты уже взрослый мальчик, — сказала она, — ты должен понять, что сейчас надо молчать». — «Почему?» — спросил я. И она стала рассказывать про врагов народа, которые теперь, благодаря нашим успехам, со всех сторон окружают родину, — будто я сам не читал об этом в «Пионерке». Родители вообще стали какие-то странные с тех пор, как отец начал меня брать с собою днем. Раньше-то он уезжал на машине к себе в редакцию, где у него были две красивейшие секретарши, которые давали мне печатать на машинке.

Одна, тетя Роза, была дьявольски хороша, и я по ночам мечтал, чтобы она стала моей матерью. Я всегда мечтал о красивой матери, но свою я тоже любил. Я редко видел отца, а теперь мы ходили с ним по улицам, и он расклеивал театральные афиши. А раз я крепко струхнул. В последнее время я часто слышал, как он по ночам тихо говорит матери:

— Краснощекова забрали, а Курочкина и Маршака поставили к стенке.

Я сначала не понимал, что значит «ставить к стенке». Мы, когда играли в «штандер», тоже ставили к стенке, чтобы было удобнее целиться теннисным мячом в того, кто проиграл. А когда отец сказал про дядю Сашу, что его тоже «поставили к стенке», мать охнула и тихо спросила:

— Неужели и Сашу расстреляли?

Стало быть, «расстреливать» и «ставить к стенке» — одно и то же, понял я. Так вот, в воскресенье мы отправились с отцом в Парк культуры. А в вагоне метро ехал один пьяный в лыжных брюках с коричневыми штрипочками, на которые он то и дело наступал каблуками. Когда мы вышли из вагона на станции Коминтерн, пьяный ударил отца по голове. Отец закричал:

— Перестаньте хулиганить! Я вызову милицию!

Образовалась толпа. Подошел милиционер и сказал отцу:

— Гражданин, не мешайте проходу, станьте к стенке.

Я заревел со страху, решив, что отца сейчас будут расстреливать. Я стал хватать его за руку и тащить вверх, на улицу, где было солнечно, и гудели машины, и не было этого страшного кафельного полумрака. Пальцы у отца сделались холодными, а еще я увидел, как у него затряслось колено, когда милиционер стал требовать паспорт.

На улице отец взял меня на руки и прижал к себе, будто я маленький. Я обнял его за шею, а она у него тряслась, и мне стало за него стыдно: я испугался, как бы все не заметили, что он дрожит.

...Витёк начертил на асфальте новые «классики» с большим «огнем» и начал скакать первым. Он великолепно скакал — и «квадратиком», и «змейкой», и «через раз», и «вслепую». Он лучше всех играл в «штандер» и никогда не мазал мячом, если целился в проигравшего. Он был единственный из нас, кто не обижал девчонок и не скрывал, что влюблен в Алку Блат. Вообще, Алка была не по годам серьезным человеком и знала всю правду о семейной жизни. Когда я сказал ей, что у вождей нет пиписек, она хохотала до слез.

— Вот что, — шепнула она, подойдя к нам. — Но дайте честное октябрятское, что никому не скажете.

Мы дали честное октябрятское.

— Мне стало известно, — сказала она, — как рождаются дети.

— Как? — спросил Витёк.

— Очень просто, — ответила Алка Блат. — Для этого надо крепко обнять друг друга и поцеловаться.

Мы с Талькой начали презрительно смеяться, а Витёк подошел к Алке и сказал:

— Я хочу, чтобы ты родила мне ребенка!

— Ну, пожалуйста, — ответила Алка Блат.

Витёк обнял ее и поцеловал. Мы с Талькой стояли потрясенные. Потом Талька покашлял в кулак, полистал «Пионерку» и сказал:

— Я тоже хочу ребенка.

Алка вопросительно посмотрела на Витька. Тот сосредоточенно скакал в «классиках» и ни на кого не глядел.

— Он мне друг, — убежденно сказал Талька, — он разрешит.

— Давайте, — вздохнул Витёк, — только побыстрей.

Но едва Талька обнял Алку и начал примериваться, как бы ее поцеловать, Витёк пустил камень, который гонял по «классикам», прямо в талькину ногу. Талька завыл, потому что камень попал в косточку, а она электрическая — в глазах темнеет от боли. Талька скакал на одной ноге и плакал. Алка смеялась и, уперев руки в бедра, говорила, как ее бабушка:

— Какой же ты мужчина, если плачешь?! Нет, только мы, женщины, умеем переносить боль!

...Вечером, после того как мама напоила меня чаем

с малиновым вареньем, я сразу же уснул. А проснулся от того, что в нашей квартире лаяла собака. Сначала я удивился, потому что у нас не было собаки, сколько я ни просил родителей. Я мечтал воспитать ее и отправить на границу, товарищу Карацупе. Но потом, в перерывах между лаем, я услышал быстрый мамин голос. Как только она смолкала, сразу же начинал лаять пес. Я решил, что родители мне сделали подарок и ночью привели в квартиру немецкую овчарку. Я поднялся с кровати, надел красивые меховые тапочки, которые привез в подарок из Парижа Николай Иванович Бухарин, и тихо пошел в ванную, где лаяла собака, а мама тихонько увещевала:

— Ну, не надо, не надо, успокойся... Не надо, прошу тебя, не надо...

Я чуть приоткрыл дверь и увидел в щелку, что папа сидел на табуретке и лаял, обхватив голову костистыми длинными пальцами, а мама одной рукой гладила его лицо, а другой прижимала к груди отцов маузер, который всегда был заперт в столе.

Я вернулся в комнату, оставив дверь приоткрытой, и сжался под одеялом в комок, чтобы не дрожать. Потом я увидел, как мама подошла к входной двери и долго слушала, прижавшись ухом к скважине. Она осторожно отперла дверь, вышла на площадку и постучалась в квартиру напротив. Там жил отец Витька, папин друг дядя Вася. Я услышал, как отперли дверь, и мне сразу перестало быть так страшно. Я слышал, как мама что-то шептала дяде Васе, но он, перебив ее, громко сказал:

— Оставь меня в покое с провокационными просьбами! Никакого пистолета я у себя не оставлю! А если твой муж, запутавшись в связях с врагами народа, хочет уйти из жизни — не мешай ему!

И захлопнул дверь.

Мама вернулась в комнату и стала плакать. Тогда из ванной вышел отец и, кивнув на меня, сказал:

— Если бы не он, я бы знал, что сейчас надо делать.

— Тише, — прошептала мама, — прошу тебя, тише...

— Мальчика жаль, — повторил отец. — А то бы я сделал то, что обязан сделать большевик.

— Тише, — снова попросила мать, — неужели ты не можешь говорить шепотом?

— Я бы сделал то, что надо делать! — вдруг визгливо закричал отец. — Я бы сделал!

— Что ты говоришь?! — охнула мама. — Ты хочешь погубить ребенка?

— Я не сплю, — сказал я сонным голосом. — Я только что проснулся, мамочка.

Мать подбежала ко мне; щеки у нее были мокрые, а губы сухие и воспаленные.

— А что такое «уйти из жизни»? — осторожно спросил я.

Она вся затряслась, а потом стала меня баюкать. Отец поднялся и зло усмехнулся:

— Бардак, а в бардаке еще бардак.

В дверь постучались. Мать замерла, и я почувствовал, как у нее стало холодеть лицо. А отец засмеялся — весело, так, как он смеялся раньше, когда в нашем доме еще не опечатывали квартиры.

— Кто? — спросил он громко.

— Я, — так же громко ответил из-за двери дядя Федя, отец Тальки, чекист, комиссар госбезопасности.

Отец отпер дверь. Дядя Федя вошел в квартиру. Он был в полной форме, с золотым шевроном на рукаве гимнастерки.

— Сначала предъяви ордер, — сказал отец.

— Дурак, — ответил дядя Федя. — Как только не стыдно, Семен... Давай я заберу оружие, Галя.

Мать дала ему маузер, и он сунул его в карман.

— Тебе лучше бы уехать сейчас, — сказал он отцу. — Куда-нибудь в деревню, в шалашик, — сено косить.

Он хмыкнул чему-то, потрепал отца по плечу и ушел.

...Утром Витёк сказал мне:

— А папа мне с тобой больше не велит водиться.

— Почему? — удивился я.

— Потому, что ты сын пособника врага народа.

— Дурак, — сказал я. — Мой отец работает заместителем Чарли Чаплина.

(Это была правда; отец сам сказал мне об этом, когда мы с ним клеили афиши, а я досаждал ему вопросом: «Кто ты теперь, пап?» В нашем дворе все мы, дошкольники и октябрята, придавали большое значение постам, которые занимали наши родители. Это было важно потому, что определяло, какую должность ты получишь в военной игре. Вот отец и ответил про Чарли Чаплина.)

Витёк презрительно засмеялся:

— Никогда не говори неправды. Чаплина давно поставили к стенке.

— Он артист, — возразил я.

— Ну и что? Артистов тоже ставят к стенке. Всех можно поставить к стенке.

Пришла Алка Блат с нареванным носом:

— Талька съябедил, что я вам буду рожать детей. Знаешь, что со мной бабушка за это сделала?

— Это правда? — тихо спросил Витёк.

— Нет, — ответил Талька. — Я никому ничего не ябедил. Я просто сказал, что у нас скоро будет ребенок.

— Кому ты сказал? — спросил Витёк.

— Бабушке.

Витёк коротко стукнул Тальку в грудь, а потом ударил ногой по заднице.

— Иди отсюда, — сказал он. — Я больше не стану играть с тобой в «классики».

И мы стали играть в «классики» втроем, а Талька сидел возле парадного на скамеечке, сопел носом, но молчал, потому что боялся Витька.

...К нашему шестому подъезду подкатила зеленая «эмочка», и из нее вышли три человека в кепках с длинными козырьками. Шофер не стал выключать мотор, из выхлопной трубы попыхивал голубенький дымок, солнце сверкало в никелированных бамперах и ослепительных колпаках, на которых красным было выведено: «Завод имени Молотова».

Трое в кепках быстро вошли в подъезд. Мы удивились: куда это они так рано? Талькин отец, чекист дядя Федя, уезжает в двенадцать, и за ним приходит машина с номерным знаком МА 12-41. На шестом этаже никто не живет, потому что там всех забрали, на пятом этаже остался один трубач из военного оркестра, но про него говорят, что он «родственник», и потом у него туберкулез, а на трубе он играет только по ночам. На четвертом этаже живем мы с Витьком, на третьем этаже всех забрали, на втором квартира Тальки, а на первый вселился домуправ — после того, как увезли Винтера с женой, которые оказались японскими шпионами. Они вечно кидали нам леденцы из окна, когда мы играли в «классики» или в войну. После того как к ним приехала Надежда Константиновна Крупская, мы — в знак большого уважения — стали говорить Винтерам «гутен абенд». Но мы недолго говорили им «гутен абенд», потому что вскоре их арестовали. Наутро после того, как их квартиру опечатали, Талька сказал:

— А я колики в животе почувствовал.

— Ну и что? — спросил Витёк.

— Ничего, — Талька вздохнул. — Если не понимаешь, так подумай.

Мы начали думать, но так ни до чего и не додумались.

— Леденцы-то мы чьи ели? — помог, наконец, Талька.

— Винтеровские, — ответили мы.

— Вражеские, — поправил Талька. — Вражеские, троцкистско-бухаринские леденцы.

— Ерунда, — ответил Витёк, подумав, — на них было написано по-советски.

— Маскируются, — грустно усмехнулся Талька. — Верьте не верьте, а леденцы были явно отравлены проклятыми Винтерами.

Трое в кепках вышли из подъезда вместе с витькиными отцом, дядей Васей, и мамой, Марией Афанасьевной.

— Витенька! — закричал дядя Вася. — Сынок!

— Сыночек! — крикнула его мама. — Сыночка, дай я тебя поцелую! Витенька, дай я тебя поцелую!

Шофер дал газу, и машина умчалась. Витёк как стоял на месте, так и замер. Талька многозначительно подмигнул мне. На первом этаже открылось окно, и жена управдома внимательно на нас посмотрела. Потом открылась наша форточка, и мама крикнула мне:

— Быстренько поднимись домой!

— Сейчас, — ответил я.

Открылось окно и в Талькиной квартире.

— Таля, домой! — крикнула его бабушка. — Быстро!

— Алла! — пробасила бабушка Блат из пятого подъезда. — Домой!

И мы пошли по квартирам. А Витька так и остался стоять на месте.

Их квартира была опечатана воском. Я сковырнул кусочек, чтобы потом вылепить солдатика. Воск был еще очень теплым и податливым.

Назавтра в школу Витька не пришел. Урок начался с изучения биографии героя Октября и творца всех наших побед: «Сталин — это Ленин сегодня».

22

НЕОБХОДИМЫЙ КОММЕНТАРИЙ

... Брежнев, пришедший в школу в 1915 году, должен был драть шапку перед портретом государя — все драли! Он же кидал в костер портрет государя — все кидали. Он учился в классах; на стенах висели портреты вождей Октября: Ленина и Троцкого; потом прибавили Зиновьева, Каменева и Сталина, затем Бухарина и Рыкова. После убрали Троцкого и добавили Калинина. Затем вынесли Зиновьева с Каменевым, но тиражировали Ворошилова. В комсомол он вступил, когда в партии был признанный «триумвират настоящих ленинцев» — Бухарин, Сталин, Рыков. Занимаясь в институте, он — как и все — покорно принимал новость: Бухарин и Рыков — то есть Вождь Третьего Интернационала и глава Советского правительства — тоже уклонисты. С тех пор для него был лишь один вождь: Сталин, который «Ленин сегодня».

Своего пика такого рода *приписки* достигли в 1937-м. Людей решили до конца отучить думать — под страхом расстрела семьи, близких, знакомых даже.

Людей заставили поверить (и они с готовностью пошли на это), что Сталин был вождем Октября и победителем в Гражданской и Великой Отечественной.

Людей приучили слепо верить *последнему* слову, слову того, кто овладел вершиной пирамиды.

Когда Брежнев дал себе орден Победы и пять геройских звезд, он шел по проторенному пути, провозгласив, что истинным автором Победы был он, полковник Брежнев.

Мы не верили, слишком еще кровоточило, но ведь аплодировали на собраниях, еще как аплодировали. И мы, писатели, наравне со всеми, аплодировали вручению ему Ленинской премии за литературу, хотя прекрасно знали, кто именно написал ему «Малую Землю» и «Целину».

В 1937 году люди не могли не аплодировать расстрелам ленинской гвардии — их бы замучили в одночасье, все население СССР было тогда *заложником* Сталина.

В семидесятых *могли* не аплодировать — тем не менее грели ладони.

Инерция страха? Или покорность исторически привычному абсолютизму?

Попробуем проанализировать, как же и когда создавались социалистические *приписки*.

Для этого возьмем «Биографию» Сталина, с одной стороны, и «Воспоминания» Крупской, письма Ленина, протоколы ЦК РСДРП, мемуары ленинцев, опубликованные в двадцатых годах, — с другой.

(С моей точки зрения, «Биография» Сталина, написанная им самим, но оформленная коллективом академических марионеток, явилась началом санкционированных *приписок*.)

Итак, Сталин: «В революционное движение я вступил с 15-летнего возраста, когда я связался с подпольными группами русских марксистов...»

С кем именно? Кто руководил этими группами?

В архивах охранки имя Сталина впервые появляется лишь в 1902 году.

Примечательно: Сталин произвольно определяет начало своей революционной работы практически тем же годом, когда в Питере развернул свою деятельность Владимир Ильич. «Соратник и друг» — воистину! Как же близка Сталину византийская символика!

Обратимся к Крупской: рассказывая о ссылке в Шушенском, она пишет про тех товарищей Ильича, с кем он чаще всего переписывается, — Мартов, Потресов, Кржижановские, а к Виктору Курнатовскому «Ильичи» ездили в гости в октябре 1898 года.

«Биография» Сталина: «По приезде в Тифлис осенью 1900 года он (Курнатовский. — *Ю. С.*) завязывает тесные отношения со Сталиным... становится ближайшим другом и *соратником** Сталина».

Заметим, что не Сталин становится соратником старого революционера, а, наоборот, Курнатовский делается другом юного, никому не известного «Сосо».

Да и вообще, чем подтверждается это утверждение? Воспоминаниями старых большевиков? Письмами с Кавказа, полученными Лениным от Курнатовского? Архивами? Ничем это не подтверждается, кроме как «выдающимся марксистским трудом» Л. П. Берия «К истории большевистских организаций Закавказья».

Крупская: «На „Искру“ работала типография в Баку... Там работали братья Енукидзе, руководил делом Красин (Лошадь)».

...К десятилетию Октября ГИЗ выпустил воспоминания Красина, в которых он пишет о своих товарищах по не-

---

* В цитатах курсив мой. — *Ю. С.*

легальной борьбе на Кавказе, рассказывает о Ладо Кецховели, Аллилуеве, Авеле Енукидзе, о многих других, однако ни разу не упоминается имя «истинного вождя» кавказских большевиков. Почему? Возможно, забыл? Тогда отчего же его не поправили старые большевики, работавшие тогда на Кавказе? Ведь это был 1927-й, а не тридцать седьмой; ленинцев еще не начали пытать, вынуждая клеветать на себя!

В начале двадцатых годов Авель Енукидзе, старейший ленинец, бессменный секретарь ЦИКа, опубликовал книгу мемуаров. Там не было ни слова о «выдающейся» роли Сталина. В 1935 году Енукидзе принудили переписать мемуары, заставили *сочинить* легенды о роли «вождя» — еще в начале века. Сразу же после этого Авель Енукидзе был арестован и после чудовищных пыток расстрелян как «шпион и враг народа».

Сталин: «Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки... Я находился тогда в Сибири, в ссылке... Письмецо Ленина было сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего плана работы партии на ближайший период».

В архивах партии нет ни копии письма Ленина, ни ответа Сталина.

Крупская: «Весной Ильич познакомился со старым революционером-народоправцем Натансоном и его женой... Он (Натансон. — *Ю. С.*) знал массу людей, знал прекрасно цену каждому человеку, понимал, кто на что способен, к какому делу кого можно приставить. Что особенно поразило Владимира Ильича — он знал прекрасно состав не только своих, но и наших с.-д. организаций лучше, чем многие наши тогдашние чекисты. Натансон жил в Баку, знал Красина, Постоловского и др. Кто-то рассказывал, как этот старый революционер рыдал, когда в Баку впервые в жизни увидал грандиозную демонстрацию».

Л. П. Берия: «Демонстрацию организовал Сталин».

Ой ли?

Послушаем Виктора Николаевича Таратуту, кандидата в члены ЦК РСДРП, члена Большевистского штаба, героя декабрьского восстания в Москве. Именно он был участником первой большевистской конференции на Кавказе, состоявшейся накануне третьего съезда, за который так ратовал Ленин.

«В начале 1905 года я, — свидетельствует Таратута, —

впервые встретил товарища Каменева Льва Борисовича — в качестве руководителя местных (кавказских. — *Ю. С.*) большевистских организаций. На этой областной конференции Каменева избрали в качестве разъездного по всей стране агитатора и пропагандиста за созыв нового съезда партии...»

Крупская: «С Кавказа (на третий съезд РСДРП. — *Ю. С.*) приехали четверо: Миха Цхакая, Алеша Джапаридзе, Леман и Каменев. Мандата было три. Владимир Ильич допрашивал: кому же принадлежат мандаты, — мандатов три, а человек — четыре? Кто получил большинство голосов? Миха возмущенно отвечал: «Да разве у нас на Кавказе голосуют?! Мы дела все решаем по-товарищески. Нас послали четверых, а сколько мандатов — неважно». Миха оказался старейшим членом съезда — ему было в то время 50 лет. Ему и поручили открыть съезд».

Почему же легендарный Миха Цхакая тогда вообще ни разу не упомянул имя Сталина? Ни на съезде, ни в перерывах? Забыл?

Только спустя много лет после Революции его понудили *вспомнить*.

...Когда Ильич и Надежда Константиновна вернулись в Москву в 1905 году, жить им — по условиям конспирации — приходилось поврозь.

Надежда Константиновна вспоминает: «В то время я была секретарем ЦК и сразу впряглась в эту работу целиком. Другим секретарем был Михаил Сергеевич — М. Я. Вайнштейн. Помощницей моей была Вера Рудольфовна Менжинская. Таков был секретариат. Михаил Сергеевич ведал больше военной организацией, всегда был занят выполнением поручений Никитича (Л. Б. Красина). Я ведала явками, сношениями с комитетами, людьми...

В середине декабря состоялась Таммерфорсская конференция. Как жаль, что не сохранились протоколы этой конференции! С каким подъемом она прошла! ...Там были Лозовский, Баранский, Ярославский, многие другие. Мне запомнились эти товарищи потому, что уж больно интересны были их "доклады с мест"».

«Биография»: «На этой конференции товарищ Сталин был избран в политическую комиссию по редактированию резолюций конференции, где работал вместе с Лениным, как один из выдающихся партийных руководителей».

Может быть, Крупская, ведавшая «явками и людьми», забыла «выдающегося партийного руководителя»?

«Биография»: «Сталин — активный участник IV съезда

РСДРП (Стокгольм, апрель 1906 г.), на котором он вместе с Лениным отстаивал против меньшевиков большевистскую линию в революции».

Позволю себе обратиться к роману-хронике «Горение», начатому мною в 1972 году. Я тщательно проанализировал стенограммы Четвертого съезда и привел следующую выдержку из выступления Сталина («Ивановича»): «...Исходным пунктом нашей программы должно служить следующее положение: так как мы заключаем *временный* революционный союз с борющимся крестьянством, мы не можем, стало быть, не считаться с их требованиями, если они в общем и целом не противоречат тенденции экономического развития и ходу революции. Крестьяне требуют раздела помещичьих земель; раздел не противоречит вышесказанным явлениям, значит, мы должны поддерживать полную конфискацию и раздел. С этой точки зрения и национализация Ленина и муниципализация Плеханова одинаково неприемлемы...»

Это так «отстаивают» линию Ленина?!

Горько, что в воспоминаниях делегатов ничего не говорилось о трагедии, постигшей партию: за несколько недель перед открытием съезда в Тифлисе была провалена легендарная Авлабарская типография РСДРП, поставленная Алешей Джапаридзе. При налете полиции было арестовано более двадцати ведущих большевиков Закавказья. Обидно, что эта трагедия до сих пор не тронута нашими историками. Кто именно был арестован? Когда кого выпустили? Примечательно также и то, что за все время Советской власти не было опубликовано ни одного допроса Иосифа Виссарионовича во время арестов. Не пора ли опубликовать?

Любопытен и такой факт: Сталин, трактующий себя в своей «Биографии» «стратегом и теоретиком», за период с 1898 года вплоть по 1907 год собрал лишь один небольшой томик; в основном туда включены листовки (авторство надо еще устанавливать), статьи и брошюра об анархизме.

За это же время его «соратник» — Владимир Ильич Ленин — написал шестнадцать томов, при этом выпускал «Искру» и провел три партийных съезда и конференцию...

...С 1910 по 1912 год «Ильичи» в Париже постоянно встречались с Курнатовским.

(Человек этот был воистину легендарным. Организатор «Читинской республики» в 1905 году, когда рабочие захватили там власть; республику потопили в крови карате-

царского генерала Ренненкампфа, приговорили Курнатовского к повешению, возили его в своем «поезде смерти», чтобы он воочию мог видеть расстрелы революционеров, — такая пытка пострашнее физической. Затем отправили на *вечное поселение* на Нерчинские рудники: оттуда он бежал; через Японию пробрался в Австралию; работал лесорубом, чтобы скопить на билет в Европу; простудился, начал терять слух, в Париж приехал инвалидом. Ленин и Крупская часто бывали у него в госпитале, помогали чем могли, он рвался с ними в Краков, пришел провожать «Ильичей», восторгался первыми номерами «Правды», только-только вышедшими в Петербурге, но о своем «друге», чьим «соратником» был на Кавказе в начале века, не сказал ни слова, что по меньшей мере странно, ибо Сталин в своей «Биографии» пишет: «Она («Правда». — *Ю. С.*) была основана согласно указанию Ленина, по *инициативе* Сталина». Отчего же Курнатовский в разговорах с «Ильичами» даже не упомянул имя «инициатора»?)

Крупская: «В Лонжюмо поселяемся мы и Зиновьевы... В доме, который сняла Инесса (Арманд. — *Ю. С.*), поселились тогда наши вольнослушатели: Серго (Орджоникидзе), Семен (Шварц), Захар (Бреслав). Серго незадолго перед тем приехал в Париж. До этого жил он одно время в Персии, и я *помню* обстоятельную переписку, которая с ним велась... С группой кавказских большевиков у нас всегда была особенно дружная переписка».

Нет у Крупской фамилии Сталина в числе ленинских корреспондентов на Кавказе!

(Трагизм ситуации в Лонжюмо также не проанализирован еще толком и, увы, не стал предметом большой прозы. Когда Ленин, Каменев, Семашко, Рязанов, Зиновьев, Стеклов, Раппопорт и Вольский читали лекции ученикам школы в Лонжюмо, нельзя было представить себе, что слушали их два провокатора — Малиновский и Искрянистов, а все остальные ученики в 1937 году были расстреляны как враги народа, только Серго убили, не пороча имени; все учителя — кроме умерших Ленина, Инессы Арманд и по странной случайности уцелевшего Семашко — оказались «шпионами и двурушниками».)

«Биография»: «Конференция (Пражская. — *Ю. С.*) избрала большевистский Центральный Комитет, создала практический центр для руководства революционной работой в России (Русское бюро ЦК), приняла решение об издании «Правды». Конференция заочно избирает Ста-

лина... членом ЦК партии. Сталин по предложению Ленина возглавляет Русское бюро ЦК».

Крупская: «На конференции был выбран ЦК, куда вошли Ленин, Зиновьев, Орджоникидзе (Серго), Шварцман (Давид), Голощекин (Филипп), Спандарян. Были намечены кандидатуры на случай ареста. *Вскоре после* конференции (почему не на конференции?! — *Ю. С.*) в ЦК были *кооптированы* Сталин и Белостоцкий, питерский рабочий...»

Между *выборами* и *кооптацией* существует значительная разница.

Что же касается «Русского бюро ЦК» и его «руководителя», то здесь существуют две версии: одну предложил Берия, вторую — Собрание сочинений Ленина.

Берия: «...Бюро ЦК во главе с товарищем Сталиным для руководства партийной работой в России... В Русское бюро вошли кроме Сталина Свердлов, Спандарян, Орджоникидзе, Калинин».

Справочный аппарат Собрания сочинений Ленина, первое издание, прижизненное: «Бюро состояло из следующих товарищей: Орджоникидзе, Спандарян, Сталин, Голощекин».

Руководитель Бюро не назван, не было такого *чина* в партии!

Ильич в те месяцы пишет Горькому: «Нам удалось-таки поставить ежедневную «Правду» (т. 48, стр. 81).

Зная любовь Ленина к своим товарищам, можно быть уверенным, что он бы не преминул подчеркнуть *инициативу* Сталина, да и любого большевика-практика; Ленин, однако, этого не делает.

«Огрех» Ленина восполняют Берия и «Биография»: «...1 сентября 1912 года Сталин вновь бежит из ссылки в Питер. Здесь он редактирует большевистскую газету „Правда“...»

Крупская: «...Владимира Ильича... волновало, что «Правда» вначале упорно вычеркивала из его статей полемику с ликвидаторами. Он писал в «Правду» сердитые письма. Лишь постепенно ввязалась «Правда» в эту борьбу».

Сталин санкционировал вхождение в «Правду» меньшевика-впередовца Алексинского и давнего идеологического противника Ленина — философа Богданова. (Крупская по этому поводу глухо замечает: «Об этом Ильич узнал лишь из газет».)

Не без обиды Ильич пишет Горькому: «Не знаю, спо-

собны ли Богданов... Луначарский, Алексинский научиться из тяжкого опыта 1908—1911? Поняли ли они, что марксизм — штука посерьезнее, поглубже, чем им казалось, что нельзя над ней глумиться, как делывал Алексинский... Ежели поняли — тысячу им приветов, и все личное (неизбежно внесенное острой борьбой) пойдет в минуту насмарку» (т. 48, стр 140).

Крупская: «Как Ильич ожидал, так и случилось. С Богдановым вышел скоро острый конфликт: под видом популярного разъяснения слова «идеология» он пытался протащить в «Правду» свою философию».

Трагическим пророчеством звучат ее слова, написанные в тридцать третьем году, накануне «Большого террора»: «Особенностью Ильича было то, что он умел отделять принципиальные споры от склоки, от личных обид и интересы дела умел ставить выше всего... Когда Ильича противник ругал, Ильич кипел, огрызался вовсю, отстаивая свою точку зрения, но когда вставали новые задачи и выяснялось, что с противником можно работать вместе, тогда Ильич умел подойти ко вчерашнему противнику как к *товарищу*... В этом была громадная сила Ильича».

«Биография»: «Сталин... руководит деятельностью большевиков в избирательной кампании в IV Государственную думу».

Крупская: «В Питер для подготовки избирательной кампании... поехали из Парижа близкие товарищи — Сафаров (расстрелян в 1937-м. — *Ю. С.*) и Инесса... По дороге Инесса должна была заехать к Николаю Васильевичу Крыленко (расстрелян в 1938-м)... Восстановлен был Петербургский комитет (ПК), а потом образовано Северное областное бюро, куда кроме Инессы и Сафарова вошли Шотман (расстрелян в 1938-м) и его товарищи Рахья (расстрелян в 1936-м) и Правдин (расстрелян в 1938-м). ...Работа Северного областного бюро подготовила почву для выборов в депутаты от Питера Бадаева — большевика, рабочего-железнодорожника».

В двадцатых годах Бадаев написал воспоминания. О Сталине как «руководителе избирательной кампании» там не говорилось. В тридцатых его сломали — дописал несколько фраз о «выдающейся» роли Иосифа Виссарионовича.

(Что примечательно: выборы были назначены на 16 сентября 1912 года, а Сталин вернулся из ссылки, по свидетельству Надежды Константиновны, лишь 12 сентября; через два дня арестовали Инессу Арманд и Сафарова...

Можно ли «проруководить» избирательной кампанией одному, за четыре дня?!)

Вернемся, однако, к «гениальному руководству» Сталиным «Правдой».

Крупская: «Кроме Малиновского правительство постаралось приставить провокатора непосредственно к «Правде». Это был Черномазов... Карта распространения «Правды» (подготовленная Лениным. — *Ю. С.*) получилась интересная. Только она не была напечатана, должно быть, Черномазов выбросил ее в корзину... *Но бывали и хуже случаи — иногда,* хотя и редко это было, *пропадали без вести* и статьи Ильича. Иногда статьи его *задерживались, не помещались сразу.* Ильич тогда *нервничал,* писал в «Правду» *сердитые* письма, но *помогало мало».*

Ясно, что в тридцатых Крупская уже не могла открыто обвинять Сталина, но ведь в литературе помимо текста существует подтекст; есть строки, но существует и многозначительное «междустрочье». Поэтому накануне «Большого террора» Надежда Константиновна и Мария Ильинична Ульянова прямо-таки заклинали в своих работах (их публиковали редко и неохотно) и выступлениях перед молодежью:

— Читайте Ильича в *подлиннике,* изучайте его работы, письма, даже конспекты...

Они понимали, что ищущие — обрящут.

Увы, всех, кто начинал по-настоящему читать Ленина, а не сталинские «Вопросы ленинизма», уничтожали немедленно; работы Ильича подвергали строжайшей цензуре, из Собрания сочинений выбросили все неугодные фамилии, изъяли множество документов и писем. Готовя термидор, Сталин в двадцатых годах возглашал: «Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя, нашего вождя!» Узурпировав власть, уничтожив друзей Ленина, *знавших правду,* сломав несколько ветеранов, согласившихся *забыть,* Сталин выбросил из Собрания сочинений Ильича всякое упоминание (кроме резких, запальчивых, это ж было в характере Ленина) о Бухарине, Троцком, Зиновьеве, Каменеве, Рыкове, Раковском, Радеке, Преображенском.

Крупская: «Еще осенью 1912 года мы познакомились с Бухариным... Смотрим раз в окно и видим — идет какой-то молодяга с огромным холщовым мешком на спине. Это и оказался Орлов, он же Бухарин... Они довольно обстоятельно потолковали с Ильичем. Бухарин жил тогда в Вене. С тех пор установилась у нас с Веной тесная

связь... Когда мы стали спрашивать Николая Ивановича о его рисовании, он вытащил из своего холщового мешка ряд великолепных изданий картин немецких художников, которые мы стали усердно рассматривать...» И — дальше: «По дороге заезжали в Вену, побывали у Бухариных. Жена Николая Ивановича — Надежда Михайловна — лежала в лежку. Николай Иванович занимался хозяйством, сыпал в суп вместо соли сахар и оживленно толковал о вопросах, интересовавших Ильича...»

А каким трагизмом, горьким предчувствием пронизаны вот эти строки Надежды Константиновны: «Зимой... решено было отправить в Россию Каменева для руководства «Правдой» и работы с думской фракцией... Сынишка Каменева и зиновьевский Степа (оба расстреляны Сталиным в 1937-м. — *Ю.С.*) очень серьезно спорили между собой, что такое Петербург — город или Россия... Ходили мы все провожать их на вокзал. Был зимний холодный вечер... Настроение было у всех сосредоточенное. Думалось, долго ли удастся Каменеву продержаться? Когда теперь придется встретиться?»

...Незадолго перед этим Ленин вызвал из России Сталина.

Разногласия с «Правдой» принимали размеры угрожающие. Провели совещание членов ЦК. Но что примечательно? После прибытия Сталина в Поронино Ильич срочно отправил в «Правду» своего эмиссара — Свердлова, который и наладил всю работу газеты, поставив ее на рельсы решительной борьбы с соглашателями, впередовцами, троцкистами.

Крупская зашифровывает в «Воспоминаниях» нужные слова для того, чтобы спасти для потомков главную информацию. Сначала она, что называется, «золотит пилюлю», приводя отрывок из письма Ленина Горькому: «У нас один чудесный грузин (несколько, правда, странно, что Ленин не назвал своего «ближайшего друга и соратника» по фамилии. — *Ю. С.*) засел и пишет для «Просвещения» большую статью, собрав все австрийские и пр. материалы...»

И — в стык, как резкий монтаж: «Ильич нервничал тогда по поводу «Правды», *нервничал* и Сталин. *Столковывались*, как наладить дело».

Столковались ли?!

...Сталин два месяца прожил в Вене, занимаясь национальным вопросом, близко познакомился там с Бухариным, Троцким, Трояновскими...

Понятно, что человек, не знавший ни одного иностранного языка, не мог заниматься национальным вопросом без помощи Бухарина и Трояновских: речь-то шла о критике австрийской «национальной платформы», которая, понятно, была написана по-немецки. Если внимательно исследовать брошюру Сталина, то нельзя не отметить ее отличие от всего остального, когда-либо им написанного. В чем же дело?

Крупская: «...Вспоминаю отношение Ильича к малоопытным авторам. Смотрел на суть, на основное, обдумывал, как помочь, исправить. Но делал он это как-то очень бережно, так, что и не заметит другой автор, что его поправляют. А помогать в работе Ильич здорово умел. Хочет, например, поручить кому-нибудь написать статью, но не уверен, так ли тот напишет, *так сначала заведет с ним подробный разговор на эту тему, разовьет свои мысли,* заинтересует человека, *прозондирует* его как следует, а потом предложит: «Не напишете ли на эту тему статью?» И автор и не заметит даже, как помогла ему предварительная беседа с Ильичем, не заметит, что вставляет в статью Ильичевы *словечки* и *обороты даже*».

Будучи опытнейшим конспиратором, жена и ближайший друг Ленина начала свою тайную войну против диктатора. Отдавая себе отчет в том, каков ее долг перед подрастающим поколением, она умело и тщательно *зашифровывала* свою рукопись, помогая таким образом оставшимся еще в аппарате ленинцам выпустить ее книгу в свет.

Сомкните абзацы, посвященные молодым авторам, манере Ленина наталкивать их на тему, помогать им писать. Возьмите работу Сталина «Марксизм и национальный вопрос» и проанализируйте ее. Все дальнейшие статьи Сталина — а они появились только после революции, когда он окружил себя штабом помощников: Мехлис, Товстуха, Бажанов (удравший впоследствии на Запад и выпустивший там разоблачительную книгу о «хозяине»)*, — повторяют стиль этой, первой.

А еще за несколько страниц до процитированного абзаца Надежда Константиновна замечает: «В краковский период... Владимир Ильич уделял очень много внимания национальному вопросу. С ранней молодости привык он ненавидеть всякий гнет.

---

* Когда я беседовал с Л. М. Кагановичем, он заметил: «Это я рекомендовал товарищу Сталину Бажанова. Он был хорошим молодым человеком, но потом попал под влияние зиновьевцев, поэтому и удрал...»

Слова Маркса, что нет большего несчастья для нации, чем покорить себе другую нацию, были для него близки и понятны...

Споры по национальному вопросу, возникшие еще во время II съезда нашей партии, развернулись с особой остротой перед войной, в 1913—1914 гг., потом продолжались в 1916 г. ...Ильич в этих спорах играл ведущую роль, четко и твердо ставил вопросы, и эти споры не прошли бесследно».

(Более всего — в советский уже период — Ленину пришлось спорить именно со Сталиным. 30 декабря 1922 года Ленин диктует: «...Приняли ли мы с достаточной заботливостью меры, чтобы действительно защитить инородцев от истинно русского держиморды? Я думаю, что мы этих мер не приняли, хотя могли и должны были принять. Я думаю, что тут сыграли роковую роль торопливость и администраторское увлечение Сталина...»)

Вернемся, однако, к тому, как Ленин руководил работой «Правды» из далекого Поронина, — по всему видно, что его в высшей мере беспокоила ситуация в редакции, контролируемой Сталиным.

Обратимся к «Биографической хронике» Ильича той поры:

1) Январь 1913-го. После окончания Краковского совещания ЦК... обсуждаются вопросы: состав ЦК, работа редакции «Правды» (принята написанная Лениным резолюция о реорганизации работы редакции).

2) В январе Ленин пишет Каменеву о намеченной реорганизации в редакции «Правды».

3) В январе Ленин в приписке к письму Зиновьева к депутатам-большевикам Четвертой госдумы пишет, что обеспокоен отсутствием сообщения о ходе реорганизации редакции «Правды», критикует ошибки редакции; требует установления контроля за денежными средствами газеты.

4) В январе Ленин получает письмо Свердлова и Сталина о положении дел в редакции газеты «Правда».

5) В январе Ленин в *письме* к Свердлову (почему не к Свердлову и Сталину — тот был в Петербурге? — *Ю. С.*) подчеркивает значение «Правды», пишет, что́ в ее постановке «*гвоздь* положения», критикует недостатки в работе редакции, требует немедленной ее реорганизации; отмечает, что от правильной постановки «Правды» зависит исход борьбы с ликвидаторами и работа Петербургского комитета...

6) 1 февраля 1913 года Ленин в письме в редакцию

«Правды» протестует против напечатания в газете «глупого и наглого» письма А. А. Богданова об условиях его сотрудничества в «Правде», *упрекает* редакцию в *нарушении* ею *условий* сотрудничества с Загранбюро ЦК.

7) В марте в письме Каменеву Ленин сообщает о положительной оценке работы Сталина по национальному вопросу (помните Крупскую: для Ильича личные отношения никогда не перечеркивали деловых! — *Ю. С.*), о его аресте...

8) В *конце* марта Ленин получает письмо из «Правды» о ее борьбе с ликвидаторами...

9) В апреле Ленин в письме большевикам — депутатам Госдумы отмечает *улучшение ведения* «Правды»...

10) Ленин в письме в «Правду» поздравляет с выходом газеты в увеличенном формате (это была давняя идея Полетаева, депутата Госдумы, старого большевика. — *Ю. С.*), выделяет главную задачу: «бороться за 100 000 читателей»; критикует за допущенные ошибки и требует их исправления: «Исправленная ошибка исчезает. Неисправленная станет гнойной язвой...»

Стоит внимательно проанализировать *накал* писем Ленина в «Правду» и о «Правде», чтобы стало ясно, как ему было трудно «столковываться» со Сталиным и как резко изменилась ситуация в редакции после того, как Сталин от работы — волею судеб — был отстранен совершенно...

В марте 1917-го Каменев и Сталин, вернувшись в Петербург из ссылки, становятся во главе Русского бюро ЦК и ПК РСДРП(б), берут в свои руки «Правду».

Крупская: «18 марта стала выходить в Питере «Правда» и Ильич стал, начиная с 20-го числа, писать туда «Письма издалека». Их было пять... Напечатано было *только* первое письмо в *день приезда* Ленина в Питер, остальные лежали в редакции...»

Почему же «Правда», во главе которой стояли Каменев и Сталин, не печатала Ленина?

Потому что именно Сталин и Каменев призывали в «Правде» к продолжению войны: «...на пулю — пулей, на снаряд — снарядом» (Каменев); Сталин утверждал, что «теперь есть все возможности решить национальный вопрос в России»; считал возможным блок меньшевистско-эсеровских Советов с Временным правительством, оговариваясь, правда, что Советы, мол, должны контролировать Временное правительство, которое фактически «закрепляет» завоевание народа и борется против «реакции и контрреволюции». (Это князь-то Львов, премьер,

боролся против реакции и контрреволюции?! — *Ю. С.*)

Более того, за неделю перед приездом Ленина именно Сталин и Каменев провели в конце марта Всероссийское совещание большевиков.

Об этом совещании в «Биографии» вообще ничего не сказано, но дается следующее описание роли Сталина в этот период: «Сталин совместно с Молотовым руководит деятельностью Центрального комитета и Петербургского комитета большевиков».

Естествен вопрос: можно ли руководить ЦК, не являясь его членом? Молотов не был членом ЦК. Впрочем, в тридцатых Маленков был назначен Сталиным секретарем ЦК, хотя членом ЦК не являлся; своя рука — владыка!

Итак, почему же «Биография» обошла молчанием Всероссийское совещание большевиков, на котором Сталин делал доклад о политическом моменте?

Да потому, что, во-первых, на этом совещании Сталин приветствовал деятельность эсеровско-меньшевистского Петроградского совета во главе с Чхеидзе, во-вторых, никоим образом не призывал к свержению буржуазного Временного правительства и, в-третьих, рекомендовал большевикам не торопиться с «откалыванием буржуазных слоев»...

Естественно, после такого пассажа Сталина на следующий же день поступило предложение от правых меньшевиков объединиться с большевистской фракцией.

Сталин рекомендовал это предложение принять.

Многие большевики возражали ему.

Сталин доказывал оппонентам:

— Не следует предупреждать возможность наших расхождений... Без разногласий нет партийной жизни... (Хм-хм! 1929—1953 годы! Слово против — и к стенке! — *Ю. С.*)

А через неделю Ленин вернулся в Россию.

Крупская: «В Белоострове нас встретили Мария Ильинична, Шляпников, Сталь и другие товарищи». (О Каменеве тогда уже было нельзя поминать. — *Ю. С.*)

Мария Ильинична Ульянова: «Кроме ближайших товарищей Владимира Ильича и его родных сюда приехали и сестрорецкие рабочие». (Заметим, что написано это было сестрой Ленина 16 апреля 1937 года. Она нашла в себе мужество — несмотря на шантаж и беспрецедентное давление сталинских наемников — ограничиться спасительным: «ближайшие товарищи».)

«Биографическая хроника»: «Ленина... встречают делегация петроградских рабочих во главе с членами ЦК и ПК РСДРП(б), представители газеты «Правда». В числе встречавших были М. И. Ульянова, А. М. Коллонтай, И. В. Шляпников...»

(Поскольку этот том издан в 1973 году, он прекрасно передает дух того времени: черного и белого не называть, «да» и «нет» не говорить... Упомянуты представители ЦК и ПК, но Каменев не назван, хотя — судя по воспоминаниям Ф. Раскольникова — ему первому и досталось от Ленина за «примиренчество».)

«Биография» Сталина: «Навстречу Ленину, на станцию Белоостров выехал товарищ Сталин с делегацией рабочих».

«Биохроника» Ленина: «Ленин в пути от Белоострова в Петроград высказывает Л. Б. Каменеву критические замечания о его статьях в "Правде"...»

Далее, на шестидесятой странице ленинской «Биохроники», приводится следующая фраза Ильича, которой он закончил свой доклад об «Апрельских тезисах»: «Я слышу, что в России идет *объединительская* тенденция, объединение с оборонцами. Это — *предательство* социализма».

О том, что Каменев был «шпионом, диверсантом, оппортунистом, изменником, врагом народа», мы наслышаны с детства. Но ведь за объединение с оборонцами, то есть за «предательство социализма», первым выступил Сталин — такова правда, пора к ней привыкать.

Из песни слова не выкинешь: «Правда», возглавлявшаяся Каменевым и Сталиным, выступила *против* «Апрельских тезисов» Ленина — на следующий же день.

Положение спасли питерские рабочие, ставшие за Ильича стеной.

В апреле состоялась VII конференция РСДРП(б). Почетным председателем избрали Ленина, председателем — Зиновьева, резко критиковавшего именно Каменева.

Ни Каменев, ни Сталин в президиум избраны не были.

Каменев, однако, нашел в себе смелость выступить с содокладом, в котором возражал Ильичу по ряду принципиальных вопросов стратегии и тактики.

Сталин сделал доклад о национальном вопросе, против Каменева не сказал ни слова.

«Биография»: «На конференции Сталин... разоблачил оппортунистическую, антиленинскую линию Каменева, Рыкова и их немногочисленных единомышленников».

Так можно было писать в надежде на то, что стенограммы Апрельской конференции никогда и ни при каких обстоятельствах не будут перизданы в СССР.

Так можно было писать тому и тем, кто *брезговал* народом, считая его безмозглым, беспамятным быдлом.

Приведу лишь одну цитату из протоколов Апрельской конференции, достаточно передающую дух и стиль взаимоотношений большевиков той поры: «...Речь т. Ленина меня не убедила: в его речи не было того ответа, который товарищ должен был дать. Я скажу, что если т. Ленин упрекает польских товарищей в шовинизме, то я могу его упрекнуть в том, что он стоит на точке зрения польских, украинских и других шовинистов. Не знаю, что лучше...»

Кто это говорил? По трагической привычке страха ответ однозначен: Каменев, Зиновьев или Рыков. Нет. Это слова Дзержинского, что не помешало Ленину спустя пять месяцев рекомендовать Дзержинского в Военно-Революционный комитет Петроградского совета, возглавлявшегося Троцким, а еще через полтора месяца назвать его кандидатуру председателем ЧК.

Воистину, мы «ленивы и нелюбопытны». Те, кто сейчас с пеной у рта защищают Сталина, — люди в массе своей малообразованные, некомпетентные, болезненно упрямые, то есть честолюбивые безмерно: «раз я уверовал, отказаться от веры не желаю».

...Прочтем документы Апрельской конференции еще раз.

Посмотрим список кандидатур, выдвинутых в ЦК: Ленин, Зиновьев, Каменев, Теодорович, Сталин, Ногин, Милютин, Глебов (Авилов), Шмидт, Крупская, Шляпников, Калинин, Федоров, Скворцов-Степанов, Свердлов, Бубнов, Смилга, Правдин, Инесса Арманд, Молотов, Дзержинский, Землячка, Залуцкий, Рыков, Сергей Багдатьев.

Из выдвинутых кандидатов *не обсуждались:* Ленин, Зиновьев, Скворцов-Степанов, Молотов, Дзержинский, Рыков.

Когда началось обсуждение кандидатуры Каменева, против него выступил Соловьев (расстрелян. — *Ю. С.)*. Возразил ему Ленин: «...В центральном партийном органе за границей было сказано, что поведение депутатов в процессе, а Каменева в частности, недопустимо. Этим инцидент был исчерпан. Некоторые товарищи считали, что эти меры были недостаточно строги, но, по моему мне-

нию, — достаточны... Поэтому нельзя из-за проступка, за который товарищ Каменев был уже привлечен к суду и достаточно оценен и осужден, нельзя возражать против его кандидатуры... Деятельность Каменева продолжается десять лет, и она очень ценна. То, что мы спорим с товарищем Каменевым, дает только положительные результаты. Присутствие Каменева очень важно, так как дискуссии, которые веду с ним, очень ценны. *Убедив его, после трудностей,* узнаешь, что этим самым преодолеваешь те трудности, которые возникают в массах...»

Он же, Ленин, встал и на защиту Сталина: «Тов. Кобу мы знаем много лет. *Видали* его в Кракове, где было наше бюро. (А раньше, как утверждает «Биография»? — *Ю. С.*) Важна его деятельность на Кавказе. Хороший работник во всяких ответственных работах».

ЦК был избран в следующем составе: Ленин (104 — «за»), Зиновьев (101), Сталин (97), Каменев (95), Милютин (82), Ногин (76), Свердлов (71), Смилга (53), Федоров (42).

...Через три месяца после Апрельской конференции Временное правительство начало травлю большевистского руководства; Ленин и Зиновьев скрылись в Разливе; Троцкий, Каменев и Луначарский были арестованы и посажены в Кресты, откуда их вынуждены были выпустить, поскольку генерал Корнилов готовил свой путч; для него разницы между большевиками, меньшевиками и эсерами не было: раз против царя-батюшки — значит, враг, к стенке или на фонарь!

...Сталин Временным правительством не преследовался, жил вполне легально, даже паспорта не менял, полиция его не преследовала, слежки не поставила...

«Биография»: «*Он* (Сталин. — *Ю. С.*) *непосредственно руководит всем делом подготовки восстания*» (курсив оригинала. — *Ю. С.*).

«Революционный Петроград» (издательство «Наука», Ленинградское отделение, 1977): «По заданию ЦК Военно-Революционный комитет создал *полевой штаб* для дальнейшего руководства восстанием. В него вошли Н. И. Подвойский, А. С. Бубнов, В. А. Антонов-Овсеенко, Г. И. Чудновский, К. С. Еремеев».

Где же Сталин?

Хочу привести документ:

«Известия», № 210, 29 октября 1917 года

«ПРИКАЗ
всем районным Советам Рабочих Депутатов
и фабрично-заводским комитетам

Корниловские банды Керенского угрожают подступом к столице. Отданы все необходимые распоряжения для того, чтобы беспощадно раздавить контрреволюционное покушение против народа и его завоеваний.

Армия и Красная Гвардия революции нуждаются в немедленной поддержке рабочих.

Приказываем районным Советам и фабрично-заводским комитетам:

1. Выдвинуть наибольшее количество рабочих для рытья окопов, воздвигания баррикад и укрепления проволочных заграждений.

2. Где для этого потребуется прекращение работ на фабриках и заводах, немедленно исполнить.

3. Собрать всю имеющуюся в запасе колючую и простую проволоку, а равно все орудия, необходимые для рытья окопов и возведения баррикад.

4. Все имеющееся оружие иметь при себе.

5. Соблюдать строжайшую дисциплину и быть готовыми поддержать армию революции всеми средствами.

Председатель Петроградского Совета
Рабочих и Солдатских Депутатов
Народный комиссар

Лев Троцкий

Председатель Военно-Революционного
комитета
Главнокомандующий округом

Николай Подвойский

...Поднимите подшивки газет той поры: фамилии Сталина практически нет, — Ленин, Троцкий, Подвойский, Крыленко, Антонов-Овсеенко, Раскольников, Дзержинский...

Так кто же руководил Октябрем?!

Этот краткий комментарий к «Биографии» Сталина, относящийся лишь к 1898—1917 годам, я хочу закончить, пригласив читателя к новому прочтению книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир».

С 1930 года работа американского коммуниста, похороненного в Кремлевской стене, была объявлена «вредной», ее запретили, упрятав в спецхраны; если находили у кого-то в личной библиотеке, сажали по статье 58, пункт 10: «призыв к свержению или ослаблению Советской власти».

Почему произошло такое?

Да потому, что Рид ни разу не упоминает Сталина, словно бы и не было его в Октябре.

Откроем первую страницу.

Предисловие Ильича: «От всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран. Эту книгу я желал бы видеть распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки, так как она дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция...»

Предисловие Крупской: «...Книжка Рида дает настоящую картину настоящей народной массовой революции, и потому она будет иметь большое значение для молодежи, для *будущих* поколений — для тех, для кого Октябрьская революция будет уже историей. Книжка Рида — своего рода *эпос*...»

А теперь — фрагменты из «Послесловия» издательства, выпустившего эту книгу в 1958 году, после двадцативосьмилетнего перерыва:

«...Джон Рид в силу объективных условий... не мог с необходимой конкретностью и достоверностью изучить деятельность большевистских партийных центров в период подготовки восстания и во время восстания... В книге не получила достаточного изображения та упорная борьба, которую вели Ленин и его ближайшие соратники против капитулянтов и против тактической линии Троцкого... Ошибочно утверждение Рида, что, "быть может, никто, кроме Ленина и Троцкого, и петербургских рабочих и простых солдат, не допускал мысли, что большевики удержат власть дольше трех дней"...»

Вот так в 1958 году те же люди, которые незадолго перед тем выпускали «Биографию» Сталина, позволяли себе, уже после XX съезда, править и корректировать Ленина, не говоря уже о Крупской, открыто отвергая оценки Ленина!

Сейчас этих редакторов назвали бы «силами торможения», «сталинистами».

Я бы назвал их проще: «антиленинцы».

Среди выпускавших Рида были и тридцатилетние, те, которые сейчас аплодируют перестройке и не перестают восхищаться гласностью и демократией.

И мы позволяем себе непростительную роскошь верить им.

«Прежде чем объединиться, надо раз и до конца размежеваться».

Опасно забывать литые формулировки Ленина, это чревато новой трагедией, которая по своим масштабам может оказаться столь же ужасной, как и тридцать седьмой год, ибо мы еще не отвыкли от тотальной лжи, *поле не перепахано.*

Я не зову к карам. Наоборот: я предлагаю сохранить оклады, содержание, машины и прочие житейские блага всем тем, кто *состоялся* во времена Сталина, для кого он и поныне — единственный и непререкаемый авторитет. Хозяин, Вождь.

Пусть живут в достатке, к которому привыкли.

Но пусть не имеют *прав* ставить палки в колеса перестройки, мешая тем, кто защищает демократию и гласность.

Пусть они уйдут!

23

ОСЕНЬ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОГО

Ах, какая прекрасная была та осень! Леса стояли тихие, золотые, гулкие. Над полями гудели пчелы. В маленьких речушках, прозрачных и медленных, опрокинувшееся небо казалось неподвижным и торжественным, словно заутреня. Кончался сентябрь, но было словно в июне: травы — зеленые, вода — теплая, ночи — светлые.

— Господи, — сказала старуха в белом платке, стоявшая рядом со мной, — благость-то вокруг какая, а?! Будто и греха нет.

Она оглянулась: очередь на передачу в Ярославскую пересыльную тюрьму тянулась с Волги вверх, прерывалась булыжной дорогой, где стоять не разрешалось, чтобы не было излишнего скопления возле тюрьмы, и плотно жалась на деревянном тротуаре, который вел к маленьким зеленым воротам под сторожевой вышкой.

В очереди стояли старухи с серыми от загара лицами; руки их были коричневые, синие вены казались черными,

а ногти были бесформенные от копания в земле; стояли здесь бабы с детишками, чаще всего грудными; на солнце детишки плакали, а в тень отойти нельзя, потому что очередь и есть очередь — к тюремным ли воротам, за сахаром ли: пропустил свое, на себя и пеняй.

И среди сотен женщин в очереди двое мужчин: безногий полковник запаса Швец и я. Швец передвигался на тележке, к которой были приделаны шарикоподшипниковые колесики. Раньше он ходил на двух протезах — с громадным трудом, но все-таки ходил. Однако с тех пор, как арестовали его сына, студента филфака, и по решению ОСО осудили на десять лет по пятьдесят восьмой статье за участие в антисоветской организации, преследовавшей «ослабление и подрыв существующего строя», безногий полковник запил, бросил свои хитрые протезы и стал передвигаться как рядовые инвалиды — на тележке.

Швец стоял под березой, в единственном месте, где была тень; он был, как командир на параде, — с орденами и медалями на белом шелковом кителе, а мимо него к тюремным воротам тянулась бесконечная тихая очередь.

...Приехав в Ярославль, я долго искал тюрьму и нашел ее только наутро, потому что сначала, когда еще ходили автобусы, было как-то стыдно спрашивать кондукторов, где пересылка: был субботний день, в автобусах ехали веселые молодые люди в белых рубашках и красивые девушки; они говорили тихо, нежно, о чем-то заветном. Словом, к тюрьме я добрался только ранним утром. От Волги тянуло великолепным запахом свежей рыбы, дегтя и дымка. Из открытых тюремных ворот попарно шли зэки с чемоданчиками и вещмешками. Они спускались к баржам, а по обе стороны тюрьмы, оттесненные конвоем, стояли женщины: все в белых платочках, похожие на птиц, с коричневыми лицами и громадными, натруженными руками. Заключенные шли быстро, стараясь не смотреть на своих баб, а те кричали, и невозможно было разобрать, что они кричали, потому что их голоса сливались в один. Там были имена — в их вопле слились воедино десятки Николаев, Иванов, Петров. Шла волна, когда забирали колхозников, и поэтому имена были земные, прекрасные и многострадальные.

Когда наша очередь подошла к воротам, поджужжал на своей каталке Швец и, подтянувшись на руках, забрался на деревянный тротуар. Старуха, что стояла перед нами, спросила:

— А ты по ком страдаешь, убогонький?

— По России, — ответил полковник запаса, — по России, бабка, ети ее мать...

Нас запустили в ворота. Охранник сказал:

— Быстро, быстро, граждане, не задерживайтесь во дворе!

Мы пошли по асфальтовой дорожке вдоль линии колючей проволоки, протянутой по внутренней стороне забора, мимо окон, забранных намордниками, чувствуя на своих спинах глаза охранников, стоявших с автоматами на вышке.

Запускали в тюрьму десятками. Сейчас шли семь старух, русая красавица в открытом сарафане и мы со Швецом.

В приемной камере стоял тяжелый запах карболки и хозяйственного мыла. Прямо напротив маленькой входной двери было окошко, а налево — железная дверь, запертая на громадный висячий замок. Старухи, осторожно отталкивая друг друга острыми локтями, сразу же выстроили очередь. Окошко открылось. В квадратном вырезе, освещенном низко висящей лампой, я увидел две большие руки, лежавшие на списках, нацарапанных чернильным карандашом. Больше в окошке ничего не было видно: две руки и списки.

Бабка, стоявшая в очереди первой, быстро прошамкала в окошко:

— Передача для Сургучевых, Павла Васильевича, Михаила Васильевича и Федюньки.

— Сургучевы? — тихо переспросили из окна. — Вы говорите — Сургучевы?

— Да, Сургучевы.

— Какая статья?

— Пятьдесят восьмая, десятый пункт и еще какой-то, — быстро ответила бабка. — Разговаривали они, батюшка, по пьяному делу, разговаривали.

Окно захлопнулось. Стало тихо. Только муха гудела вокруг маленькой лампочки, свисавшей с потолка на кривом шнуре. Я обернулся на Швеца. Он был бледен, и сейчас, в полутьме, стали особенно заметны глубокие старческие морщины на его желтоватых висках. Русая красавица достала маленькое зеркальце и, облизнув припухлые губы кончиком острого языка, принялась рассматривать свое лицо, — то хмуря брови, то, наоборот, чуть улыбаясь.

— Пониже поглядите, — сказал я.

Женщина опустила зеркальце, увидела насосанный

синяк на шее, озабоченно разглядела его, поджала губы и покачала головой.

— От гад, — вздохнула она грустно, — гадюка проклятая...

Окошко открылось; голос оттуда донесся глухо:

— Сургучевы выбыли на этап.

— Да что ты, батюшка, — оживилась старуха. — Я ж сегодня ночью этап выстояла: не было Сургучевых.

— Повторяю, они выбыли на этап.

— Ой, батюшка, — заговорила старуха быстро-быстро, — я ж лепешечек им напекла, яец наварила, прямо из-под курочки. Вот узелок, он маленький, батюшка, вы уж примите для них, Федюнька у нас легочный, маленький он у нас, вы уж похлопочите, пожалуйста.

— Следующий, — сказал голос из окна.

— Батюшка, — тонко заплакала старуха, — лепешечки-то куды? Куды ж лепешечки на масле? И яечки с-под курочки?

— Следующий, — снова ответил голос из окна.

Русая красавица задумчиво сказала:

— Вот сволочь, а? Мать его рожала или сноха?

Швец начал откашливаться, будто в горло ему попала рыбья кость. Но вслух никто ничего не говорил: каждый ждал своей очереди, в глубине души понимая, что получит такой же отказ; однако человек — такой организм, который во всех жизненных перипетиях ждет. Бог его знает чего, а — ждет, даже если и сам уверен, что ждать-то, в сущности, уже нечего.

— Батюшка, — дрожащим голосом сказала старуха, — что же делать мне? Я ж лепешки не сжую, у меня и зубов нет, десны только тесто протягивают, а вкуса во внутрь не дают...

Продолжая говорить что-то быстрое и несуразное, бабка достала из-за пазухи красную тридцатку и, комкая ее в потной ладони, сунула в окно. Тридцатка вылетела оттуда на пол, и в окне появилось лицо молоденького паренька в форме младшего лейтенанта:

— Да что вы, мамаша?! — жалобно крикнул он. — С ума свернули?! Заберите свои деньги и станьте в сторонку, пока другие не пройдут.

Бабка, жалобно причитая, спрятала тридцатку, отошла к окну и там стала мотать головой, словно лошадь, замученная оводами. Плакала она беззвучно, не утирая слез, только часто-часто хлюпала покрасневшим носом.

— Следующий! — сказал младший лейтенант.

Полковник Швец, стоявший под оконцем, выкрикнул с пола:

— Константин Иванович Швец, тридцать третьего года рождения, осужден ОСО на десять лет!

Младший лейтенант рассерженно сказал:

— Что за шутки? Заявитель, покажитесь!

— Не мо-гу!

— Не можете, так покиньте помещение!

— Мальчишка! — крикнул Швец и, резко откинув потную голову, зажмурился.

— Что?!

— То самое. Молокосос!

Младший лейтенант пристукнул кулаками по спискам и стремительно высунулся из окошка. Он увидел меня и решил, по-видимому, что это я с ним так говорил, поэтому побагровел и стукнул ладонью по спискам.

— Вниз посмотри! — исступленно прокричал полковник. — На меня смотри!

Младший лейтенант недоуменно посмотрел вниз, увидел Швеца на платформе с подшипниками, в лице его что-то на мгновение дрогнуло, а потом замерло, будто захолодело.

В камере было тихо, муха вокруг лампочки гудела громко, словно трансформатор. Младший лейтенант спрятался в свое оконце и сказал:

— Следующий!

— Швец, Константин Иванович, тридцать третьего года рождения, осужден ОСО на десять лет!

— Выбыл на этап.

— Когда?

— Вчера.

— Куда?

— По месту отбытия наказания.

Швец попросил:

— А ну, подними меня.

Я уцепил его под мышки и поднял к окну. Выставив колено, я опустил на него платформочку. Швец уцепился своими громадными, как у всех безногих, ручищами за деревянное оконце и сказал:

— Ну-ка, лейтенант, посмотри мне в глаза.

— А в чем дело? — тихо осведомился младший лейтенант.

— Дела нет никакого. Просто посмотри мне в глаза. Вот так. Только не мигай, сынок. Тебе не совестно, а?

Как же тебе не совестно, сынок?! — И Швец шепнул мне: — Опускай!

Я опустил его на пол. Швец отъехал к старухе, которая по-прежнему плакала возле окна, и начал громко сморкаться в большой полотняный платок.

— Следующий, — тихо позвали из окна.

Подошел я и, передохнув, сказал:

— Тут у вас в лазарете мой отец.

— Фамилия!

Я назвал.

Младший лейтенант посмотрел на меня огромными глазами святого. Он долго смотрел на меня, почти столько же, как Швец — на него.

— Вам нельзя с ним видеться. И передачи тоже нельзя, — сказал он наконец. — Только по прибытии к месту отбытия наказания...

Он по-прежнему смотрел на меня своими огромными глазами, в которых было отчаяние.

— А записку? — спросил я. — Просто, чтоб он знал.

Младший лейтенант молча покачал головой. Швец из угла выкрикнул:

— Какого черта ты унижаешься перед этим мракобесом?!

После долгой паузы младший лейтенант ответил:

— Я не мракобес... Я службу несу.

Он сказал это тихо-тихо, почти беззвучно.

Я достал листок, написал карандашом: «Я здесь» — и протянул младшему лейтенанту. Тот проглядел записку со всех сторон, а потом закрыл оконце. Я услыхал шаги по кафельному полу. Где-то лязгнула железная дверь, и стало по-особому тихо. Все эти десять минут, что мы провели в приемной камере, было то очень громко, то ужасно тихо: до звона в ушах. Только кто начинал говорить, — все ухало, сотрясалось вокруг, а как ждали ответа из окошка, — становилось мучительно, предсмертно тихо, даже уши закладывало.

Я ждал ответа, опершись спиной о холодную стену. Вдруг молчащую громадину тюрьмы разрезал высокий, кричащий плач. Никто еще ничего не понял, а меня прижало к подоконнику. Я почувствовал себя крохотным, руки у меня заледенели, и к горлу подступила тошнота.

— Ишь, балует, словно ребеночек вост, — сказала русая красавица.

Я бросился к двери, через которую нас сюда впустили, отбросил щеколду и закричал:

— Старик, я тут!

Плач прервался, и я услышал страшный, совсем не знакомый мне, но такой родной отцовский голос:

— Пустите, не затыкайте рот! Сын пришел! Пустите же!

— Папа!

Отец глухо завыл.

Я бросился в тюремный двор.

— Назад! — крикнул с вышки охранник.

Я почувствовал, как кто-то мягко схватил меня сзади за шею и больно, тисками, за ноги. Я вырывался и орал что-то, а отец выл в камере.

— Да что ты?! Да погоди! — слышал я снизу сопенье Швеца, который держал меня за ноги.

— Миленький, миленький, успокойся, — шептала русая красавица, повиснув у меня на шее. — Ну, золотенький мой, ну, маленький, успокойся, — твердила она и вся вздрагивала, словно от ударов.

— Па-па!!! — кричал я что было сил, потому что меня уже почти затащили в камеру Швец, женщина и две старухи с сильными и длинными руками. И в это время тюрьма загрохотала, завопила, заулюлюкала. Слышно было, как в камерах стучали чем-то деревянным по стенам, топали ногами и вопили визгливыми голосами:

— Дайте свиданку! Дайте им свиданку, псы! Старика пустите, пустите его, свиданку дайте!

Я увидел, как на сторожевую вышку выскочили еще три охранника, щелкнули затворы автоматов, услышал быстрые команды, на Волге начали басить баржи, заглушавшие вопль тюрьмы, — и меня затолкнули в камеру.

Швец упал возле двери, тяжело дыша; в легких у него тонко свистело, и видно было, как возле кадыка пульсировала артерия.

— Там и мой кричал, — шепнул он. — Константин. Я его голос узнал.

Прибежал младший лейтенант, распахнул свое оконце и крикнул мне:

— Ну?! Вот твоя записочка! Он сознание потерял, а мне отвечай?! Все вы только об себе думаете, совести в вас ни на грош!

— Это он прав, — тихо согласился полковник Швец. — Совести в нас ни на грош. Скоты и есть скоты, только тешимся.

— Разговорчики! Кто получил справку — очистить помещение! — приказал младший лейтенант.

В комнату к нему кто-то зашел, потому что младший лейтенант вскочил со своего места и вытянулся.

В окошке показалась седая голова капитана со шрамом через весь лоб.

— Поди сюда, — сказал он мне.

Я подошел.

— Иди завтра к подполковнику Малову в областное управление. Я ничем помочь не могу, у твоего батьки запрещение на свиданку.

— Как он сейчас?

— А ты что, не слыхал? — вздохнул седой капитан.

— Швец Константин, тридцать третьего года рождения, осужден особым совещанием, — начал выкрикивать с пола безногий полковник.

— Знаю, знаю вашего Константина, — ответил капитан, — он в карцере за нарушение режима.

— Что он сделал? — спросил Швец.

— Да так, — ответил капитан и посмотрел в глаза Швецу, — только строптив, не сломался б...

Швец просиял лицом и полез за сигаретами в нагрудный карман.

— Ничего, — сказал он, — не сломается.

И — как-то странно подмигнул капитану, а тот так же странно ответил ему: ничего в его лице не дрогнуло, а все равно ответил, и не просто так, а по-человечески, с болью.

— Продолжайте работу, товарищ Сургучев, — сказал капитан младшему лейтенанту и вышел.

Старуха с лепешками, мать троих Сургучевых, услыхав фамилию младшего лейтенанта, стала медленно приближаться к окну. Она утерла ладонью слезы с коричневых, морщинистых щек и спросила:

— А ты не Гришки ли сынок, Сургучев? Ты не Гришки ли сын, а? С Колодиш?

Младший лейтенант внимательно и с ужасом посмотрел на старуху.

— Кто следующий, граждане? — сказал он скороговоркой. — Вопросы прошу задавать по существу.

— Гришкин, — уверенно сказала бабка. — И нос, как его, — с горбой, и чуб с крутью. Господи, господи, брат на брата и отец на сына, только небо пока не раскололось, когда ж? Когда, господи?!

И, словно слепая, бабка пошла из камеры вон. Следом за ней поехал на жужжалках Швец, а за ним я. В тюрьме было тихо, потому что разносили ужин.

24

После того, как в тюрьме нам со Швецом отказали в свидании с родными и посоветовали пойти к подполковнику Малову в областное управление, мы отправились в гостиницу.

Швец поджужжал на своей платформочке к окошку администратора и постучал по нему деревянным утюжком, которым отталкивался от земли.

Администраторша оказалась пожилой женщиной с маленькой головой на большом теле, но на ее крошечной головке как-то странно умещалось огромное количество крохотных бело-коричневых куделек, что делало ее похожей на барашка.

— Заполняйте бланк, — сказала она Швецу. — Мест у нас нет, но уж вас-то я устрою — как орденоносца и инвалида.

— Мы вдвоем, — сказал Швец, кивнув на меня.

— Хорошо, — ответила женщина, — я дам вам номер люкс из нашей исполкомовской брони.

Швец вернулся к столу, и мы начали заполнять длинные бланки анкет, которые выдают администраторы гостиниц перед тем, как вручить гостю ключ от номера.

Напротив графы «с какой целью приехал, куда, к кому, кем выписана командировка и на какой срок» я написал: «Прибыл как член-соревнователь Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, для обмена опытом лекционной работы». Меня, действительно, приняли в общество «Знание», когда отец был еще дома. Тогда я учился на втором курсе и довольно бойко излагал разные истории про те муки, которые испытывает национальная буржуазия в странах Среднего Востока, и как она постепенно уничтожается буржуазией компрадорской.

И сюда, в Ярославль, я, понятно, приехал с красной книжечкой общества, которая так успокоительно действовала на гостиничных администраторов и вокзальных дежурных.

Взяв мою анкету с красной книжечкой, Швец покатил к администратору. Сунув в окошко наши документы, он закурил и, оглядевшись по сторонам, задержался глазами на картине «Утро в сосновом бору»; вздохнувши, как-то изумленно заметил:

— Кругом одни медведи — куда ни глянь...

Администраторша, не отрывая глаз от наших анкет, спросила:

— Молодой человек, а вы, собственно, с кем едете обмениваться опытом?

Разыскивая отца, я проехал уже восемь городов, в которых были пересыльные тюрьмы, и всюду устраивался ночевать под маркой обмена «лекторским опытом»; ответил поэтому фразой, которая действовала безотказно:

— С группой начинающих товарищей...

— А командировочка где?

— Идет по фельдъегерской связи, — ответил я туманно.

— Ах так, — понятливо кивнула администраторша, — что ж, хорошо...

И — отложила мои документы в сторону. Взяв анкету Швеца, она бегло посмотрела ее и — скорее для формы — поинтересовалась:

— Что же вы не указали причины приезда, товарищ полковник?

— Прибыл в ваш замечательный город, — начал рапортовать Швец, — надеясь получить свидание с сыном, находящимся в пересыльной тюрьме...

— Где-где?!

— В пересыльной тюрьме.

— Какая досада, — сказала администраторша, поправив свои мелкие бараньи букли на крошечной головке, — оказывается, тот номер, который я собиралась вам дать, только что заняли. Придется немножко обождать.

— То был свободен, а то заняли? — набычился Швец.

— Нет, он, собственно, не был совсем свободен. Он должен был освободиться, — запутавшись, пробормотала администраторша.

— Верните документы, — рявкнул Швец.

И — выкатился на своих жужжалках из темного холла гостиницы на предзакатную, пронзительно-чистую, ветряную площадь. В небе летали голуби. Они были сизовато-белые, но иногда их крылья высверкивали неожиданным желто-красным цветом.

— Где ночевать будем? — спросил я Швеца. — Честно говоря, я уж третий день не сплю, башка звенит.

— Ничего. Сейчас пойдем на вокзал, там выпьем и закусим и про ночлег с кем-нибудь договоримся: что здесь номер, что проститутке тридцатка, все одно выйдет, с точки зрения экономии.

В ресторане мы заказали бутылку черноголовой московской три салата, селедку, щи и блинчики с мясом.

Швец разлил водку по большим фужерам и попросил:

— Ну-ка придвинь меня, а то я на китель буду крошки ронять, неопрятно.

Я поднял его вместе со стулом и придвинул вплотную к столу. Швец кивнул в знак благодарности, цикнул зубом и возгласил:

— Ну, выпьем за наших с тобой. Дай им бог...

Запрокинув голову, он *вобрал* в себя водку, неторопливо закусил селедочкой и усмехнулся:

— Анекдот есть такой. Один командировочный, вроде нас с тобой, задержался в Москве по делам, а спать негде, мест в гостелях нет. Ну, ему и посоветовали взять на ночь шлюху возле Метрополя, у нее и переспать. Он пришел, а там одни красавицы в чернобурках. Смотрел он на них, смотрел, а потом подошел к одной, галантно поднял шляпу и осведомился: «Тысячу извинений, мадам, а вы, случаем, не блядь?» Что плешка у Метрополя, что здешний вокзал... Сука в бигудях, чтоб у нее сыпь на лбу выметала...

— Она ж служит, зря вы на нее.

— Нет, не зря! Скрыть правду — значит предавать Константина, отрекаться от него, живого!

— Вы его не этим предаете. Мы все предаем друг друга совсем не этим...

Швец грохнул кулаками по столу:

— Выбирай слова! Слышу интонацию врагов народа!

— Вы, действительно, верите, что маршал Тухачевский был врагом народа?

— А кем же еще?

— Кто штурмовал Кронштадт в двадцать первом?

— Как кто?! — Швец изумился. — Товарищ Сталин.

— Тухачевский, Сталин и Троцкий, — тихо сказал я, оглянувшись невольно.

— Я б тебя за такие слова на фронте к стенке поставил! И самолично пристрелил, как бешеного пса! — Швец разъярился. — Запомни: тридцать седьмой год был годом великого очищения! Мы освободились от скверны японско-германских наймитов! От гестаповцев и шпионов типа Каменева и Бухарина! Понял?! Мы выиграли войну благодаря тому, что обезвредили всех врагов народа!

Лицо Швеца вдруг жалобно сморщилось, он замотал головой и стал жалостливо повторять:

— Косинька, Косинька, мой маленький, за что ж такое?! Почему суки на свободе, а ты маешься?! За что? Почему кругом неправда?

А я до ужаса явственно вспомнил плач отца, который

донесся через открытые тюремные окна, и его пронзительный крик: «Сынок!»

— За что такое горе, Косинька?! — Швец сокрушенно качал головой. — Ты ж нашему делу предан до последней капли, ты ж наш, наш!

К столику подошла официантка:

— Щи кончились, может, поменяем на порционную соляночку?

— Ладно, — сказал Швец, вытерев лицо квадратной ладонью, расплющенной «толкалкой». — Валяй сборную.

Он демонстративно отвернулся от меня и стал смотреть на эстраду, где рассаживались музыканты: аккордеонист, слепой скрипач, слепой барабанщик и огромная пианистка, похожая на Петра Первого. Скрипач взмахнул смычком, и оркестр заиграл песню о Сталине — тогда все программы в вокзальных ресторанах так начинались; Швец стал проникновенно подпевать: «О Сталине мудром, родном и любимом, счастливые песни слагает народ...»

В уголках его пронзительно-черных глаз медленно накипали слезы; когда оркестранты кончили играть, Швец, аплодируя, закричал: «Браво!» В зале ресторана было всего два посетителя: он и я. Пять официанток стояли возле синих бархатных портьер, спрятав руки под белыми фартуками на толстых животах. На стене с лепными украшениями, выкрашенной в темно-зеленый цвет, висела громадная репродукция «Утро в сосновом бору». Я посмотрел на «Мишек», тронул Швеца за руку:

— Простите меня, я, видно, что-то не так сказал...

— Да уж, — просветлев лицом, он сразу же обернулся ко мне, — я еле сдержался, чтоб не отправить тебя, куда следует. Болтаешь черт знает какую ахинею, уши вянут...

Он снова разлил водку по фужерам, мы выпили, в голове у меня зашумело; все, что было сегодня днем, сделалось каким-то отстраненным, далеким, оркестранты уже не казались такими жалкими, а, наоборот, стали представляться мудрыми хитрецами, потому что после обязательной песни об Иосифе Виссарионовиче заиграли печальный и веселый «фрейлехс».

Швец заказал еще одну бутылку водки, быстро опьянел; я тоже. Мы начали мериться силами — у кого крепче руки. Полковник лихо укладывал мою кисть на стол, а я тогда был боксером и подрабатывал на образцово-показательных выступлениях в рабочих клубах.

— Если нет одного, — комментировал Швец свою победу, — тогда обязательно много другого...

Эти слова показались очень смешными, я захохотал, а Швец обиженно постучал себя пальцем по виску:

— Смех без причины — признак дурачины. Не понимаешь, что ль: нет ног — руки сильные!

Швец вздохнул, начал перемигиваться с громадной пианисткой, а потом пригласил ее за наш стол:

— Мадам, не выпьете ли немного портфейна?

— Вы, случаем, не одессит? — спросила пианистка, опускаясь на стул. — Одесситы говорят «портвейн» через «ф».

— Какой с меня одессит? — Швец засмеялся. — С меня одессит, как с вас балерина.

Пианистка предложила:

— Может, сыграть попурри из военных песен? Мы недорого возьмем...

Швец достал из кармана кителя тридцатку:

— Извиняюсь, что нет конверта. Венерологам и женщинам я всегда давал деньги в конвертах.

Пианистка выпила рюмку, съела кусочек селедки, вернулась на эстраду и что-то шепнула слепому скрипачу. Тот кивнул и сразу же прокричал в шуршащий микрофон:

— Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!

— Опошляют героику, — заметил Швец. — Всего пять лет после войны отстучало, а уж попурри в кабаках поют. А солдатские кости еще не перегнили. Вот ты — ученый, лекции читаешь, ты мне скажи: сколько времени кость в земле гниет? Или, скажем, череп? Молчишь, член-соревнователь? Хитрые вы, полужидки, змеи извилистые.

Между тем слепой скрипач выкрикнул очередной куплет:

— По берлинской мостовой кони шли на водопой!

Загрохотал слепой барабанщик, а после музыканты стали петь, задирая головы к лепному потолку:

— Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки!

Когда куплеты кончились, слепой скрипач, сделав шаг вперед, нащупал смычком стул, но опустился на него неловко и обвалился на пол. Швец так хохотал, что сам тоже чуть не упал со стула. Он махал руками, вытирал слезы и, плача от смеха, повторял:

— Ой, не могу, не могу, не могу! Как он жопу-то припечатал! Ой, не могу, лектор, не могу!

До полуночи мы ходили вокруг вокзала, отыскивая кого-нибудь, кто бы взял нас на ночлег. Но привокзальная площадь была пуста, только под фонарем дремал таксист

в старой «Победе» да время от времени прохаживался железнодорожный милиционер в малиновой фуражке.

— Где ж ваши проститутки? — спросил я. — Пошли лучше на лавку, всё соснем...

— Ты хоть одну свободную видел? — рассердился Швец. — Сам виноват, — я уж договорился с пианисткой.

— Ей же сто лет.

— Неважно. Зато она большая. Для меня чем женщина больше, тем желанней.

— А скрипач?

— Скрипач? — передразнил меня Швец. — Он слепой, скрипач этот! Что он видит? Тьму и только!

Швец заметил милиционера, сделал мне знак, чтобы я оставался на месте, и покатил навстречу блюстителю закона. Милиционер опустился перед полковником на корточки, чтобы удобнее было разговаривать.

Я видел, как они закурили, а потом стали смеяться: то Швец, то милиционер — попеременно.

Они смеялись, а я вспомнил, как плакал и трясся Швец, заталкивая меня в камеру, а потом размазывал по своим склеротическим щекам бессильные стариковские слезы...

Милиционер, наконец, откозырял полковнику, и тот быстро подкатил ко мне.

— Проститутки появляются к трем ноль-ноль, когда прибывает поезд с севера, — отчеканил он. — Но тут одна должна подойти к часу, Роза, — на курьерских теперь не работает, постарела, обслуживает пригородные линии. Мильтон говорит, что ее конкуренция побила, молодежь, говорит, набирает силу, ткачихи...

И вот мы в комнате у Розы. На стенах — вышитые рисунки: красноглазые котята, лебеди в зеленых прудах среди синих башен средневековых замков. На комоде, покрытом узорной салфеткой, фотографии в бумажных рамках, и почти на всех фото — Роза: завитая, губы бантиком, двое детей с одинаковыми челками и мужчина в военном кителе без погон; у него подбритые брови и рваный шрам на щеке.

— Это ему миной рассадило, — объяснила Роза, накрывая на стол: поставила три стакана, порезала хлеб и подвинула большую солонку с желтоватой солью. Швец достал из-за пазухи бутылку водки и плитку шоколада «У лукоморья дуб зеленый». Роза налила себе стакан водки, выпила по-мужски, резко запрокинув голову; напудрен-

ное, дряблое лицо ее покраснело; она взяла шоколад со стола и переложила на комод: «Оставим детям, они до сладкого любители». Потом деловито поинтересовалась:

— Вы меня оба будете или безногий не может?

— Оба, оба! — Швец развеселился. — Безногий может, будь спокойна.

— На широкой ляжем или будете переходить ко мне по одному?

— По одному, — сказал Швец. — Чтоб в движеньях не смущаться.

Мы с ним совсем пьяны, рассказываем Розе анекдоты, она просит нас говорить потише, чтоб не услыхали соседи. Потом, рассердившись внезапно чему-то, предупредила, что с каждого берет по тридцатке. Мы легко согласились, и она начала стелить постели.

— Чего сюда приехали-то? — спросила она. — В командировку?

— В тюрьму, на свиданку к родным, — браво ответил Швец.

— Эх-хе-хе, — вздохнула женщина, взмахнув залатанной простыней, — вам хорошо, у вас хоть надежда есть, что из тюрьмы вернутся, а у меня и этого нет...

— Что, муж погиб в боях за нашу советскую родину? — деловито поинтересовался Швец, расстегивая китель.

— Да нет, — ответила Роза, — я б тогда на детишек пенсию получала. Он к молодой переметнулся, а от молодых не вертаются, это не тюрьма. Вот теперь и кручусь: днем в гараже, а ночью на вокзале.

— И — давно?

— Через полгода, как ушел, и начала. Сначала-то думала его вернуть добром — начальству писала, к знахарке ходила... А он не дрогнул... Ну и пошло...

— Заработок маленький? — поинтересовался Швец.

— Да нет, — задумчиво ответила женщина, присев на краешек стула, — можно б прожить... Детишек профсоюз в детсад определил... Только липли ко мне мужики, да и сама не каменная. А с горя баба по первому делу мстит, а уж потом начинает выть, когда дров полон воз наломала... Отомстишь, а ведь аборт запрещен, огромных денег стоит, где взять? А если прихватят — тюрьма... С кем дети останутся? Вот и пошло-поехало...

Она достала из комода старенький патефон, поставила пластинку, и хриплый голос запел, выговаривая слова не по-русски:

— Шпи, шенщчин много на швете, шпи, твое сэрдцэ тошкуэт...

Роза сняла платье, пояснив:

— Надо, чтоб все было по-хорошему, с музыкой. Я и потанцевать могу, если хотите.

— Не надо. Баловство это. Нескромно, — отрезал Швец и попросил меня: — А ну подними на кровать, я сам не заберусь.

Он отстегнул лямки, которыми притягивал туловище к подшипниковой платформе, я взял его на руки и положил на кровать. Щеки у него были, как у моего старика, — колючие и морщинистые.

Роза потушила свет, выпила еще полстакана водки, остаток спрятала в шкаф, заперла на ключ и легла к Швецу. Он что-то стал шептать ей на ухо. Я устроился на второй койке. В окне металась ветка тополя, ветер раскачивал ее, и было в этом что-то тревожное и безнадежное, словно прощание.

— Какой же ты маленький, — ласково засмеялась Роза, — как ребеночек.

— Тише ты, — сказал Швец.

— Бородой не щекочись, — шепнула Роза. — Я не могу, если смешно.

— Ну вот! — Швец рассердился. — Молча полежать не можешь?! Это тебе кровать, а не лига наций! Болтаешь языком, болтаешь, охоту отбиваешь.

Я отвернулся к стенке. Прямо на меня — в упор — смотрел с фото бывший муж Розы с подбритыми бровями. На стене по-прежнему металась тень от ветки тополя; с Волги резкими порывами задувал северный ветер.

Я проснулся от того, что меня теребили за плечо. Надо мной стояла Роза:

— Проспали! Подымайся, мне на работу пора. Черт безногий, спать всю ночь не давал, и ты еще храпел. Все равно тридцатку плати. Или пусть он вносит, я не виновата.

...Мы тихо вышли из комнаты. Я нес Швеца на руках, чтоб он не будил соседей своими жужжалками. Лицо его было отекшим и старческим. Он не смотрел на меня, дышал тяжело, а лоб его был прорезан морщинами так, словно он решал сейчас для себя самую важную жизненную задачу.

Роза подвела нас к автобусной остановке. Швец с ней прощаться не стал; она грустно усмехнулась:

— Все так... Ночью — «милая», а утром мимо смотрят и рот кривят.

— Не сердись, — сказал я.

— А я и не сержусь. Счастливо вам, горемыки...

Она села в автобус и уехала.

— Сука, — пробормотал Швец.

— Зря, — сказал я.

— Нет, не зря! Все от них, от баб! А я не просто сука, я предатель, вот кто я.

Он съехал на мостовую и покатил к постовому милиционеру, который одиноко стоял на тумбе посреди площади. Я пошел следом за ним. Милиционер откозырял безногому полковнику.

— Где тут областное управление? — спросил Швец.

Милиционер снова козырнул и подробно объяснил, как туда добраться.

И мы поехали к подполковнику Малову, от которого зависело, получим мы свидание или нет. Ярославль еще спал. Небо было серым и низким. Лето сломалось, шла осень.

...Константина ввели в камеру, разделенную решеткой и частой сеткой, первым; моего отца внесли на руках два здоровенных зека — он дрожал, словно в ознобе, ноги свисали, будто ватные.

— Сынок, — обсмотрев меня, жарко зашептал он, — пиши товарищу Сталину, одна надежда: его обманывают враги!

Младший лейтенант Сургучев, ходивший взад-вперед по узенькому проходу между решеткой и сеткой, кашлянул:

— Без фамилий и подробностей, иначе прекращу свидание!

Константин Швец усмехнулся, погладив моего старика по седой шевелюре:

— Папа, официально меня осудили за то, что я требовал напечатать письмо Ленина к Съезду... Он ведь предлагал сместить с поста генсека партии Сталина...

— Разговоры! — испуганно воскликнул младший лейтенант Сургучев.

— Какое письмо?! — закричал полковник Швец. — Это клевета врагов народа, Костенька! Ты не смеешь верить вздору. Товарищ Сталин — самый близкий друг и соратник Ильича!

Отец потянулся ко мне:

— Сынок, родной, запомни: если ты сможешь передать письмо Иосифу Виссарионовичу, меня освободят завтра же!

Константин Швец посмотрел на моего старика с горьким состраданием и снова погладил его по всклокоченной седой шевелюре тонкими, прозрачными пальцами.

— Ты приходил в мой институт, папа? — спросил Константин.

— Да, — ответил Швец.

— Ты говорил, что я тайком читаю вражеские, клеветнические книги типа «Десять дней, которые потрясли мир»?

— Да, говорил, — отчеканил Швец. — Я никогда ничего не таил от товарищей, только они и могли б помочь тебе в беде.

— Вот они и помогли, — усмехнулся Константин. — Написали с твоих слов, что я занимаюсь антисоветской пропагандой, статья пятьдесят восемь, все как надо...

...Той же ночью полковник Швец поджужжал на своей каталке к краю платформы и бросился под товарняк; я похоронил то, что осталось от Швеца, вернулся в Москву и написал письмо товарищу Сталину о несправедливом аресте отца — двадцатое по счету; воистину, «двадцать писем к другу».

25

...«Наши достижения» — так называлась выставка, организованная Серго Орджоникидзе в Политехническом музее в преддверии Семнадцатого съезда, того, который был назван «Съездом Победителей», — начало тридцать четвертого...

Серго гордился этой выставкой, считал своим детищем, приезжал туда и ранним утром и ночью, помогал устроителям добрым словом и делом.

Сейчас, когда история гибели Серго открывается все явственнее, начинаешь по-новому анализировать тот глубинный смысл, который Орджоникидзе вкладывал в ее создание: это была, по его замыслу, выставка примирения в партии: несмотря на все споры и оппозиции (а может быть, в чем-то и благодаря им), достижения промышленности Страны Советов (кроме ситуации в деревне — по-прежнему трагической) стали очевидны.

Именно поэтому на съезде — по его предложению — будут выступать не только те, кто всегда бездумно шел за большинством, но и Бухарин, Каменев, Зиновьев...

(Он, Серго, не голосовал за арест и ссылку Троцкого в Алма-Ату, за его выдворение в Турцию — на этом настояли Рыков и Ворошилов.

Он, Серго, — после того, как из Политбюро был изгнан Бухарин, — взял его к себе в Наркомат тяжелого машиностроения, Наркомтяж; в заместители пригласил старых и верных друзей, бывших оппозиционеров Юрия Пятакова и Леонида Серебрякова — он стал начальником транспорта и автомобилестроения; руководителем Кузбасса назначил бывшего троцкиста Шестова.)

Эта выставка, таким образом, была определенного рода намеком Сталину, *политическим* призывом к консолидации; хватит мстить тем, кто отстаивал свою точку зрения; разоружились; от платформы отказались, работают, не щадя сил, словом, время войне и время миру, воистину.

Серго, конечно же, не мог забыть ленинскую школу в Лонжюмо, занятия с блестящими учителями — Каменевым и Зиновьевым, завязавшуюся там, в Париже, дружбу с учениками — большинство были объявлены оппозиционерами в конце двадцатых; отношения с ними не прерывал, пытался убеждать, горячился, отстаивая свою правоту, но никогда не обижал грубым словом или пренебрежительным невниманием к доводам идейных противников.

...Судя по тому, что организаторов выставки (одним из них был мой отец) награждал он, Серго, — премиями, а не ЦИК — орденами, Сталин понял намек и отнесся к нему по-своему: после июльских событий тридцать четвертого в Германии, когда Гитлер уничтожил своих ближайших друзей-ветеранов, начал готовить собственную операцию — убийство Кирова; лучшего повода для развязывания террора не найти, опыт фюрера свидетельствовал об этом со всей очевидностью...

Через шестнадцать дней после убийства Сергея Мироновича были арестованы Каменев, Зиновьев, тысячи бывших оппозиционеров — члены партии с начала века, ветераны.

Еще через шестнадцать месяцев они, оклеветав себя и оговорив друг друга, были расстреляны.

Вскоре после этой трагедии были одновременно арестованы все заместители Серго, его ближайшие соратники, — истинные авторы *«наших достижений»*.

Сталин дал Серго честное слово, что Пятаков и его товарищи не будут расстреляны, если добровольно *раскроют* платформу современного троцкизма, помогут стране в ее противостоянии фашизму, — во имя Партии надо уметь жертвовать постами и привилегиями, будут работать на дачах, писать мемуары.

Пятаков согласился «поработать на партию».

...Через семь часов после вынесения приговора все близкие к Серго коммунисты, обвиненные в шпионаже и вредительстве, были убиты выстрелами в висок.

После этого коварства, потрясшего Серго, он начал готовить свое выступление на февральском Пленуме ЦК: он теперь до конца понял, что если не сказать всей правды, то делу Ленина будет нанесен такой удар, который поставит вопрос о жизни и смерти самой идеи социализма.

Поскольку Сталин знал все обо всех, особенно о тех, кто был *самим собой*, Серго, работавший над обвинительной речью против террора, был убит — по прямому указанию Сталина.

Сразу же после торжественных похорон, проникновенных речей, траура и показных слез Сталин жестоко отомстил Серго за его наивную честность и несгибаемое благородство...

Проанализируем его выступления на страшном февральско-мартовском Пленуме, открывшем полосу тотального террора.

Итак, выступление Сталина:

— Вредительская и диверсионно-шпионская работа задела все или почти все наши организации, как *хозяйственные*, так и административные, и партийные... (Обратите внимание на последовательность перечисления организаций. — *Ю. С.*) Некоторые наши *руководящие* товарищи не только не сумели разглядеть настоящее лицо вредителей и убийц, но оказались до того беспечными, благодушными и наивными, что нередко *сами* содействовали *продвижению* агентов иностранных государств на те или иные ответственные посты.

(Именно Серго *продвигал* Бухарина, Сокольникова, Тухачевского, Серебрякова, Пятакова. — *Ю. С.*)

Видимо, Сталин опасался, что Орджоникидзе заранее написал вариант письма Пленуму и отдал его на сохранение кому-то из *своих* — для публичного оглашения. Если такое случится, если кто-то из сидящих в зале решится зачитать последнее слово Орджоникидзе — будет уже поздно. Потому-то Сталин заранее объяснил и про

«беспечную доверчивость», и про «продвижение на ответственные посты иностранных агентов».

Сталин продолжал:

— Можно ли утверждать, что не было у нас предостерегающих сигналов? Нет, нельзя этого утверждать. В «Закрытом письме ЦК» от 18 января 1935 года по поводу злодейского убийства товарища Кирова сказано: «Надо покончить с оппортунистическим благодушием... Оно является отрыжкой *правого* уклона». (Вот, оказывается, когда Сталин начал закладывать фугас под Бухарина — еще за два года до ареста! — *Ю. С.*) В своем «Закрытом письме от 29 июля 1936 года», — продолжает он, — по поводу шпионско-террористической деятельности троцкистско-зиновьевского блока ЦК вновь призывал: «Неотъемлемым качеством каждого большевика в настоящих условиях должно быть умение распознавать врага партии, как бы хорошо он ни был замаскирован...»

(А это уже прямое обвинение Серго: он, Орджоникидзе, *не внял*, не отдал на заклание своих друзей Пятакова, Бухарина, Серебрякова, Сокольникова, Радека, окружил себя врагами народа, *не желал* их распознавать, что доказал закончившийся в январе процесс над его ближайшими помощниками и друзьями.)

Сталин:

— Наши партийные товарищи не заметили, что троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе, каким он был семь-восемь лет назад (семь-восемь лет назад Сталин говорил прямо противоположное этому. — *Ю. С.*). Троцкизм превратился в оголтелую банду шпионов и убийц... Что такое политическое течение в рабочем классе? Это такая группа или партия, которая не прячет и не может прятать своих взглядов от рабочего класса, а, наоборот, пропагандирует свои взгляды открыто и честно...

Хочу привести выдержку из стенограммы XV съезда, когда лидеры оппозиции еще пытались отстаивать свои взгляды открыто и честно:

«**Каменев.** Товарищи, я выхожу на эту трибуну с единственной целью — найти путь примирения оппозиции с партией. (*Голоса:* «Ложь, поздно». *Движение в зале.*) Оппозиция представляет меньшинство в партии. Она, конечно, никаких условий со своей стороны ставить партии не может. (*Движение в зале.*) После жестокой, упорной, резкой борьбы за свои взгляды мы выбрали путь — цели-

ком и полностью подчиниться партии. Стать на этот путь для нас — значит подчиниться всем решениям съезда, как бы тяжелы они для нас ни были. (*Голос:* «Формально!», «Никто не поверит».)

Но если бы к этому безусловному и полному подчинению всем решениям съезда, к полному прекращению, к полной ликвидации нами всякой фракционной борьбы во всех формах и к роспуску фракционных организаций, если бы мы к этому прибавили... (*Шум, голоса:* «Партия ликвидирует, а не вы». *Голоса:* «Вы давно это говорите!», «Скажите насчет термидора!») ... если бы мы к этому прибавили отречение от взглядов — это, по нашему мнению, было бы не по-большевистски. Это требование, товарищи, отречения от взглядов никогда в нашей партии не выставлялось. Если бы с нашей стороны было отречение от взглядов, которые мы защищали, неделю или две недели тому назад, то это было бы лицемерием, вы бы нам не поверили. Мы думаем, что наша критика, которую мы обязуемся проводить в строгих рамках устава партии, она еще пригодится партии... (*Голоса:* «Опоздали!», «Теперь надо на колени стать перед партией».) ... тем более, товарищи, что в ряде вопросов наши взгляды получили подтверждение в жизни, а в ряде случаев партия в той или другой мере усвоила их...

Требовать отказа, отречения от взглядов — это вещь явно невыполнимая. Я возьму еще только один пример, имеющий совершенно злободневное значение...

Финьковский. Когда ты был искренним: когда с Троцким дрался или теперь? В какой ты шкуре? Скажи это сейчас перед съездом, скажи здесь перед всеми! Стыда нет перед съездом!

Каменев. Наши единомышленники во время дискуссии всюду открыто выступали в ячейках в защиту нашей платформы. Они, товарищи, вели себя, — вы можете находить их взгляды неправильными, можете думать, что они заблуждались, — но они вели себя как мужественные революционеры. (*Голоса:* «Позорно вели себя!», «Контрреволюционеры так поступают!», «Далеко не уедете с такими революционерами!», «Революцию против партии делаете!»)

Сольц. И меньшевики защищают свои взгляды мужественно, сидели в тюрьме за них!

Голос. Защищали щеткой портрет Троцкого!

Каменев. Открыто защищали свои взгляды...

Голос. Среди спекулянтов демагогией занимались!

Каменев. И ставили эти взгляды выше своего положе-

ния, готовы были пожертвовать своим положением ради того, что вы считаете неправильным, что вы, может быть, осудите, но что они считали правильным, не считаясь с тем, что их ожидает. Зачем вам это отрицать, этого нельзя отрицать!

Голос. Это разложившиеся одиночки!

Каменев. Рабочий класс хочет примирения. Несмотря на все разногласия, несмотря на всю остроту борьбы, у нас есть с вами общий интерес — это сохранение единства партии как основного рычага диктатуры пролетариата (*Шум.*)

Голос. Оно сохранено!

Голос. Пролетарии сохраняют его!

Голос. Так же вы говорили на XIV съезде!

Каменев. Это можно сделать на основе этого подчинения решениям съезда, которое мы вам гарантируем. (*Шум.*)

Голос. Веры нет!

Каменев. Это до́лжно сделать во имя интересов того дела, которое начал Ленин. (*Шум.*) И я выражаю твердую уверенность, что съезд, несмотря на все, это сделает. (*Шум.*)»

...А вот в каких условиях проходило выступление ветерана партии Г. Евдокимова:

— Теперь рабочие, беднейшие крестьяне и середняки из тех тезисов, которые опубликованы в газетах, по крайней мере знают, о чем на самом деле в настоящее время идет спор... (*Голос*: «Они осудили эти тезисы!» *Сильный шум.*) Что же хочет на самом деле рабочий класс? Каждая из спорящих сторон (*Скрыпник*: «Какая там сторона?!»), естественно, утверждает, что рабочий класс (*сильный шум*) хочет именно того, чего хочет данная спорящая сторона. (*Сильный шум.*) Например, здесь, на съезде, утверждают, что рабочие требуют нашего исключения из партии. (*Голоса*: «Правильно! Правильно!» *Шум, смех.*) Неправда. (*Шум.*) Немного найдется таких рабочих, которые поверят, что такие вожди партии, как Зиновьев, Каменев и Троцкий (*смех, сильный шум. Голос*: «Именно такие вожди!»), могут являться врагами рабочего класса, партии и советской власти. (*Сильный шум. Голос:* «Плеханов тоже был вождем, да съехал!») Товарищ Ленин учил нас смотреть действительности прямо в глаза. (*Голос:* «Не спекулируйте Лениным!») Чего же на самом деле хочет рабочий класс? (*Голос:* «Чтобы вас исключить!») Не последним

вопросом, интересующим самые широкие рабочие массы, является вопрос о возможности и об опасности раскола ВКП. *(Шум, смех. Голоса:* «Слышали!») Самые широкие рабочие массы, из 100 человек 99, хотят прежде всего, чтобы было сохранено единство нашей партии. (*Сильный шум. Голоса:* «Без вас!» *Голос:* «Оно есть и останется!») Но наряду с этим рабочие, конечно, хотят, чтобы внутри партии давали говорить и большинству, и меньшинству. (*Сильный шум. Голос:* «Это меньшевистское меньшинство!») Что, скажете, неправда? Нет, правда. (*Шум, голоса:* «Ложь!» *Голос:* «Меньшевистской свободы слова не дадим!») Рабочие хотят слушать не только одну сторону, а обе стороны. (*Голос:* «Кроме партии, не может быть других сторон!»)

...Вот так — «честно и открыто», как призывал в 1937 году Сталин, — ленинцы с дореволюционным стажем, герои революции «пропагандировали» свои взгляды в 1927 году. В 1936 году их бросили за решетку.

«**Сталин.** На судебном процессе в 1936 году Каменев и Зиновьев решительно отрицали наличие у них какой-либо политической платформы... На судебном процессе в 1937 году Пятаков, Радек и Сокольников признали наличие у них политической платформы. Но они развернули ее не для того, чтобы призвать народ к поддержке троцкистской платформы, а для того, чтобы проклясть ее».

...Будучи «выдающимся конструктором кровавых *игр*», Сталин умел закладывать потаенный смысл не только в текст, но и в сами названия отдельных подглавок его выступлений. Одну из таких подглавок он и обратил прямо против Орджоникидзе, обозначив ее: «Теневые стороны хозяйственных успехов».

«**Сталин.** Наши партийные товарищи за последние годы (то есть когда Серго перевели из аппарата ЦК и ЦКК в Наркомтяж. — *Ю. С.*) были до крайности увлечены хозяйственными успехами — и забыли обо всем остальном... Будучи увлечены хозяйственными успехами, они стали видеть в этом начало и конец всего... И как следствие — появляется политическая слепота».

...У любого непредубежденного читателя должны возникнуть по крайней мере два вопроса по прочтении этого сталинского пассажа.

Первое: как можно было достичь хозяйственных успе-

хов — а они, по словам Сталина, «действительно огромны», — если всей хозяйственной работой страны руководили шпионы, вредители и диверсанты?

Либо успехов не было, либо народным хозяйством руководили настоящие большевики-ленинцы, а никакие не «троцкистские диверсанты».

Второе: можно ли упрекать руководителей народного хозяйства в том, что для них успехи дела «были началом и концом всего»? Ведь именно успех дела и определяет истинного ленинца, а никак не трибунная болтовня.

«Сталин. Успех за успехом, достижение за достижением, перевыполнение планов за перевыполнением — порождает настроения беспечности и самодовольства: „Странные люди сидят там в Москве, в ЦК: выдумывают какие-то вопросы, толкуют о *каком-то* вредительстве, сами не спят, другим спать не дают“».

Сталин невольно — и это кажется мне весьма странным, ведь такой опытный интриган, — подставился: тут-то бы ему и рассказать о вредительстве, привести примеры, выложить на стол факты. Почему же он не сделал этого? Где доказательства вредительства? Каковы суммы ущерба, причиненного народному хозяйству «диверсантами» с дореволюционным партийным стажем, прошедшими тюрьмы, каторги, ссылки?

Фактов не было.

Сталин нагнетал истерию подозрительности, без которой невозможен Большой Террор.

Впрочем, он аккуратно страхуется, обязывая соответствующие службы «принять необходимые меры, чтобы наши товарищи имели возможность знакомиться с целями и задачами, с практикой и техникой вредительско-диверсионной работы»...

А ну бы самому — дать хоть один пример! В предыдущих выступлениях Сталин был горазд на примеры, подтверждающие правильность его слов... Нет, он знал правду, он — тогда еще — допускал, что кто-либо из ветеранов мог обвинить его в подтасовке и лжи, поэтому «факты» он требует у «служб» — есть на кого свалить вину в случае, если его ложь будет раскрыта.

(Друзья-врачи рассказывали мне — это, впрочем, надо перепроверять самым тщательным образом, — что психиатр Бехтерев, приглашенный на консилиум к Сталину в 1927 году, выходя из кабинета, бросил одному из своих помощников: «Паранойя».

Вскорости Бехтерев и его жена умерли...

В одной из моих книг герой предлагает тщательно исследовать возможного лидера — не является ли он психопатом; относилось это к иной стране, иному лидеру, но постановка такого рода вопроса никогда не потеряет актуальности — в том случае, если речь идет о государстве, где попрана демократия.)

«Настоящий вредитель, — аккуратно замечает Сталин, — должен время от времени показывать успехи в своей работе... Я думаю, вопрос этот ясен и не нуждается в дальнейших разъяснениях... Теория о «систематическом выполнении хозяйственных планов» есть теория, выгодная для вредителей»...

Я убежден, настало время напечатать стенограмму этого Пленума ЦК. Иначе попросту невозможно понять происходившее. Что это — массовый психоз, объявление войны логике, памяти, человечности, чувству самосохранения, наконец? Что там происходило?! Отчего логическому безумию не был противопоставлен здравый смысл?!

Как можно было генеральному секретарю и «творцу нашего счастья» всерьез утверждать, что «под шумок *болтовни* о стахановском движении» *некто* отводит «удар от вредителей»?! Кто именно? Серго? Кто *болтал* о стахановцах? Как можно было столь пренебрежительно, по-барски, говорить о качественно новом почине, у истоков которого стоял именно Орджоникидзе?!

Порою, однако, меня не оставляло ощущение, что с речью выступал действительно тяжелобольной человек.

Судите сами: Сталин, например, утверждал, что «необходимо разбить и отбросить гнилую теорию, что у троцкистских вредителей нет будто бы больше резервов, что они добирают будто бы свои последние кадры. Это неверно, товарищи. Такую теорию могли выдумать только наивные люди».

Кто эти «наивные люди»? Серго?

«**Сталин.** У троцкистских вредителей есть свои резервы. Они состоят прежде всего из остатков разбитых эксплуататорских классов в СССР».

...Стоит только почитать Троцкого (а его надо б издать — объективности ради), чтобы стало ясно: никто из «эксплуататоров», тем более разбитых, за ним не пошел бы! Как они могли пойти за автором «перманентной рево-

люции» и военно-бюрократического, «приказного» социализма?!

Словно бы забыв о том, что он говорил в докладе, Сталин в своем заключительном слове утверждает прямо противоположное: «Вспомните *последнюю* (!) дискуссию в нашей партии в 1927 году... Из 854 тысяч членов партии голосовало 730 тысяч... Из них за большевиков голосовало 724 тысячи членов партии, за троцкистов — 4 тысячи членов партии, то есть около полпроцента... Вот вам вся сила господ троцкистов. Добавьте к этому то, что многие из этого числа разочаровались в троцкизме и отошли от него, и вы получите представление о ничтожности троцкистских сил...»

После этого взаимоисключающего противоречия я решил, что действительно имею дело с явным образчиком **паранойи.**

Затем, однако, посидев над текстом сталинской речи и заключительного слова еще и еще раз, я понял, что это **не паранойя (или, точнее, не только паранойя).**

Судите сами: в заключительном слове, произнесенном генсеком уже после того, как Бухарина увезли из зала заседаний в тюрьму, не лишив даже (хотя бы для порядка) выборного звания члена ЦИКа, Сталин утверждает: «Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние диверсанты, каким бы флагом они ни прикрывались, троцкистским или *бухаринским*, давно уже перестали быть политическим течением...»

Бухарин отвергал все обвинения, его, тем не менее, отправляют в тюрьму, до суда еще долгих тринадцать месяцев, а Сталин уже называет его «диверсантом». Вот она, бесовская вседозволенность, вот он, призыв к погрому!

Дальше — еще страшнее. И — логичней! Как и в конце двадцатых, когда Сталин натравливал Зиновьева на Бухарина, так и в тридцать седьмом он спускает на Николая Ивановича троцкистов. Вот как он это делает: «Надо ли бить не только действительных троцкистов, но и тех, кто когда-то колебался в сторону троцкизма? — спрашивает Сталин собравшихся. — Тех, которые когда-то имели случай пройти по той улице, по которой когда-то проходил тот или иной троцкист? По крайней мере такие голоса раздавались здесь, на Пленуме... Нельзя всех стричь под одну гребенку... Среди наших ответственных товарищей

имеется некоторое количество бывших троцкистов, которые давно уже отошли от троцкизма и ведут борьбу с троцкизмом не *хуже*, а лучше некоторых наших уважаемых товарищей, не имевших *случая* колебаться в сторону троцкизма...»

А затем Сталин раскрывает карты — против кого обращены все его туманные намеки, когда речь идет о «хозяйственниках», об их «достижениях»: «Мы, члены ЦК, обсуждали вопрос о положении в Донбассе. Проект мероприятий, представленный Наркомтяжем (читай, Орджоникидзе. — *Ю. С.*), был явно неудовлетворительный. Трижды возвращали проект в Наркомтяж. Трижды получали от Наркомтяжа все разные проекты. И все же нельзя было признать их удовлетворительными. Наконец, мы решили вызвать из Донбасса нескольких рабочих и рядовых хозяйственников... И все мы, члены ЦК, были вынуждены признать, что только они, эти маленькие люди, сумели подсказать нам правильное решение...»

Дальше следует пропагандистский залп о «демократии», свободе выборов, тайном голосовании, отчетности перед народом.

Все взвешено и скалькулировано.

...Готовя тотальное уничтожение ленинской гвардии, Сталин высказал следующие директивные указания на этом зловещем Пленуме:

Первое. «Необходимо предложить нашим партработникам, от секретарей ячеек до секретарей областных и республиканских организаций, подобрать себе по два партработника, способных быть их действительными заместителями».

(Таким образом, по его *модели*, организованный террор должен срезать три слоя *Памяти. — Ю. С.*)

Второе. «Для партобучения секретарей ячеек необходимо создать в каждом областном центре четырехмесячные "партийные курсы"». (Этих тоже готовили к расстрелу.)

Третье. «Для идеологической *переподготовки* секретарей горкомов необходимо создать при ЦК шестимесячные курсы по "Истории и политике партии"».

Четвертое. «Необходимо создать при ЦК шестимесячное «Совещание по вопросам внутренней и международной политики». Сюда надо направлять первых секретарей областных и краевых организаций и ЦК национальных коммунистических партий. Эти товарищи должны дать не *одну*, а несколько смен, *могущих заменить руководителей*

Центрального Комитета нашей партии. Это необходимо, и это должно быть сделано».

Члены Пленума ЦК, таким образом, слушали план, по которому все они должны быть уничтожены.

Неужели никто не понял этого?!

А если поняли — отчего бездействовали? Паралич воли? Страх? «Авось, пройдет мимо меня»? Не прошло. Почти все участники этого Пленума были затем расстреляны.

...Все те, кто прошел «Курсы» и «Совещания» (и после этого остался в живых), бешено аплодировали появлению фильма «Ленин в Октябре», который следовало бы назвать «Сталин в Октябре».

Ни Орджоникидзе, ни Свердлов — не говоря уже о Бухарине, Троцком, Антонове-Овсеенко, Подвойском, Раскольникове, Бубнове — в фильме не были упомянуты. Термидор стал свершившимся фактом — партию за эти месяцы успели *переучить*.

В феврале 1937 года Сталин торопился: он должен был получить к Октябрю, к двадцатилетию Революции, новую версию Истории, которая бы отныне сделалась «Катехизисом» для народа.

Что ж, судя по тому, как много людей и поныне вздыхают о «Хозяине», он преуспел и в этом.

Трагедия еще не окончена. Она продолжается.

В наши сердца должен постоянно стучать пепел тех, кто пал жертвой антиленинского переворота.

Если нет — прощения нам не будет: новые любители «острых блюд» уготовят трагедию пострашнее тридцать седьмого — кулинары кровавых пиршеств ждут своего часа.

26

СУДЬБА СОЛДАТА В АМЕРИКЕ

В тот день я продал в букинистическом «Орлеанскую девственницу» с озорными иллюстрациями. За два тома уплатили триста рублей*. Сто я отложил на жизнь, а остальные спрятал во внутренний карман пиджака, чтобы перевести старику во Владимирский политический централ.

После букинистического я поехал к моему другу Леве Кочаряну. Он лежал на тахте и читал книгу Юлиуса Фу-

---

* Ныне соответствуют тридцати рублям.

чика. Тогда эта книга называлась «Слово перед казнью», потому что кому-то наверху «Репортаж с петлей на шее» показался натуралистическим и рекламным.

Я поднял Леву, и мы пошли в «Шары» — так все называли маленькое кафе в проезде МХАТа. Мы тогда выработали особую походку — точь-в-точь копия с американского актера Джима Кегни, который играл в фильме «Судьба солдата в Америке», — бутлегера и драчуна. Перед гибелью он совершил массу всяческих подвигов и добрых дел. У него был коронный удар: резкий снизу слева в скулу. Мы часто копировали этот удар: левой коротко снизу. Противник падал на затылок, и звук при падении был всегда одинаковым: словно били об асфальт старую керамику.

Уже после того, как эпидемия «Судьбы солдата» прошла, мы узнали, что настоящее название фильма было «Бурное двадцатилетие», но кинопрокат решил — и правильно решил, конечно же, — что народу будет непонятно, про какое «бурное двадцатилетие» идет речь, возможны аллюзии, и поэтому появилось всем понятное название, и сначала на фильм никто не шел, потому что думали, что там про мучения безработных и про то, как угнетают негров, и только после того, как его посмотрело человек сто из нашего института, началась настоящая эпидемия, и смотрели мы эту картину раз по десять, не меньше.

В «Шарах» мы выпили с Левой по стакану водки, закусили ирисками и, сглотнув слюну, поглядели на тарелки с сардельками и темно-бурой тушеной капустой, которые стояли под стеклом на витрине.

— Поедем на Бауманскую, — предложил Лева, — там сегодня в церкви танцы.

— Поедем, — согласился я.

И мы поехали.

Это было двенадцатого апреля 1953 года. Сталин уже умер. Берия стал первым заместителем Председателя Совета Министров и министром внутренних дел, а врачи Кремлевской больницы, лечившие раньше правительство, по-прежнему считались агентами империализма и слугами тайной еврейской организации «Джойнт» — кровавыми убийцами в белых халатах.

...На Бауманской, в маленьком переулочке, который вел от рынка вниз к Почтовой улице, в глубине двора стояла старая церковь. Она была приземистой и какой-то уютно-

карапузистой, красного цвета, с громадными решетками на окнах. Церковь эту закрыли давно, когда все храмы Москвы закрывали по указанию товарищей Сталина, Молотова и Кагановича, вождя столичных пролетариев. Сначала в этой церквушке устроили овощной склад, а после передали спортивному обществу «Спартак» для нужд секции боксеров и тяжелоатлетов. Три раза в неделю мы там тренировались на ринге у Виталия Островерхова, а по субботам устраивали музыкальные вечера. Внизу, в зале, где некогда звучали проповеди, теперь танцевали мальчики с обрубленными челками «а ля Нерон», юные работницы ткацкой фабрики с толстыми, по-спортивному выбернутыми икрами, начинающие штангисты в китайских кедах и местные голубятники. Оркестр Мяши Волоха располагался на том месте, где раньше были Царские врата. Джазисты в белых рубашках и черных галстуках самозабвенно играли попурри из «Судьбы солдата», а на хорах, куда сваливали весь инвентарь, стояли два дежурных оперативника — на случай чего-либо непредвиденного.

Мы шли к церкви мимо Бауманского колхозного рынка. (Вообще-то дикость — именем революционера называть базар!) Весеннее небо было предгрозовым. Над городом висела громадная черная туча. Ее края были багровые от заходящего солнца, и поэтому казалось, что над городом реет черно-красный траурный стяг.

— Ринемся, — предложил Лева, — а то намокнем, складки сойдут, коленки выпрут.

— Дождя не будет, — сказал я, — ветер сильный.

Но дождь все же хлестанул по улице белой косой линией. Заухал гром, небо погасло, потом зазеленело, высветилось, треснуло пополам голубой линией — и начался весенний ливень. Мы спрятались в подворотне. Мутный поток несся мимо нас вдоль по тротуару и ревел, низвергаясь водопадом через тюремные решетки сточной канализации. Дождь гремел, ярился и неистовствовал. Молнии высверкивали, пугая темноту неба отчетливой электрической безысходностью.

Откуда-то из глубины жуткого черного двора, словно Мельник из оперы Даргомыжского, вышел дед с маленьким котенком под мышкой. Котенок тихо мяукал. Дед ласково гладил его за ухом и мечтательно улыбался.

— Куда, старик? — спросил Лева. — Искать русалок?

— Вывелись они теперь, — ответил дед с услужливой готовностью, — одни гниды остались. А иду я этого пса топить, благо луж много.

— Какой же он пес? Он кот.

— Если б... Он — кошка. Вырастет, мяукать станет, кавалеров требовать, сон бередить.

— Перспективно смотришь, — сказал Лева, — трудно тебе, дед.

— Да уж нелегко.

— Давай котенка, — сказал Лева.

— Зачем?

— Заберем.

— Хрена. Плати пятерку. За так не отдам, за так лучше утоплю.

Я дал деду пятерку. Лева взял у старика котенка и посадил его к себе на плечо.

— Мурлычет, — сказал Лева. — Очень щекотно.

Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Мы вышли из подворотни и стали спускаться к танцевальной церкви — оттуда уже доносились быстрые звуки джаза.

...Танцы пятьдесят третьего года! Дай бог, чтобы памятливый искусствовед смог исследовать те совершенно особые вечера, когда официально рекомендованные к исполнению «падеграсы» и «падэспани» соседствовали с запрещенными «буги-вуги», являющими собою апофеоз буржуазного разложения. Стоило видеть, как юные спартаковские физкультурники и пожилые голубятники с латунными фиксами вышагивали аристократические танцы восемнадцатого века, тянули мысочки и галантно приседали друг перед другом, словно маркизы в монархической Франции. Но едва только директор спортцеркви поднимался на хоры — выпить чаю в маленькой комнатушке вместе с оперативниками, — как джазисты, фанатики ритма и синкопа, ломали тянучий «падеграс», трубы начинали реветь, ухали саксофоны, и спортсмены с голубятниками бросались на своих подруг, весело и страстно перебрасывая их с руки на руку, а подруги смеялись и румянились наивным и чистым весельем.

Трубач — горбоносый красавец в белой рубашке с узеньким, длинным галстуком, завязанным по тогдашней моде узелком величиной с ноготь, — подошел к микрофону, постучал по нему мизинцем и запел на ужасном английском песенку из «Судьбы солдата»:

— Кам ту ми, май меланколи бэби,
Кам ту ми энд донт би блю,

Смайл май хани дир,
Смайл антил вил би ин лав,
Ор элс шел би меланколи ту...

Зал стонал от восторга, Миша Волох врубил самодельный зеркальный прожектор, и по лицам танцующих побежали мертвенно-голубые блики. Теперь все танцевали медленно, нагнувшись над подругами плохо выведенными вопросительными знаками, чуть покачивая головами в такт танго, словно дрессированные лошади на манеже.

Видимо, почуяв неладное, начальник спортцеркви выскочил из комнатушки на хорах. Джазисты сразу же заметили его и, сломав ритм, затянули «падеграс». Спортсмены и голубятники немедленно перестроились, развернули подруг в графские позиции и стали приседать перед ними, выворачивая ноги, как истые аристократы восемнадцатого века, в эпоху предреволюционной Франции. Директор церкви ушел, успокоенный, и джазисты снова перешли на «Судьбу солдата».

Мы протолкались с Левой поближе к сцене: там было раскрыто высокое стрельчатое зарешеченное окно. За этим раскрытым окном была черная, после ливня, рассветающая и расцветающая ночь. Котенок, который сидел у Левы на плече, смотрел в окно желтыми глазами и, часто жмурясь, устало мурлыкал.

— Как будешь танцевать? — спросил я Кочаряна.

— Ничего. Котенок не помешает.

В поисках девушек мы разошлись по залу: он налево, я направо. Я видел, как Лева проталкивался вдоль стены, а котенок сидел у него на плече — выгнувшись, подняв хвост трубой; все оборачивались и смеялись, а Лева, похожий на Мцыри, был бледен и невозмутим. Потом я нашел себе девушку и пригласил на «па-де-де». Она танцевала, не глядя на меня, отвернув лицо, лениво разглядывая отсыревшие стены церкви. Такой был в те годы стиль: танцевать молча, не глядя друг на друга, — очень плотно прижиматься, но молчать и не замечать партнера. Девушка оказалась хорошо натренированной спортсменкой. Я понял это, потому что спина у нее на ощупь была гимнастическая: две горы, а посередине ложбинка.

— Если вы раз врежете, — сказал я девушке, — не поздоровится.

Она ничего не ответила, будто не слыхала.

— Вы очень крепкая, прямо стальная, — продолжал я осторожные ухаживания. Я тогда еще был неопытный, я полагал, что такие комплименты приятны девушке.

А ей-то, даже чемпионке по толканию ядра, очень хочется чувствовать себя слабой подле мужчины. Ей обязательно надо быть уверенной в его превосходстве, иначе ничего путного не выйдет.

— Видимо, вы — баскетболистка? — прокашлявшись, спросил я. — Первый разряд? Или мастер?

— Можете не болтать? — сердито откликнулась девушка. — Танцевать трудно.

Я обнял ее еще крепче, она сразу же податливо прижалась ко мне, но голову отвернула чуть назад, будто кукла с резинкой вместо шеи. Я мог спокойно разглядывать ее профиль и даже часть затылка — так она отвернулась от меня. Но я не успел ее толком разглядеть, потому что заметил в углу, возле двери, — оцинкованной, как в мясном магазине, — толпу, которая стремительно росла. А посередине толпы стоял Кочарян с отсутствующим взглядом. На плече у него сидел котенок, а два парня подталкивали Леву к выходу.

— Вы не умеете себя вести, — говорил один. — Додумались: котенка принести на танцы!

— Распоясались тут! — говорил второй.

Я извинился перед девушкой и протолкался к Леве.

— В чем дело? — спросил я.

— А вас не спрашивают! Отвалите-ка подобру-поздорову, — сказал первый парень, — и не хулиганьте в общественном месте!

— Кому мешает котенок? — холодно допытывался Лева. — У вас есть заявитель?

— Заявителя нет, но котенка вносить в общественное помещение не разрешается!

— Где это записано? — спросил я.

— Да! Где это записано? — оживился Лева. — В правилах это есть?

— Есть!

Толпа напряженно выжидала, когда выявится победитель, чтобы тут же поддержать его.

— Предъявите правила! — потребовал Лева.

— Хватит с ними валандаться! — сказал первый и, взял Леву за рукав, попросил: — Очистите помещение, гражданин.

— Не применяйте силу, — попросил Лева. — Вы не в Америке, а в Москве!

Мы часто пользовались этим приемом. Мы напоминали в таких сварах, что живем в демократической стране, а не в Америке и что у нас нельзя допускать произвол

в отношении гражданина. Это многих отрезвляло, и драка не начиналась, и все мирно рассеивалось. Но в этот раз ничего не вышло — парни попались какие-то несознательные. Один из них ловко сорвал с Левиного плеча спящего котенка и швырнул его в оцинкованную дверь, котенок пронзительно закричал. Лева сделал короткое движение, точно, как Джим Кегни, и парень растянулся на полу с разбитым ртом — его губы стали ярко-пунцовыми, как у размалеванной проститутки.

Лева рипулся было к двери, где кричал котенок, но ему в ноги кинулся малолетка, и они упали возле сбитого парня. Началась свалка. Сбили и меня. Сквозь пальцы, прижатые к лицу, я какое-то мгновение близко видел трухлявый пол церкви, бело-красный кухонный кафель возле оцинкованной двери, чей-то полуботинок — замша с лаком — и котенка с желтыми глазами.

А потом я ослеп от боли, потому что мне наступили каблуком на кисть правой руки, — это был довольно распространенный прием шпаны, чтобы не позволить тебе драться: попробуй, ударь распухшими пальцами! Впрочем, Лева Кочарян умел продолжать схватку, даже если целая кодла прыгала прохарями и микропорками на кистях, — лишь бы подняться. Если он находил силы вскочить, то сразу, каким-то животным чувством определял пахана, прыгал на него, как футболист на мяч, летящий вдоль ворот, и наносил в падении страшный удар лбом в лицо; на какой-то миг оно делалось сахарно-белым, словно обмороженным, а уж потом превращалось в кровавое месиво. Не глядя на валявшегося пахана, Лева мгновенно поднимался, нацелившись на одного из малолеток; тот, как правило, пускался бежать. А если один дал деру, вся кодла развалится, потому что она сильна общностью, до первой трещины, и чтоб пахан стоял королем.

Лева умудрялся *отмахиваться* от самых грозных банд, потому что вел себя, как Джим Кегни: «Самое страшное, что может случиться, — *перо* в бок. А кто в наше время гарантирован от этого?»

Но здесь, в спортцеркви, Лева допустил ошибку: он не учел, что люди не простят ему такой разнузданности — котенка, видите ли, принес на танцы! Люди культурно отдыхают, а этот припер животное, надо ж так презирать общество?! Поэтому, повалив, его били по-черному, не оставляя шанса подняться. Если б вел себя, как все, не выдрючизался, поучили б сколько надо, раз заслужил, и — все. Но здесь был случай особый, высшее проявление

индивидуализма, такое прощать нельзя, до добра не доведет Державу...

...А потом была милиция, трехчасовое составление протокола за нарушение общественного порядка, перенос Левы в машину «скорой помощи», потому что ему переломали три ребра и ключицу, а после — раннее утро, перезвон колоколов на Елоховском соборе и отчаяние, потому что двести рублей, отложенные для передачи отцу, пропали во время драки. Денег нет, Лева в больнице, никто не поможет достать две сотни, а в тюрьму разрешалось пересылать двести рублей раз в полгода и одно письмо в год, и если я завтра не перешлю деньги, отец останется без курева, маргарина и мыла, а завтра — последний срок, потом надо ждать еще шесть месяцев, во Владимирском изоляторе зорко следили, чтоб вражинам не было поблажек.

Я шел по рассветающему городу. На стендах уже расклеили утренние газеты. В передовице «Правды» сообщалось, что еврейские врачи-убийцы и отравители в белых халатах — профессора Виноградов, братья Коганы, Вовси — не были агентами тайной организации «Джойнт», а представляли цвет многонациональной советской медицины. Сообщалось также, что на самом-то деле «Джойнт» — это английское слово «объединенный», а народный артист Михоэлс — никакой не враг, а гордость советского народа. И еще в передовице говорилось, что бывший заместитель министра Рюмин грубо нарушал пролетарский интернационализм и социалистическую законность, — за это он освобожден от занимаемой должности и арестован.

...Вернувшись домой, я заметил в почтовом ящике конверт со знакомым штемпелем.

Я даже похолодел от внезапного чувства отчаянной радости. Наверняка на этот-то раз сообщают, что отец освобожден, что никакой он не член «запасного правого центра», а настоящий большевик, надо срочно ехать за ним во Владимир, — ходить старик не может, видимо, хотят, чтобы я привез его в свою комнату тихо и незаметно, зачем разжигать ненужные страсти, даже в семье бывают ссоры и неприятности, а тут такая огромная страна, всякое могло случиться... Я вскрыл конверт; там был узенький листочек бумаги: «Ваша жалоба рассмотрена, отец осужден Особым совещанием правильно, оснований для пересмотра дела не имеется».

27

Среди многих откликов, которые пришли после публикации первой части «Ненаписанных романов», было письмо Александры Лаврентьевны Беловой, вдовы командарма первого ранга.

В своей книге «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург пишет: «Помню страшный день у Мейерхольда. Мы сидели и мирно разглядывали литографии Ренуара, когда к Всеволоду Эмильевичу пришел один из его друзей, комкор И. П. Белов. Он был очень возбужден; не обращая внимания на то, что кроме Мейерхольда в комнате Люба и я, начал рассказывать, как судили Тухачевского и других военных. Белов был членом Военной Коллегии Верховного Суда (Эренбург ошибался: Сталин *назначил* Белова, как и маршалов Блюхера, Егорова и Буденного, членами Особого Присутствия. — *Ю. С.*). Белов рассказывал: «Они вот так сидели — напротив нас. Уборевич смотрел мне в глаза...» Помню еще фразу Белова: «А завтра меня посадят на их место...» Потом он вдруг повернулся ко мне: «Успенского знаете? Не Глеба — Николая? Вот кто правду писал!» Он сбивчиво изложил содержание рассказа Успенского, какого — не помню, но очень жестокого, и вскоре ушел. Я поглядел на Всеволода Эмильевича; он сидел, закрыв глаза, и походил на подстреленную птицу (Белова вскоре после этого арестовали)».

...Сижу в квартире Александры Лаврентьевны Беловой, вдовы легендарного командарма; фотографии Ивана Панфиловича — усы, бородка, крутой лоб, невыразимо печальные глаза, по осанке и облику — потомственный аристократ.

— Он из мужиков, — замечает Александра Лаврентьевна, — из Псковской губернии, ныне эта часть отошла к Вологде... Аристократизм человека нарабатывается приобщением к знанию; Иван Панфилович был восхитительный читатель...

Сама она родилась в Питере, в семье мастера, столяра, речь ее именно петербуржская, очень много бесстрашного подтекста; постоянен юмор и горестное сострадание к людям.

Рядом с портретом комкора — уникальное фото Михаила Зощенко, родителей и сына, Виктора.

— С Зощенко мы давно дружили, это был совершенно невероятный человек, наш Мишечка... Помню, его куда-то не избрали на Первом съезде писателей; он при-

шел ко мне и совершенно серьезно сказал, что повесится, — пусть потом плачут... «Сначала я подумал, что произошла какая-то ошибка, — говорил он дрожащим голосом, — решил пойти в комнату, где отдыхал президиум; открыл дверь, а меня молодые люди аккуратненько под руки и в сторону — без специального пропуска никак нельзя. Я говорю, что, мол, я писатель Зощенко, а молодые люди отвечают, что это очень даже замечательно и книги они мои любят, но без специального пропуска запрещено... А я успел увидеть: там жены начальственных писателей в креслах сидят, ножку на ножку забросили, длинные папиросы курят и чирикают о чем-то веселом, смеются все время...» Я, конечно, рассказала об этом Ивану Панфиловичу; тот — к телефону, связался с Бухариным: «Военный округ, красноармейцы и командиры высоко чтут талант Михаила Зощенко, он должен быть избран, товарищ Бухарин, непременно должен быть избран, иначе это будет горькая несправедливость, нельзя обижать писателя, — если он настоящий писатель, то подобен ребенку: так же раним, и утешить его трудно, ссадина на всю жизнь...»

Бухарин был в крайне сложном положении на писательском съезде; в свое время Сталин попросил его написать статью против Есенина: «Я не имею на это права, Николай, — грузин... А ты русский, до последней капельки русский... Мы окружены с тобою мелюзгой — только ты и я подобны Гималаям, нам и быть во всем вместе...»

Говоря это, Сталин уже знал, что Бухарина — так или иначе — уберет; Гималаи обозначают *единичность*. Логик, он не терпел двузначности. Понимая, что интеллектуалу Бухарину (интеллектуализм — это всегда множественность толкований, вариантность мышления, пренебрежение к формулировкам — с их теологической точностью, *Коля* не поймет затаенного смысла его фразы) трудно будет отказать ему в такой просьбе, тем более что Есенина в свое время поддержал Троцкий, свою статью о нем закончил словами: «Великий поэт умер. Да здравствует поэзия!»

В речи на писательском съезде Бухарин всячески поднимал Пастернака, словно бы оправдываясь за то, что клеймил Есенина «кулацким поэтом».

Сталину нужно было разбить Есенина словами Бухарина, ибо он страшился его, есенинской, вольницы и независимости; ему была необходима *позиция* Бухарина, потому что он понимал: Бухарин — выразитель и теоре-

тик «крестьянской» концепции России; от столкновения двух этих сил — поэтической и политической — функцию верховной силы получает он, Сталин.

Четыре года — с тридцатого по тридцать четвертый — Сталин жил в страхе: а вдруг *мужик*, не выдержав террора, поднимется? Вдруг страна заполыхает? Красная Армия — в массе своей крестьянская, станут ли стрелять в своих?

Нет. Не поднялись. *Снесли.*

Когда Бухарина вывели из Политбюро и Серго взял его к себе в Наркомтяжпром начальником научно-технического отдела, Ягода ежедневно сообщал Сталину обо всех, кто приходил к Николаю Ивановичу: в сухих сводках наблюдения рассказывалось, как принимала друзей опального лидера «Пеночка» (так Бухарин называл своего секретаря Августу Петровну Короткову). В свое время, молоденькой девушкой, она была отправлена — постановлением Реввоенсовета за подписью Яна Берзина — в Крым, для нелегальной работы в тылу Врангеля, потом помогала ветерану революционного движения Шелгунову, другу Ленина, ослепшему в тюрьме, после этого стала секретарем заведующего отделом пропаганды Коминтерна Белы Куна, а потом уже «Черныш», помощник Председателя ИККИ Коминтерна Бухарина Ефим Цетлин, один из первых членов ЦК КИМа, пригласил ее в секретариат Николая Ивановича.

«С ним я проработала вплоть до того дня, — рассказывала она мне, — пока Сталин не посадил Бухарина под домашний арест на «известинской» даче в Сходне».

Сталин не простил Бухарину той телеграммы, что он отправил — открытым текстом — летом тридцать шестого с Памира: просил не приводить в исполнение приговор над Каменевым, Зиновьевым и Иваном Никитовичем Смирновым; ненависть к нему после этого сделалась у Сталина давящей, постоянной, порою сладостной даже.

Ягода сообщал, что «Пеночка», или «Белочка», — так ее называл поэт Мандельштам, часто заходивший к Бухарину (отдел, возглавлявшийся Николаем Ивановичем, размещался в особняке на улице Кирова, наискосок от нынешнего Управления торговли Мосгорисполкома), каждую неделю готовит чай или кофе для постоянных визитеров: Вернадского, Вавилова (с ним Бухарин был особенно дружен), Горбунова, Кржижановского — академики приходили к своему коллеге академику Бухарину; Сталин попросил Ягоду повнимательнее *послушать*, о чем они

говорят: «вполне возможно зарождение новой "Промпартии"».

— В начале тридцатых годов, — продолжала между тем Александра Лаврентьевна, — Белова отправили в Германию, в военную миссию. А он был человек невероятной храбрости, почитайте «Мятеж», это ведь — во многом — о нем. Очень дружил с Фрунзе и Кировым, поэтому Сергей Миронович и пригласил его на должность начальника Ленинградского военного округа. Он никогда ничего не держал за пазухой, говорил, что думал: «Требую, чтобы не было произвола, — телеграфировал он в девятнадцатом году, когда служил в Туркестане, — не заливайте фундамент социалистического общества кровью безвинных жертв...» Думаете, ему эти слова забыли? Сталин не умел забывать, это было против его натуры, он все помнил, все абсолютно... Так вот, в Берлине Иван Панфилович переодевался в штатское и посещал собрания национал-социалистов, слушал выступления фюреров, вождей партии, — Гитлера, Штрассера, Геббельса, Рэма... Этот массовый психоз, этот черный расизм потрясли его. Он написал в Кремль, Поскребышеву, просил передать Сталину: «Я сидел в двадцати шагах от Гитлера, когда он был на трибуне. Это — страшно. Это угроза цивилизации, начало звериной вседозволенности для вождя, который имеет право на все. Я могу попасть на его следующее выступление. Прошу санкцию на уничтожение этого злодея, который сплошь и рядом оперирует нашими лозунгами: "Все права рабочим и крестьянам, долой финансовый капитал, все на борьбу за счастливое будущее германской нации, прокладывающей путь человечеству в лучезарное завтра!"».

Сталин письмо это прочитал, пожал плечами: «Анархистские замашки», — Белова приказал отозвать в Москву; вскоре его, Сталина, личный эмиссар начал искать контакты с Гитлером и задействовал нацистский МИД, чтобы через него поначалу выйти на Геринга...

— Когда Иван Панфилович начал работать с Кировым, — продолжает Александра Лаврентьевна, — они целыми днями на границе пропадали, возвращались грязные, все в глине, ставили укрепления... Кстати, немцы с финнами так и не смогли эти укрепления преодолеть, разбились о кировско-беловскую линию обороны, а ту, что Сталин пытался делать после позорной финской кампании, разрезали, как нож — масло... Жили мы с Иваном Панфиловичем в Левашово, под Питером, кое-кто из

стариков и поныне это место называет «Беловской дачей»... Как-то раз Белов говорит: «Знаешь, освободился дом рядом с Сергеем Мироновичем, приглашает нас перебраться». Я, понятно, обрадовалась: быть рядом с Кировым! Начала собирать вещи, как вдруг Белов говорит: «Не надо. Останемся здесь». — «Почему?» — «Не надо», — повторил он, а лицо — серое, глаза больные, замученные... И было это, если не изменяет память, после первого задержания Николаева, когда его отпустили — с оружием...

Именно в те дни Белов заторопился в Москву, в Наркомат обороны, к кому — не знаю. А когда возвращался, опоздал на поезд, догонял последний вагон по перрону, вспрыгнул, но заметил, как из кармана шинели выпала записная книжка. Дернул стоп-кран, книжку подобрал и — вновь в вагон. А тут паника: остановка «Красной стрелы» была ЧП, об этом немедленно сообщали Сталину — с тех еще пор, как Луначарский попросил задержать отправление на несколько минут, его жена опаздывала... Анатолию Васильевичу за это вроде бы выговор вкатили, Сталин такое не прощал — сам-то в своем поезде разъезжал, вне всех и всяческих расписаний... Прибежал начальник состава, накинулся на проводника: «Кто сорвал стоп-кран?!» Все молчат, растерянные. «Под суд пойдешь! В тюрьму упрячу!» Тут Иван Панфилович и сказал: «Не надо никого в тюрьму прятать. Стоп-кран сорвал я...» А назавтра Сталин сказал Ворошилову: «Этот Пугачев еще и не то когда-нибудь сделает...»

...Помню, как в Москве уже — Ивана Панфиловича перевели начальником МВО — он рассказывал мне во время прогулки: «Знаешь, мне даже какую-то радость доставляет грохотать сапогами по металлическим лестницам Кремля — сталинские охранники за пистолеты хватаются, каков поп, таков приход». А еще, помню, он долго-долго сидел над книгой «Гражданская война, 1918—1921», выпущенной ГИЗом в 1930 году, и лицо его было скорбным, порою растерянным даже...

Третий том этой книги вышел под редакцией А. Бубнова, бывшего главкома С. С. Каменева, М. Н. Тухачевского и Р. П. Эйдемана. Книга эта — трагический документ, воистину. Например, тщательно разобранная — с военной точки зрения — Орловская операция Красной Армии в 1919 году перечеркивается *втиснутым* петитом сноски: «Труд был сверстан, когда появилась работа

К. Е. Ворошилова «Сталин и Красная Армия», ГИЗ, 1929 год (то есть немедленно после высылки из страны первого Председателя Реввоенсовета республики и наркома обороны Л. Троцкого). В книге (Ворошилова. — *Ю. С.*) дается ряд *новых* данных...»

Приводится там и письмо Сталина, отправленное с юга Владимиру Ильичу. Заканчивается оно следующими словами: «Без этого моя работа на южфронте становится бессмысленной, преступной, ненужной, что дает мне право или, вернее, обязывает меня уйти куда угодно, хоть к черту, только не оставаться на южфронте. Ваш Сталин».

Итак, запомним: атака на историю гражданской войны началась в 1929 году.

Но Бубнов, Тухачевский, Каменев и Эйдеман не могли и не хотели фальсифицировать историю. Ограничившись приведением сталинского письма и отрывков из книги Ворошилова, они продолжали следовать канве правды. Более того, они резко ударили Сталина — понятно, не называя его — при разборе польской кампании, когда войска Пилсудского захватили Киев, подписав договор с Симоном Петлюрой, и для борьбы с ним было создано два фронта — Западный, который возглавлял Тухачевский, и Юго-Западный, во главе которого был Егоров, а членом Военного совета — Сталин. Тухачевский рвался к Висленскому рубежу, а Егоров и Сталин повернули свои войска на Львов. Примечательно замечание авторов книги: «Согласно директиве (командующего Юго-Западным фронтом Егорова и Сталина. — *Ю. С.*), непосредственное содействие Западному фронту возлагалось лишь на численно слабую 12-ю армию...» В ряде книг той поры приводятся свидетельства неподчинения Егоровым, Сталиным и командиром Первой Конной Буденным плану Главкома Каменева о переброске конницы на помощь Западному фронту.

Буденный утверждал: «Переброску Первой Конной от Львова... нужно рассматривать как предсмертную конвульсию команзапфронта (Тухачевского. — *Ю. С.*). Директива командующего Западным фронтом о переброске... запоздала... Если бы командование Запфронтом не нервировало без нужды своими директивами о переброске конной армии, то... падение Львова было бы обеспеченным...»

Как Тухачевский комментирует *нервическое* заключение своего оппонента? Он бесстрашно и открыто критикует себя: «Укажем и на те ошибки, которые следует отнести к командзапу (Тухачевскому. — *Ю. С.*). Командо-

вание Западным фронтом должно было дать еще более решительный *бой* в пользу своевременной подтяжки Первой Конной — даже тогда, когда Конармия еще не была ему передана. От его требовательности и настойчивости зависело, безусловно, очень многое. И вот этого в самый решительный момент операции командованием Западного фронта проявлено не было...»

(Примечательно: в тайных параграфах пакта «Риббентроп — Молотов» Сталин свел свои счеты с расстрелянным уже Тухачевским: Варшава была легко отдана Гитлеру, зато Львов отходил Союзу; воистину, Сталин ничего, никогда, никому не забывал.)

Александра Лаврентьевна говорит емко, красиво, при этом очень доверительно:

— Знаете, я физически ощущала на своей спине взгляды Сталина, когда нас с Иваном Панфиловичем приглашали на приемы в Кремль. Он медленно шел по залу, окруженный своими близкими... Он шел демонстративно медленно, словно бы сдерживая тех, кто был рядом... Я обратила внимание на его глаза: желтые, тяжелые, неподвижные... Они испугали меня... Но я женщина, я чувствую больше, чем анализирую, я увидела в его глазах такое одиночество, такую затаенную тоску, что сказала Ивану Панфиловичу, когда мы вернулись домой: «Отвези меня к нему... Ну, пожалуйста... И в грешнике есть частица святого, надо только докопаться до нее... Поверь, я смогу уговорить его остановить ужас происходящего...» Иван Панфилович отмалчивался, я настаивала. Тогда он тихо ответил: «Что ж, пожалуйста... Собирайся... Только заранее простись с детьми, родителями, с друзьями, со мною, наконец, — нас всех уничтожат, Шура, всех. В одночасье...» Я потом только узнала, что Белов написал в письме Сталину, что необходимо организовать Наркомат оборонной промышленности, он ведь не зря в Германии работал, понял доктрину немцев: «лишь техника решит исход будущей битвы». А Сталин? Он считал, что только конница Буденного и авиация гарантируют нам победу над любым врагом... Сталин прочитал записку Ивана Панфиловича, усмехнулся, посмотрел ему в глаза: «Что, готовишь себе тепленькое местечко?» Он мерил всех своими мерками, этот человек... Хотя порою мне не под силу называть его человеком... Я помню, как Иван Панфилович возвратился с процесса над своими товарищами во главе с Тухачевским. Он был совершенно черный тогда... Сел к столу, попросил у меня бутылку коньяку, открыл его и вы-

пил всю бутылку, не закусывая. А ведь он пил редко, крестьянский сын, *блюл* себя... А потом поманил меня к себе и прошептал: «Такого ужаса в истории цивилизации еще не было... Они все сидели, как мертвые... В крахмальных рубашках и галстуках, тщательно выбритые, но совершенно безжизненные, понимаешь? Я даже усомнился — они ли это? А Ежов бегал за *кулисами*, все время подгонял: «Все и так ясно, скорее кончайте, чего тянете...» Я спросил Якира — помнишь, сестра его жены была замужем за моим помощником по разведке: «А он тоже враг народа?» Якир даже не посмотрел на меня, ответил заученно: «Да, он тоже враг народа...»

...Судили Тухачевского два его недруга: маршал Егоров, командовавший Юго-Западным фронтом вместе со Сталиным, и Буденный; Блюхер и Белов были фигурами нейтральными, их *использовали*... Было необходимо соблюсти декорум — в этих вопросах Сталин был большим специалистом...

Впрочем, порою меня поражает то, что он вписывал или давал указания вписать в показания арестованных. Например, на процессе «Антисоветского троцкистского центра» Вышинский (а ведь он до сих пор покоится в Кремлевской стене, страшно — это то же, что захоронить там Гиммлера!), допрашивая одного из руководителей Кузбасса, бывшего рабочего, любимца Серго, ставшего «командиром тяжелой индустрии», — товарища Шестова, задал вопрос: «Где вы получили письмо Седова? (Лев Седов — сын Троцкого, отравлен в 1938 году в Париже. — *Ю. С.*). Шестов: «Я получил его в ресторане „Балтимор“». Вышинский: «Что же вам Седов сказал?» — Шестов: «Он просто передал мне тогда — не письма, а, как мы тогда условились, пару ботинок... В каждом ботинке было заделано по письму...»

Как же надо было презирать людей, какую власть надо было над ними забрать, чтобы разрешать себе такие кровавые шутки! Только кретин, а не конспиратор может приносить в ресторан — да еще такой, как «Балтимор», — ботинки! Обмен письмами незаметен, ботинками — смехотворен!

Или, например, другой эпизод; допрашивая подсудимого Арнольда, Вышинский спрашивает: «Может, это *нескромно*, но я должен уточнить, где вы родились, и фамилию вашего отца». Арнольд: «Я родился в Ленинграде, фамилия моего отца Ефимов, а фамилия матери Иванова». Вышинский: «Почему же вы Васильев, а не Петров?!»

Арнольд: «Потому что у меня крестный был Васильев... Потом товарищ отдал мне паспорт на фамилию Карл Раск... После я переменил фамилию на Аймо Кюльпинен... А потом переменил фамилию на Валентин Арнольд и поехал — из Америки уже — оказывать техническую помощь Советской России в Кемерово...» Вышинский: «А вы не были членом масонской ложи?» Арнольд: «Был, когда я жил в Америке, я подал заявление и поступил в масонскую ложу... Я вступил в партию в 1923 году...» Вышинский: «И в это время вы оставались масоном?» Арнольд: «Да, но я никому об этом не говорил... Я должен был организовать теракты против Орджоникидзе, Молотова, Эйхе и Рухимовича...» (Серго, Эйхе и Рухимовича убили не троцкистские масоны, а Сталин. — *Ю. С.*)

Вот откуда пошла «масонская версия» у нашей «Памяти»! От прокурора Вышинского! Ай да корни, ай да традиции!

— Вскоре после расстрела героев гражданской войны, — продолжает Александра Лаврентьевна, — Сталин вызвал Белова... В кабинете сидел Ворошилов... Сталин долго ходил по кабинету, а потом, остановившись перед Иваном Панфиловичем, спросил:

— Любишь меня, Белов?

А Иван Панфилович ответил:

— Вы ж не женщина... — Потом помолчал, нервы, видимо, сдали, и выдохнул: — Да как же вас любить, когда вы революцию погубили?

Сталин хлестанул его по щеке, обернулся к Ворошилову:

— А ты его на новую должность рекомендовал... Нехорошо...

Из сталинского кабинета Белова увезли в тюрьму. На расстрел его вели под руки, шел он, как каучуковый, подскакивал, все кости были переломаны.

Ну а потом пришла моя очередь... Настоялась в карцерах: это каменный шкаф, повторяющий, как гипсовый слепок, фигуру человека. Стоишь, стоишь, потом теряешь сознание, оседаешь, тебя вытащат, обольют водой и — на место... В сортир не водили — все под себя... Стакан воды и кусок хлеба на день... Стой и думай...

Детей забрали в детприемник, туда моя мама поехала, а ей говорят, что моя трехлетняя дочка, Клементина, умерла от голода... Мама спрашивает: «А где хоть ее могилка?» А ей в ответ: «Будем мы еще вражеских змеены-

шей хоронить... Иди вон в ров, там их много лежит, раскапывай, может, по костям *родное* определишь».

...А Мишенька Зощенко пришел в НКВД, сам пришел, никто его не вызывал: «С Иваном Панфиловичем я редко встречался, а за Шурочку кладу свое честное имя, отпустите ее, *пожалуйста...*»

Выпустили меня после расстрела Ежова... Тогда Берия нарабатывал себе имя «правдолюбца», ведь «товарища Сталина обманывали враги народа Ягода, Ежов и иже с ними». (Точное повторение *игры* Гитлера: после того, как он расстрелял двух истинных создателей национал-социализма — Рэма и Штрассера, прошли расстрелы ветеранов партии, которые помнили Мюнхен 1919-го, когда Гитлер еще не был фюрером; расстреляли что-то около тысячи человек. Фюрер рыдал; Геббельс комментировал: «Адольфа обманули еврейские плутократы». (Подробнее об этом — в моих книгах о Штирлице; там достаточно подробно дается анализ структуры национал-социализма, его стратегии и тактики. — *Ю. С.*)

— ...Вышла я из внутренней тюрьмы — одна-одинешенька, ни кола, ни двора. Ютилась у случайных людей, узнала воочию, что такое предательство, боялась попадаться на глаза знакомым: вдруг снова заберут?! Хотелось стать крошечной, незаметной. Вот когда люди начали всерьез мечтать о чуде «человека-невидимки»; только б никто не нашел, затаиться, — она вздыхает, — как это у Высоцкого? «Лечь бы на грунт...» Но — нашли, что-что, а находить у нас — если захотят — в миг найдут. А искал меня не кто-нибудь, а, как говорили тогда, «совесть партии» Матвей Федорович Шкирятов, председатель КПК, мерзавец из мерзавцев, палач и садист. Странно, отчего про него мало пишут, он же чудовище, фашистское чудовище, иначе и не скажешь...

Пришла я в КПК. Сидит этот карлик на уголке стола, глаза-буравчики, лицо дегенерата, смотрит на меня неотрывно, а потом — хлоп ладошкой по зеленому сукну и — фальцетом: «А ну, рассказывай, как ты, утеряв бдительность, спуталась с врагом народа?!» А мне терять нечего, у меня день и ночь перед глазами моя кровиночка, трехлетняя доченька, замученная палачами, вроде этого... «Мы с тобой на брудершафт не пили, — отвечаю, — что это ты ко мне дружбой проникся, на «ты» перешел?» Шкирятов аж ростом стал еще меньше, скукожился, как от зубной боли, и тихо спросил: «Комиссию интересует все о ваших связях с врагом народа Беловым». А я ему: «С Ива-

ном Панфиловичем Беловым я спала и детей ему рожала, а вы вместе с ним работали, на заседаниях Верховного Совета вместе сидели, что ж вы-то в нем врага не распознали?!»

Понятно, исключили меня из партии... Что потом было — рассказывать трудно, когда вспоминаю, сердце болит...

...Существует (пока что) две версии по делу наших легендарных военных.

Первая: РСХА во главе с Гейдрихом, зная болезненную подозрительность Сталина, подготовило фальшивки на Тухачевского и его соратников; это было нетрудно сделать, ибо почти все наши военачальники проходили обучение в Германии — после заключения договора в Рапалло, задолго до того, как к власти пришел Гитлер.

Документы подделывал штурмбанфюрер СС Науекс. После разгрома нацизма он дал развернутые показания об этой «работе».

Суть подделки: группа военачальников во главе с Тухачевским готовит военный путч против Сталина.

Гитлеру не была страшна доктрина Сталина: «Все решит конница и авиация». Гитлеру была страшна доктрина Тухачевского: «Только танковые и мотомеханизированные войска вкупе с авиацией могут гарантировать победу над агрессором».

Много лет — после XX съезда — считалось, что расстрел наших военных был победой службы Гейдриха. Кое-кто продолжает так считать и поныне: «Товарища Сталина обманули».

Вторая версия: по заданию Сталина *идея* о путче советских военачальников была подброшена Гейдриху из Москвы — через генерала Скоблина, который затем таинственно исчез из Франции.

То есть Гейдрих был лишь *статистом* в игре Сталина.

Есть и третья версия, которую большинство исследователей отвергают. Суть ее сводится к следующему: чекисты-дзержинцы, работавшие с тридцать четвертого года в архивах царской охранки, чтобы *накопать* «компру» на Каменева, Бухарина, Пятакова, Рыкова, нашли документы, свидетельствовавшие о неблаговидных поступках Сталина. Сообщили об этом своим единомышленникам-военным. Те начали готовить переворот, чтобы спасти страну от тирана: основания к свержению Сталина якобы были абсолютны.

...В конце пятидесятых годов Лиля Брик и Катанян снимали две комнаты на даче на Николиной Горе. Однажды, гуляя по поселку, Лиля Юрьевна сказала мне:

— Весь тридцать шестой год я прожила в Ленинграде... Я тогда была замужем за Виталием Примаковым, командиром «Червоного казачества» во время гражданской... И все это время я — чем дальше, тем больше — замечала, что по вечерам к Примакову приходили военные, запирались в его кабинете и сидели там допоздна... Может быть, они действительно хотели свалить тирана? Или *тот играл* с ними, организовав провокацию?

...За всеми участниками Особого Присутствия — сразу же после окончания кровавой трагедии — Ежов поставил слежку. Наладил прослушивание телефонных разговоров, перлюстрацию писем.

О результатах Сталину докладывали ежедневно.

Доложили и о том, что Егоров сник, замкнулся в себе, сказал одному из близких: «Я оказался пешкой в грязной игре. Мне стыдно самого себя».

Смогли записать подобные же разговоры Ивана Белова.

Маршал Блюхер заметил командарму Штерну во время боев против японских армий, вторгшихся в Монголию: «Это был кровавый фарс, но я не могу понять, отчего же они во всем признавались?! Отчего их лица были белые, словно мукой обсыпанные? Почему у них были чужие, мертвые глаза?!»

Егорова и Белова расстреляли после нечеловеческих пыток.

Блюхер — чтобы не выйти на процесс — выколол себе глаза в кабинете Берия и был там же убит.

Буденный одобрял исход процесса, показывал друзьям в лицах, как *кололись* Тухачевский и Якир.

Тем не менее и за ним были отправлены две машины — Берия решил, что убирать надо всех свидетелей, без исключения.

Семен Михайлович жил в Переделкино, на даче, жил, как в былые времена у себя в станице, — с охраной, конюхами, егерями.

Когда его подняли с кровати — «чекисты приехали», он, как был, в исподнем, бросился к окну, распахнул его и крикнул охране: «Пулеметы — товь!» И дал несколько выстрелов из маузера. Потом бросился к телефону, набрал номер Сталина: «За мной приехали! Буду отбиваться, это — ежовские последыши». Сталин — после долгой пау-

зы, калькулировать он умел — понял, что Семен не сдастся так просто, как *интеллигентишки* типа Тухачевского и Уборевича, поднимет своими пулеметами весь поселок, а там писатели живут, пойдут ненужные толки, поинтересовался: «Сколько времени продержишься?»

Буденный ответил: «До конца буду отстреливаться, патронов хватит...»

— Ну, держись, — усмехнулся Сталин, — попробую помочь.

Позвонил в Серебряный Бор, на дачу Берия:

— Заберите ваших людей от Буденного, пусть останется хоть один свидетель, один — всегда пригодится, я ему верю...

...Александра Лаврентьевна Белова проводила меня до двери — маленькая, очаровательная женщина с прекрасными голубыми глазами.

Вздохнула, улыбнулась:

— Мишенька Зощенко носил золотую цепочку на левой руке. Как-то я ему сказала, что мечтаю вставить золотые зубы, — тогда было модно. Он снял свою цепочку, протянул ее мне:

— Возьмите, Шурочка, только вам не пойдут золотые зубы, вы же такая красивая...

Она пожала острыми плечиками:

— Слушайте, вы можете понять тех, кто и сегодня кричит, что «Сталин — отец родной»? После того, как все открыли?! Хотя какое там «все»... Что это: психоз, упрямство или обида за прожитую жизнь, в которой место Бога занял человек с желтыми глазами дьявола? «Без Сталина мы бы не выиграли войну», — с горькой усмешкой она повторила чьи-то слова. — Без него, может, и войны-то бы не было, и уж выиграли бы мы ее не сталинским «пушечным мясом», а стратегией Тухачевского, Якира, Белова... Разве нет?

НЕОБХОДИМЫЙ КОММЕНТАРИЙ

«Без Сталина мы б войны не выиграли»...

Бытующая и по сей день фраза эта ужасает меня глубинным презрением к себе и своему народу.

Такого рода персонификация фактов — трагическое наследство нашей *абсолютистской* истории.

Не будь Сталина — мы были б частью гитлеровского рейха, так, что ли?!

Нет, не выдавили мы из себя по капле раба, далеко нам еще до этого...

«Биография» Сталина: «22 июня 1941 года гитлеровская империалистическая Германия *грубо* нарушила пакт о ненападении и совершила *неожиданное*, вероломное нападение на Советский Союз».

Маршал Василевский. Книга «Дело всей жизни»: «С середины апреля 1940-го я включился в работу над планом по отражению возможной агрессии... В плане предлагалось развернуть наши главные силы от побережья Балтийского моря до Полесья, то есть на участках Северо-Западного и Западного фронтов...»

После этого доклада начальник Генштаба Шапошников был снят со своего поста и перемещен на должность заместителя наркома обороны по строительству оборонительных сооружений; на смену ему пришел К. А. Мерецков, арестованный Сталиным на второй день войны. Почему же он был арестован и подвергнут нечеловеческим пыткам? *Вчитаемся* в мемуары Василевского:

«Как нам рассказал Мерецков, Сталин, касаясь наиболее вероятного направления потенциального удара противника, высказал *свою* точку зрения. По его мнению, Германия постарается направить в случае войны удар... на юго-западе... В соответствии с этим Генштабу было поручено *переработать* план, предусмотрев сосредоточение *главной группировки* на юго-западном направлении...»

Гитлер ударил именно на западном и северо-западном направлениях, как предсказывал Генштаб во главе с маршалом Шапошниковым. Сталинская корректива работы военных стоила нам около ста тысяч убитыми и более трехсот тысяч пленными в первые дни войны, — именно на Западном фронте; надо было найти виноватого; им оказался Мерецков.

Василевский: «Оперативный план отражения агрессии был тщательно увязан с мобилизационным планом Красной Армии и страны в целом...»

Почему же Сталин — когда все знали о близком начале войны — отказался провести мобилизацию, а вместо этого 14 июня опубликовал заявление ТАСС, которое *демобилизовывало* и народ, и Красную Армию?..

Народный комиссар Военно-Морского Флота адмирал Кузнецов: «17 и 18 марта сорок первого года немецкие самолеты были несколько раз обстреляны под Либавой. Что же делать, если агрессор наглеет? Меня вызвали к Сталину. В кабинете кроме него сидел Берия, и я понял, откуда дует ветер. Меня спросили, на каком основании я отдал распоряжение открыть огонь по самолетам-нарушителям? Я попробовал объяснить, но Сталин оборвал меня. Мне был сделан строгий выговор и приказано немедля отменить распоряжение. Пришлось подчиниться».

Злополучное заявление ТАСС о том, что все слухи о возможной агрессии Германии являются «вымыслом», адмирал Кузнецов комментирует: «Надо было принимать чрезвычайные меры... Но, увы, этого не случилось... Мы решили больше *не ждать указаний*, начали действовать *сами*... Балтийский флот 19 июня был переведен на оперативную готовность "номер 2"...»

Маршал Василевский: «Сталин явно промедлил с принятием решения на переход армии и страны на полный режим военного времени... Сталин не решался на это, исходя, конечно, из *лучших* (?!) побуждений... Если бы наши войсковые части и соединения были своевременно отмобилизованы, выведены на предназначенные для них планом боевые рубежи, развернулись бы на них... то можно предполагать, что уже в первые дни войны были бы нанесены такие потери противнику, которые бы не позволили ему столь далеко продвинуться по нашей стране, как это имело место... Сталин, оказывавший огромное влияние на внешнюю и внутреннюю политику страны, видимо, не смог правильно уловить этого переломного момента... То, что Сталин не смог вовремя принять решение, является его серьезнейшим политическим просчетом... В чем причины?.. Прежде всего в том, что наши разведорганы, как справедливо замечает маршал Жуков, не смогли в полной мере объективно оценивать поступавшую информацию о военных приготовлениях фашистской Германии и честно, по-партийному докладывать ее Сталину...»

(Я уже писал, что несколько раз — работая над романами «Майор Вихрь» и «Семнадцать мгновений весны» — встречался с Молотовым.

— Неужели разведка не докладывала о приготовлениях Гитлера, Вячеслав Михайлович?

— Докладывала... Берия сообщил нам, что в германском посольстве в Леонтьевском переулке уже неделю

идет дым из труб — жгут документы... Но раз избрана линия — надо было следовать ей до конца...)

Берия сообщал Сталину информацию группы Шандора Радо и Леопольда Треппера из Берна и Гааги — война начнется 22 июня. Сталин приказал прервать с ними связь: «провокация англичан».

Советский военно-морской атташе в Берлине М. А. Воронцов назвал точную дату вторжения — его отозвали в Москву.

Нарком госбезопасности Эстонии сообщил, что 22 июня Гитлер выступит; его вызвали в Москву, но посадить «за клевету и панические слухи» не успели — Гитлер-таки действительно выступил...

Так что дело не в разведке, а в том, что Сталин уже давно стал диктатором, никто не смел ему возразить, его слово и мнение сделались истиной в последней инстанции...

Адмирал Кузнецов утверждает, что получил разрешение наркома Тимошенко и начальника Генштаба Жукова применять оружие в случае нападения *лишь ночью* 22 июня.

«Когда я возвращался в Наркомат, — пишет адмирал, — меня не покидали тяжелые мысли: когда наркому обороны стало известно о возможном нападении гитлеровцев? Почему не само правительство, а нарком обороны отдал мне приказ, причем полуофициально и с большим опозданием?.. Смотрю на часы... 3 часа 15 минут... Вот когда началось! Набираю номер кабинета Сталина. Отвечает дежурный: «Товарища Сталина нет, и где он, мне неизвестно». — «У меня сообщение исключительной важности, которое я обязан передать лично товарищу Сталину...» — «Не могу ничем помочь». Опять звоню дежурному: «Прошу передать товарищу Сталину, что немецкие самолеты бомбят Севастополь. Это же война!» — «Доложу, кому следует». Через несколько минут слышу звонок: «Вы понимаете, что докладываете?» — Это Маленков... Около 10 утра 22 июня я поехал в Кремль. Решил лично доложить обстановку... В Кремле все выглядело как в обычный выходной день... Наверное, руководство собралось в другом месте, решил я. Не застав *никого* в Кремле, вернулся в Наркомат...»

«Биография» Сталина этот период «*деятельности великого полководца всех времен и народов*» не комментирует, выделяя лишь «*пророчество*», высказанное в его речи от 3 июля, о том, что за демократию вместе с нами будут

сражаться Европа (читай — Англия) и Америка, то есть те страны, которые в течение полугода тщетно предупреждали его о дате нападения Гитлера.

Василевский: «Первоначальные неудачи показали некоторых командиров в невыгодном свете. Они оказались неспособными быстро овладеть искусством ведения современной войны, оставались в плену старых представлений...»

(Я отношусь с глубочайшим уважением к нашим замечательным маршалам, героям Великой Отечественной. Но не могу не сказать о трагическом ощущении, которое не оставляет меня, когда я читаю их мемуары: все они пишут о том, как много в их жизни значили такие блистательные военачальники, как Тухачевский, Уборевич, Якир, Путна, Примаков, Корк, Белов, Алкснис... Но ни один из маршалов не произнес ни единого слова об их трагической судьбе — были люди, и нет их, как отрезало... А ведь когда писались мемуары, эти легендарные герои гражданской войны были уже реабилитированы. Кто же запретил нашим маршалам положить венок на их безымянные могилы?!

Почему никто из них прямо не сказал, что «старые представления» о современной войне культивировал именно Сталин?)

Василевский: «Сталин исходил из того, что если боевые действия развиваются не так, как нужно, значит, необходимо срочно произвести замену (или расстрел: дело Павлова. — *Ю. С.*) руководителя. Однако такое отношение к кадрам в первые месяцы войны далеко не всегда давало положительные результаты...»

...Одно из *преступлений* Сталина, приведшее к тому, что Красная Армия потеряла более шестисот тысяч красноармейцев, попавших в плен, и около двухсот тысяч, павших на поле боя, выполняя *сумасбродный* приказ Сталина, относится к трагедии на Юго-Западном фронте.

Об этом свидетельствует Василевский: «Вечером 7 сентября (за два месяца боев немцы уже оккупировали всю Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, вышли к Киеву и Ленинграду, заняли рубежи в районе Смоленска, потеряв при этом около *четырех процентов* своих солдат. — *Ю. С.*) Военный совет Юго-Западного фронта сообщил, что обстановка еще более осложнилась... Мы с Шапошниковым (его вновь вернули в Генштаб. — *Ю. С.*) пошли к Верховному с твердым намерением убедить его

в необходимости отвести войска за Днепр и оставить Киев... Разговор был трудный и серьезный. Сталин упрекал нас в том, что мы пошли по *линии наименьшего* сопротивления: вместо того, чтобы бить врага, стремимся уйти от него... При одном же упоминании о жестокой необходимости оставить Киев Сталин выходил из себя и на мгновение терял самообладание...»

...А далее следует поразительное признание Василевского, которое молнией высвечивает обстановку, в которой им, *профессионалам,* приходилось работать: «Нам, видимо, не хватало необходимой твердости, чтобы выдержать вспышки этого неудержимого гнева...»

Видимо, дело тут не только в «твердости».

И Шапошников, и Василевский не могли не знать, что́ в эти страшные дни войны творилось в застенках, где пытали бывшего начальника Генштаба и будущего маршала Мерецкова, командарма Штерна (расстрелян. — *Ю. С.)*, начальника ПВО Алксниса (расстрелян. — *Ю. С.*), дважды Героя Советского Союза Смушкевича (расстрелян. — *Ю. С.*). (Кстати, немцы, захватившие в Вильнюсе семью выдающегося летчика, героя боев в Испании и на Халхинголе, не расстреляли ее, хотя были обязаны — все евреи, — полагая, что эти заложники помогут им в случае нужды выменять на них какого-нибудь своего генерала, буде он попадет в русский плен. — *Ю. С.*)

Василевский продолжает: «Вплоть до 17 сентября Сталин не только отказывался принять, но и *серьезно* рассмотреть предложения, поступавшие к нему от главкома этого направления, члена Ставки Г. К. Жукова, Военного совета Юго-Западного фронта и от руководства Генерального штаба».

(Какой главком, в какой стране мог позволить себе столь презрительно-высокомерное отношение как к докладам с мест кровопролитных боев, так и к позиции *мозга* Красной Армии, ее Генерального штаба?!

А ведь еще 13 сентября начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-майор Тупиков сообщал Шапошникову: «Начало понятной Вам катастрофы — дело пары дней».)

Василевский: «Ознакомившись с этим донесением, Верховный Главнокомандующий спросил Шапошникова, что тот намерен ответить. И тут же сам продиктовал ответ: "Генерал-майор Тупиков представил в Генштаб паническое донесение. Обстановка, наоборот, требует сохранения исключительного хладнокровия... Необходимо неуклонно

выполнять указания т. Сталина, данные вам 11 сентября. Б. Шапошников. 14 сентября 1941 года, 5 ч. 00 м."...»

Примечательно: понимая возможность катастрофы, Сталин подписал эту шифровку фамилией Шапошникова — будет на кого свалить вину в случае краха.

Василевский: «Только 17 сентября Сталин разрешил оставить Киев. В ночь на 18 сентября командование фронта отдало приказ отходить с боем из окружения. Однако вскоре связь штаба фронта со штабами армий и со Ставкой была прервана... 20 сентября погибли в бою (по иной версии — застрелились. — *Ю. С.*) комфронта М. П. Кирпонос, член Военного совета, секретарь ЦК КПУ М. А. Бурмистренко и начальник штаба Тупиков...»

Тот самый, кого Сталин посмел обозвать «паникером»... А этот герой сердцем болел за жизнь красноармейцев, блестяще выполнял свой долг — под беспрерывными бомбежками нацистов, без сна и отдыха — истинный патриот Отечества. Убежден, что эти военачальники заслуживают того, чтобы быть помянутыми в том Памятнике жертвам сталинского террора, который мы не можем не воздвигнуть: предательство Памяти — преступно и мстит новыми ужасами...

Василевский: «Мне не раз приходилось слышать, что Генштаб в предвоенные годы мало уделял внимания укреплению обороны Ленинграда... Предвидел ли Генштаб возможность агрессии по побережью моря, через Прибалтику? Да, безусловно. И оперативным планом, разработанным Шапошниковым, были предусмотрены меры борьбы с врагом на этом направлении».

Однако же читатель помнит замечание Василевского, что Сталин требовал разработки лишь «юго-западного варианта»!

...Примечательно, что в «Биографии» Сталина ни слова не говорится о трагической блокаде Ленинграда, о мужестве осажденного города, о гибели сотен тысяч — от голода и холода.

Василевский: «В связи с обострением обстановки под Ленинградом (виною чему было в первую очередь упрямое самодурство Сталина, упрекать советских солдат — кощунственно. — *Ю. С.*) Ворошилов и Жданов были вызваны в Ставку. Разговор происходил на станции метро «Кировская». Верховный сурово обошелся с ними и потребовал разработать оперативный план защиты Ленинграда. Ворошилов и Жданов не выразили ни слова обиды на резкость тона...»

Почему?! Ведь им же было прекрасно известно, кто повинен в том, что Генеральному штабу было запрещено заниматься разработкой планов обороны Ленинграда накануне войны?! Где чувство собственного достоинства?! Верность правде?! Справедливости?!

В том-то и заключается *преступление* Сталина, что начиная с 1924 года, когда от нас ушел Ильич, он планомерно и по-византийски виртуозно уничтожал всех, кто имел собственное мнение и не боялся его отстаивать под страхом быть объявленным «оппозиционером», «социал-демократом», после — «врагом народа», а уж засим — «диверсантом», «шпионом», «террористом», «фашистским наймитом».

Государственный страх сделался у нас нормой жизни; возражение Вождю каралось смертью; люди ломались, добровольно называя черное — белым, лишь бы выжить!

Василевский: «Ставка Верховного Главнокомандования (то есть Сталин. — *Ю. С.*) приказала войскам Волховского и Ленинградского фронтов нанести поражение вражеской группировке и снять блокаду с Ленинграда... В начале января 1942 года советские войска перешли в наступление. Но нас постигла неудача... В конце апреля 1942 года в Ставку прибыл командующий Ленинградским фронтом М. С. Хозин... Он предложил объединить войска Ленинградского и Волховского фронтов... Шапошников сразу же выступил против такого предложения. Сталин, наоборот, встал на позицию Хозина... Решение Ставки о ликвидации Волховского фронта оказалось ошибочным».

Благодаря этому своеволию Сталина, прошедшему, конечно же, безнаказанно, прорыв блокады Ленинграда был осуществлен лишь через год, в январе 1943-го, что стоило жителям города-героя сотен тысяч жизней.

...А что произошло весной 1942-го под Харьковом?

Генеральный штаб возражал против плана командующего Юго-Западным фронтом Тимошенко — тот поначалу намеревался вернуть Киев, но после категорического возражения Шапошникова скорректировал свои предложения: надо овладеть Харьковом и создать предпосылки для освобождения Донбасса.

«Шапошников стоял на своем, предлагая воздержаться от столь рискованной операции, — свидетельствовал Василевский. — Сталин, однако, дал разрешение Тимошенко на проведение этой операции и *приказал* Генштабу ни в какие вопросы по ней не вмешиваться... 12 мая, то есть в разгар неудачных для нас событий в Крыму, войска

Юго-Западного фронта перешли в наступление. Сначала оно развивалось успешно, и это дало повод Верховному бросить Генштабу *резкий* упрек, что по его настоянию он чуть было не отменил удачно развивающуюся операцию. Но уже 17 мая ударная группировка противника перешла в контрнаступление... С утра 18 мая обстановка для наших войск продолжала ухудшаться... Мне позвонил член Военного совета юго-западного направления Н. С. Хрущев. Он сообщил, что Сталин отклонил их предложение о немедленном прекращении наступления, и попросил меня еще раз доложить Верховному об их просьбе. Я ответил, что уже не однажды пытался убедить Верховного в этом... Сталин отклонил мои предложения... Поэтому я порекомендовал Хрущеву, как члену Политбюро ЦК, обратиться непосредственно к Верховному... Вскоре Хрущев сообщил мне, что разговор с Верховным — *через* Маленкова — состоялся, что *тот* подтвердил распоряжение о *продолжении* наступления... 19 мая ударная группировка вышла в тыл советским войскам, и только тогда Тимошенко отдал, наконец, приказ прекратить дальнейшее наступление на Харьков... Но, к сожалению, состоялось оно слишком поздно: три армии Южного и Юго-Западного фронтов понесли тяжелые потери. Погибли командарм-57 генерал-лейтенант К. П. Подлас, начальник штаба генерал А. Ф. Анисов, член Военного совета бригадный комиссар А. И. Попенко, командарм-6 генерал-лейтенант А. М. Городнянский, член Военного совета бригадный комиссар А. И. Власов, командующий армейской группой генерал-майор Л. В. Бобкин и заместитель командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко. Из окружения сумела выйти лишь меньшая часть нашей ударной группировки во главе с членом Военного совета этого фронта дивизионным комиссаром К. А. Гуровым и начальником штаба 6-й армии А. Г. Батюней».

...Ни об одном из этих героев нет ни строчки в Советском Энциклопедическом словаре. Какова судьба тех, кто вывел наших бойцов из окружения? Что с ними стало? Где они?!

Энциклопедический словарь вышел в 1981 году, когда начальником Главного Политического управления Советской Армии был Епишев: ему нашлось место на страницах этого издания. Увы, среди перечисленных должностей, занимавшихся им, не помянут пост заместителя министра внутренних дел, коим являлся Л. П. Берия. Может быть, именно поэтому наши полководцы не могли написать

правду о гибели своих учителей — Тухачевского и тех, кто разделил с ним трагическую судьбу?!

Василевский заканчивает так: «В результате этих неудач обстановка и соотношение сил на юге резко изменились в пользу противника. Изменились, как видим, *именно там*, где немцы *наметили* свое летнее наступление. Это и обеспечило им успех прорыва к Сталинграду и на Кавказ».

К сожалению, и в 1978 году, когда вышла книга маршала, ему приходилось — не в такой, правда, мере, как Крупской, — шифровать свою концепцию; умело стыкуя фразы, используя искусство логического монтажа, Василевский обращался к тем, кто *умеет* читать. Проанализируйте его абзац: «Я пишу все это не для того, чтобы в какой-то степени оправдать руководство Генштаба. Вина ложится и на его руководителей, так как они не оказали помощь юго-западному направлению, хоть нас *отстранили от участия в ней*».

Но как же они могли оказать помощь, если их отстранил лично Сталин?!

...Ах, если бы Жуков, Василевский, все наши маршалы дожили до сегодняшнего дня! Как много они смогли бы сказать нам!

...Советский народ потерял — в результате преступного самодурства Сталина — более ста тысяч убитыми и не менее полумиллиона пленными в районе Харькова.

Столько же — под Ленинградом, во время авантюры с объединением фронтов.

Кто же был в этом виноват? Конечно, начальник Генерального штаба Шапошников! Сталин никогда, ни при каких условиях своих ошибок не признавал!

Василевский: «По *настоянию врачей* Шапошников обратился в ГКО с просьбой перевести его на менее ответственную и более спокойную работу. Просьба была удовлетворена».

Это произошло сразу же после харьковской катастрофы. Очередной «виновник» был найден и *нейтрализован* — все по-сталински, исподтишка, коварно... А ведь было тогда этому «больному» маршалу всего шестьдесят лет, на три года моложе Сталина...

...В воспоминаниях о войне много пишется о самообладании Сталина — естественно, после первой недели депрессии, когда он впал в шоковую прострацию и самоустранился от всякой работы.

Когда — под нажимом членов Политбюро (пастве нужен пастырь, нам нельзя без вождя) — Сталин вернулся

в Кремль, его первым актом был расстрел генерала Павлова: опять же главное — найти виновного, на которого следует свалить вину за поражение.

Не «воля» Сталина, а героизм народа, ставшего на защиту Родины, ее гигантских пространств, заставил диктатора обрести себя; впрочем, иного выхода у него не было: *для него* речь шла о сохранении режима личной власти...

Уж если и говорить о самообладании лидера, то нельзя не вспомнить Черчилля: в течение тринадцати месяцев — с мая 1940-го, когда Гитлер вошел в Париж и его офицеры наносили визиты вежливости в советское посольство, и по июнь сорок первого, когда Гитлер обрушился на Советский Союз, сэр Уинни возглавлял *единственную* страну на европейском континенте, продолжавшую войну против гитлеризма. В самые ужасные месяцы бомбардировок нацистов, когда Лондон горел, превращаясь в руины, Черчилль говорил англичанам: «Мы будем продолжать войну против нацистского агрессора, даже если нам придется — под его натиском — уйти в Канаду. Все равно победа демократии над тиранией неизбежна!»

...Что касается «Биографии великого полководца», на совести которого миллионы жизней наших бойцов (о чем предельно ясно свидетельствуют мемуары маршала Василевского), то изучение «военного периода деятельности генералиссимуса» начинается лишь после 1943 года, когда подвигом народа Победа сделалась неотвратимой.

О наших военачальниках, об их роли в битве под Москвой, в Севастополе, Ленинграде, на Волге, под Курском — ни слова; приводят лишь один *список*, который открывает Булганин, отнюдь не Жуков; адмирала Кузнецова нет и в помине — он в это время сидел в тюрьме, под пыткой, как «английский шпион»; впрочем, попал в этот *список* генерал армии Горбатов — не успели исключить, потому что забрали его, когда уж «Биография» поступила в продажу...

...Итак, без Сталина мы б войны не выиграли?!

Внимательно прочитайте воспоминания Георгия Константиновича Жукова.

Остановитесь на том пассаже, где маршал описывает, как он приезжал на Малую землю, где встречался с полковником Брежневым.

Одна эта фраза сделает для умного читателя понятным, в каких условиях Жуков писал свой труд. Он поймет всю противоестественность его рассказов о Якире, Тухачевском, Примакове, Путне: были «выдающиеся полковод-

цы», «чудесные люди», «патриоты нашей Советской Родины» — и нету! Ни слова о том, как они были расстреляны, — неужели Жукову нечего было сказать о них?! Горькую правду он унес с собою, пепелящую внутреннюю трагедию, — «ведь строки с кровью убивают, нахлынут горлом — и убьют...»

...Маршал Мерецков в своих «Воспоминаниях» не написал ни единого слова, как его пытали, выбивая самооговор и вздорные показания на его друзей по Красной Армии. Полно, а может, написал? Но где они, эти главы? Если уничтожены, следует восстановить по воспоминаниям тех, кто был ему близок, — пока не поздно!

Маршал Рокоссовский ни единым словом не обмолвился о том, как и *за что* он провел долгие месяцы в одиночках и карцерах ежовско-бериевских застенков. Почему? Кто запрещал? Или запрет высказывался в форме безликого *мнения*?

Может быть, и эти ветераны Красной Армии неосторожно обмолвились, что войны мы *не могли не выиграть*, ибо это была великая война Народа, а народ, воистину, бессмертен.

Помните Чехова! Повторяйте его трагические слова о необходимости выдавливать из себя по каплям ужас нашего векового рабства!

Рабу нужен *помазанник, верховный*, тот, который освобождает от необходимости думать и принимать самостоятельные, то есть *личностные*, решения.

И не будем отказываться от основополагающего жизненного принципа Маркса: «подвергай все сомнению».

Из этой *позиции* высекается не скепсис или неверие, но Правда.

29

...Он был искрометным человеком; друзья звали его «Шура»; бритвенно остроумный, он фонтанировал шутками, каламбурами, уничтожающими метафорами; бледное веснушчатое лицо с маленькими глазами-льдышками контрастировало с атакующей манерой речи; впрочем, публично он не любил выступать: сильно заикался, но в диалоге был, словно танк, — ломал и крушил собеседника. Как и обо всех, в московских литературных кругах о нем говорили разное: враги — со «слюнной» яростью, товарищи — с доброй снисходительностью. Одни утверждали, что его брат погиб в тридцать седьмом, другие считали, что,

наоборот, ушел на Запад одновременно с Федором Раскольниковым и там выпустил книгу против Сталина и Ягоды; он, Шура, никогда не отвечал на вопросы о родных, булькающе смеялся и, ернически подмигивая, демонстративно переводил разговор на другое: «С-с-старичок, а п-п-правда, что в д-д-домжур* привезли р-раков?»

Постоянно, в самые трудные годы, его поддерживал Константин Симонов; однажды Симонов сказал мне: «Шура — это энциклопедия, только страницы не разрезаны; книга, которую никто не смог толком прочесть...»

...В конце семидесятых он — неожиданно для меня — напечатал большую статью, поддерживая моего литературного героя Штирлица. Встретились мы спустя полгода в писательском клубе. Окруженный людьми, которые говорили громко и, казалось, заинтересованно, но на самом деле не слушая друг друга, Шура помахал мне рукой: «С-с-старика-ша, теперь я ста-а-ал твоим толкова-а-ателем, отныне б-б-берегись меня, айда поужинаем у к-к-композиторов, т-т-там тихо, как в морге крематория, г-г-где отпевают провинившихся...»

(Я отчего-то сразу вспомнил маленькую комнатку морга в Кунцево, где стоял гроб с телом Хрущева; народу было мало, зато *сопровождающих* понаехало множество — военные автобусы, спецмашины, шпалеры охраны; я принес красные гвоздики, положил в ноги Никиты, пожал руку детям — Юле и Сереже и вернулся на шоссе, к машине: в тот же день улетал в Чили.)

...Когда мы с Шурой вышли из писательского клуба, было слякотно, снег превращался в дождь, не пав еще на землю, хотя даже на уровне глаз хлопья были звездно-крупные, шелестящие.

— Старичок, объясни мне, — перестав заикаться, как только мы остались вдвоем, спросил Шура, — как ты трактуешь слово «самопожирание»?

Я прочитал ему строку поэта «Искры»: «Ах, какая благодать кости ближнего глодать...»

Словно и не услышав меня, Шура как бы продолжал говорить с самим собою:

— Я только что закончил «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Исаевича... Талантливо, но вывод однозначен: «бей жидов, спасай Россию», потому что «империю ужаса» создали именно евреи. А Ежов, Меркулов, Абакумов, братья Кобуловы, Цанава, Голиков, Рюмин? А кто приводил при-

---

* Дом журналистов.

говоры в исполнение? Севрюков, Серафимов, Царев? А кто расстреливал зэков в лагерях? Я не знаю, доживу ли до того времени, когда будет целесообразно написать правду... Ты — доживешь... Вот я и хочу тебе кое-что порассказать, туфли у тебя, гляжу, на каучуке, не промокнут... Кстати, носишь «Саламандру»?

Я отчего-то вспомнил застывшее лицо Твардовского в тот момент, когда спросил его, отчего он отказался печатать в «Новом мире» горькую книгу одной несчастной женщины, просидевшей в лагерях добрые двенадцать лет. Твардовский ответил не сразу, полез за искрошенными «Ароматными» — других сигарет не признавал, — тяжело затянулся и, по-детски удивленно глядя на кроны наших пахринских осин, вздохнул: «Видите ли, когда она была женою городского головы, и на Казанском вокзале ее «линкольн» встречал, и в гостинице «Москва» был номер «люкс» забронирован, — все было нормально, претензий у нее к Сталину не было, хотя в тюрьмах уже страдали сотни тысяч, да и ужасы коллективизации были на памяти, «головокружение», так сказать. А как самой трагедия коснулась, так и переменилось в корне ее воззрение... А литература — во всяком случае, русская — прежде всего живет страданиями, "окрест меня открывающимися"»...

Голос человека, звучащий в тебе, его лицо, рожденное памятью, не позволяют порою дать ответ на самый, казалось бы, простой вопрос, поставленный собеседником; происходит таинственная реакция несовместимости звучаний; Шура был человеком тонким, чувствительным, при том, что умел, когда требовали обстоятельства, идти, словно бронетранспортер, *хрустело*: давил гусеницами.

— Ты знаешь, что сделал Сталин после смерти Дзержинского, — продолжил он, подняв воротник тонкого пальто ангорской шерсти, — скажем *пока* что так — после *смерти* Феликса Эдмундовича? Он сразу же убрал Беленького, бывшего помощника Дзержинского, с поста начальника охраны Кремля, а на его место назначил Паукера, венгра, который брил его опасной бритвой, — балабос* другому не доверял, а «жиллет», который ему еженедельно привозили из Берлина, царапал оспинки... С тех пор — а Бухарин, Рыков еще жили в Кремле, только Троцкий съехал на улицу Грановского, когда перестал быть председателем Реввоенсовета, — вся информация о них и об их семьях стала поступать прямиком к Сталину. На стол.

---

* Балабос — хозяин (*евр. жаргон*).

Ежедневно. Балабос знал *все*, абсолютно все, что о нем говорили те, кто не считал его гением... Он терпел восемь лет, можешь себе представить?! Целых восемь лет ждал своего часа — до тридцать четвертого... Вот воля, а? Вот выдержка! Он *начал* массовый террор, когда узнал, сколько делегатов Семнадцатого съезда проголосовало против него... А ведь ни один из них не выступил против, с трибуны все славословили... Тогда он и решил окончательно рвать с прошлым... Киров был убит Николаевым, русским, заметь; операцию вел Запорожец, русский. *Прикрывал* — Генрих Ягода, еврей. Ему Сталин и поручил готовить процесс против Каменева и Зиновьева — евреев же. С одной стороны, Ягода боялся Сталина, с другой — мечтал стать *вторым*... Поэтому он пошел на то, чтобы сделать страшный спектакль... Но, видимо, еще больше он страшился чего-то такого, что никому из живущих ныне неизвестно, потому что накануне процесса над Каменевым издал подстраховочный приказ, запрещавший какие-либо формы физического или морального воздействия на подследственных... Но тогда появился секретарь ЦК Ежов и взял на себя функции наблюдения за подготовкой процессов... А поручены они были сначала Молчанову и Миронову, а уж потом — Слуцкому, Агранову, Берману с Фриновским... И допрашивал еврея Каменева, глумясь над ним, человек по фамилии Черток, ему тридцати еще не было, носил кличку «зверь»... Словом, евреев Каменева и Зиновьева сделали статистами в жутком спектакле в основном евреи... Они же сделали шпионами участников второго спектакля: и снова это был страшный фарс, нашпигованный еврейскими фигурантами — с обеих сторон скамьи подсудимых... Но Сталин уже знал от Паукера: то, что он дал честное слово Каменеву и Зиновьеву сохранить им жизнь и не сдержал его, известно тем следователям, которые писали признания об идиотских «инструкциях гестапо» советским наркомам — «как сыпать в масло стекло»... И Сталин приказал посадить Ягоду, расстрелять тех, кто готовил первый и второй процессы; в камере Ягода учил свою роль, топил Бухарина и Рыкова... Процессом дирижировал Николай Иванович Ежов, русский. После окончания третьего процесса, бухаринского, Ягоду тоже расстреляли. Потом — Ежова. Пришел Берия. Но память о них, костоломах-извергах, отныне будет вечной, о них, а не о том, кто расставлял эти пешки на шахматном поле дворцового ужаса...

Берия подчистил *грехи*... Поставил сенсационные про-

цессы против тех, кто еще совсем недавно истязал детей так называемых «врагов народа», добиваясь от них чудовищных признаний в том, что их отцы и матери были шпионами... Так был проведен четвертый спектакль: «Сталина обманывали!» В тех ужасах, что произошли в тридцать седьмом, были повинны, оказывается, скрывавшиеся враги... Ты понимаешь, что мы пережили, с-с-с-старик?! А в сороковых Сталин чуть оттер Берия, арестовал мегрелов в Грузии и привел в кресло Ягоды — Ежова — Берия молодого Виктора Абакумова... А когда Берия и Маленков начали работать против Вознесенского и Кузнецова, против «русской оппозиции», с одной стороны, и по «еврейским космополитам», «врачам-отравителям» — с другой, Абакумова тоже посадили, и пришел никому не известный Игнатьев... И стал спешно раскручивать дело еврейских «врачей-убийц»... Не успел... Кормчий умер, и поэтому меня не выселили из Москвы — по моей же «просьбе»... А знаешь, как пытали при Игнатьеве? Не знаешь... Мне говорили, что людей вызвали на допрос в январе, когда мороз трещал, и сказали: «Сейчас вас повезут на дознание. По кольцевой дороге. Вы будете в костюме. Когда почувствуете, что замерзаете, попросите сопровождающих дать те ваши показания, которые надо подписать. Подпишите их. Вас оденут в тулуп, напоят водкой, дадут горячего чаю из термоса и отвезут на дачу. И станем писать сценарий. Вам ясно?» Заключенным стало все ясно. Их сажали на дрезину и везли. А они молчали. А потом стали каменными, замерзая. Но они не подписывали фальшивку, старичок, не подписывали... Ты не промок еще? Ничего, у композиторов отогреемся, их крематорий уютный, очень т-т-тепло... А знаешь, отчего *Хозяин* поручил обвинять членов ленинского Политбюро Вышинскому? Думаешь, только потому, что тот был меньшевик? Нет, не поэтому... Вернее — не только поэтому... Вышинский был поляком, а его брат — ксендз, так сказать, родственные души с Вождем...

Шура остановился вдруг, поманив меня пальцем, оглянулся и прошептал:

— Но ведь седьмого апреля тридцать пятого года, когда у нас был принят закон о том, что все граждане — начиная с двенадцатилетнего возраста — подлежат судебной ответственности вплоть до расстрела, — я не покончил с собой! Я ведь позволил себе *не понять*, что это такое! Когда в тридцать восьмом я требовал на митингах смерти Бухарину, я ж помнил, как девять лет назад проносил

по Красной площади его портрет — портрет вождя! Ты думаешь, я не понимал, что грядет и моя очередь — рано или поздно?! Понимал! А в пятьдесят третьем, когда я подписывал вместе с писателями-евреями просьбу о нашем выселении из столичных городов?! Думаешь, я не помнил статью Сталина, опубликованную им еще в начале века: «Не пора ли у нас в партии провести маленький еврейский погром?» Он умел ждать, ждал полвека... Думаешь, я не знал тогда, в пятьдесят третьем, что меня погубят в тех бараках, куда нас должны были выселить — «по нашей же просьбе»?! Знал! Даже если бы ты был последним мерзавцем, все равно оправдаешь себя, обвинив других... Так ответь же мне: это что — жидовская черта характера? Или все люди подобны друг другу?! Еврей Ягода пытал евреев Каменева и Пятакова... Русский Ежов пытал русского Рыкова... Почему я сказал «самопожирание»?

Он вдруг сник, втянул голову в плечи:

— Наоборот, самовыживание... Только живем мы каждый день в ином качестве — неузнаваемые, новые, готовые к тому, чтобы сожрать ближнего и оправдать содеянное... Знаешь, что сказал Ежов в разгар террора? Я помню: «Все, что я делаю, продиктовано преклонением перед достоинством советского человека, которого ждет счастье». А я, зная все, аплодировал ему так, что у меня ладони были пунцовыми.

Шура вдруг остановился, взял меня за руки и, странно улыбаясь, спросил:

— Чувствуешь, какие теперь они у меня ледяные? Не пора ли погреть их заново, а?

30

В Баку летом шестнадцатого года в клубе молодых литераторов встретились и подружились четверо юношей: Мирджафар Багиров, Всеволод Меркулов, Евгений Думбадзе и Лаврентий Берия.

Спустя сорок лет, когда бывшего первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Багирова конвоиры ввели в битком набитый зал суда, где заседала выездная сессия, председательствующий, заняв свое место за зеленосуконным столом, коротко бросил:

— Прошу садиться.

Зал стоял, замерев; взоры собравшихся — скорбные, дружелюбные, понимающие — были обращены на того, кого посмели назвать «обвиняемым».

Председательствующий посмотрел в зал и увидел в глазах людей ненависть, обращенную против него, приехавшего судить легендарного Мирджафара, гордость Республики, верного ученика товарища Сталина, оклеветанного безграмотным мужиком, Никитой Хрущевым.

— Садитесь, — повторил он чуть громче.

Зал продолжал стоять.

Молча стояли и десятки тысяч бакинцев возле тех репродукторов, которые установили в городе, чтобы транслировать судебное заседание — ко всеобщему сведению.

— Прошу садиться, — в третий раз произнес судья, и снова зал не шелохнулся.

И тогда Багиров — в своей обычной «сталинке», чуть осунувшийся, но улыбчивый, — чуть поднял руки и сказал по-азербайджански:

— Отр...

Это значит — «садитесь».

И зал, словно бы протянувшись к нему влюбленными глазами, выполнил его *просьбу*.

Первый день процесса был проигран прокурором; Багиров безучастно слушал слова обвинительного заключения, кому-то из сидевших в зале дружески кивал, кого-то, чуть хмурясь, старался вспомнить; все происходившее, казалось, не имело к нему никакого отношения.

Лишь на второй день, когда стали вызывать свидетелей обвинения — в основном женщин, подвергшихся пыткам и насилиям, чтобы сломать их мужей, ветеранов ленинской партии, — когда эти несчастные, сломанные, давно уже потерявшие себя, глухо рассказывали о том ужасе, что им пришлось пережить, настроение сломалось, в зале начались истерики.

Багиров скукожился, хрустел пальцами, кусал губы; в последнем слове, когда увидел, что в глазах тех, кто еще три дня назад продолжал боготворить его, загорелась ненависть, прошептал:

— Меня не расстреливать надо, — а четвертовать...

В камере, накануне расстрела, сказал прокурору:

— Самое страшное заключается в том, что я совершенно не помнил тех эпизодов, что рассказывали несчастные... Я *забыл*, понимаете? Как забывают дело, выполненное после получения приказа, который, как известно, обсуждению не подлежит... Поверьте, я не помню ни одну из этих женщин, ни одну... Нет мне прощенья, какое счастье, что ухожу из жизни, спасибо вам.

...Меркулова расстреляли в один день с Берия; интеллектуал, он вместе со своим соавтором (тоже покойным) написал в июле сорок первого года пьесу «Инженер Сергеев»; поставили в филиале Малого, гнали день и ночь; «товарищ Всеволод Рокк» — таков был его псевдоним — приезжал на репетиции вымотанный до крайности: надо было *«закрывать»* дело командармов Алксниса, Мерецкова, дважды Героя Советского Союза Смушкевича, Рычагова, Штерна; здесь, в театре, отдыхал, расслаблялся, получал «зарядку» творчеством замечательных мастеров русской сцены: героем его пьесы был беспартийный патриот, старый русский интеллигент, начавший борьбу против нацистов, актерам понравился образ, работали самозабвенно.

Мягкий и тактичный, Меркулов советы давал ненавязчиво, интересовался, какие реплики неудобны актерам, здесь же, в зале, вносил поправки золотым пером тяжелого «монблана».

После возвращения в кабинет чувствовал себя помолодевшим: с арестованными, которые пытались отрицать вину, работалось легче; вид пыток он не переносил; когда начинали работу *специалисты*, уходил из камеры; легче всего ему давалась эмоциональная часть, заключительная, когда изувеченного человека надо было приободрить, вдохнуть в него веру, доказать, что признание вины — долг коммуниста, патриота Родины, ведущей борьбу с кровавым агрессором...

Евгения Думбадзе — когда он эмигрировал, поняв, что такое Берия, — убили по приказу давнего «друга и брата» в Париже; а ведь сидели за одной партой в Бакинском «Техникуме» — так тогда называли Высшую школу механики и конструкций, — вместе читали Маркса и Ленина; запрещенную литературу приносил Всеволод Меркулов: «Надо учиться владеть толпой; теория даст нам силу, чтобы повести за собою сирых и слабых, нуждающихся в Мессии...»

Лаврентий Берия, присланный на учебу в Баку сухумским меценатом Еркомишвили, держал запрещенную литературу в своей комнате — хватало на то, чтобы жить отдельно, благодетель помогал щедро. Один из старших друзей Берия, безымянный и незаметный, постоянно засиживался за полночь, читая Ленина, Маркса, Жордания, Троцкого, — дядя Авель Енукидзе, подвижник Революции, давал Берия самые интересные брошюры на грузинском языке.

Старший товарищ Берия был сотрудником охранки; используя эту дружбу, жандармы знали все, что происходит в «Техникуме».

Порою «товарищ» подбрасывал юноше деньги: «Лаврентий, запомни — революция против пуританства; ее спутники — поэзия и любовь; потом отдашь червонец, не думай об этом, пустяки, станешь архитектором — озолотишься...»

После Февральской революции, не став сдавать выпускные экзамены, видимо, опасаясь, что разоблачение «старшего товарища» (дурак не поймет, что дружил с осведомителем) может ударить и по нему, Берия сообщает друзьям, что добровольно уходит в армию: вести «пропаганду среди солдат». Он доехал до Ясс, но вернулся в Баку вскоре после победы Октября, когда меньшевики в Грузии провозгласили Республику, а во главе ее стал приятель Сталина — Чхеидзе.

— Я должен внедриться в их партию, — сказал Берия Серго Орджоникидзе, прибывшему тогда в Баку. — Я знаю, как бороться с врагами *изнутри*.

И он получил санкцию на вступление в меньшевистскую партию — чем больше версий и слухов, тем затаеннее правда...

...В Тбилиси он расчетливо *подставился* — намеренно засветил себя, выдавая за агитатора, — и был посажен в тюрьму как *большевик*.

Это снимало с него все подозрения, которые могли возникнуть в Баку, если бы кто-то всерьез занялся материалами охранки; не занялись; это дело профессуры, ученых, а их тогда отринули; впрочем, те и сами отнюдь не стремились сотрудничать с Лениным, Троцким, Каменевым, Зиновьевым и Луначарским.

За его освобождение боролись — «юноша рискует жизнью»; был депортирован из Грузии, в Баку встретили как героя.

Именно в то время к нему примкнули новые друзья — Гоглидзе, братья Кобуловы, Деканозов. С ними он прошел жизнь, с ними его вели на расстрел, который наблюдал Конев: маршал получил эту привилегию потому, что именно в кабинете Берия был убит его учитель — Блюхер.

Когда в Баку вступили англичане, Меркулова, Багирова и Гоглидзе посадили — были достаточно активны в своей революционной позиции; перестукивались в камерах Баиловской тюрьмы, искали, где «лидер», Лаврентий.

А Лаврентий спокойно пришел в «Техникум» и при-

ступил к сдаче экзаменов на звание «архитектора» — оккупанты его не тронули, потому что *списки* на аресты составляли бывшие офицеры охраны...

Перед тем, как в Баку вошла Красная Армия во главе с Кировым и Орджоникидзе, *архивы* спалили; в тот же день Берия сформировал первое Бюро комсомола Азербайджана: Багиров, Думбадзе, старший Кобулов и Деканозов.

(Именно Деканозов был послом Сталина в Берлине; имел встречи с фюрером, Розенбергом, Герингом, Риббентропом и Гессом; всячески крепил «дружество» между «двумя великими народами и идеологиями»; был первым, кто сообщил Гессу, что на партконференции ВКП(б) из состава ЦК выведены Жемчужина и Литвинов — «мы сближаемся и в национальном вопросе; дайте время, у нас не будет принципиальных разногласий».

Когда его вели на расстрел, плакал и терял сознание, молил о пощаде.

Генерал Павел Мешик, которого казнили вместе с ним, плюнул себе под ноги:

— Говно, не позорься!

И — запел «Интернационал». Не все враги — тряпки, умереть достойно — нелегкая штука.)

...Как только Советская власть пришла в Грузию, туда срочно прибыл Сталин; отправился в депо, к рабочим, которые, он был убежден, поддержат его; обратился по-русски; рабочие закричали:

— Говори на нашем языке, ты ж грузин!

— Я говорю на языке русской революции! — отрезал Сталин.

Дружеского собеседования не получилось; Сталин был раздосадован; ночью шестого июля двадцать первого года в ЦК был организован банкет; Буду Мдивани, как герой борьбы против меньшевиков, предложил, чтобы Сталин стал тамадой. Первым зааплодировал Берия, сопровождавший его повсюду.

Сталин словно бы не заметил этого, однако вскоре прислал шифровку из Москвы, предлагая назначить Лаврентия Берия председателем ЧК Грузии.

Серго ответил:

— Рано еще... Пусть поработает в Азербайджане.

Поначалу его назначили шефом отдела безопасности;

Берия бросился к Алеше Сванидзе, родственнику Сталина, брату его первой жены...

(Перед расстрелом люди Берия предложили Сванидзе: «Признайся во вредительстве, в этом случае товарищ Сталин обещал помиловать тебя». Сванидзе молча покачал головой. Его расстреляли; выслушав эту историю, Сталин усмехнулся: «Какой гордый, а?»)

Сванидзе позвонил Буду Мдивани и Махарадзе; после их *нажима* Берия прибыл в Баку не только заместителем председателя ЧК, но и начальником отдела «секретных операций» — все архивы теперь были в его руках...

Сделав то, что следовало, собрав наиболее *уникальные* документы — не только о себе самом, понятно, — он был командирован в Грузию; расстрелял благодетеля Еркомишвили — «не мог буржуй помогать революционеру»; провел массовые расстрелы грузинских социал-демократов, стоявших когда-то на меньшевистских позициях, доложил об этом лично Сталину, был назначен начальником Грузинской ЧК и — по представлению Иосифа Виссарионовича — награжден орденом Красного Знамени.

А совершенно необходимым Сталину он сделался в тот день, когда в Сухуми приехал больной Троцкий — зимой двадцать четвертого. Каждый шаг предреввоенсовета и члена Политбюро немедленно сообщался Сталину; от него и была получена санкция на «прощупывание» (читай — провокационные разговоры) «человека номер два».

Именно Лаврентию Берия и поручил Сталин в двадцать девятом негласно наблюдать за выдворением Троцкого в Турцию.

Именно ему Сталин поручил уничтожить старого большевика Алексея Гегечкори — тот отзывался о диктаторе без должного пиетета, в воспоминаниях ничего не написал о «выдающейся роли Кобы», — сфабриковали дело о растрате; Берия приехал к «старшему другу», предложил дилемму: суд или самоубийство — с последующими торжественными похоронами.

Гегечкори был первой жертвой Берия — из числа большевиков-ленинцев.

Тридцать первый год, массовая коллективизация, Гегечкори — народный комиссар земледелия Грузии; «виновник перегибов» назван; наглядный урок Хозяину, как надо страховать возможные поражения в тактике.

Следующим был уничтожен Котэ Цицнадзе — последний из оставшихся в живых друзей Камо, работавший

с ним до революции; Берия отправил в Кремль рукопись воспоминаний Котэ о Камо — и в них про Сталина не говорилось ни слова.

Сталин отправил Котэ телеграмму: «Жду в Кремле, подготовил для тебя новую работу. Сердечный привет. Коба».

Котэ выехал в Москву, оттуда был отправлен в ссылку, где и умер.

Это было в 1932 году.

В благодарность за верную службу Сталин назначил своего молодого друга первым секретарем ЦК Компартии Грузии.

Получив от Сталина приказ установить тотальную слежку за народным комиссаром внешней торговли Розенгольцем, которого исподволь готовили на процесс — вместе с Бухариным и Рыковым, — Берия делает это по-своему: он насилует, при помощи двух своих охранников, восемнадцатилетнюю дочь наркома, Лену. Девушка кончила жизнь самоубийством; ее тело выбросили на шоссе, и по ней прокатил «линкольн» — несчастный случай.

У Розенгольца остался сын, маленький еще мальчик, — на нем потом и играли, сломить было нетрудно, трагедия с дочерью постоянно рвала сердце...

В дни, когда решалась судьба Серго, Берия приехал за его старшим братом — Папули Орджоникидзе. Старого большевика пытали в кабинете Берия, здесь же и застрелили; перед смертью Папули выхаркнул кровь на роскошный том «К истории большевистских организаций Закавказья» — шедевр Берия как литератора и историографа.

...И тем не менее тучи над его головой сгущались; после того, как Сталин вписал в показания героя гражданской войны Серебрякова: «шпионы готовили террористический акт против выдающегося ленинца товарища Берия», народный комиссар внутренних дел, «совесть партии» Николай Иванович Ежов понял: вот он, конкурент!

И — отдал приказ на арест Берия.

Будучи от природы человеком узкого кругозора, истинный выдвиженец Сталина, в партию вступил после Октября, опыта борьбы не имел, — пытки ленинцев в подвалах не в счет, садистские развлечения, а не опыт, — Ежов отправил ордер на арест наркому внутренних дел Грузии Гоглидзе.

В тот же час Берия, меняя маршруты своего поезда, составленного из четырех «пульманов», выехал в Баку, оттуда — потаенными ветками — рванул к Москве: зеле-

ный свет дал Каганович: не мог простить Ежову убийства братьев, боялся за себя, понимая, что на очереди все те, кто знал Сталина до Революции.

(Об одном из героев моего романа «Бриллианты для диктатуры пролетариата» — Савельеве-Шелехесе Лазарь Моисеевич заметил, странно усмехнувшись: «Чистый был человек, тоже попал в *нашу мясорубку*, мог бы работать и работать, настоящий большевик».

Сказав про «мясорубку», Каганович показал своими большими руками, как вертелись эти жернова, в которых хрустко перерезались шейные позвонки братьев, жен, ближайших друзей, героев страны, подвижников революции; сказав так, он, вздохнув, *усмехнулся,* хотел что-то добавить, но — внезапно замкнулся.)

В Москву Берия приехал в час ночи, подгадал, что Сталин еще в Кремле — текущую работу закончил, готовится к завтрашнему дню; Берия запомнил, как в Тбилиси, в двадцатых, в день их первой встречи, проводив его в особняк, поинтересовался, когда делать завтрак и что приготовить для работы, Сталин усмехнулся: «Бог даст день, Бог даст пищу... Тут не работать надо, а пахать... Всю Грузию надо — после меньшевиков с их паршивой независимостью — перепахивать: с потом и кровью... Ишь, почему я не говорю с ними по-грузински?! — вдруг обратился он к какому-то невидимому собеседнику. — Пусть сами учат русский! Не захотят — заставим; откажутся — перестреляем; насилие — в определенных ситуациях — тоже путь к счастью...»

Из Москвы Берия практически не уезжал — был назначен заместителем Ежова, постепенно перевел сюда свою гвардию — Меркулова, Деканозова, Гоглидзе, братьев Кобуловых, — с ними как за каменной стеной; расстрел Ежова провел спокойно: *малыш* метался по камере, молил о встрече с «дорогим Иосифом Виссарионовичем», был быстр, как зверь, пули, казалось, его не брали, хотя «сталинка» сделалась бурой и *ощутимо* теплой от крови...

Провел несколько показательных процессов против ежовцев, расстрелял «врагов народа, нарушавших социалистическую законность, поднимавших руку на лучших ленинцев», выпустил из тюрем около семи тысяч человек; в стране пошли разговоры: «что значит пришел человек Сталина! С ужасом тридцать седьмого покончено раз и навсегда, правда восторжествовала!»

Никто, правда, не знал, что накануне его назначения наркомом расстрельщики работали днем и ночью, *подчи-*

щали камеры, уничтожая тех, кто не станет молчать, когда выпустят...

Затем Берия перенес свою деятельность за рубеж: организовал убийство Троцкого, вызвал из Германии всех советских разведчиков и расстрелял их в подвале — даже не допросив: надо было крепить дружество с Гитлером не словом, но *делом*; запретил Шандору Радо все контакты с его друзьями-антифашистами в Европе.

(Шандор Радо, руководитель советской разведывательной группы в Швейцарии, передававший в Москву, Берия, сообщения о том, что говорил Гитлер на совещаниях в Ставке через час после того, как Кейтель объявлял заседание закрытым, был арестован на московском аэродроме.

— Я ведь в «шарашке» сидел, — рассказывал мне Радо, — Солженицын человек весьма галантливый, но его же среди нас не было, в «шарашке» держали только членов партии, ученых с мировыми именами. Берия к нам приезжал довольно часто, кое с кем из зеков здоровался за руку, интересовался работой, особенно *слушающей* техникой, так что наивные включения ваших свободолюбцев, пускавших на всю мощь радио, чтоб их *не записали*, уже тогда были фикцией: мы научились отделять шепот говоривших крамолу от музыки или голосов дикторов... Берия высоко оценил нашу работу — прибавил питание, приказал продавать не только маргарин, но и сливочное масло.)

Отправил послом к Риббентропу своего старого и верного друга Деканозова; немедленно сажал тех, кто осмеливался говорить о возможном нападении нацистов: «Я не разрешу травмировать Хозяина паникерскими разговорами маловеров!»

Именно он в ночь на двадцать третье июня арестовал военных, которые должны быть объявлены виновниками нашего отступления, — ими оказались как раз те, кто бил тревогу по поводу неминуемости агрессии: Рычагов, Смушкевич, Штерн, Мерецков.

Именно он — в конце сороковых, — чувствуя, что Сталин *отодвигает* его от *органов*, наладил свою личную слежку за каждым шагом Хозяина: Саша Накашидзе, работавшая в доме генералиссимуса, сообщала ему о том, когда, кто и сколько раз звонил Хозяину, о чем с ним говорил, кого он приглашал, сколько времени проводил за столом с гостями, как на кого глядел, кого чем угощал.

Поняв, что с ним может произойти то же, что случилось с Вознесенским и Кузнецовым, что готовилось против

Молотова, Ворошилова (английский шпион) и Микояна, внес в «дело врачей» свой *поворот*: его агенты в Кремлевской больнице *отменили* все те лекарства, к которым привык организм генералиссимуса за тридцать лет. Маленького, одинокого рябого старика, полного новых замыслов — процессы в России, продолжение чисток в Праге, Варшаве, Софии, Будапеште, Берлине, Бухаресте, Тиране, начало *нового* курса в Пекине, устранение Тито, — начали продуманно и методично убивать лучшей фармакологией, привезенной из-за рубежа «для укрепления здоровья самого великого человека нашей эры».

(В свободное от работы время Берия отправлял своего порученца полковника Саркисова на «вольный поиск»: тот привозил ему девушек с улиц или же сановных матрон; Берия был галантен, обаятелен, бесконечно тактичен и добр; с актрисами «расплачивался» Сталинскими премиями.

Главный хирург Советской Армии Александр Александрович Вишневский рассказывал мне, что в камере, на шестой день после ареста, Берия начал онанировать; на замечание охраны ответил:

— Это потребность организма, я ничего не могу с собой поделать... Насколько я помню, правилами внутреннего распорядка в наших тюрьмах это не запрещается...)

Когда Берия сообщили с Ближней дачи, что Сталин не откликается на звонки, он приехал туда, сострадающе посмотрел на растерянных Молотова, Кагановича, Хрущева и Булганина, обернулся к охранникам:

— Ломайте дверь!

И в первых же его словах, когда он увидел старика, лежавшего на ковре, было ликование:

— Тиран пал!

...После ареста Берия был, конечно же, объявлен английским и югославским шпионом, диверсантом, агентом Тито.

Смешно, понятно, со сталинизмом бороться сталинскими методами: через два года Хрущев, Булганин и Микоян отправились в Белград, к товарищу Тито, — извиняться за произвол генералиссимуса; о «шпионе» Берия не вспоминали, полагая, что люди уже все забыли.

Народ все помнит, только говорит редко, отучили его говорить, зато предметно объяснили, как следует таиться...

О чем же говорит судьба Берия?

Во-первых, о том, что принцип подбора кадров «под себя» неминуемо кончается трагедией. *Гарантия* тому —

капризная секретность выбора, да и *самодержавность* самого посыла.

Во-вторых. Если по-прежнему в наших учреждениях останутся отделы кадров, возможен приход новых Берия и Абакумовых, ибо в задачу нынешних кадровиков не вменено искать по стране *Личностей*, но лишь проверять надежность *анкет* тех, кто им *спущен* сверху: естественный отбор талантов подменяется искусственным созданием покорной номенклатуры.

Традиция показушной «личной преданности», столь характерная для нашей многовековой истории, обходится в дискуссиях о будущем стыдливым молчанием: видимо, по сию пору не хотят *задевать* традиции, а они ведь разные, традиции-то...

В-третьих. Если мы не научимся участвовать в *открытой* конкуренции политиков, выраженной платформой, встречами с избирателями — не для бурных оваций, а для деловых дискуссий, следствием которых будет не арест, но корректировка *общей* линии, — традиция посмертных реабилитаций станет нашей самой устойчивой внутриполитической традицией.

В-четвертых. Если новые общественные организации — а они неминуемо родятся! — не обретут конституционных форм и гарантий, права на выдвижение собственных кандидатов в депутаты, права на издание своих бюллетеней, дискуссионных листков, а еще лучше газет, программ на ТВ и радио, боюсь, что новые *процессы*, типа «каменевского» или бухаринского», неминуемы.

В-пятых. До тех пор, пока живет культивировавшаяся Сталиным зависть к Личности, ставка на мнение безликой, неперсонифицированной *массы*, заранее спланированное и проработанное *наверху* право на подсматривание в замочную скважину, отработанный институт доносов, трудно надеяться на стабильность.

В-шестых. Ленин однажды обмолвился, что нэп есть одна из форм борьбы с советской бюрократией. Вне кооперации нэп немыслим; много лет «нэп» считался ругательством; вот она — подмена понятий! Новая экономическая политика — какой же это позор?!

Диктатуре личности страшны сытые люди с чувством собственного достоинства — их не так просто обратить в рабство.

Нынешние попытки душить кооперативное движение (т. е. раскрепощение Человека) угодны той бюрократии, которая не умеет жить без Берия, «верного ученика и

соратника» Сталина, — без управителя с хлыстом в руке.

Требуя «железного порядка», сталинисты — в силу своей ограниченности — не понимают, что по логике их же кумира именно их первыми бросят в подвал, а после процесса, где они признаются в участии в любом заговоре, расстреляют.

Шахматы тренируют ум; перестановка офицеров сулит выигрыш позиции, правильная дислокация туры обеспечивает безопасность короля на поле.

Тем не менее проекция шахмат на политику трагична и рискованна: не только каждый солдат, но и любой офицер сам мечтает стать королем.

Побеждает тот лидер, который имеет право свободного выбора среди «звезд» — компетентности, достоинства, мужества.

Его друг тот, кто возражает; его враг тот, кто молчит. Значит, он ждет.

Чего же?!

ОТЧАЯНИЕ

© «Детектив и политика», 1989, № 2

Светлой памяти моего друга
Шандора Радо («Дора») посвящаю

И Аверелл Гарриман, посол Соединенных Штатов, работавший в Москве в самые сложные годы великого противостояния, и сменивший его герой сражений в Европе генерал Бэддл Смит передавали в государственный департамент сообщения, которые никак нельзя было считать сбалансированными.

Вольно или невольно они исходили в своем анализе русской ситуации из тех норм и законов, которые были записаны в их Конституции и охранялись их прессой, Конгрессом, Сенатом, общественным мнением. Американские дипломаты, посещавшие редкие приемы в Кремле, не отрывали глаз от того стола, за которым стоял Сталин и его коллеги: они старались не пропустить ни единого перемещения, ни единого контакта членов Политбюро друг с другом; однако налицо было дружество и доброжелательная монолитность.

Шок, вызванный смещением маршала Жукова, которого западные эксперты прочили в члены Политбюро, прошел за год: сенсация на Западе недолговечна — их там каждый день подбрасывают, успевай глотать. Постепенно Жукова забыли, ибо он остался жив и даже продолжал командовать военным округом.

...Главная ошибка американцев — после забвения «дела» Жукова — заключалась в том, что они по-прежнему считали всех тех людей, которые выходили в кургузых пальто и кепках (кроме, пожалуй, Молотова и Вышинского) следом за Сталиным на Мавзолей первого мая и седьмого ноября, единым, сконцентрированным целым, *командой,* подобной тому штабу, который собирал вокруг себя каждый президент Соединенных Штатов Америки.

Они считали, что после краха Троцкого и Бухарина (обоих терпеть не могли в Нью-Йорке за их революционную деятельность) Сталин остался с теми, кому верит беззаветно, как и они ему.

Заключительная часть цикла романов «Экспансия».

Они привыкли к тому, что рядом со Сталиным всегда стояли Молотов и Ворошилов, дальше — Жданов, Микоян, Каганович, Вознесенский, Маленков, Берия и Суслов.

Когда же, однако, Георгий Маленков не появился на трибуне Мавзолея, часть дипломатов предположила, что *аппаратчик* переброшен на высший пост в Узбекистан, потому что, видимо, оттуда идет главный поток военной помощи отрядам Мао Цзэдуна. Вопрос о том, кто победит в Китае, — вопрос вопросов для Сталина; не кто иной, как Троцкий, обвинял Сталина в том, что его политика привела к путчу Чан Кайши и разгрому коммунистов в этой пятисотмиллионной стране...

И лишь один человек — корреспондент британской газеты, никогда не рекламировавший то, что его дед был русским и заставил его выучить этот язык, — сделал довольно серьезный анализ глубинных явлений, происходивших в Кремле.

Именно он пришел к выводу, что «старая гвардия», окружавшая Сталина на Мавзолее, свои позиции теряет — это «мертвые души», хотя Сталин подчеркнуто дружески переговаривался с ними на трибуне, внимательно их выслушивал и улыбчиво соглашался со всем тем, что они ему говорили.

Именно этот журналист определил для себя группу молодых лидеров, которые шли за своим *ледоколом* — будущим преемником генералиссимуса Андреем Ждановым. Этими «младотурками» он считал члена Политбюро, заместителя Сталина в правительстве, председателя всемогущего Госплана Вознесенского, великолепно проявившего себя как член Государственного Комитета Обороны, и нового секретаря ЦК Кузнецова, героя ленинградской блокады, занявшего ключевой пост Маленкова: кадры, армия, государственная безопасность. Им, этим ленинградцам, противостоял Берия, введенный в Политбюро вместе с Маленковым лишь в сорок шестом году. Теперь, однако, когда Маленков отправился в тот регион, куда в свое время был сослан бывший вождь Рабоче-Крестьянской Красной Армии Троцкий, маршал Берия остался один на один в своем противостоянии могущественной ленинградской троице.

Версия, что Маленков руководил помощью Мао Цзэдуну, отвергалась англичанином; если такая помощь и существовала, то шла она через Алма-Ату, Монголию и Хабаровск.

Англичанин, все еще имевший как журналист опреде-

ленные *выходы* на русских, узнал, что Ворошилов теперь руководил в Совете Министров культурой; это смехотворно — культурой в стране руководил Жданов; в Министерстве иностранных дел все большую силу набирал Вышинский; постепенно и аккуратно Молотова отводили в тень. Почему?

И британский журналист пришел к выводу: предстоит очередная схватка. Жданов, нынешний «человек № 2», начал проводить свою русификаторскую политику. По Москве пошли шутки, произносимые, впрочем, шепотом: «Россия — родина слонов». Действительно, из установок Жданова следовало, что все важнейшие изобретения в мире принадлежат Советам, время преклонения перед «гнилым буржуазным Западом» прошло; два грузина в Политбюро — слишком много, Сталин, постоянно подчеркивавший примат *русского*, — с ноября сорок первого,— мог пойти на то, чтобы пожертвовать Берия, вернув его в Грузию.

Опасаясь публиковать свой прогноз, чтобы не быть в тот же день выкинутым из Москвы, англичанин ограничился туманным комментарием по поводу того, что, видимо, в Узбекистане, да и вообще в Азии, предстоят серьезные перемены, если туда направлен такой авторитетный член Политбюро, каким по праву считается Маленков, постоянно стоявший на трибуне Мавзолея вместе с Лаврентием Берия.

...На самом же деле ситуация была куда более сложной и напряженной, чем мог предполагать англичанин, верно почувствовавший н е ч т о, но незнакомый с великим таинством византийской интриги...

1

Все те дни, пока Исаев лежал в трюме и слышал над собою постоянный, изматывающий грохот двигателей, он видел только одно лицо: человека, который приносил миску ухи и, сняв наручники, бесстрастно следил за тем, чтобы все было съедено. Возможно, в уху мешали снотворное, потому что сразу после этого Исаев погружался в тупое и бессильное забытье; противиться судьбе он был не в силах уже, воспринимая происходящее отстраненно, равнодушно.

Однажды, правда, сказал:

— Я все время потный... Очень жарко... Можно принять душ?

— Никс фарштеен, — ответил человек, и тогда Исаев понял, что все эти дни уху ему приносил русский.

Не может быть, сказал он себе, чтобы наши проломили мне голову в порту; это какой-нибудь власовец; я не имею права ему открываться; какое же это было счастье, когда я добрел до нашего торгпредства, и *открылся*, и слышал *своих*, ел щи и картошечку с селедкой, и постоянно торопил товарищей, чтобы они выехали туда, где ждал помощи Роумен с запеленутым Мюллером, а они успокаивали меня, говорили, чтоб я не волновался, уже, мол, поехали; хотите еще ромашку; надо расслабиться; вы ж *дома*, сейчас мы вас довезем до порта, тут оставаться рискованно, знаете ситуацию лучше нас, пойдете по седьмому причалу, там вас встретят, угощайтесь, *дорогой*...

Как же лихо меня перехватили, сонно думал он; стоило нашим отстать на сто метров всего, стоило мне остаться одному — и все! Я ж знал, что меня пасут, постоянно, каждодневно, ежечасно пасут, надо было бежать сквозь этот масляный, липкий провал портовой затаенной темноты и очутиться возле сходен нашего корабля, а я не бежал, у меня сил не было бежать, и какой-то вялый туман в голове до того мгновения, пока я не ощутил раскалывающий треск в темечке, и это было последнее, что я ощутил тогда, на берегу Атлантики, в душных тропиках, пропахших рыбой, мазутом и канатами, — у каждого каната в порту свой особый запах, странно, почему так?

...Утром тот же человек поднимал его, снимая с ног веревки, и вел в туалет; дверь закрывать не разрешал, внимательно смотрел, как он корчился над узкой горловиной галъюна; на корточках долго сидеть не мог, снова ломило в позвоночнике, как до того дня, пока его не вылечила индианка, когда ж это было? Как ее звали? Кыбывирахи? Или это вождь, ее муж? Ее звали Канксерихи, кажется, так...

...На гвозде висел один лист белой бумаги, его приходилось долго разминать, потому что бумага была канцелярская, твердая, чуть ли не картон.

— Слушайте, — сказал как-то бессловесному человеку Исаев, — неужели на судне нет пипифакса?

— Никс фарштеен, — заученно ответил тот, надевая на запястья Исаева наручники.

...Он мог осознанно, *поэтапно* думать лишь утром, перед походом в галъюн — до ухи и перед ухой-ужином;

все остальное время лежал в мокром беспамятстве, руки в наручниках, ноги повязаны, словно у коня в ночном, тело задеревеневшее, лишь изредка сведет судорогой икры, но он воспринимал эту судорогу как благо, свидетельство того, что жив, что происходящее не бред, а явь, самая что ни на есть реальность...

Он потерял счет дням, но понял, что плавание длится долго, потому что брюки не держались на нем — от жары похудел; попросил дать ремень.

— Никс фарштеен...

Через несколько дней он сказал:

— Переверните матрац, он мокрый, вы меня так живым не довезете, накажут...

— Никс фарштеен, — ответил человек, и в глазах у него сверкнуло ледяным, искристым холодом.

Однако назавтра, когда его повели в гальюн, матрац заменили: вместо того, который превратился в мокрую, пропахшую потом и мочевиной труху, бросили пару байковых одеял. На одном из них он обнаружил выцветшее клеймо: «т/х Валериан Куйбышев».

...Значит, правда, сказал он себе; значит, все, что я гнал от себя все эти годы, чему запрещал себе верить, что постоянно рвало сердце, — правда.

С мучительным стыдом он явственно увидел лица Каменева, Кедрова и Рыкова, когда семнадцатилетним впервые переступил порог Смольного в Октябре. Он в три дня легко освоил вождение «мотора» и попеременно возил на французском авто Антонова-Овсеенко и Подвойского.

Отец проводил дни и ночи вместе с Мартовым и Либером; встречались редко, ночью, чаще всего под утро.

— Севушка, — говорил тогда отец, — ты с теми, кто не хочет думать о реальностях. Нельзя удержать власть в одиночку! Нельзя отбрасывать всех, кто начинал революцию в этой стране, сие чревато...

— Папа, даже мудрейший и честнейший Владимир Львович Бурцев кричит: «России нужна сильная личность, хватит болтовни, необходим порядок, пора действовать!» Это же страшно, папа: призыв к «сильной личности» означает путь в военную диктатуру или новую монархию — пусть наполеоновскую, но монархию! А вы? Что предлагаете вы, меньшевики? Где ваша программа? «Ждать»?! Но ведь придет новый Корнилов, расставит казаков по углам и вас же повесит на столбах вместе с нами и товарищами эсерами... Армия доведена до белого каления,

армия готова на все — она не прощает проигранных войн...

— Лебедь, рак и щука, — вздохнул отец. — Когда сегодня Керенский назвал происходящее на улицах «бунтом черни», Мартов заклеймил его как человека, объявившего гражданскую войну революции... Даже член партии Керенского, чистейший Миша Гоц потребовал от Временного правительства программы... Да, мы подвержены извечной хворобе русского либерализма — болтовне и пустым дебатам, — но нельзя требовать власти одной партии, это такая же диктатура, как бурцевская «сильная личность»... Я обещаю тебе поговорить с Бурцевым, Севушка, но не связывай себя накрепко с теми, кто играет азартную игру во власть...

— Предложение? — сухо спросил он отца. Как же мы умеем обижать максималистским тоном, как же безжалостны мы в вопросах, на которые нет и не может быть однозначных ответов...

Отец тогда посмотрел на него с укором:

— Думать, Севушка, думать... Ты прав, мы с Мартовым и Плехановым болеем традиционной болезнью — споры, поиск оптимального пути, составление резолюций, просчет вероятий, боязнь крутых решений... Все верно, сынок, на то мы и русские, но примет ли народ западноевропейскую модель революции, которую столь решительно предлагают Ленин и Троцкий? Об этом ты думал?

...Когда человек принес уху, Исаев *собрал* себя, был готов к *работе*: натужно сблевав в миску, он оттолкнул ее, отвалился на спину, застонал:

— Воды-ы-ы... Умираю... Скорей...

Он перешел на русский; да, я у своих, «т/х Куйбышев», но *свой* ли я *этим* своим?!

А если я им не свой, значит, пришло время *работать*.

Человек, испуганно глянув на Штирлица, прогрохотал по лестнице своими громадными бутсами, и, когда он убежал, а несъеденная уха со снотворным или какой иной гадостью, медленно зыбясь на металлическом полу, стекла в угол отсека, — в такт работе машин, — Исаев расслабился и сказал себе: времени тебе отпущено немного, начинай готовиться к тому, во что ты запрещал себе верить, — как можно верить перебежчикам вроде Бажанова, Кривицкого, Раскольникова?!

А ты, спросил он себя, ты, который был весь Октябрь

в Смольном, ты искренне верил тому, что писали о *нас* в конце тридцатых? Нет, ты не верил, ответил он себе со страхом, но ты считал, что дома происходят процессы, подобные тем, что сотрясали республиканский Конвент Франции, — Марат, Дантон, Робеспьер... А кем ты считал Сталина? Робеспьером или Наполеоном? Отвечай, приказал он себе, ты обязан ответить, ибо врачевать, не поставив диагноз, преступно... Почему Антонов-Овсеенко тогда, в Испании, во время последней встречи, смотрел на тебя с такой плачущей, бессловесной тоской? Почему он не ответил ни на один твой вопрос, а сказал лишь два слова: «приказано выжить»? Почему он запретил тебе возвращаться домой? Почему он повторял, как заклинание: «Главное — победить здесь фашистов...»

А почему ты отказался вернуться в Москву, когда тебя наконец вызвали — накануне войны?! Только ли потому, что ты считал невозможным бросить работу против нацизма?

Ты боялся, признался он себе, ты попросту боялся, потому что все те, кого начиная с тридцать седьмого вызывали в Москву, исчезли навсегда, бесследно, словно канули в воду...

Ты спрятался за спасительное антоновское «приказано выжить», ты решил *ждать*... Сын своего отца — ожидание никогда не приводит к победе... Точнее — «одно ожидание»... Не надо так категорично отвергать великое понятие *ждать*... Ждут все: и Галилей в тюрьме инквизиции, и палач, готовящийся к казни Перовской, и Станиславский, выходящий на генеральную репетицию, и тиран, замысливший термидор, и революционер, точно чувствующий ту минуту, когда необходимо выступить открыто и бескомпромиссно. Ты успокаивал себя придуманной самозащитой: крушение гитлеризма неминуемо поведет к изменению морального климата дома...

Не ускользай от самого себя, приказал он себе. Ответь раз и навсегда: ты верил, что Каменев, Бухарин, Рыков, Радек, Кедров, Уншлихт — шпионы и враги?

Ты никогда не верил в это, сказал он себе и почувствовал освобождающее облегчение. Но тогда отчего же ты продолжал служить тем, кто уничтожил твоих друзей? За что мне такая мука, подумал он. Почему только сейчас, у *своих*, ты должен исповедоваться перед самим собой?! Это не исповедь, а пытка, это страшнее любой пытки Мюллера, потому что он был врагом, а моих друзей убивали мои же друзья...

Он вспомнил их маленькую квартирку в Берне, вечер, отца возле лампы, книгу, которую он держал на своей большой ладони — нежно, как новорожденного; вспомнил его голос, а из всех отцовских фраз, которые и поныне звучали в нем, — особенно трагичные: «Отче святый, — говорили недовольные Годуновым патриарху Иову, — зачем молчишь ты, видя все это?» Но чем могло кончиться столкновение патриарха с царем? И патриарх молчал; «Видя семена лукавствия, сеямыя в винограде Христовом, делатель изнемог и, только господу Богу единому взирая, ниву ту недобруя обливал слезами...»

А потом отец читал о некоем *человеке* князя Шестунова по имени Воинко, который донес на своего барина, и за это ему сказали царское жалованное слово и отблагодарили поместьем. «И поощрение это произвело страшное действие: боярские люди начали умышлять всяко над своим барином, и, сговорившись человек по пятишести, один шел доносить, а других ставил в свидетели; тех же людей боярских, что не хотели души свои губить, мучили пытками и огнем жгли, языки резали и по тюрьмам сажали, а доносчиков царь Борис жаловал своим великим жалованием, иным давал поместья, а иным — из казны — деньги. И от таких доносов в царстве была большая смута: доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, даже жены доносили на мужей своих, а дети — на отцов, так что от такого ужаса мужья таились от жен своих, и в этих доносах много крови проливалось неповинной, многие от пыток померли, других казнили, иных по тюрьмам рассылали»...

Отец тогда оторвался от книги, внимательно посмотрел на сына и заключил: «Борис не мог проникнуться величием царского сана и почерпнуть в нем источник спокойствия и милости... Борис и на престоле по-прежнему оставался подозрительным... Он даже молитву придумал особую для подданных, при заздравных чашах: «Борис, единый Подсолнечный Христианский царь, и его царица и их царские дети на многие лета здоровы будут»...»

А знаешь, спросил тогда отец, сколько погибло в Москве от голода в ту пору? Не отгадаешь: полмиллиона человек! Зато хоронили всех за царские деньги, а хлеб купить, что немцы в Архангельск привезли, Борис запретил: «Негоже иноземцам знать про наши дела, мы самая богатая держава Европы, такого мнения и держаться станем!»

...Исаев услышал грохот торопливых шагов и сразу понял, что спускаются двое — один в бутсах, знакомый ему «никс фарштеен», а второй ступает мягче, видимо, в ботинках.

Действительно, второй был в лакированных туфлях на босу ногу, в плавках, и с докторским чемоданчиком в руке.

— Эй, — сказал он, всячески избегая русских слов, — блют прессион, гиб мир ханд...

Исаев затрясся от приступа смеха, пришедшего изнутри как избавление от безысходности. Рта он не разжимал, губы пересохли, кровоточили; если позволить себе рассмеяться в голос, кровь потечет по подбородку, шее, груди, а у него выработалось особое отношение к себе — он постоянно видел себя как бы со стороны, так же оценивал свои поступки; не терпел неряшливости, был точен до секунды, всегда ощущал в себе часы, ошибиться мог на пару минут от силы, жил по собственному графику, в котором не было таких слов, как «забыл», «не успел», «не смог».

— Пусть наручники снимет, — прошамкал Исаев. — Как же вы мне давление померяете?

— Никс фарштеен, — повторил тот, что в бутсах, и снял наручники.

...Исаев поверил в магию индейцев, убедившись в их великом, недоступном нам *знании* на собственном опыте; он научился сдерживать дыхание, учащать пульс, останавливать его даже; ну, меряй, подумал он, я тебе подыграю, испугаешься...

Через час его перевели в другое помещение, где не так грохотало и не было угарного машинного смрада, обтерли мокрым полотенцем и дали чашку воды — она была сладкой, без *подмеси*, поэтому проснулся он рано, часа за три перед тем, как должен прийти *уханосец*. Он был убежден, что не ошибается во времени, и не торопясь начал допрашивать себя, силясь понять, чего же от него хотят *свои*?

...На третий день корабль пришвартовался: голосов по-прежнему слышно не было. Спустился «никс фарштеен», снял наручники, бросил пиджак и туфли, дождался, пока Исаев оденется, натянул ему на голову капюшон и, подхватив под руку, повел по скользким, маслянистым лестницам наверх.

На палубе, вдохнув свежего воздуха, Исаев упал.

Сколько был в беспамятстве — не помнил, ощутил себя на кровати, шелковая подушка, мягкое, верблюжьей шерсти одеяло. Руки и ноги были свободны, пахло сухим одеколоном, чем-то напоминавшим «кёльнскую воду».

Он пошарил рукой вокруг себя, натолкнулся на лампочку, включил ее: стены комнаты были отделаны старым деревом, окна закрыты тяжелыми металлическими ставнями; в туалете нашел английскую зубную пасту, английское мыло.

Ты дурак, Исаев, сказал он себе; ты посмел грешить на своих и раскрылся, ты заговорил по-русски, чего не делал четверть века, тебе крышка, одна надежда и осталась — на *своих*. Мыслитель сратый, русскую смуту вспоминал! А чем она отличалась от тех, что были в Англии?..

2

— Здравствуйте, я ваш следователь, меня зовут Роберт Клайв Макгрегор. После того как мы проведем цикл допросов, вы вправе вызвать адвоката: если бы вы не были тем, кем были, мы бы дали вам право пригласить любого адвоката уже на этой стадии следствия.

— А кем я был? — поинтересовался Исаев.

— Мы располагаем достаточной информацией о вашем прошлом. Суть следствия заключается в том, чтобы во время нашего диалога окончательно расставить все точки над «i».

— Могу я задать вопрос?

— Пока мы не начали работу — да.

— Вы назвали свое имя, но я не знаю, какую страну вы представляете...

— Я представляю секретную службу Великобритании. Удовлетворены ответом?

— Вполне. Благодарю.

— Фамилия, имя, место и год рождения?

Исаев готовился к такому вопросу, он понимал, что все зависит от того, кто, где и как будет произносить эти, казалось бы, столь простые слова, но, услыхав их, ощутил растерянность, не зная, что ответить...

...Приученный двадцатью пятью годами к тому, чтобы анализировать, рассматривая и оценивая с разных сторон не то что слово, но даже паузу, взгляд и жест — как свой,

так и собеседника, — Исаев был убежден, что своим, вернись он на Родину, и отвечать не придется, там все знают... Однако во время морского, столь страшного путешествия с «никс фарштеен» он раскрепощенно, с душащей обидой и презрением разрешил себе наконец *услышать* тот вопрос, который жил в нем начиная с тридцать шестого года, после процесса над Львом Борисовичем и Зиновьевым: «А, собственно, кто теперь знает обо мне, если Каменев, Зиновьев, Бакаев и даже курьер Центра Валя Ольберг — враги народа?»

В тридцать седьмом, когда один за другим исчезли те, кто строил ЧК, кто знал его отменно: Артузов, Кедров, Уншлихт, Бокий, Берзинь, Пузицкий, он ощутил зябкую пустоту, словно окончательно порвалась пуповина, связывавшая с изначалием; с осени тридцать девятого люди из Центра вообще перестали выходить на него.

Пакт с Гитлером он принял трагично, много пил, искал оправдания: объективные — находил, но сердце все равно жало, оно неподвластно логике и живет своими законами в системе таинства под названием «Человек».

...Именно тогда Исаев заново прочитал книгу Вальтера Кривицкого, резидента НКВД в Париже, который выступил с разоблачением Ягоды, Ежова и Сталина. Исаев хорошо знал Кривицкого, у них было три встречи в Париже и Амстердаме во время прогулки на туристском катере по тихим каналам, над которыми медленно стыли чайки; тогда его отчего-то поразило, что они не кричали, как на берегу или в порту, странно...

Сразу после того, как уход Кривицкого стал сенсацией, в тридцать седьмом еще, Исаев затаился: «если он предал — значит назовет имена Шандора, Треппера и мое». Цепь, однако, продолжала функционировать; отозвали трех товарищей — видимо, боялись за них, но потом *докатилось*, что дома их расстреляли...

Значит, Кривицкий хранил в себе то, что ему предписывал долг? Значит, он не открыл имен *товарищей* по борьбе с нацизмом? Значит, действительно он ушел по идейным соображениям? Предатель в разведке прежде всего открывает имена друзей, но ведь Вальтер знал Яна, Кима, но ни словом не упомянул о них...

...Кривицкого убили, он унес с собой имена товарищей, никто в Европе не был схвачен; значит, он выбрал путь политической борьбы против террора, а не измены?

Тем не менее Исаев тогда сменил квартиру и лег на грунт, стараясь понять, нет ли какой-то связи между про-

исходящим дома и тем, что ежечасно затевалось в сером здании на Александерплац и в тех конспиративных квартирах, где он мог появляться, не вызывая подозрения у руководства. Как никто другой, он четко знал внутренние *границы* рейха: «это мое дело, это мой агент, это моя информация — не вздумай к ним прикоснуться; собственность».

Он заметил ликование в РСХА, когда пришло сообщение, что на партконференции из ЦК «за плохую работу» был выведен бывший нарком иностранных дел Литвинов; иначе, как «паршивый еврей, враг НСДАП», его в Германии не называли.

Именно тогда в баре «Мексико», крепко выпив, Шелленберг поманил пальцем Штирлица и, брызгая стаканами, чтобы помешать постоянной записи всех разговоров, которые велись тут по заданию Гейдриха, шепнул:

— Зачем война на два фронта? Ведь Сталин расстилается перед нами! Он капитулировал по всем параметрам! Он подстраивается под наши *невысказанные* желания, чего ж больше?!

Штирлиц отправил шифрованную телеграмму об этом из Норвегии, приписав, что ответа может ждать только один день, дал адрес отеля — не своего, а того, что был напротив. Через пять часов неподалеку от парадного подъезда остановился «паккард», вышли трое: заученно разбежались в разные стороны — рассматривать витрины; тот, кто сидел за рулем, отправился к портье, пробыл там недолго, вышел, пожав плечами, сел в машину и уехал; троица осталась.

Через десять минут Исаев позвонил портье, назвался Зооле — тем псевдонимом, который тогда знала Москва, спросил, не приходил ли к нему, директору Любекского отделения банка, господин высокого роста в бежевой шляпе.

— Он только что ушел, господин Зооле, очень сожалею! Хотите, чтобы я послал за ним человека? Возможно, он еще ждет такси.

— Нет, спасибо, — ответил Исаев, — пошлите вашего человека в отель «Метрополь», это наискосок, пусть оставит портье письмо моего друга, он же принес мне письмо?

— Оно передо мной, господин Зооле, сейчас оно будет в «Метрополе».

В шифрописьме говорилось: «Спасибо за ценнейшее сообщение. В Берлин вам возвращаться рискованно,

позвоните в посольство, назовитесь и оставьте адрес, о вас позаботятся...»

Через полчаса Исаев, сломанный и раздавленный, выехал на аэродром и взял билет в Берлин...

А может быть, действительно в стране случилось самое страшное и к власти пришли те, кто *хочет* Гитлера? Кто же его хочет?

И он не посмел тогда дать ответ на этот вопрос — жалко, сломанно, с ощущением мерзкой гадливости к самому себе...

...Куда бы я отсюда ни бежал, сказал он себе тогда, понимая, что в который уже раз оправдывает себя, вымаливая у себя же самого индульгенцию, меня всюду будут воспринимать как оберштурмбаннфюрера СС, врага, нациста, губителя демократии... Я лишен права сказать, кто я на самом деле, потому что враги начнут кампанию: «гестапо и НКВД умеют сотрудничать даже в разведке, совместимость»... Вальтер Кривицкий ушел чистым... Я *служил* в РСХА, я замаран тем, что ношу руны в петлицах и имею эсэсовскую наколку на руке...

Ну ты, сказал он себе, вернувшись в Берлин, сейчас надо сделать все, чтобы вернуться — нелегально — домой. И уничтожить там тех, кто предал прошлое. Это высшая форма преступления — предательство прошлого. Такое не прощают. За это казнят... Ты способен на это? Или ты трус, спрашивал он себя требовательно, с бессильной яростью.

Эта мысль постоянно ворочалась в нем до того дня, пока он не прочитал фрагменты плана «Барбаросса», а затем в марте сорок первого получил шифровку из Центра, поначалу испугавшую его, ибо никто не знал его нового адреса: «Ситуация в Югославии складывается критическая, враги народа, провоцировавшие дома репрессии, ликвидированы, просим включиться в активную работу».

Исаев испытал тогда счастливое облегчение, уснул без снотворного, однако наутро проснулся все с той же мыслью: «Значит, ты все простил? Ты все забыл, как только тебя поманили пальцем?»

Но тогда он уже вновь обрел право дискутировать с самим собою, и поэтому он круто возразил себе: «Меня поманили не пальцем, я не проститутка, мне открыто сообщили, что были *репрессии* и что с приходом нового наркома Берия прошлое кануло в Лету: Марат — Дантон — Робеспьер; революция не бывает бескровной...

— Я не стану отвечать на ваш вопрос, мистер Макгрегор...

Тот кивнул, закурил, пододвинул Исаеву «Винстон», записал ответ в лист протокола и перешел ко второму вопросу:

— Фамилии, имена, годы и места рождения ваших родителей?

— И на этот вопрос я отвечать не стану.

— Являетесь ли вы членом какого-либо профсоюза, партии, пацифистской организации?

— Прочерк, пожалуйста...

Макгрегор улыбнулся:

— Насколько мне известно, понятие «прочерк» присуще лишь тоталитарным государствам. Мы придерживаемся традиций. Я должен записать ваш ответ.

— Я не отвечу и на этот вопрос.

— Имя и девичья фамилия жены?

— Я не отвечаю.

— У вас есть дети?

— Не отвечаю...

Макгрегор перевернул страницу, снова закурил, заметив:

— С наиболее скучными вопросами мы покончили, теперь перейдем к делу.

Он раскрыл вторую папку, достал оттуда фотографию Штирлица, сделанную кем-то в Швейцарии возле пансионата «Вирджиния», когда он искал несчастного профессора Плейшнера:

— Знаете этого человека?

— Чем-то похож на меня...

— Но это не вы?

— Нет, это не я.

Макгрегор пододвинул папку:

— Поглядите: там есть ваши фото в форме, вместе с Шелленбергом в Лиссабоне, данные из вашего личного дела, характеристики...

Все верно: Макс фон Штирлиц, штандартенфюрер СС, истинный ариец, отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера, предан идеалам НСДАП, характер нордический, стойкий, спортсмен, порочащих связей с врагами рейха не имел, родственников за границей нет, фамилию не менял, никто из близких не был арестован гестапо...

— Этого человека знаете? — усмехнулся Макгрегор. — Или нужны очные ставки?

— Я бы не отказался от очных ставок.

— Вы их получите. Но лишь после того, как мы кончим наше собеседование.

— Мистер Макгрегор, собеседования не получится. Я не стану отвечать ни на один ваш вопрос.

Тот покачал головой:

— На один ответите: как вы себя чувствуете после столь отвратительного путешествия? Пришли в себя?

— Да, в какой-то мере.

— Врач не нужен?

— Нет, благодарю.

— Не сочтите за труд закатать рукав рубашки, я хочу сфотографировать номер вашей эсэсовской татуировки.

Исаев помедлил мгновение, понял, что отказывать глупо, отвернул рукав, дал сфотографировать татуировку — невыводимо-въедливую: тысячелетний рейх не допускал и мысли о возможном крахе, все делалось на века, прочно.

...А потом в эту *комнату* с металлическими тяжелыми ставнями ввели штурмбаннфюрера СС Риббе из гестапо — сильно похудел, костюм болтается, глаза пустые, недвижные, руки бессильно висят вдоль тела.

— Вы знаете этого человека? — обратился к нему Макгрегор.

— Да, он мне прекрасно известен, — монотонно-заученно отрапортовал Риббе. — Это штандартенфюрер СС Штирлиц из политической разведки, доверенное лицо бригадефюрера Шелленберга.

— Вам приходилось работать со Штирлицем?

— Нет.

— Благодарю вас, — с традиционным оксфордским придыханием учтиво заметил Макгрегор, — можете возвращаться к себе.

Следующим был Воленька Пимезов, бывший помощник Гиацинтова, начальника владивостокской контрразведки в двадцать втором — последней обители белой России.

— Знаете этого человека?

Воленька был в отличие от Риббе совершенным живчиком с сияющими глазами, похудевший, но не изможденный, на Исаева смотрел с восторженным интересом:

— Господи! Максим Максимович! Сколько лет, сколько зим! И вы здесь!

— Мистер Пимезов, — неожиданно резко, словно бы испугавшись чего-то, прервал его Макгрегор, — пожа-

луйста, без эмоций! Отвечайте только на мои вопросы! Вам знаком этот человек?

— Конечно! Это Исаев, Максим Максимович...

Макгрегор обратился к Исаеву:

— Вы знаете этого человека?

— Нет.

— Мистер Пимезов, — меланхолично продолжал Макгрегор, — когда, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с человеком, представленным вам к опознанию?

— Максим Максимович Исаев был ответственным секретарем газеты господина Ванюшина у нас во Владивостоке начиная с двадцать первого...

Исаев почувствовал, как сжало сердце, вспомнил громадину Ванюшина, его глаза, полные слез, когда он в номере хабаровского отеля, развалившись на шкуре белого медведя — главном украшении трехкомнатного люкса, — дал ему заметочку из газеты: «Вы прочтите, прочтите повнимательней, Максим Максимович! Или хотите я? Вслух? С выражением? А? Извольте: «Вчера у мирового судьи слушалось дело корреспондента иностранной газеты по обвинению в нарушении общественной тишины... Корреспондент этот, Фредерик Раннет, сказал своим гостям-иностранцам в ресторане, что в России можно любому и всякому дать по физиономии и ограничиться за это штрафом... Заключив пари, Раннет подошел к лакею Максимову и дал ему оплеуху. Суд приговорил Раннета к семи дням ареста»... А?! Каково?! И заголовочек: «В России все можно!». У нас все можно, воистину! Вон мне давеча наш премьер Спиридон Дионисьевич Меркулов излагал свое кредо: «В репрессалиях супротив политических противников дозировка не потребна, друг мой! Тот станет у нас великим, кто пустит кровь вовремя и к месту — тогда пущай ее хоть реки льются... Это вроде избавления от болезни, это как высокое давление спустить, людскую страсть утихомирить! Главное — врагов *назвать*, от них беда, не от самих же себя?!»

— Что вы можете сказать о деятельности Исаева? — Макгрегор смотрел на Пимезова с легкой долей презрения.

— Блестящий журналист, «перо номер два», его обожали в Приморье...

— Что имеете добавить к этим показаниям?

— То, что в течение последних семи месяцев, перед тем как банды Красной Армии вошли во Владивосток,

мы тщательно следили за Максим Максимычем, подозревая его, и не без основания, в том, что он является лазутчиком красных.

Макгрегор обернулся к Исаеву:

— Отвергаете?

Тот кивнул.

Макгрегор отпустил Пимезова (английский у бедолаги ужасающий, путает времена, слова произносит на русский лад), протянул Исаеву папочку розового цвета:

— Ознакомьтесь...

Исаев открыл папку и впервые *дрогнул*: прямо в его лицо смотрели горестные глаза Сашеньки Гаврилиной.

Он долго не мог оторваться от ее фотографии (отметил машинально, что это не подлинник, а копия), потом аккуратно прикрыл папку:

— Мистер Макгрегор, я бы хотел понять, чего вы от меня хотите? Возможно, это поможет нашему диалогу...

Тот согласно кивнул:

— Я готов ответить. Меня и мою службу интересует, на кого вы работали по-настоящему: на красных, Шелленберга или на представителя американской разведки мистера Пола Роумэна, вместе с которым, начиная с сорок шестого года, развили бурную активность в Латинской Америке по розыску шефа гестапо Мюллера?

— Если я отвечу, что по-настоящему работал лишь на красных, это может оказаться некоторым конфузом для британской службы: допрашивать представителя русского союзника — без сотрудника посольства...

— Вы совершенно правы, мистер Штирлиц-Исаев... Но ведь вы не сделали подобного рода заявления... Поэтому я допрашиваю вас как эсэсовского преступника...

— Значит, если я сделаю такое заявление, представитель русского посольства будет приглашен сюда?

Макгрегор пожал плечами:

— Кто же приглашает дипломатов на конспиративную квартиру секретной службы? Мы подыщем для этого другое место... Итак, я могу записать: вы признаете, что работали на русских?

— Да.

— Назовите имена тех, кто может поручиться за вас в Москве.

Исаев ощутил физически, как англичанин его ударил: кого он может назвать? Кого? Постышева? Блюхера? Каменева? Кедрова? Уншлихта? Артузова? Берзина? Кого?!

— Я считаю это нецелесообразным.

— Могу поинтересоваться: отчего?

— На этот вопрос отвечать не стану.

— Как нам сообщить русским ваше имя?

— А вы дайте им те имена, которые называли господа, вызванные вами для опознания...

— Хорошо, — и Макгрегор протянул Штирлицу свое вечное перо. — Пожалуйста, убедитесь в правильности ваших ответов и подпишите каждый.

Убедившись в том, что его ответы записаны верно — полное отрицание всего и вся, — Максим Максимович подписал каждый свой ответ.

Макгрегор спрятал бумагу в портфель, откланялся и, уже открыв дверь комнаты-камеры, задумчиво спросил:

— А если бы вам не постелили одеяло с клеймом «Куйбышева», вы бы заговорили по-русски?

И, не дождавшись ответа, вышел.

3

Ночью Исаев уснуть не мог, заново анализировал всю беседу с этим придыхающим Макгрегором, то и дело возвращался к странному поведению Риббе — живой мертвец, что с ним сделали; потом от Пимезова перебросился памятью к последнему дню во Владивостоке, когда Ванюшин привел его к своему лакею Миньке, тот еще в доме ванюшинских родителей, при рабстве, был «мальчиком», и услыхал слова его квартиранта, приват-доцента Шамеса, словно это не четверть века назад было, а только что, в этой странной деревянной комнате... Маленький, с пушкинскими баками Шамес тогда жарко вещал ему, Исаеву, и Ванюшину: «Если вы сможете зафиксировать электромагнитные волны, исходящие из мозга только что умершего, они будут такими же, как у живого. Они исчезнут лишь на третий день, когда — по нашему христианскому присказу — душа уйдет из тела... Да, да, я верующий, выкрест, хоть и говорят, мол, жид крещеный, что конь леченый... Поймите, и первый, и второй день покойник фиксирует все происходящее вокруг него! Я еще не ответил себе: *организуется* ли это слышимое в ужас там, в таинственном, распадающемся мозгу покойника? Ведь на самом деле выходит не душа, а энергия, мощь разума человеческого... Энергия не исчезает — в этом я согласен с марксистами. Но если она не исчезает, значит, разум

бесконечен, а человек духовно бессмертен? Покойник и после смерти оставляет *здесь* свои электромагнитные волны, и если я проживу еще несколько лет и Россия не сожрет самое себя, я сконструирую аппарат, который запишет речи Нерона, плач Ярославны и невысказанные, то есть истинные, мысли Макиавелли... Не смейтесь! (Я действительно смеялся, вспомнил Исаев, я хохотал тогда.) Не зря говорят: «идеи носятся в воздухе!» Стоит только настроиться на них, и тогда высший разум мира войдет в вас, и вы станете новым пророком, и вас распнут продажные торговцы, и все начнется сначала... Что вы смеетесь?! (Я смеялся; Ванюшин слушал завороженно, с неизбывной тоской.) Вы просто не задумывались над тем, отчего все великие люди либо маленькие ростом, вроде Мольера, Наполеона, Пушкина, Лермонтова, Ленина, либо великаны, как Петр, Кромвель, Линкольн! А в чем дело? В том, что они вне среднего уровня человечества, поэтому им сподручнее настраиваться и принимать электромагнитные волны ушедших гениев...» Ванюшин тогда вздохнул: «Свернут вам голову, Рувим, либо наши изуверы, либо красные...» Шамес зашелся смехом: «Думаете, я боюсь? Нет, вообще-то я, конечно, трус, но за жизнь как таковую страха не испытываю. Почему? А потому, что я, как и вы, есть пустота! Вы касаетесь меня пальцем, и вы ощущаете меня, но чем вы меня ощущаете и что вы ощущаете?! Тело состоит из атомов. А ведь атом — это ядро, вокруг которого в громадной пустоте вращаются крошечные невесомые электроны. В пустоте! Следовательно, вы прикасаетесь пустотой к пустоте! В мире нет массы! Есть энергия и магнитное поле! И все! Тело — миф! Мы бестелесны. Мы из атомов и пустоты, вода — из того же, дерево, корова, Достоевский, Тинторетто, Джоконда... Мы все подданные бестелесной материи, чего же бояться?!»

...Откуда англичане могли получить фото Сашеньки, спросил себя Исаев. Этот вопрос не давал покоя, рождал какое-то напряженное чувствование, не оформившееся еще в мысль, но затаившееся во всем его существе.

Идет игра, ему это было ясно, идет по тем правилам, которые он не смог еще понять, но они, эти правила, были изощренными, безукоризненны по форме, но при этом как-то уж слишком упрятаны.

Этот Макгрегор легко доказал мне, что он знает про Штирлица, Исаева, про Сашеньку и, наконец, про Пола Роумэна. Это очень много, это успех, я в нокауте. Но отчего он не закрепил свою позицию *наступлением*? Почему?

Англичане — при всем их такте — жесткие политики, их национальный характер более всего проявляется в спорте: они подарили миру теннис, футбол и бокс, они умеют силово, мотающе, но тактично атаковать, чего же не атаковал Макгрегор? По-моему, его вообще не очень-то интересовали мои ответы, он добивался другого. Чего?

...Человек в полувоенной форме без погон вошел к нему с подносом, как и вечером: тарелка с овсянкой, кусок хлеба с сыром и чашка с жидким кофе. Как и вечером, он дождался, пока Исаев закончит завтрак, забрал тарелку в первую очередь, потом уже чашку и ложку.

— Когда у вас время прогулок? — спросил Исаев.

— У вас пока нет прогулок.

— Почему? Я наказан?

— Задайте вопрос тому, кто ведет ваше дело.

— А библиотека? Я могу пользоваться услугами тюремной...

— Здесь не тюрьма.

С этим человек вышел, мягко прикрыв за собою массивную, на пневматике, дверь...

...Через пять дней снова пришел Макгрегор, протянул Исаеву листок бумаги:

— Распишитесь.

Исаев прочитал текст: «По настоянию штандартенфюрера СС Штирлица, который утверждает свою принадлежность к русской разведке (''М. М. ИСАЕВ''), означенный Штирлиц передается советским властям».

Лихая закорючка вместо подписи под текстом: «помощник начальника отдела»; дата; ни номера, ни печати.

— Согласны с такого рода решением? — спросил Макгрегор.

— Абсолютно.

— Извольте дописать: «С решением согласен». И распишитесь. Той фамилией, которую сочтете более удобной.

— Устного согласия недостаточно?

— Нет. Вы, видимо, слыхали, что множество русских отказываются вернуться домой, справедливо полагая, что их, как всех пленных, которые заразились — Макгрегор усмехнулся — западным вольнодумием, отправят в Сибирь. Чтобы в будущем вы не вчинили нам иск за то, что мы отдали вас большевикам, извольте выполнить формальность.

Исаев подписал бумагу, Макгрегор кивнул ему и молча вышел.

4

Его привезли на загородный аэродром к дребезжащему полувоенному «дугласу» с двумя рядами металлических стульев, закрытых тулупами, и с двумя кушетками в первом отсеке.

Возле двери пилотов, после молчаливого акта передачи Макгрегором таинственного пленника (по ночному городу везли с завязанными глазами; Исаеву почудилось, что дзенькал трамвай, как московская «аннушка» в те благословенные годы, когда был жив папа; странно — разве в лондонских пригородах ходят трамваи? Впрочем, почему я думаю, что это Лондон, а не Глазго или Манчестер?), капитан, назвавшийся Перфильевым, сердечно приветствовал Штирлица, и самолет с тщательно закрытыми иллюминаторами ушел в небо.

— К столу, Всеволод Владимирович, — Перфильев назвал его так, как последний раз называл Уншлихт в двадцать первом, когда встретились в Реввоенсовете республики: отправляясь во Владивосток, Владимиров, впрочем, тогда уже Исаев, был по рекомендации Дзержинского принят зампредом РВС Склянским, а потом, минут на пять всего, его пригласил к себе наркомвоенмор Троцкий.

...На ящике, укрытом газетами, стояли бутылка коньяка, банки шпрот, сардин и крабов; сырокопченая колбаса, сыр, сало.

Потрясли Исаева яйца, сваренные вкрутую; за четверть века отвык; на Западе так не готовят...

Или оттого, что выпил он большой фужер коньяку (капитан Перфильев только пригубил: «Я еще должен работать во время рейса, Всеволод Владимирович, не взыщите»), то ли оттого, что стало ему сейчас сладостно-спокойно, ушли из головы все эти «никс фарштеен», страшные унижения в гальюне, странный Макгрегор, вон всякий сор из головы, он — неожиданно для себя — отключился; такого с ним никогда не было...

...Проснулся оттого, что капитан тер ему уши:

— Всеволод Владимирович! Просыпайтесь! Садимся! Москва!

Было по-прежнему темно, все иллюминаторы зашторены. Когда Перфильев открыл дверь и выбросил металлическую лестничку, Исаев увидел звезды — улетал ночью, прилетел в ночь; такой же потаенный, без огней, загородный аэродром, большой автомобиль (он сразу вспомнил «ЗИС-101», такие были в советском посольстве на

Унтер-ден-Линден, немцы очень потешались); подполковника с орденскими планками:

— Товарищ Владимиров, от имени и по поручению командования разрешите сердечно приветствовать вас с возвращением на родную землю! Подполковник Петров, отдан в ваше распоряжение.

— Спасибо, товарищ Петров... Сердечно благодарю за встречу... Мою семью предупредили? Мы сейчас поедем к ним?

— Командование приняло иное решение, товарищ Владимиров: нельзя травмировать вашу супругу и сына... Они считали вас погибшим, как и мы все... Их надо готовить к встрече, за это время и вы придете в себя, поехали!

...Дачка была небольшая, уютная, две спальни, столовая и кабинет, большая веранда, на кухне — настоящая русская плита; на веранде был накрыт стол. Петров представил молоденького лейтенанта: «Коля Штыков, стенографист, пока мы будем готовить ваших к встрече — дней семь на это уйдет, — надиктуете отчет о проделанной работе, поэтапно, с самого начала, на имя секретаря ЦК товарища Кузнецова. Он теперь курирует органы, герой ленинградской блокады, вы с ним вскорости увидитесь, он будет визировать документы на ваше звание Героя. Тогда же все приостановилось, мы получили данные, что вы погибли тридцатого апреля...»

...Исаев работал неделю с упоением; худенький Коля стонал:

— Рука отваливается, Всеволод Владимирович! Пожалейте...

— А вдруг от радости у меня сердце порвется? Тогда как? Нельзя уносить с собою то, что знаешь, Николаша, давай помассирую пальцы, я дока в массаже.

Еще неделю, постоянно, возрастающе-требовательно торопя подполковника Петрова с переездом домой, в семью, Исаев продолжал работать: вычитывал надиктованное, дополнял, многое переписывал, работой увлекся, просил сделать вклейки, сам дивился своей памяти, а главное, тому, что было с ним все эти четверть века; наконец, удовлетворенный, подписал *труд* и пододвинул его Коле.

Подполковник Петров продиктовал текст, который надо было от руки написать секретарю ЦК Кузнецову: мол, прошу ознакомиться с итогом моей работы, возможно, потребуются дополнения, я готов.

Потом улыбнулся своей открытой, доброжелательной улыбкой:

— И у меня для вас сюрприз, Всеволод Владимирович! Завтра едем домой. Сегодня день отдыха, прощальный пир с тостами.

Весь день играли в шахматы, катались в лодке по небольшому озеру, Исаев становился все более бледным, и руки делались ледяными; выехали в одиннадцать.

Коля шепнул:

— Войдем с боем курантов, праздник так праздник!

«ЗИС» несся по безлюдной Москве, которую Исаев не видел двадцать семь лет: совершенно другой город, много широких улиц, но в новых домах чувствуется до боли знакомая фундаментальность, отличавшая арийский вкус; откуда нашим архитекторам знать берлинские ансамбли, созданные при Гитлере?!

«ЗИС» летел на красный свет; немногочисленные пешеходы разбегались в стороны, а шофер то ли по рассеянности, то ли чтобы посмешить пассажиров, то ли оттого, что заметил яму, крутанул руль в лужу и окатил старика с собачкой водой, а подполковник с Колей захохотали, и это заставило Исаева заново посмотреть на их лица.

— Ничего, обсохнет, — сказал Коля каким-то новым голосом, и в это время «ЗИС» въехал в приоткрытые ворота.

Машину окружили военные, распахнули двери, первым вылез подполковник Петров, за ним Коля. Подполковник, направляясь к темному зданию, коротко бросил, кивнув на Исаева:

— Оформляйте арестованного.

* * *

...А в это время член Политбюро и секретарь ЦК ВКП(б) Георгий Максимилианович Маленков ехал в правительственном спецпоезде в Узбекистан и, прижавшись лбом к стеклу, в который раз уже обдумывал, чем он мог вызвать столь яростный гнев Сталина, отправившего его в азиатскую ссылку.

Он перебирал в уме все возможные варианты, но так и не мог ответить себе, что же с ним произошло на самом деле...

Да, после поездки по Калининской и Новгородской

областям он вернулся совершенно раздавленный: страна нищала, голод, пустые деревни, на полях всего несколько баб, копают картошку еле-еле, сил нет, одеты в рванье, какие там «Кубанские казаки»!

Да, чуток поспорил со Ждановым: в нынешнее время рискованно отъединяться от европейской науки, она необходима нам для реального прорыва к новому уровню технологии, только она позволит довести до конца *проект* в те сроки, которые назвал Иосиф Виссарионович. Пропаганда пропагандой, а промышленность промышленностью, тут заклинания не помогут, нужны реальные мощности, а не те, о которых печатают в победных газетных реляциях, работаем на станках прошлого века... Спор о немецких трофеях, которые не доставили в указанные заводы?

Но ведь сам Иосиф Виссарионович последнее время постоянно повторяет: «Не бойтесь спорить, не старайтесь заранее все согласовать по кабинетам; в свое время мы сутками спорили с Каменевым, а позже с Бухариным, ничего не случалось, договаривались добром или на время расходились, искали компромисс...»

Маленков повторил про себя «искали компромисс», усмехнулся; знаем, чем кончился «компромисс»... Неужели и со мною он так же *разойдется*? А что ему? И не таких ставил к стенке...

Если не поможет Лаврентий — я кончен; обидно и горько: в несчастной России всегда уповали на ходатая; холопы; захочет ли Берия спасти его? Ему не поздно переориентироваться на Жданова... Тот оттер всех, блок с ним выгоден каждому...

Я еду в ссылку, повторил себе Маленков, я *брошен* в Ташкент, на *укрепление*... Ежова тоже бросили на укрепление водного хозяйства России...

За что?! Кто еще предан ему так, как я?!

И Маленков, прижавшись еще крепче к стеклу, спросил себя: «предан»? Или «был предан»?

Зачем он играет нами, как пешками? Не офицерами или турами, а именно пешками?!

Что с ним? Ему еще нет семидесяти, откуда такие маразматические явления — нельзя предугадать утром, что случится вечером... Он и раньше был готов на все, что же меня ждет сейчас?!

А может быть, правду шептали о том, что после пятидесяти лет он совершенно изменился? Шептали,

что у него открылась тяжелая форма паранойи? Он же подозрителен, как жена-тиран...

С тридцать четвертого по тридцать восьмой Сталин пережил климакс, это говорили братья Коганы, консультанты Хозяина, — все в порядке вещей, ломка организма...

Наломал... Все наломали, поправил себя Маленков, ты себя не выводи за скобки, с ним пришел — с ним и уйдешь, если он тебя не шлепнет...

Неужели сейчас начался маразм? Обычный, всем знакомый старческий маразм?

Верочка Давыдова, первый голос Большого театра, рыдала в кабинете: «Георгий Максимилианович, я больше не могу, спасите меня! Он говорит такие слова, он такое делает...»

...Спецпоезд несся сквозь тьму, кромешную и непроглядную. Россия лежала во мраке — без огонька, истерзанная, в трагическом и безразличном запустении, а один из тех, кто должен был *отвечать* за нее, думал лишь о той шахматной доске, на которой офицеров и ферзей не сбрасывали — расстреливали: что ему до России?! Своя рубашка-то ближе к телу!

5

Над дверью камеры горела лампа; от нее, казалось, никуда не спрячешься, как и от тех размеренных, нарочито громких шагов надзирателей, которые менялись, неестественно громко выкрикивая: «Пост по охране врагов народа сдан!» Вторивший ему отклик был столь же громким, торжествующим: «Пост по охране врагов народа принят!»

Вот я и приобщился, сказал себе Исаев. Только теперь я до конца понял, что два эти слова звучат *дома* как высшая награда за верность революции; все стало на свои места; наконец-то...

Камера была маленькая; крошечное оконце забрано не только решетками, но и «намордником» снаружи.

Но почему этот стенограф Николаша, подумал вдруг Максим Максимович, весело глядя мне в глаза, обещал войти в мой дом с боем курантов, чтобы праздник был настоящим? Ведь он знал, *что́* меня ждет; почему он глумился над моей надеждой? А что ему было делать,

возразил себе Исаев. Смотреть на меня, как на врага? Ему же сказали: «Это враг народа». А он поверил? Почему нет? Поэтому и вел себя по-дружески, иначе я бы не стал работать с таким вдохновением, как работал на даче, вспоминая *структуру* моего прошлого, прикидывая вариантность настоящего и вероятия будущего.

Да, но какие, собственно, у него были основания смотреть на меня, как на врага?! Ты пришел из-за кордона, ответил себе Исаев, надо еще разобраться, ты это или нет? Но ведь дома Сашенька! И мой Санька должен быть дома! Должен! Это так просто — опознать меня! Нет, все страшнее, сказал он себе. Я — ладно, «фигура умолчания», они меня впервые видят... А вот какие были основания у таких же пареньков смотреть на Каменева и Бухарина как на шпионов и врагов? Ведь им, тем *пареньками*, было лет по двадцать пять, они не могли не помнить, как десять лет назад шли по Красной площади, приветствуя *вождей*: Бухарина, Троцкого, Каменева, Сталина, Зиновьева... Нет, там работали не *пареньки*, возразил он себе, это невероятно, чтобы с Зиновьевым имел дело стенограф Николаша, не ложится в логическую схему; с теми лидерами работал высший эшелон. Нет, подумал он, старая гвардия не могла *работать* против Каменева или Бухарина, Постышева или Блюхера. Все сходится: Бухарина и Рыкова судили, когда исчезли все те, кто начинал в ЧК с Дзержинским. Нет, неверно, одернул он себя; когда прошел первый процесс тридцать пятого года, когда Каменев и Зиновьев приняли на себя *моральную* ответственность за гибель Кирова и были осуждены на тюремное заключение, ветераны еще были на своих местах. Нет, не были, устало возразил он себе: Ягода пришел в ЧК лишь в двадцатом управляющим делами, чисто хозяйственная работа. Кто ж его *внедрил* к Дзержинскому? Во время гражданской он был на Восточном и Южном фронтах, на Юге сидел Сталин... Не может быть, что генсек уже тогда начал расставлять на ключевые посты *своих*... Почему? Вспомни, как планировал свой тридцать четвертый год Гитлер? Он его *придумал* в двадцать пятом, ждал мести девять лет, все эти годы обнимался с теми, кого внутренне уже приговорил к смерти, — Рэмом и Штрассером...

...Исаев заложил руки за голову, потянулся; презирая себя, начал хрустяще ломать суставы пальцев, ощутил мучительную потребность в крепкой сигарете, не в тех папиросах «Герцеговина флор», что его угощали на *даче*,

а в хорошем «Кэмеле», который так любил Шелленберг...

Началась новая полоса в жизни, и в ней, в этой новой жизни, я обязан сориентироваться сейчас, загодя, пока не пошли допросы и все такое прочее, а без сигареты трудно думать — привычка. Он вспомнил пословицу: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»... Ведь было сообщено еще в двадцать восьмом, что Михаил Сергеевич Кедров, входивший в первую коллегию ЧК, был отчего-то переведен в члены «Спортинтерна», а ведь при Дзержинском он был председателем Особого отдела. Кто ж его вывел из ГПУ за полгода перед ударом по Бухарину? Почему я раньше не задумывался над этим? Потому что на расстоянии родина видится особенно прекрасной, и всякий, кто говорит о ней плохо, — враг, услышал он свой голос, прекрасно понимая, что это ложь, отговорка, оправдание самому себе...

Менжинский умер пятидесятишестилетним, за год до смерти был совершенно здоров, умер, как по заказу, — накануне подготовки процессов... Контрразведчика Бокия перебросили на тюремное ведомство тоже в конце двадцатых, освободив его место для людей новой волны... А другой заместитель Феликса Эдмундовича — Уншлихт? Его перевели в армию, поставили на авиацию... Почему? А Трифонов? Ксенофонтов? Почему их разбросали по другим ведомствам?

Как это страшно, что правдиво говорить с самим собою я начал только в тюремной камере, подумал Исаев. А ведь все то, о чем я сейчас думаю, было мне известно давным-давно, но я сознательно отталкивал факты, запрещал себе ставить вопросы, а пуще того — думать об ответах. Я знал, что эти вопросы требуют ответа, знал! Ну и как объяснить то, что ты добровольно делал из себя идиота?! Запрет на мысль — идиотизм, форма шизофрении. Неужели идее нужны идиоты?

Кто и как мог принудить Каменева и Зиновьева взять на себя *моральную* ответственность за убийство Кирова? Кто и как? Ни Менжинского, ни Кедрова, ни Бокия с Уншлихтом не было уже на ключевых постах; людей Дзержинского *загодя* раскидали. Значит, с Каменевым и Зиновьевым в тридцать четвертом работали новые кадры. Кто они? Каким образом они смогли получить у них признания? Почему Каменев подтвердил эти признания на открытом процессе, когда мог все отрицать? А мог ли? Или во всех нас заложен синдром *перепада*? В январе девятьсот пятого люди шли за помощью к царю, несли

хоругви, его лики, а назавтра после расстрела начали жечь его портреты; то же в феврале семнадцатого... Верим, верим, верим, а потом, внезапно изверившись, начинаем жечь и громить... За что боролись — и в пятом, и в семнадцатом? В конечном счете за жизнь, за что же еще?! Неужели Каменев с Зиновьевым в тридцать пятом *боролись* лишь за свою жизнь, отказавшись от Идеи?!

Ты строишь умозаключения, сказал себе Исаев. Ты не сможешь ответить ни на один из вопросов, которые ставишь; только завтрашний день, когда ты встретишься лицом к лицу с теми, кто поведет допрос, позволит тебе нащупать *нечто*...

И тут он услышал бой кремлевских курантов — близкий, явственный; как он ждал этого перезвона курантов там, в рейхе, оттачивая карандаши, чтобы настроиться на волну радиостанции «Коминтерн», когда на связь выходил Центр! Как сладостно замирало сердце и наворачивались слезы на глаза... Но ведь тогда ты не вспоминал ни Каменева, ни Бухарина, ни Тухачевского, хотя знал, *документально* знал, что они никогда не были *шпионами*! Ты был тогда предателем, Исаев! Ты предавал свою память, а значит, память идеи и народа, придумывая успокоительную ложь: мол, главное — это борьба против немецкого национального социализма. Сначала свалить Гитлера, потом разберемся с тем, что произошло дома...

...Назавтра на допрос не вызвали; днем вывели на прогулку, предупредив, что за переговоры с другими арестованными он будет посажен в карцер, — полное молчание, любой шепот фиксируется.

И снова ударило по сердцу, когда он, вышагивая по замкнутому дворику, услышал бой часов кремлевской башни, совсем рядом, сотня метров, полтысячи — все равно рядом.

А ведь я у себя *дома*, подумал он. Я на Лубянке, где ж еще?! Я там, откуда уехал к Блюхеру в Читу в двадцать первом, я там, где последний раз был у Дзержинского... Что же он сказал тогда? Он как-то очень горько говорил, что память отцов хранят дети, что к обелискам он относится отрицательно, да и Древний Рим доказал всю их относительность... К тому же людям вашей профессии, усмехнулся он тогда, обелисков не ставят, маршалы без имени, о которых никогда не узнают победители-солдаты...

...Только тогда куранты другое вызванивали — фрагмент из нашего гимна, из «Интернационала», а ни гимна

этого нет, ни Коминтерна; распустили; ты и это съел, запретив себе думать, отчего в сорок третьем, когда коммунисты Тито и Прухняк, расстрелянный друг Дзержинского, генсек польской компартии, Дюкло и Тольятти особенно активно сражались в подполье против Гитлера?! Хотя польскую компартию вообще распустили еще в тридцать восьмом — здесь, в Москве, именно на Коминтерне, как шпионско-фашистскую, а весь ЦК расстреляли. Гейдрих ликующе объявил об этом руководству: «Они сожрут друг друга!» И я поверил в то, что Прухняк — агент гестапо? Почему Коминтерн, Третий Интернационал, провозглашенный Лениным и Зиновьевым, коварно распустили в Уфе в сорок третьем?! Не в июле сорок первого, когда надо было потрафить союзникам, ненавидевшим эту организацию, а уже после перелома в войне? Почему? Чтобы работать в Восточной Европе иными методами? Не ленинскими? Державными? Но ведь это было уже в прошлом веке, а к чему привело?

...Как же ты виртуозно уходишь от ответов, товарищ Исаев, он же Владимиров, он же Штирлиц, он же Бользен, он же доктор Брун, он же Юстас, сказал он себе, но снова что-то мерзкое, плотски-защитное родилось в нем, позволив не отвечать на эти вопросы, рвущие сердце, а переключиться на правку вопроса: «Ты растерял самого себя, Максим, ты путаешься в себе, ты никогда не был «товарищем Исаевым», ты был «товарищем Владимировым», Исаев сопрягался с «господином», «милостивым государем» — твой первый псевдоним в разведке Максим Максимович Исаев, и свое конспиративное имя и отчество ты взял в честь Максима Максимовича Литвинова, папиного друга, хотя отец всегда был мартовцем, а Максим Максимович Литвинов — твердолобый большевик, которого сняли с поста народного комиссара иностранных дел, чтобы он не нервировал Гитлера и Риббентропа: «паршивый еврей»...»

...Когда спустя долгие четыре недели и три дня его повели на допрос и два надзирателя в *погонах* (он не обратил внимания на погоны, когда его *обрабатывали* перед тем, как закупорить в камеру, слишком силен был шок) постоянно ударяли ключами о бляхи своих поясов, словно давая кому-то таинственные знаки, Исаев собрался, напряг мышцы спины и спокойно и убежденно *солгал* себе: «Сейчас все кончится, мы спокойно разберемся во всем, что товарищам могло показаться подозритель-

ным, и подведем черту под этим бредом». Услыхав в себе эти успокаивающие, какие-то даже заискивающие слова, он брезгливо подумал: «Дерьмо! Половая тряпка! Что может показаться подозрительным в твоей жизни?! Ты идешь на бой, а ни на какое не «выяснение»! Все уж выяснено... Ты трус и запрещаешь себе, как всякий трус или неизлечимо больной человек, думать о диагнозе».

...Следователем оказался паренек, чем-то похожий на стенографа Колю: назвал себя Сергеем Сергеевичем, предложил садиться, медленно, как старательный ученик, развернул фиолетовые страницы бланка допроса — из одной сразу стало четыре — и начал задавать такие же вопросы, как англичанин Макгрегор: фамилия, имя, отчество, время и место рождения. Исаев отвечал четко, спокойно, цепко изучая паренька, который не поднимал на него глаз, старательно записывал ответы, однако — Исаев ощутил это — крепко волновался, потому что сжимал школьную деревянную ручку с новым пером марки «86» значительно сильнее, чем это надо было, и поэтому фаланга указательного пальца сделалась хрустко-белой, словно в первые секунды после тяжелого перелома.

После какой-то чепухи, тщательно, однако, фиксировавшейся (на чем добирались из Москвы до Читы; какое ведомство покупало билет, сколько денег получили на расходы, в какой валюте), он неожиданно поинтересовался:

— Какого числа Блюхер отправил вас в Хабаровск на связь к Постышеву?

— Это же было четверть века тому назад, точную дату я назвать не могу.

— А приблизительно?

— Приблизительно осенью двадцать второго...

— Осенью двадцать второго, — чеканно, поучающе, назидательно повторил Сергей Сергеевич и вдруг шлепнул ладонью по столу: — Ленин тогда провозгласил: «Владивосток далеко, а город это наш».

— Значит, это была осень двадцать первого.

— Перед отправкой в Хабаровск к белым Блюхер и Постышев инструктировали вас?

— Инструктировал мéня Феликс Эдмундович...

Сергей Сергеевич закурил «беломорину», пустил дымок к потолку, заметил взгляд Исаева, которым тот провожал эту пепельно-лиловую струйку табачного дыма, и, глядя куда-то в надбровье *подследственного*, уточнил:

— Вы хотите сказать, что к Блюхеру и Постышеву вас отправлял лично Дзержинский?

— Да.

— Что он говорил вам?

— Обрисовал ситуацию во Владивостоке, попросил держать связь с ним через Постышева, тот, видимо, отправлял мои донесения Блюхеру, а от него они шли в Москву...

— Дзержинскому?

— Этого я не знаю.

— А в Реввоенсовет Блюхер не мог отправлять ваши донесения?

— Думаю, что в Реввоенсовет их отправлял Феликс Эдмундович...

— Троцкому? — спросил Сергей Сергеевич и еще крепче сжал ручку своими тонкими пальцами.

— Скорее всего Склянскому, заместителю предреввоенсовета страны Троцкого...

— Но вы допускаете мысль, что Дзержинский отправлял ваши донесения Троцкому?

— Вполне, — ответил Исаев.

Сергей Сергеевич как-то судорожно вздохнул, отложил ручку трясущимися пальцами и осведомился:

— Курите?

— Да.

Он достал папироску и протянул ее Исаеву:

— Пожалуйста.

— Спасибо.

— Продолжим работу, — сказал Сергей Сергеевич и снова вцепился в ручку. — Считаете ли вы возможным, что и Троцкий ставил перед вами оперативные задания, особенно накануне волочаевских событий?

— Считаю такое возможным, ведь в то время Троцкий возглавлял Красную Армию...

— Вы настаиваете на этом утверждении? — безучастно поинтересовался Сергей Сергеевич.

Исаев не понял:

— На каком именно?

Сергей Сергеевич зачитал ему текст:

— «Троцкий возглавлял Красную Армию»... Я правильно записал ответ? Искажений нет? Вы возражайте, если не согласны с моей записью... Вы правьте меня, это ваше конституционное право...

— Записано правильно.

— Скажите, а в тех инструкциях, которые вы полу-

чали из Центра, не было ли каких-то настораживающих вас моментов?

— То есть? — Исаев, внимательно следивший за каждой интонацией следователя, за каждым мускулом его плоского, совершенно бесстрастного лица, не понял смысла вопроса: как можно было сомневаться в указаниях Дзержинского?

— Фамилия Янсон вам говорит что-нибудь?

— Какого Янсона вы имеете в виду? Их было несколько: Николай, Яков...

— Я имею в виду того, который вместе с Блюхером вел переговоры с японцами в Дайрене, — уточнил Сергей Сергеевич.

— Лично с ним я не встречался, но фамилия эта мне известна.

— Я хочу познакомить вас с его показаниями, данными здесь, на следствии: «Лишь значительно позже, в конце тридцать третьего года, когда я активно включился в работу запасного троцкистского центра, Зиновьев сказал мне, что Троцкий переписал тезисы наркоминдела Чичерина, исправив их в том смысле, как это было угодно японским милитаристам. Тогда, в Дайрене, я отчетливо понимал, что наша позиция носит несколько странный, излишне бескомпромиссный характер, однако Блюхер держался этой линии неотступно. Зиновьев, когда мы встретились на даче в Ильинском летом тридцать третьего, совершенно определенно заявил, что Блюхер проводил политику Троцкого, чтобы спровоцировать выступление японцев и затем, после нашего неминуемого отступления, отдать им те территории, на которые они претендовали, в обмен на унизительный мирный договор». Что вы думаете по этому поводу?

— Я хочу ознакомиться с показаниями Янсона...

— Вы что, мне не верите? — Сергей Сергеевич обиженно удивился. — В таком случае можете заявить отвод...

— Я не сказал, что я вам не верю. Я прошу разрешения ознакомиться с показаниями Янсона...

— Я вас с ними ознакомил.

— Это вздор. В Дайрене была занята правильная позиция. Советская делегация вела переговоры мастерски и мужественно — почитайте белогвардейскую прессу той поры, японские газеты...

— Итак, я формулирую ваш ответ: «Показания Янсона являются клеветническими»... Так?

— Что значит «я формулирую»? — Исаев не понял.

— Я формулирую ваш ответ для записи в протокол допроса. В протокол нелепо вводить слова типа «вздор», нас с вами не поймут... Вопросы и ответы должны быть конкретными, а не эмоциональными.

— Нет уж, давайте-ка я буду формулировать ответы сам, Сергей Сергеевич...

— У вас потом будет право прочитать документ и внести собственноручные изменения.

— Почему «потом»? Если право есть, оно должно существовать постоянно, а не «потом».

— Хотите писать ответы собственноручно?

— Да, предпочел бы.

— У вас есть какие-то претензии к методу и форме ведения допроса?

И Максим Максимович после паузы ответил:

— Нет.

Следователь быстро поднялся из-за стола, подошел к Исаеву, протянул ему свою ученическую ручку и, словно фокусник, растопырив пятерню, резко развернул бланк протокола допроса так, чтобы можно было писать подследственному:

— Пожалуйста, внесите в протокол этот ваш ответ собственноручно.

Русский Макгрегор, подумал Исаев, разбирая ученический почерк следователя, — парень продолжал писать по-школьному, с *нажимом*, буквочка от буквочки, а три ошибки все равно засадил, не знает, где и как ставить мягкий знак.

— У вас тут ошибки, — заметил Исаев. — Мне исправить или вы сами?

Сергей Сергеевич покраснел — по-девичьи, внезапно; потом, однако, лицо его сделалось пепельным, синюшно-бледным, он вернулся на свое место, медленно размял папиросу, закурил и, уткнувшись в протокол, начал изучать его: слово за словом, букву за буквой; ошибки свои не нашел или же намеренно не стал исправлять их.

Закончив чтение первого листа бланка допроса, он проверил, заперты ли дверцы стола, и сказал:

— С места не подниматься, к окну не подходить — все равно первый этаж, я скоро вернусь, продолжим работу.

Он вернулся через сорок два часа, когда Исаев свалился со стула.

— Простите, пожалуйста, — испуганно говорил Сергей

Сергеевич, усаживая Исаева, — у меня с отцом случилась беда, увезли в больницу, я так растерялся, что никого здесь не успел предупредить. Извините меня, такая незадача, — он подбежал к двери, распахнул ее и крикнул в пустой коридор: — Юра, позвони, чтоб срочно принесли две чашки кофе и бутерброды!

— Разрешите мне вернуться в камеру, — попросил Исаев. — Я не в состоянии отвечать вам...

— А вы думаете, я прилег хоть на минуту? — следователь ответил устало, с каким-то безразличием в голосе. — У отца инфаркт, я все это время провел в приемном покое, тоже еле на ногах стою... У меня всего несколько вопросов, вы уж поднатужьтесь...

— Ну давайте тогда скорее...

— Всеволод Владимирович, может, я касаюсь самого больного, — следователь сейчас был мягок и чуточку растерян, конфузился даже, бедный мальчик, — скажите, кто по партийной принадлежности был ваш отец?

— Это же все есть в моем личном деле...

— Оно погибло, вот в чем вся беда, това... Всеволод Владимирович... Сгорело в сорок первом, когда наши архивы вывозили в Куйбышев... Поймите меня правильно, если б мы имели ваше личное дело, неужели вы б здесь сейчас сидели?

А может, действительно он говорит правду, подумал Исаев, ощутив в себе рождение затаенного тепла надежды. Тогда понятно все происходящее, доверяй, но проверяй, так вроде бы говорили...

— Мой отец был меньшевиком...

— А я не верил в это, — вздохнул Сергей Сергеевич и как-то даже обмяк. — В голове такое не укладывалось...

— Почему? Другие были времена... Отец в свое время дружил с Ильичем, несмотря на идейные разногласия.

— До революции?

— Да.

— В какие годы? Где встречались?

— Особенно часто в Париже, в одиннадцатом...

— А потом?

— Последний раз в Берне, когда обсуждался вопрос о выезде в Россию, это была весна семнадцатого...

— Вы присутствовали на этой встрече? Кто там был?

— Там было много народу, встреча была у нас дома: Мартов был, Аксельрод, кажется...

— Зиновьев, — подсказал следователь.

— Конечно, был и Зиновьев... А как же иначе? Он

ведь первым с Ильичем уезжал, мы — только через месяц, с Мартовым...

Вошел надзиратель с подносом, на котором стояли стаканы с кофе и четыре бутерброда с колбасой и сыром...

— Угощайтесь, Всеволод Владимирович, — предложил следователь, старательно заполняя бланк допроса.

— Давайте поскорее закончим, — попросил Исаев, — тогда я съем бутерброды и вы меня отправите в камеру, не то я прямо тут усну...

— Мы практически закончили, ешьте...

Когда Исаев подписал бланк, следователь снова вышел из кабинета, сказав, что он позвонит в больницу узнать, как здоровье отца; вернулся на следующий день.

...В тот миг, когда голова Исаева сваливалась на грудь и он засыпал, сразу же появлялись два надзирателя:

— Спать будете в камере!

...Сергей Сергеевич появился уставший, с синяками под глазами:

— Чуть-чуть лучше старику, — сказал он. — Еще несколько вопросов, и пойдете отдыхать.

— Тварь, — тихо сказал Исаев. — Ты маленькая гестаповская тварь, вот ты кто. Отвечать на вопросы отказываюсь. Требую твоего отвода.

— Это как начальство решит, — рассеянно ответил Сергей Сергеевич. — Я доложу, конечно, а пока продолжим работу: вы жили с отцом в одной квартире? Формулирую: являясь работником ЧК, вы жили в одной квартире с меньшевиком и не отмежевались от него. Так?

А чем он виноват, этот несчастный Сергей Сергеевич, спросил себя Исаев. В стране произошло нечто такое страшное, что и представить нельзя. Передо мной не человек. У него в голове органчик, как у щедринских губернаторов, бесполезно говорить, непробиваемая стена. А я погиб. Все. Если б я один — не так страшно... Но со мною они погубят и Сашеньку, и Саньку, теперь я в это верю.

* * *

Накануне беседы с генералиссимусом Хрущев не спал почти всю ночь.

В который раз уже он задавал себе такой простой и столь же унижавший его вопрос: говорить ли вождю — один на один — всю правду или «скользить», как это было принято сейчас в Политбюро, ЦК, Сов-

мине, обкоме, правлении колхоза, деревенском доме и даже городской коммуналке, где, по секретным подсчетам группы киевских статистиков, на семью из пяти человек приходилось семь квадратных метров жилья; дед с бабушкой спали на кровати, муж с женой — на диване, дети — на полу.

Засуха сорок седьмого сожгла поля Украины, Поволжья, Молдавии, Центральной России.

Семенных запасов уже не было — хлеб в колхозах забирали в счет обязательных поставок подчистую, деревенские амбары кишели худющими крысами, врачи открыто говорили о возможности вспышки чумы.

Сталин тем не менее подписал указание: Украина обязана поставить не менее полумиллиона пудов зерна; Хрущев *отмолил* снижение контрольной цифры до четырехсот тысяч.

Решился на это (звонил лично Сталину по ВЧ; номер набирал негнущимся пальцем, чтобы скрыть от самого себя дрожь) после того, как получил письмо от Кириченко, секретаря Одесского обкома, который был завален письмами колхозников с просьбой о помощи и поэтому объехал область, чтобы самому убедиться — паникуют, как заведено, или же действительно кое-где есть провалы на продовольственном фронте.

«Дорогой Никита Сергеевич, поверьте, я бы не посмел обратиться к Вам с этим письмом, — писал Кириченко, — если бы не то ужасное, воистину катастрофическое положение на селе, свидетелем которого был я лично... Я начну с крохотной сценки: женщина резала трупик своего маленького сына, умершего от голода; она резала его на аккуратные кусочки и при этом говорила без умолку: «Мы уже съели Манечку, теперь засолим Ванечку, как-нибудь продержимся...» На почве голода она сошла с ума и порубила своих детей... Во всех колхозах только одна надежда, чтобы вновь ввели карточную систему, лишь это спасет область от *повального* мора...»

Хрущев представлял себе, что его ждет, зачитай он такое письмо Сталину на заседании Политбюро.

Он знал коварство этого человека, но одновременно всегда хранил в сердце негодующее почтение к нему; кто вытащил его из безвестности? Дал приобщиться к образованию? Ввел в ЦК? В Политбюро?!

Он, Сталин, с подачи Кагановича.

Хрущев впервые ужаснулся на февральском Пленуме ЦК, когда Ежов предложил немедленно расстрелять Бухарина и Рыкова, сидевших в зале заседания среди других членов ЦК; было внесено другое предложение: предать их суду военного трибунала; Сталин, пыхнув трубкой, покачал головой: «Прежде всего Закон, Конституция и право на защиту. Я предлагаю отправить их в НКВД, пусть там во всем разберутся... У нас следователи — народ объективный... Невиновного они не обидят, невиновного — освободят...»

Он говорил это спокойно, с болью, убежденно, — через две недели после того, как Юра Пятаков, честнейший большевик, любимец Серго, *умершего* за несколько дней до открытия Пленума, признавался на очередном процессе в том, чего — Хрущев знал это тоже — не могло быть на самом деле!..

А в заключительной речи на Пленуме, когда Бухарина и Рыкова уже увезли в НКВД, где им дали *право* на доказательство своей невиновности, Сталин легко бросил: «Троцкистско-бухаринские шпионы и диверсанты...»

Второй раз он ужаснулся, когда Сталин проинформировал их: «Ежов — исчадие ада, убийца и садист, на нем — кровь честнейших большевиков... Он убирал конкурентов, мерзавец... Рвался к власти, мы все были обречены, вы все были обречены, все до одного, хотел сделаться русским Гитлером».

А на фронте? Хрущев мучительно вспоминал тысячи мальчишек-красноармейцев, которые — по его, Сталина, приказу — шли под пули немцев. Как он, Хрущев, бился, как молил Сталина отменить приказ о наступлении на Харьков! «А я не знал, что ты такой паникер, Хрущев, — сказал Сталин. — Сентиментальный паникер... Нам такие не нужны, нам нужны гранитные люди...»

И вот сегодня он должен заставить себя *вымолвить* просьбу о возобновлении на Украине карточной системы, чтобы уберечь от голодной смерти сотни тысяч украинцев...

А не просить — нельзя: когда начнутся чума и голодные, кровавые бунты, отвечать, придется ему, первому секретарю ЦК КПУ, кому же еще?!

...Не дослушав сообщения Хрущева, голос которого

то и дело срывался на фистулу, Сталин резко оборвал его:

— Что, бухаринские штучки?! Ты кто? Мужик? Или рабочий?! Мы тебя держим в Политбюро для *процента*, заруби это на носу! Единственный рабочий — запомни! Не крестьянин, а рабочий! Знаю я мужика! Лучше тебя знаю... В ссылках у мужиков жил, не в дворянских собраниях! Работать не хотят, нахлебники, манны небесной ждут! Не дождутся. А будут саботировать поставки — попросим Абакумова навести порядок, если сам не можешь... После такого доклада, как твой, тебя надо было бы примерно наказать и вывести из ПБ, как кулацкого припевалу, только у нас беда: тут сидят одни партийные бюрократы и министры. — Сталин медленно обвел взглядом лица членов Политбюро. — Не играй на этом, Хрущев, голову сломишь... Есть мнение, товарищи, — резко заключил Сталин, — рекомендовать первым секретарем Компартии Украины Кагановича... Он в Киеве родился, ему и карты в руки... Хрущева от занимаемой должности освободить... Перевести Председателем Украинского Совета Министров... И чтоб государственные поставки были выполнены! Если нет — пенять вам обоим придется на себя...

...В кремлевском коридоре, когда расходились члены Политбюро, Берия шепнул:

— Берегись... А то, что решился сказать правду, — молодец, в будущем тебе это вспомнят, поступил, как настоящий большевик.

...Никто другой не сказал ему ни слова — *обходили* взглядом...

Вот именно тогда-то он и признался себе: «Мы все холопы и шуты... По сенькам шапка... Хоть бы один меня вслух поддержал, хоть один бы...»

Однако, когда через месяц Сталин позвонил ему — уже в Совет Министров — и осведомился о здоровье, сказал, что понимает его трудности, «держись, Никита Сергеевич, если был резок — прости», Хрущев не смог сдержать слез, всхлипнул даже от избытка чувств.

Сталин же, положив трубку, усмехнулся, заметив при этом Берия:

— Докладывают, что он во всех речах клянет свои ошибки... Его беречь надо, такие нужны, в отличие от всех... Он хоть искренний, мужик и есть мужик.

6

И снова четыре недели Исаева не вызывали на допрос; душили стены камеры, выкрашенные в грязно-фиолетовый цвет; днем — тусклый свет оконца, закрытого «намордником», ночью — слепящий свет лампы; двадцатиминутная прогулка, а потом — утомительная гимнастика: отжим от пола, вращение головы, приседания — до пота, пока не прошибет.

«Приказано выжить»... Эти слова Антонова-Овсеенко он теперь повторял утром и вечером.

Первые недели он порою слеп от ярости: чего они тянут?! Неужели так трудно разобраться во всем?! Но после общения с Сергеем Сергеевичем понял, что никто ни в чем не собирается разбираться, ему просто-напросто навязывают комбинацию, многократно ими апробированную.

Они, однако, не учли, что я прожил жизнь в одиночке, *четверть века* в одиночке, наедине с самим собой, со своими мыслями, которыми было нельзя делиться ни с кем — даже с радистами; суровый закон, испепеляющий, но — непреклонный...

Они думают, что отъединение от мира, неизвестность, мертвая тишина, прерываемая звоном кремлевских курантов и идиотскими выкриками «пост по охране врага народа» (нельзя называть меня «врагом», пока не вывели на трибунал, я — «подследственный», азбука юриспруденции), сломят меня, сделают истериком и податливым дерьмом. Хрен!

Спасибо им за эту одиночку, я волен думать здесь, я совершенно свободен в мыслях; единственный выход — свободомыслие в тюрьме; страшновато, но, увы, — правда, поэтому-то я и вычислил, что не имею права говорить ни слова про Сашенку и сына, нельзя открывать свою боль, это — непоправимо, будут знать, на что *жать*...

Ты достаточно открылся, когда работал на даче, признался он себе с горечью, не забывай этого. Видимо, они тянут не только потому, что это — *метод*, они составляют какой-то особый план, понимая, что со мной работать не просто, профессионал... Ерунда, возразил он, комиссар госбезопасности Павел Буланов тоже был профессионалом, вывозил Троцкого в Турцию, до этого круто работал по бандформированиям, а что плел на бухаринском процессе?! Какую ахинею нес?! Как оговаривал себя?! «Я опрыскивал ртутью кабинет Ежова».

А что, пулю ему в лоб он не мог пустить?! Надежней, чем ртуть разбрызгивать, сам, кстати, первый от этого разбрызгивания и должен был помереть.

Они готовят план, исходя из системы своих аналогов, из наработанного ими опыта, — именно поэтому они сгорят на мне. Я помню, как мистер Шиббл, когда мы шли в Парагвай через сельву, смеялся, рассказывая, что является признанным эталоном красоты индейской женщины: плоское лицо, надрезы на щеках, закрашенные ярко-красной смолой, зачерненные зубы и кольцо в носу.

А что, верно, у каждой этнической группы свой эталон красоты и манеры поведения: где-то на Востоке принято рыгать, только тогда хозяин удостоверится, что его гость сыт, высшая форма благодарности...

Сергей Сергеевич и тот, кто им управляет, имеют свои эталоны; что ж, посмотрим, как мы наложимся друг на друга.

...На очередной допрос его вызвали в три часа. Сегодня, однако, его подняли на лифте, ввели в приемную — окно затянуто мелкой сеткой, чтоб никто из арестованных не сиганул головою вниз; за столом-бюро сидел элегантный мужчина в штатском; много телефонов; раньше у нас в ЧК были совершенно другие модели — с «рогами», трубки изогнутые, чтоб говорить прямо в мембрану, а здесь сплошь немецкие, самой последней формы, наверное, вывезли из Германии.

Поднявшись из-за стола-бюро, мужчина отпустил надзирателей и предложил Исаеву:

— Устраивайтесь на диване, руководство скоро освободится...

...Портрет Дзержинского, напротив — Сталина в форме генералиссимуса.

По-моему, никто из русских царей, подумал вдруг Исаев, не чеканил победные медали со своим изображением; в России был Георгиевский крест, были ордена святых — Анны, Владимира; во Франции — розетка Почетного легиона; даже Наполеон не изображал свой профиль на медалях; Сталин не постеснялся.

Странно, отчего мы начинаем думать об очевидном и поражаться этому, только когда судьба ставит нас к стенке? Спасительный инстинкт *отгораживания* от правды? Как у раковых больных? Что это — новое в нас или традиция? «Моя хата с краю, ничего не знаю» — вошло в пословицу более столетия тому назад... Значит, не можем

без царя? Нужен Патриарх? Макс Нордау писал, что вырождаются не только преступники, в которых заложен изначальный посыл зла, но и артисты, политики, писатели, ученые, художники, цвет нации... Неужели этот паршивый прародитель нацизма был прав? Нет, он не был прав, ибо предрекал исчезновение такой «выродившейся» нации, как французы, но ведь рухнула не Франция, а именно Германия; немецкий народ несет на себе отныне тавро нацистского проклятия: нация разрешила фюреру и его банде создать государство ужаса, называвшееся ими «рейхом счастья»; немцы помогли созданию государства, где директивно, по указанию главного пропагандиста Геббельса, *назначались* «таланты», а подлинные таланты изгонялись за границу или сжигались в концлагерях... За все время правления Гитлера не было создано ни одного романа, фильма, картины или спектакля, которые бы оставили о себе память... А изгнанные Брехт и Эйслер знакомы каждому в мире, как и Манн, Ремарк и Фейхтвангер... И ведь немцы аплодировали изгнанию своих гениев, ревели «хайль», когда проезжал обожаемый фюрер, а потом становились в очередь за маргарином, отпускавшимся по карточкам, но в этом были виноваты большевики, масоны, евреи и мы, славянские недочеловеки, кто же еще?!

А что бы могло случиться с миром, не выгони они Альберта Эйнштейна? Всех тех евреев-физиков, которые сделали американцам атомную бомбу?!

Несчастные немцы... Гитлер рассовал всю нацию по контролируемым, поднадзорным сотам: каждый был членом какой-нибудь гильдии, общества, группы, домового комитета национал-социалистической немецкой рабочей партии; в каждом парадном был представитель «гитлерюгенда» и профсоюзного «трудового фронта» партийного товарища Лея... Он, Гитлер, и его партия превращали людей в бездумные автоматы, они разделяли общество, но ведь лишь человек многогранных интересов, занятый не только бизнесом, но и живописью, не только золотыми рыбками, но и спортом, может способствовать уменьшению разнородности нации, ее единению... Гитлер дал право злым, грубо сильным, недалеким, коварным и обязательно рабски послушным стать пастырями, это и привело нацию к гибели: народ не могут вести хамы, покорные фюреру; покорные трусы ничего не могут без приказа сверху, они теряются, когда надо принять самостоятельное решение, они некомпетентны, они парализованы

тем авторитетом, в который их заставили поверить... А не верили б! Как можно заставить человека поверить в то, что перед ним лев, когда на самом деле это крыса?! Но заставили же! Поверили! Как?! В чем секрет этого механизма оглупления и покорения народа? А мы? Мы, наши люди?..

На столе-бюро что-то запищало, мужчина в штатском поднялся:

— Пожалуйста, вас приглашают к руководству.

Поддерживая локтями брюки, Исаев направился к двери; проходя мимо мужчины, заметил:

— В двадцать первом в этом помещении работал Сыроежкин и его группа, те, которые потом взяли Савинкова.

...Нынешний кабинет, куда вошел Исаев, был раза в четыре больше, чем все помещение группы Сыроежкина; видимо, объединили несколько комнат.

За большим столом сидел крупный, хорошо сложенный человек; ношеный пиджак висел на одном из стульев, окружавших большой стол заседаний; рубашка на этом крупном мужчине с симпатичным лицом и очень живыми глазами была застиранная, мятая, черный галстук приспущен.

— Ну, здравствуйте, Всеволод Владимирович, — сказал он, — присаживайтесь, я заказал кофе и бутерброды. Наша баланда, видно, стоит у вас поперек горла? Только-только карточки отменили, что вы хотите, страна лишь начинает оживать...

— Она по-настоящему оживет, — заметил Исаев, — когда не будет сажать своих солдат в одиночки внутренней тюрьмы...

— Тоже верно, — легко согласился мужчина. — Вы правильно расставили акценты: «своих солдат». Чужих — будем сажать и ставить к стенке.

— Докажите, что я не «свой», — можете ставить к стенке.

— Ну, знаете ли, у меня нет времени доказывать вашу невиновность! Это вам — карты в руки! Мне надо шпионов ловить, бендеровцев выкуривать из лесов, мельниковцев, литовских и эстонских «черных братьев»... Кто это за нас будет делать?!

— Я хотел бы знать, с кем я разговариваю. Вы не представились.

— Помощник разве не сказал? Называйте меня гене-

рал Иванов. Можете по имени-отчеству: Аркадий Аркадьевич...

— Я бы хотел спросить вас, в чем меня обвиняют? Я уж тут отдыхаю третий месяц, пора объясниться...

— Именно за этим я вас и пригласил, Всеволод Владимирович.

Генерал положил крепкую руку на четыре папки, что лежали возле телефона, отличавшегося от всех остальных формой и цветом, внимательно, с некоторой долей сострадания осмотрел Исаева, поинтересовался, хочет ли его собеседник курить; выслушав отрицательный ответ, покачал головой: «Не все обладают такой силой воли, порою за одну затяжку такое начинают нести, что хоть уши затыкай...»

— Давайте по делу, — Исаев говорил сухо, совершенно спокойно, ибо он понял, что сейчас-то и началась *игра*; он слыхал об этом от Айсмана, прием назывался «тепло против холода».

— Давайте, — согласился тот, кто представился «Аркадием Аркадьевичем Ивановым». — Все документы, которые нам удалось собрать на вас, были доложены высшему руководству. Меня уполномочили передать: будущее в ваших руках, Всеволод Владимирович...

— То есть?

Иванов на мгновение задумался, потом, не спуская глаз с Исаева, позвонил по телефону:

— Кофе отменяется и бутерброды тоже. Пришлите парикмахера, принесите костюм, хорошие туфли, рубашку с галстуком и пуловер... Мы поедем пообедать в гостиницу «Москва». — Он дружески подмигнул Исаеву и, прикрыв ладонью мембрану, поинтересовался: — Как относитесь к такого рода перспективе, а?

Поднявшись из-за стола, генерал набросил на плечи обшарпанный пиджак:

— Вчера вернулся из Лондона, погода там дрянь, знобит чего-то, третью таблетку аспирина жую, как бы не свалиться... Кстати, то, что ни словом не обмолвились на допросах о жене и сыне, свидетельствует о том, что вы верно избрали линию защиты: не показывать болевые места контрагенту. Но беда в том, что все ваши предыдущие разговоры — на даче — фиксировались. Мы их тщательно изучили: мера искренности, степень привязанности к тем, кого так давно не видели, так что сейчас нам ясно: все эти недели вы готовились к драке. Правильно, кстати, делали... Побеждает — сильный.

— Побеждает умный.

— Э, пустое, Всеволод Владимирович! Романтика, прошлый век... Думаете, следователь Каменева был умнее Льва Борисовича? Сильнее был! Власть имел! Право на поступок! Оттого и победил... А ведь молодой был, тридцать два года всего... А вы, умница, столько напортачили в течение двух допросов, что вас с мылом мой — не отмоешь... Кто создатель Красной Армии? Троцкий? Ваши слова? Ваши. Вот вам восемь лет тюрьмы за антисоветскую пропаганду. Красную Армию создали Ленин и Сталин, руководил же ею Иосиф Виссарионович... Кто с Лениным ехал через Германию? Зиновьев? Ваши слова? Ваши. Еще десять лет — антисоветская пропаганда. На суде от своих слов не откажетесь? Не откажетесь. А суд будет открытый, публика станет кричать, требуя смерти гнусному клеветнику, агенту гестапо, а в прошлом связнику между врагами народа Постышевым и Блюхером с гитлеровским шпионом Троцким, — вы ж и эти свои показания подписали... И мы будем вынуждены приговорить вас по совокупности к смертной казни, но мы после победы подобрели, казнь автоматом меняем на четверть века лагерей, этим вы себя уже обеспечили... И не вините нас, никто вас за язык не тянул, а если выбрали принципиальную позицию — что ж, валяйте, выведем на *очень* открытый суд где-нибудь на заводе, посмотрите на лица людей, убедитесь в том, что вы пушинка, *ничто*, тогда-то и дрогнете...

Вошедшему парикмахеру сказал:

— Побрейте с«шипром»... Стригите аккуратно под полубокс, скопируйте тот фасон, что я привез вам из Лондона.

...Они стремительно выехали на «ЗИСе» из тюрьмы; возле ресторана «Иртыш», что наискосок от памятника первопечатнику Ивану Федорову, Иванов сказал притормозить, вышел из машины первым, протянул руку Исаеву, усмехнувшись при этом: «Не шатает?», захлопнув дверцу, бросил шоферу:

— Позвоню.

Максим Максимович ощутил в горле слезы: его обтекала толпа *своих*, он слышал русскую речь, она сливалась в какую-то музыку, он ощутил в себе могучие такты «Богатырской симфонии», на какой-то миг совершенно забыл, что его вывезли из тюрьмы, что это один из эпизодов в той работе, которую против него ведут, одна из

фаз задуманной операции; он просто вбирал в себя лица людей, их голоса, смех, сосредоточенность, радость, угрюмость, спешку; *свои*...

Иванов, цепко наблюдавший за ним, чуть тронул его за локоть:

— Ну, пошли, тут до ресторана «Москва» рукой подать.

— Сейчас, — ответил Исаев. — Меня действительно зашатало...

И вдруг с мучительной ясностью он ощутил свою расплющенную, *козявочью* крошечность, ибо понял, что в этом совершенно новом для него городе — с махиной Совнаркома, с гостиницей «Москва», с «Метрополем», ставшим отелем, а в его годы бывшим вторым (или третьим?) Домом Советов, он — один, совсем один... На третьем этаже «Метрополя» в двухкомнатном номере жил Бухарин (Феликс Эдмундович как-то попросил его, «Севушкой» называл, съездить к «Бухарчику» за отзывами о работах академиков — тот особенно дружил с любимцем Ленина электротехником Рамзиным и Вавиловым; первого арестовали в конце двадцатых, другого — девять лет спустя). Там же, в однокомнатном номере, жил мудрец Уншлихт; впервые Максим Максимович увидел, как трагично изменились глаза зампреда ВЧК в восемнадцатом, после подавления мятежа левых эсеров. Уншлихт тогда тихо, на цыпочках, вышел от Дзержинского: тот никого не принимал, подал в отставку, заперся у себя в кабинете, который был одновременно совещательной комнатой и спальней (ширма отгораживала его койку); левый эсер Александрович, первый заместитель Дзержинского, старый друг по тюрьмам и ссылке, был объявлен им в розыск и провозглашен «врагом трудового народа»... Каково подписать такое? Всю следующую неделю на Дзержинского было страшно смотреть: щеки запали, черные провалы под глазами, новые морщины у висков и на переносье...

...Я совершенно один в этом незнакомом мне, новом, неизбывно родном, русском городе, повторил себе Исаев; если бы меня вывезли из тюрьмы в Германии — допусти на миг такое, — я бы знал, к кому мне *припасть*: тот же пастор Шлаг, актер из «Эдема» Вольфганг Нойхарт... Господи, стоит только броситься в толпу, проскочить сквозь проходные дворы Берлина, известные мне как пять пальцев, оторваться от этого «Иванова», и я бы исчез, зата-

ился, принял главное решение в жизни и начал бы его исподволь осуществлять... И в Лондоне я бы нашел Майкла, того славного журналиста, который прилетел с Роумэном в аргентинскую Севилью, и в штатах — Грегори Спарка или Кристину, и в Берне — господина Олсера, продавца птиц на Блюменштрассе, а к кому мне припасть здесь?! Ведь я даже не знаю адреса Сашеньки и сына! Да и дома ли они?! Этот Иванов хорошо думает, он *развалил* меня, когда походя заметил, что молчание по поводу семьи показывает, что это — самое затаенно-дорогое в моей жизни... Я на Родине, у *своих,* но это новые *свои,* никого из тех, с кем я начинал, нет более, все они «шпионы», все те, кто окружал Дзержинского, — «диверсанты», все те, кто работал с Лениным, — «гестаповцы»... Мне не к кому припасть здесь. И против меня работает огромный аппарат для чего-то такого, о чем я не знаю и не смогу догадаться до той поры, пока они не откроют карты, а откроют они свои карты только в том случае, если заметят, что я хоть в малости дрогнул, *потек,* перестал быть самим собою...

— Ну, пошли, — повторял Иванов. — После обеда покатаемся по городу, покажу новую Москву, небось интересно?

— Еще бы...

Они двинулись вниз, к Охотному ряду, который перестал быть базарным *рядом,* а сделался огромной площадью — шумной, в перезвоне трамваев и гудках автомобилей; как много трофейных «БМВ», «хорьхов» и «майбахов», машинально отметил Исаев; и еще очень много людей в царских вицмундирах, такие носили финансисты; он помнил эти мундиры по декабрю семнадцатого, когда участвовал в национализации банков.

— Слушайте, Аркадий Аркадьевич, — спросил Исаев, кивнув на спешивших куда-то чиновников, — а когда ввели эти вицмундиры?

— Недавно, — ответил тот. — Одновременно с переименованием народных комиссариатов в министерства.

— Смысл? Зачем отказались от наркоматов? «Народный комиссариат» — это же символ Революции.

— Не ясно? После победы произошел реальный прорыв России в мировое сообщество. Надо убрать фразеологические барьеры, на Западе, представьте себе, до сих пор плохо понимают, что такое «нарком»... В конечном итоге какая разница? Что нарком руководит ведомством, что министр — смысл социализма от этого не меняется...

Если бы не менялся смысл, это наверняка предложил

бы Ленин, когда мы вырвались в европейское сообщество после договора в Рапалло, сказал себе Исаев.

— Не согласны? — поинтересовался Иванов.

— Вы преподали мне урок: над каждым словом надо думать, у вас умеют каждое слово, словно лыко, ставить в строку...

— Вы поразительно сохранили язык, — задумчиво сказал Иванов. — У вас прекрасный русский, нашим бы нынешним чекистам так говорить, как старая гвардия...

— Вы записываете наш разговор? — спросил Исаев. — Или в этом нет нужды, внесете мои ответы в протокол допроса по памяти?

— Будет вам... Меня-то не считайте монстром, как не стыдно...

— Стыдить меня не стоит, Аркадий Аркадьевич... В камере сижу я, а не вы... Про запись я спросил вот почему: стоит ли реанимировать царские вицмундиры? Ну ладно, отменили «командиров» и вернули «офицеров», лампасы, золотые погоны... Допускаю: в сорок третьем надо было думать о той части страны, которую предстояло освобождать... А там в каждом городе выходили *собственные* нацистские газеты, которые редактировали *наши* люди, работала *русская* полиция, агентура, *свои* палачи, лютовали *свои* подразделения СД; надо было продемонстрировать тем, кто прожил в оккупации годы, что мы от комиссаров *отступили* к прежней России; компромисс; отсюда, как я понимаю, замена института комиссаров на «замполитов»... Но зачем сейчас гражданских чиновников одевать во все царское? Вам сколько лет, Аркадий Аркадьевич?

— Тридцать семь, — ответил тот несколько рассеянно, стараясь, видимо, скрыть раздражение.

— Значит, помните форму царских жандармов? Милиционеры одеты именно в жандармскую форму! Только что без аксельбантов... Вы, кстати, читали в книгах по истории, что главным лозунгом солдатской массы в семнадцатом году был «Бей золотопогонников!»?

— Золотопогонниками были дворяне, — возразил Иванов. — Мой отец из бедняков, Всеволод Владимирович. Так что речь надо вести не о форме, но о содержании.

— Генерал Шкуро из крестьян. Сотрудник Гиммлера генерал Краснов был сыном сельского учителя, да и нацист Бискупский, генерал царя, тоже из разночинной семьи.

— Нет, — вздохнул Иванов, — ничем я вам не смогу

помочь, ежели вы такое несете, честное слово... Я вас слушаю с интересом, мотаю на отсутствующий ус, но если мы остановим всю эту уличную толпу и я разрешу вам высказать то, что вы только что говорили мне, вас втопчут в асфальт.

...В ресторане «Москва» они устроились возле окна; вид на Кремль был ошеломляющим; Исаев нашел глазами те окна в «Национале», где жили Ильич и Надежда Константиновна; Каменев жил этажом выше, рядом с ним был приготовлен двухкомнатный номер для Троцкого, но наркомвоенмор сразу же перебрался в свой поезд, который сделался его штабом, — вплоть до конца двадцатого мотался по фронтам: в номере жили его жена Наталья Седова и сыновья Сережа и Лев.

— Я предлагаю меню, — сказал Иванов, разглядывая наименования блюд, написанные на шершавой серой бумаге от руки. — Закуска: селедка с картошкой, две порции икры и балык. Сборную солянку будете? Не забыли, что это такое?

— Я просто не знаю, что это такое, — ответил Исаев. — В Москве и Питере такого в мое время не было, во Владивостоке подавали все больше рыбные блюда.

Иванов поднял глаза на Исаева, в них было сострадание:

— Тогда обязательно угощу сборной солянкой... Это наше, типично русское... Потом возьмем рыбу «по-монастырски», тоже из серии забытых блюд, так сказать, золотопогонных... Традиционная еда, наша, не «деваляй» какой или «шнитцель»... Русская кухня вполне может соревноваться с французской, и не только соревноваться, но и победить... Это я вам — за вицмундиры, — рассмеялся Иванов, — под ребро, чтоб знали, на что замахиваетесь... «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь» — формула отлита в бронзу...

Исаев хотел сказать, что помнит ярость Ильича, когда Сталин предложил *включить* Украину, Закавказье, Белоруссию и Туркестан в *состав* РСФСР, автоматически подчинив их Москве; Ленин ярился так, как умел яриться только он — открыто, с гневом: не включение в РСФСР, а добровольное соединение, с правом выхода из Союза! Не имперское *поглощение*, а братское соединение народов, освобожденных Революцией. Нет, этого ему говорить нельзя, я и так сказал слишком много, подумал он, но я должен был сделать нечто, чтобы — в свою очередь —

раскачать этого «Аркадия Аркадьевича»; разгневанный человек чаще открывается, а мне нужно хоть в малости понять его, я хожу в потемках, они меня запутали, я ничего не понимаю, такого со мною не было еще...

Однако Иванов открылся сам. После того как официантка убрала стол и поинтересовалась, что «дорогие гости» возьмут на «третье» (единственное слово, что осталось от моих времен, подумал Исаев; на Западе это называют «десерт»; мы во время революции «третьим» называли компот), генерал заказал мороженое с вареньем и кофе, дождался, пока официантка отошла, достал из кармана фотографию и протянул ее Исаеву:

— Знаете этих людей?

— Одного знаю очень хорошо. Это Эйхман, в гестапо он занимался уничтожением евреев... Я же писал о нем, когда *работал* на даче...

— Читал... Очень интересный материал... Эйхман скрылся... Мы делаем все, чтобы найти этого изувера... А тот, кто рядом с ним? В штатском?

— Знакомое лицо... Очень знакомое... Я этого человека видел...

— Не в гестапо?

— Гестапо — не моя епархия, — усмехнулся Исаев. — Я бы застрелился, доведись мне там работать...

Иванов искренне удивился:

— Почему?! С точки зрения разведчика — это поразительный объект для оперативной информации.

— Верно. Но мне пришлось бы, как и всем сотрудникам Мюллера, принимать участие в допросах, которые чаще всего сопровождались пытками... А пытали там не *своих*, а *наших*... Вы бы смогли там работать?

— Вопрос жесткий, — Иванов ответил не сразу, лоб собрало морщинами, лицо как-то постарело, выявилась тяжелая, многолетняя *усталость*. — Я сразу и не отвечу. Вы меня поставили в тупик, честно говоря... Ладно, а у вас, в шестом управлении, в разведке, у Шелленберга, вы этого человека не встречали?

— Нет. Я его встречал где-то в посольствах... Или у Риббентропа, на Вильгельмштрассе...

— Когда? В какие годы?

— Опять-таки боюсь быть неточным, но это были последние месяцы войны...

— Сходится, — сказал Иванов, и то напряжение, которое так изменило его лицо, сменилось расслабленностью; даже на спинку стула отвалился. — Фамилию не помните?

— Нет.

— Кто он, судя по лицу, по национальности?

— Я не умею определять национальность по лицу, ушам или черепу, — ответил Исаев. — Это в рейхе знали рейхсминистр Розенберг, псих Юлиус Штрайхер и пропагандист-идеолог Геббельс... У них надо консультироваться...

— Валленберг... Вам что-нибудь говорит это имя?

Исаев снова посмотрел на фотографию, кивнул:

— Вы правы, это Валленберг, банкир из Швеции.

— Вам не кажется странным, что еврейский банкир из Швеции дружески беседует с палачом еврейского народа?

— Шведский банкир, — уточнил Исаев, — в Швеции нет национальности, там есть вероисповедание... Валленберг, мне кажется, был католиком... Он работал в шведском посольстве в Будапеште, там Эйхман не только уничтожал евреев, но старался часть несчастных обменять на машины и бензин для рейха... Видимо, Валленберг, как и граф Бернадотт, родственник шведского короля, пытался спасти как можно больше несчастных...

Иванов спрятал фотографию в карман, дождался, пока официантка расставила на столе мороженое и кофе, а потом сказал:

— Дело в том, что Валленберг у нас... И мы располагаем данными, что он сотрудничал с Эйхманом... В общем-то, вы могли убедиться в этом, разглядывая их улыбающиеся лица, — говорят не враги, а друзья... Мы не хотим портить отношения со шведами, нам хочется провести открытый суд, изобличить Валленберга, а потом выслать его к чертовой матери в Стокгольм... Мы попали в сложное положение, понимаете? Я расскажу вам суть дела, если согласитесь помочь мне...

— То есть?

— Либо мы переведем вас в камеру к Валленбергу и вы, как Штирлиц, а не Исаев, убедите его в целесообразности выйти на открытый процесс, принять на себя хотя бы *часть* вины в сотрудничестве с Эйхманом, то есть с гестапо, или же на открытом процессе дать показания — в качестве Штирлица, а не Исаева, — что вы знали о сотрудничестве Валленберга с Эйхманом...

— Второе исключено: вас уличат во лжи... Я, чтобы вернуться на родину, сказал англичанам, что являюсь русским разведчиком; Максим Максимович Исаев, он же Юстас, вы читали мою исповедь...

— А если не это обстоятельство? Вы бы предпочли второе предложение?

Исаев ответил не сразу; конечно, второе, думал он, это мой единственный шанс... На открытом процессе я скажу всю правду, если только там будут иностранные журналисты и наши писатели вроде Вишневского и Эренбурга, как на Нюрнбергском процессе...

— Я боюсь, что после процессов тридцатых годов, — сказал Исаев, — если не будет иностранной прессы со всего мира, если об этом не будет снят фильм, вам не поверят... Жаль, кстати, что процессы над генералами Власовым и Малышкиным были закрытыми... Я не мог понять, отчего их не транслировали по радио... Измену, настоящую, а не мнимую, надо обличать публично, чтобы люди слышали и видели воочию...

— Беретесь написать сценарий вашего поединка с Валленбергом на открытом процессе, где будет пресса и кино со всего мира?

— Он отрицает связь с гестапо?

Иванов долго смотрел в глаза Исаева, не в надбровье, не на уши, а именно в глаза; потом, вздохнув, ответил:

— Да.

— Я должен ознакомиться с документами, Аркадий Аркадьевич. Это во-первых. После этого процесса я наверняка тоже буду осужден как штандартенфюрер СС Штирлиц, и не только осужден, но и ликвидирован — лжесвидетеля полагается нейтрализовать, это во-вторых. И вообще вся ваша конструкция кажется мне липовой, потому что, как только английские журналисты сделают мои фото, а хроникеры перешлют в Лондон пленку, вас схватят за руку, и это будет такой позор, от которого не отмоешься: русский Юстас играет роль немца Штирлица...

— Хорошо, а если мы предпримем такие шаги, что Лондон промолчит?

Исаев вздохнул:

— Будет вам, Аркадий Аркадьевич! Я ж в разведке побольше вас отслужил...

— И все-таки, — поднимаясь из-за стола, повторил Иванов, — если мы решим вопрос с Лондоном, вы согласитесь оказать услугу Родине?

— Сначала вы мне должны доказать, что эта услуга нужна Родине. Затем вы должны устроить мне встречу с семьей, а потом объяснить, как вы «решите вопрос с Лондоном»...

— Подождите пару минут, я вызову машину, — сказал Иванов.

— Только не уходите на сутки, как Сергей Сергеевич, меня в милицию заберут, денег-то нет, — усмехнулся Исаев. — Чем расплачусь за такой сказочный обед?

...Когда они спустились к «ЗИСу», Исаев сразу заметил, что рядом с шофером сидит чем-то знакомый ему человек; наклонил голову, словно бы завязывал шнурок ботинка; заметил он и то, что возле двери салона сидел бугай с майорскими погонами; он, таким образом, оказался посередине — между майором и Ивановым, как и полагается арестованному.

Когда «ЗИС» резко взял с места, тот, что сидел возле шофера, распрямился и медленно повернул голову.

Это был Макгрегор.

7

— Знакомьтесь, Всеволод Владимирович, это Викентий Исаевич Рат, наш сотрудник, — сказал Иванов. — Лондон у нас оборудован неподалеку в стране, как говорится, доверяй, но проверяй. Не заподозрили игру? Как язык нашего Макгрегора?

— Блестящая работа, — ответил Исаев. — Поздравляю.

Сказать ли им про трамвайный перезвон, который удивил меня, когда они гнали на «военный аэродром», подумал Исаев, или приберечь? Видимо, стоит приберечь, потому что у меня тогда только мелькнула тень подозрения, я действительно верил, что попал к англичанам, я был слишком счастлив, когда после этого ублюдка «никс фарштеен» и одеяла с клеймом теплохода «Куйбышев» услышал оксфордское придыхание; слишком страшно было поверить, что в смрадный трюм меня бросили *свои*...

— Честно признаться, — сказал Рат и, словно мальчишка став на колени возле шофера, повернулся к Исаеву, — я здорово волновался, когда шел к вам на первую встречу.

— Встречей я определяю мероприятие иного рода, — усмехнулся Исаев, завороженно разглядывая улицу Горького. — Вы шли на допрос, а не на встречу.

— Вопрос с Лондоном, который вы определяли как «главный», — решен, правда? — спросил Иванов.

— Осталось решить еще два, — ответил Исаев.

— Я помню.

— А как называется этот проспект? — спросил Исаев, когда они переехали мост, переброшенный через подъездные пути Белорусского вокзала.

— Ленинградский, — ответил Рат. — Ведет к Химкинскому водохранилищу, прекрасные пляжи, сосновый бор; трудящиеся отдыхают по воскресеньям.

— Посмотрим?

Иванов кивнул:

— Рабочие новостройки посетим в следующий раз, у меня скоро совещание, руководство не поймет, если я опоздаю.

— Вы — руководство, — Исаев усмехнулся. — Так вас называет секретарь.

Иванов пожал плечами:

— Штампы довольно быстро входят в обиход, вытравить их куда труднее... Я должен быть у товарища Абакумова, он министр — это и есть руководство...

— Санкцию на свидание с женой и сыном дадите вы? Или *руководство*?

— Это не простой вопрос, Всеволод Владимирович... Мы разделим его на два этапа...

— То есть?

— С матерью вашего сына вы встретитесь в ближайшие дни, после того как начнете писать сценарий... Стенограф Коля, видимо, неприятен вам, так что я попрошу подключиться к работе милого Макгрегора... Не возражаете, Викентий Исаевич? — не глядя на Рата, утверждающе спросил Иванов.

— Я с радостью, — ответил тот. — С Максимом Максимовичем одно наслаждение трудиться, школа...

— Вы не спросили мое мнение, Аркадий Аркадьевич, — сказал Исаев, продолжая жадно смотреть на людей, шедших по проспекту, на очереди возле троллейбусных остановок, на витрины магазинов, не мог скрыть восхищения стадионом «Динамо» (Иванов заметил: «Наш, мы строили») и повторил: — Мое мнение вас не интересует?

— Отводите Рата?

— Отнюдь... Я начну работать лишь после того, как получу свидание с... женой... матерью моего сына... И с ним, Саней...

— Договорились, — легко согласился Аркадий Аркадьевич. — Накидайте пару страничек плана сценария,

никакой конкретики, *вероятия*... После этого получите встречу. Если передадите наметку, встреча состоится на квартире... Не напишете — свидание в тюрьме.

— В тюрьме... — повторил Исаев.

— Подумайте, — сказал Иванов. — Я понимаю ваше состояние, но не торопитесь с окончательным ответом... Ваше постоянное недоверие к нам, своим коллегам, может обернуться всякого рода непредвиденными трудностями, Всеволод Владимирович.

— Я ответил, Аркадий Аркадьевич. Другого ответа не будет...

Под утро Исаев проснулся от истошного вопля; он вскочил с койки, потер лицо; выл кто-то совсем рядом, скорее всего, в соседней камере; потом он услышал крик; немец, голос знакомый, господи, это же Риббе — тот, с которым Макгрегор сводил его в «Лондоне».

— Нет, нет, молю, не надо! Я согласен! — вопил Риббе. — Не надо!

— А когда ты пытал коммунистов, о чем ты думал?! — человек не кричал, но говорил с болью, громко; потом забубнил переводчик.

— Я не пытал! Клянусь! Я никогда никого не пытал! Я работал в картотеке, пощадите, молю!

Штурмбаннфюрера, видимо, вытаскивали из камеры, он хватался за дверь, сопротивлялся, потом ему заломили руки — судя по тому, как он взвизгнул, — и быстро потащили по коридору; крик его был слышен еще минуты три, потом где-то хлопнула дверь, и наступила гулкая тишина...

Прошло еще четыре недели; свидания не было, на допросы не вызывали: прогулка, гимнастика, прикидки возможных *партий*, лицо Сашеньки в слезах, и глаза сына — в минуту прощания в Кракове, декабрь сорок четвертого...

Порою он впадал в отчаяние, но резко, презрительно даже, одергивал себя: они только этого ждут. Всякое лишнее движение может лишь ухудшить положение тех, кого он любит. Его больше нет. Он кончен. Надо бороться за своих.

...Скрываемо все, кроме правды. Жаль, что ждать приходится века, но все равно тайное всегда делается явным, хоть и разнотолкуемым, увы...

...Он то и дело вспоминал свою последнюю встречу в Испании, в тридцать седьмом, с Антоновым-Овсеенко, Сыроежкиным, Малиновским, Орловым, Смушкевичем, оператором Романом Карменом и старым знакомым — еще с Октября семнадцатого — Михаилом Кольцовым; кроме Антонова, который именно тогда и сказал: «Приказано выжить», Кольцов на его, Исаева, вопрос, что происходит дома, пожал плечами, усмехнулся: «Борьба есть борьба, она не исключает эмоций», долго смотрел на Исаева сквозь толстые стекла очков, и в глазах его метался то ли смех, то ли отчаяние; Жора Сыроежкин, ветеран ЧК, отвел его в сторону и тихо сказал, что настоящая фамилия его адъютанта Савинков и что он студент из Парижа. «Я постоянно чувствую себя перед ним в неоплатном долгу — ведь его отца я брал на границе... Парень горячий, рвется в диверсанты, я его при себе оставил: отец погиб, пусть сын выживет... Один тип — пришел в ЧК в прошлом году — порекомендовал мне отделаться от «компрометирующей связи», я, понятно, послал его на хер, он наверняка отправил сообщение в Центр, а там теперь любят сенсации...»

Через полгода Жору Сыроежкина расстреляли, об этом со смехом и радостью сообщили в РСХА: «Ас русской разведки, как выяснилось, был нашим агентом, жаль, что мы об этом узнали только сейчас, дорого б мы дали, стань он действительно нашим агентом».

В те месяцы все протоколы процессов, публиковавшиеся в русских газетах, ежедневно переводили в службе Гейдриха; перепечатывали на особой машинке с большими буквами — ясно, для Гитлера. Тот не носил очки: это могло помешать *образу*, созданному пропагандистами: у великого фюрера германской нации должны быть орлиное зрение, богатырские плечи и вечно молодое, без единой морщинки лицо.

Гейдрих ликовал:

— Сталин повернулся к нам! Вместо идеологии интернационального большевизма он предложил *государственную* концепцию, а это уже предмет для делового обсуждения, можно торговаться... Каменев, Пятаков, Раковский, Радек, Крестинский — адепты Коммунистического Интернационала — расстреляны; на смену им приходят *антиличности*, механические исполнители сталинской воли; именно теперь можно разделаться с паршивыми демократиями Парижа и Лондона; Россия, лишенная командного состава, парализована.

Когда были расстреляны последний председатель Коминтерна Бухарин и бывший премьер Рыков, он, Исаев, практически подошел к ответу на мучившие его вопросы: сначала он заставлял себя думать, что Политбюро и Сталин не знают всей правды; поскольку всех ветеранов к началу тридцатых годов разогнали, вполне могло случиться, что в органы проникла вражеская агентура. Германская? Нет, иначе об этом, как о великой победе, Гейдрих бы доложил фюреру и наверняка поделился бы с Шелленбергом; хорошо, но ведь и англичане не испытывают страстной любви к большевикам, и французы, а *службы* у них крепкие... Но почему тогда Троцкого, Радека, Бухарина обвиняли именно в германском шпионстве? Это же не могло не вызвать *дома* взрыв ненависти против гитлеровцев? Почему, тем не менее, Гейдрих так ликовал?

...Исаев начал вспоминать, заставляя свою *память* работать фотографически, избирательно, когда и где он видел Сталина.

В девятнадцатом? Вроде бы да. В президиуме Сталин садился рядом с Каменевым или сзади Троцкого; не выпуская маленькой трубки изо рта, улыбчиво и доверительно переговаривался с ними, поглядывая изредка в зал; работники Секретариата чаще всего подходили к нему, реже к Зиновьеву, как-никак — один из вождей; Сталин вдумчиво, медленно читал документы, правил их и лишь потом передавал *первому* ряду — Ленину, Троцкому, Каменеву, Бухарину, Зиновьеву. Он порою улыбался, улыбка была потаенной, но мягкой; только один раз, когда Ленин исчеркал бумагу, переданную ему Сталиным, и несколько раздраженно, не оглядываясь даже, протянул ее народному комиссару по делам национальностей, Исаев вспомнил, как глаза Сталина сделались щелочками, а лицо закаменело, превратившись в маску; но это было одно лишь мгновение, потом он поманил кого-то из товарищей, работавших в *аппарате* Секретариата, и, полуобняв его, начал что-то шептать на ухо, указывая глазами на ленинские перечеркивания...

Геббельс — после расстрела ветеранов НСДАП Эрнста Рэма и Грегора Штрассера — дал в газетах сообщение, что лично фюрер ничего не знал о случившемся, идет расследование, о результатах будет сообщено дополнительно, и было это за полгода до того, как убили Кирова.

Гейдрих отмечал, что в советской прессе полная неразбе-

риха: сначала обвинили монархо-эсеровскую эмиграцию, потом обрушились на троцкиста Николаева, а уж потом арестовали Каменева и Зиновьева — эффект разорвавшейся бомбы.

Исаев тогда заставил себя отринуть вопросы, терзавшие его, страшные аналогии, которые были вполне закономерны, параллели, напрашивавшиеся сами собой. В тридцать восьмом, когда обвиняемые, кроме Бухарина, признались в том, что служили немцам через Троцкого — «главного агента Гитлера», которого нацистская пресса называла «врагом рейха номер один», Исаев вдруг подумал: «А что, если этот ужас нужен *нам* для того, чтобы заключить блок с демократиями Запада против Гитлера?»

Это было успокоение, в которое он заставлял себя верить, слыша в глубине души совершенно другое, запретное: но если те откажутся от блока с нами, Сталин легко повернет к Гитлеру: «С теми, кто был мозгом и душою большевистской теории и практики, покончено, мы стали *державой*, мы готовы к диалогу, а вы?»

Политика альтернативна; вчерашний враг часто становится другом; Александр Первый после сражения с «мерзавцем Наполеоном» сел с ним в Тильзите за дружеский стол переговоров — консул Бонапарт стал императором; с ним можно было сотрудничать, только набраться терпения и такта...

...Исаев снова увидел лицо отца, его седую шевелюру, коротко подстриженные усы, выпуклый, без морщин лоб и — он хранил в себе эту память особенно бережно — услышал его голос. Отец, как всегда ничего не навязывая, изучал с ним дома, в Берне, то, что в гимназии *проскальзывали*, уделяя теме всего лишь один урок...

Почему-то особенно врезалась в память история Катилины.

В гимназии учитель рассказывал, что «омерзительный развратник и злодей Катилина, предав родину, ушел в стан врагов и за это поплатился жизнью». Учитель задал ученикам упражнение на дом: выучить три пассажа из речей Цицерона, обращенных против изменника. Исаев, тогда еще «Севушка», зубрил чеканный текст обвинительной речи с увлечением, в ломком голосе его звучали гнев и презрение к врагу демократии, посмевшему поднять руку на прекрасные общественные институты древней Республики...

Что же я тогда читал, подумал Исаев. Интересно, смогу вспомнить? Должен, сказал он себе.

Он остановился посреди камеры, расслабился и приказал себе *увидеть* кухоньку, где отец, умевший легко обживаться, поставил старенький стол, накрыл его крахмальной скатертью, повесил на стенах репродукции Репина, Ярошенко, Серова, Сурикова, барона Клодта; керосинку, раковину и ведро для мусора отгородил фанерой, задекорировав ее первомайскими плакатами французских и немецких социалистов, получилась уютная гостиная-столовая. В комнате, которая была их спальней и одновременно кабинетом отца, висели литографии Маркса, Энгельса, Бебеля; стеллажи были заполнены книгами, журналами, газетами, и этот кажущийся беспорядок лишь придавал их жилищу какой-то особый артистический шарм.

Диванчик, на котором спал Всеволод, был застелен шотландским черно-красным пледом; свою узенькую коечку отец покрывал старой буркой: его любимой книгой — знал почти наизусть — был «Хаджи-Мурат». Как же давно все это было! Да и было ли вообще? — горестно спросил себя Исаев, снова осмотрев грязно-фиолетовые, покойницкие стены камеры.

Это было, ответил он себе, и это во мне, а когда меня убьют, это останется в мире, потому что старик Шамес был прав — энергия разума не исчезает, надо уметь на нее настроиться, наверняка ученые изобретут аппарат, который запишет мои мысли и заложит их в архив человеческой памяти...

А читал я тогда, ликующе вспомнил он, вот какие строки из Цицерона: «Честолюбие заставило многих людей сделаться лжецами, одно держать втайне на уме, другое высказывать на словах... Эти пороки росли сначала едва заметно, иногда даже наказывались; после, когда зараза внедрилась, общество изменилось в корне и верховная власть из самой справедливой превратилась в жестокую и совершенно неприемлемую...»

Исаев замер, потому что явственно услышал голос отца, который тихонько, извиняющимся голосом заметил, что это не Цицерон, а Крисп; консул Цицерон говорил иначе, у него была блистательная система доказательств, первый прагматик мира; послушай, как он вел свою линию против Катилины: «Сейчас ты явился в Сенат. Кто обратился к тебе с приветствием? Зачем тебе ждать словесного оскорбления, когда ты уже уничтожен грозным приговором *молчания?!* С твоим приходом места возле тебя опустели. Вся Италия заговорила со мной: „Марк Тулий, что ты делаешь?! Неужели ты не отдашь распоряжение

заключить Катилину в оковы и применить к нему не просто казнь, но самые отчаянные пытки?„».

Я тогда спросил отца, отчего Цицерон и вправду не казнил изменника и корыстолюбца? Вот тогда-то он и ответил, что историю Катилины нам преподают нечестно, видимо, еще не пришло время открыть правду про этого доброго и честного бунтаря, которого Цицерон смог представить человечеству убийцей, развратником, вором и предателем...

«Будущее вынесет свой приговор, — сказал тогда папа. — Революция позволит заново понять историю, оправдать тех, кого клеймили преступниками, и с презрением отнестись к властолюбцам, кто называл себя праведниками... Наверное, учитель не читал вам эту часть третьей речи Цицерона: «Я желаю, чтобы все мои триумфы, почетные отличия, все памятники, увековечивающие мою славу, оказались глубоко запечатленными в ваших сердцах... Мои подвиги будут питаться вашей памятью, они будут расти, передаваемые из уст в уста, они глубоко внедрятся в скрижали истории и займут в них почетное место...».

Отец тогда усмехнулся: «Можешь себе представить, чтобы нечто подобное сказали Плеханов, Кропоткин или Засулич? А помнишь, как Цицерон уверял римлян, вынеся смертный приговор соратникам Катилины, что казнь встречена всем народом с полным энтузиазмом?! Как он возносил себя, утвердившего казнь?! А вот чьи это слова: «Римское государство попало в кабалу олигархов, и граждане сделались бесправной, презренной чернью! Олигархи не знают, куда девать свои богатства, транжирят их на застройку морей и срытие гор, а у других дома — бедность, вне дома — долги... Только тот, кто сам несчастен, может быть заступником несчастных». Это слова «изменника» Катилины. Почему Цицерон так его ненавидел? Только из-за разности идейных позиций? Нет, Севушка, он ненавидел его еще и потому, что Катилину впервые судили за то, что он, юноша, был искренне влюблен в весталку Фабию, сестру жены Цицерона... В политике всегда надо искать не только общественную, но и личную подоплеку... А когда Катилина внес предложение кассировать, то есть отменить все долги ростовщикам, он сделался самым популярным человеком Рима, это и испугало олигархов, отсюда та клевета, которая была обращена против него... Он выставил свою кандидатуру в консулы, и он бы стал консулом, но в действие была введена провокация,

и Цицерон, получив власть, обвинил Катилину в заговоре и измене... Сколько прошло веков, прежде чем мы узнали не только речи Цицерона, но и позицию Катилины? И что же, мы подняли Катилину на щит, как народного героя? Судя по тому, что вам задают учить в классах, педагогика буржуа до сих пор страшится открыть правду... Подвергай все сомнению, сын, прекрасная позиция...»

...Исаев присел на табурет, обхватил голову руками: зачем мне привиделось все это, подумал он, почему я вновь, как в самые счастливые или горькие минуты жизни, услышал отца?

Ты услышал его потому, медленно, превозмогая себя, ответил он, что никогда не забывал то выступление Каменева в двадцать пятом, когда он открыто перед съездом потребовал устранения Сталина. Вот почему ты сейчас вспомнил Цицерона и Катилину; ты просто боялся назвать *имя*, ты до сих пор страшишься говорить себе правду, ты ищешь искренность в словах Аркадия Аркадьевича, который так хочет выслать этого самого Валленберга в Швецию, только для этого ему надо доказать миру, что шведский банкир был агентом гестапо. А не так ли работали с Алексеем Ивановичем Рыковым девять лет назад? Тебя приглашают влезть в дерьмо для того лишь, чтобы сделать «благо» другому человеку. И я все время возвращаюсь мыслью к его предложению сделать добро Валленбергу, с «которым мы попали в глупое положение», разве нет? Я запрещаю себе даже думать о *подсадке*, но именно потому, что я постоянно запрещаю это, значит, так же постоянно эта мысль живет во мне!

...В конце пятой недели его разбудили в половине пятого утра; на пороге стоял тот самый Сергей Сергеевич, которого он назвал тварью...

Лицо его было уставшим, осунувшимся, в глазах застыла боль...

— Поднимайтесь, — сказал он. — Зря вы на меня наговорили руководству... Мне строгача объявили, а я ведь отца похоронил...

8

Исаев почувствовал, как ослабли ноги и остановилось сердце, когда в камере, куда его ввели, он увидел Сашеньку, сидевшую на табурете.

Это была не Сашенька, а седая женщина с морщинистым серым лицом и высохшими руками; только глаза были ее — огромные, серые, мудрые, скорбные, любящие...

— Садитесь на вторую табуретку, — сказал Сергей Сергеевич. — Друг к другу не подходить, если ослушаетесь, прервем свидание. Я оставлю вас наедине, но глазок камеры открыт постоянно, за нарушение будет отвечать Гаврилина — три дня карцера.

И, по-солдатски развернувшись на каблуках, Сергей Сергеевич вышел из камеры...

— Любовь моя, — сказал Исаев и понял, что он ничего не сказал — пропал голос.

— Любовь моя, — повторила Сашенька. — Максимушка, Максим Максимович, нежность вы моя единственная...

Зачем я не умею плакать, горестно подумал Исаев, как счастливы те, кто может дать волю слезам; от инфаркта чаще всего умирают улыбчивые люди.

— Двадцать лет назад... Я видел в Шанхае сон... Будто я вернулся к тебе, в Москву... И мы едем на пролетке, — прошептал он, откашлявшись.

У Сашеньки задрожал подбородок...

Я оставил ее, повинуясь приказу, пришедшему во Владивосток из этого дома, подумал Исаев. Ей было двадцать тогда... А сейчас? Измученная старенькая женщина... И я не имею права сразу же спрашивать о сыне, я должен что-то сказать ей...

— Ты похудела, любовь, но тебе это очень... Даже не знаю, как сказать... К лицу...

— Максимушка... Я же знаю про себя все... Женщины все про себя знают... Даже если отобрали зеркальце... Я старуха, Максимушка... Глубокая старуха... Вы меня не успокаивайте, вы ж всегда подтрунивали надо мною, вот и сейчас будьте таким... Я вас тоже видела во сне... Это были какие-то кинофильмы, а не сны...

— Ты сказала «отобрали зеркальце», — Исаев осмотрел камеру; сразу же обратил внимание на большую отдушину, понял, что их не только записывают, но и снимают. — Тебя давно арестовали? В чем обвиняют? Говори быстро, потому что могут прервать свидание...

Сашенька покачала головой:

— Мне сказали, что не прервут, дали честное слово... И разрешили отвечать на ваши вопросы... Можно я спрошу, Максимушка?

— Конечно, любовь...

— Вы были верны мне все эти годы?

Ее заставили задать этот вопрос, понял Исаев, до конца ощутив их трагическую, непереступаемую отгороженность друг от друга: дело здесь не в том, что она говорит мне «вы», она и во Владивостоке так говорила, дело в другом, совсем в другом, нам обоим неподвластном.

— Я люблю тебя, — ответил он, неотрывно глядя в ее лицо, словно бы стараясь *снять* морщины, пепельность, отеки, чтобы увидеть прежнюю Сашеньку. — Я всегда любил тебя...

— Но ведь вы живой человек... У вас были женщины?

— Да.

— И они ничего не значили в вашей судьбе? Они не остались в вас?

Зачем она говорит это, подумал Исаев. Нельзя так говорить, это совсем даже и не Сашенька, это не моя Сашенька... Я же никогда не посмею спросить, был ли у нее мужчина. Конечно, был, но ведь любовь, такая, как наша, отмечена иной печатью, другим смыслом...

— Они оставили рубец в душе, потому что их из-за меня убили, — ответил он и ощутил, что сердце наконец перестало колотиться.

— Вы совсем не изменились... — прошептала Сашенька. — Такой же красивый... Нет, даже еще красивей... Вам так идет седина... Спасибо, что вы сказали правду... Вы всегда были таким чистым человеком... Только чистые люди честны... Помните, на заимке у Тимохи я говорила, что твои... что... ваши читатели режут фамилию «Исаев» под статьями, когда заклеивают газетами окна на зиму... Я ж поняла тогда, кого вы называли «*читателями*».

— Я это чувствовал, любовь... Я был так благодарен тебе за это... Мужчина очень гордится, когда любимая все про него понимает... Ведь понять — это значит простить, нет?

— Понять — это значит любить, Максимушка... Вы не спрашиваете про Санечку... Почему? Не хотите сделать больно?

— Да... Не знаю... За эти годы я приучился ждать, когда сам чело... Фу, как ужасно я говорю... Я растерян, Сашенька... Да, я привык, что люди сами говорят то, что посчитают нужным сказать... Но ведь ты не человек... Ты Сашенька...

— Наш Санечка пропал без вести, — из ее глаз покатились слезы; лицо было прежним, страдальческим, но губы все же таили в себе какое-то умиротворение, появившееся в первое мгновение их встречи. — Санечка про-

пал в Праге, в последний день войны... Когда выступили власовцы...

— Ты запрашивала командование? Где он был до исчезновения? С кем встречался? Адреса?

— Я писала всем... Я обратилась даже к товарищу Сталину...

— Отвечали?

— Да... «Никакой информацией не располагаем»... Я писала и товарищу Берия... Три раза... Меня пригласили на Кузнецкий мост...

— Куда? — Исаев не понял. — Что это?

— Это приемная Министерства государственной безопасности...

— Ну? — спросил он нетерпеливо и понял, как бестактен он с этим своим требовательным «ну?».

— Мне сказали, — Сашенька замолчала надолго, потом снова заплакала. — Мне сказали, что Санечка ушел с власовцами...

— Это ложь, — отрезал Исаев.

— Я сказала то же самое.

— Мне обещали с ним встречу, любовь... Или мне врали, или он тоже сидит... Ты давно тут?

— Нет... Меня только что привезли из Бутырок.

— Я спрашиваю, давно ли тебя арестовали?

— Три месяца назад.

Когда я вернулся, сразу же понял Исаев; чуть ли не в тот же день...

— В чем тебя обвиняют?

Из ее глаз еще горше покатились слезы, которые как-то странно молодили морщинистое лицо; безутешность свойственна детству или юности, люди средних лет и старики готовы к потерям, в них нет такого отчаяния, как в малыше или девушке; те еще слишком остро ощущают несправедливость, свою беззащитность и малость, страшное противостояние огромного мира; потом это проходит; утраты меняют людей.

— Сначала пришла похоронка на вас... Потом про нашего Санечку написали... что он пропал без вести... Это очень позорно, вы ведь знаете, как это у нас позорно... А я кинохронику смотрела, бои за Будапешт, бежал наш солдатик, а потом вдруг исчез, прямое попадание мины, облачко, ямка, и ни следа от человека... А матери его: «пропал без вести»... Ни пенсии, ни помощи...

— Саня жив. И он не предатель, — повторил Исаев. — Пожалуйста, верь мне, любовь...

— Вы не называете меня по имени... Почему?

— Потому что у тебя два имени... Одно — Сашенька, а второе — Любовь... В Латинской Америке к женщине обращаются — «Любовь», «Амор»...

— А теперь я вам расскажу правду, ладно?

— Конечно. Тебе разрешили? Тебя не предупреждали, что мне можно говорить, а что нельзя?

Сашенька покачала головой:

— Нет, меня ни о чем не предупреждали...

— Я боюсь, если ты откроешь *всю* правду, свидание прервут...

— Мне сказали, что в вашей власти помочь мне...

— Если я сделаю то, что от меня требуют, тебя выпустят? Тебе это сказали?

— Не выпустят... Нет, в общем-то выпустят... Просто не в лагерь отправят, а сошлют — с правом работы по специальности...

— Ты же поэт, — Исаев наконец смог улыбнуться. — Это не специальность, любовь...

— Я учитель русского языка в начальных классах женской школы, Максимушка...

— Ввели раздельное обучение?

— И формочки... Как у гимназистов...

Не понимая толком зачем, он сказал:

— Очень давно я провел ночь в Харбине с Сашей Вертинским... Он пел пронзительную песню: «И две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт»...

— Я слыхала эту песню... Он часто выступает...

— Где?! В Москве?!

— Конечно, — Сашенька вытерла глаза ладошками. — Он же вернулся... Ему все простили... Он так популярен в Москве...

— Ты увидишь Саню, — повторил Исаев. — Только будь молодцом, ладно?

— Максимушка, вам ничего про меня не говорили?

— Нет.

Сашенька глубоко, прерывисто вздохнула; Максим Максимович чувствовал, как тяжело ей переступить в себе что-то; бедненькая, она хочет мне признаться в том, чего не могло не случиться за четверть века разлуки; он понял, что обязан помочь ей:

— Любовь, что бы ни было с тобою, с кем бы тебя ни сводила жизнь, я буду любить тебя так же, как любил.

И случилось чудо: ее старенькое лицо вдруг озарилось таким счастьем, такой *пасхальной* надеждой, что он нако-

нец смог увидеть прежнюю Сашеньку, ту, которая жила в его памяти все эти годы.

— Вот сейчас ты стала неотразимо красивой, — сказал Исаев. — Такой, какой жила во мне все время нашей разлуки.

— Максимушка, — голос ее прервался, дрогнул; она резко откинулась, распрямила плечи, ему сразу же передалась ее струнная напряженность. — Любовь, — она улыбнулась через силу, — вы верите мне?

— Как себе...

— Вы верите, что я любила, люблю и буду вас любить, и умру с вашим именем в сердце?

— Эта фраза — бумеранг, — Исаев тоже улыбнулся через силу.

— Мы никогда не будем жить вместе, Максимушка... Я сделалась старухой... Вы же сохранили силу и молодость... Вы еще очень молодой, а я больше всего ненавижу принудительность — в чем бы то ни было... Если господь поможет, мы всегда будем друзьями... Я буду благодарно и счастливо любить вас... Это будет грязно, если я посмею разрешить вам быть подле меня... Вы проклянете жизнь, Максимушка... Она сделается невыносимой для вас... Равенство обязано быть первоосновой отношений... А еще я ненавижу, когда меня жалеют... Так вот, когда мне сказали, что вы погибли, а Санечка пропал без вести, я рухнула... Я запила, Максимушка... Я сделалась алкоголичкой... Да, да, настоящей алкоголичкой... И меня положили в клинику... И меня спас доктор Гелиович... А когда меня выписали, он переехал ко мне, на Фрунзенскую... Он был прописан у своей тетушки, а забрали его у меня на квартире... Через неделю ко мне пришли с обыском — при аресте обыска не делали, он же не прописан, и ордера не было... Меня попросили отдать все его записи и книги. Я ответила, что вещи его у тетушки, мне отдавать нечего... Меня попросили расписаться на каких-то бумагах, я расписалась, начался обыск, и в матраце, в Санечкиной комнате, нашли записные книжки, доллары, брошюры Троцкого, книгу Джона Рида, «Азбуку коммунизма» Бухарина... И меня арестовали... Как пособницу врага народа... Изменника родины... А вчера следователь сказал, что, если я попрошу вас выполнить то, чего от вас ждет командование, меня вышлют... И я смогу спокойно работать... А несчастного, очень доброго, но совершенно нелюбимого мною Гелиовича не расстреляют, а отправят в лагерь...

— Бедненькая ты моя, — прошептал Исаев, — любовь, Сашенька, нежность...

— И все твои ордена при обыске забрали... Мне же вручили их — орден Ленина и два Красных Знамени...

— Ты что-нибудь подписала на допросах, Сашенька?

Дверь камеры резко отворилась, вбежали два надзирателя, подхватили Сашеньку легко, как пушинку, и вынесли из камеры.

— Ничего не подписывай! — крикнул Исаев. — Слышишь?! Будет хуже! Терпи! Я помогу тебе! Держись!

Сергей Сергеевич, стоявший возле двери, заметил:

— Она в обмороке... Не кричите зазря, все равно не услышит... Ну что, пошли? А то без пшенки останетесь, время баланды...

9

Возле камеры, однако, стоял тот вальяжный, внутренне неподвижный мужчина, что сидел за столом-бюро в приемной Аркадия Аркадьевича.

— Добрый день, Всеволод Владимирович... Генерал приглашает вас пообедать. — Следователю, вытянувшемуся по стойке «смирно», сухо бросил: — Вы свободны.

Когда поднимались в лифте, мужчина поинтересовался:

— Как себя вел следователь сегодня? Никаких бестактностей? Был корректен?

— Вполне... Пережить такое горе...

— Какое горе? — мужчина нахмурился.

— У него отец перенес тяжелый инфаркт... Сейчас стало лучше, вот он и перестал быть таким раздражительно-забывчивым...

— Да, да, — рассеянно согласился мужчина. — Как хорошо, что вы отнеслись к нему снисходительно, отец есть отец...

А у немцев такого прокола не могло произойти, подумал Исаев. Видимо, этот хлыщ не посвящен в подробности игры, иначе он бы посочувствовал Сергею Сергеевичу — смерть отца, горе... Интересно, напишет он рапорт о нашем разговоре или нет? Если напишет, его уволят, это точно... Любопытно, как он себя поведет, если я скажу ему о проколе? Ты думаешь использовать его, спросил себя Исаев. Напрасно, не выйдет. Он убежден, что служит Идее и что я действительно враг. Сергей Сергеевич во вре-

мя первого допроса заметил, что сейчас времена другие, зря никого не сажают, ежовщина выкорчевана товарищем Берия по указанию Вождя; без улик и бесспорных доказательств прокуратура ныне не даст санкции на арест... Какие на меня могут быть улики или доказательства? Да и посадили меня, как выясняется, только для того, чтобы включить в *комбинацию* по Валленбергу... В теплоход сунули от растерянности, я ж постоянно твердил: «Скорее берите Мюллера, бога ради, товарищи!» В «Лондоне» мотали на излом, на даче начали настоящую игру... И ни слова о Мюллере... Почему? Если бы меня сразу отвезли домой, я бы пошел на любое задание; мы умнеем в камерах, на воле живем иллюзиями... «Отвезли домой», зло повторил он; квартира опечатана, Сашеньку мучают в Бутырках, принуждая учить то, что она должна мне сказать... Беднепькая моя, нежность... А если бы ты приехал раньше? И тебя бы не бросили в камеру? И ты бы узнал ее адрес и пришел к ней? И увидел в ее квартире этого самого доктора Гелиовича?

Мой Саня здесь, Исаев оборвал себя; сейчас надо сделать все, чтобы мне его показали. Я должен увидеть его... И потребовать его дело... Иначе я пойду под пулю, но не шевельну пальцем, чтобы помочь им выйти из «сложного положения» со Швецией...

...Иванов на этот раз поднялся из-за стола, вышел ему навстречу, молча пожал руку, кивнул на длинный стол совещаний, где был накрыт скромный обед (бульон с яйцом, котлета с долькой соленого огурца и пюре), снял свой потертый пиджак и сказал:

— Как вы понимаете, я слушал весь ваш разговор с Гаврилиной... Я лишен сантиментов, но сердце у меня прижало, признаюсь... Вы же настаивали на свидании, не я...

— Надеюсь, вы позволите нам увидеться еще раз?

— Позже.

— Это зависит от тех условий, которые вы намерены мне поставить?

— Нет. Давайте кушайте, а то остынет...

Ел Аркадий Аркадьевич сосредоточенно, очень быстро, зато кофе пил смакуя, маленькими глоточками, чуть отставив мизинец; закончив, нажал кнопку под столом; вошел вальяжный мужчина, унес поднос, как-то артистически придержав дверь локтем левой руки так, что она не хлопнула, а мягко притворилась.

Аркадий Аркадьевич поднялся из-за стола, походил по

кабинету, потом остановился напротив Исаева и сурово спросил:

— Теперь, видимо, вы захотите узнать все о сыне?

— Да.

— Вы не верите, что он пропал без вести?

— Не верю.

— Правильно делаете... СМЕРШ схватил его в Пльзене, когда там еще стояли американцы... Он утверждал, что бросился искать вас... Ему якобы сказал полковник военной разведки Берг, что вас арестовали в середине апреля, а потом, как и всех заключенных, транспортировали в район «Альпийского редута»... Откуда Берг из военной разведки мог узнать про ваш арест? Вы верите в это?

— Верю. Берг был не прямо, но косвенно связан с участниками заговора против фюрера... Я ж сообщал... Его могли сломать на этом, завербовав в гестапо... А Мюллер активно *работал* со мной до двадцать восьмого апреля... Он мог вычислить Саню, мальчик был ему выгоден, они умеют... умели ломать отцов и матерей, приставляя пистолет к виску ребенка...

— Вы бы согласились работать на Мюллера, случись такое?

— Не знаю, — ответил Исаев, подумав, что он плохо ответил, снова открылся, прокол. — Скорее всего — нет... Я бы просто сошел с ума... Думаю, если у вас есть дети, с вами случилось бы подобное же...

— Я покажу вам дело сына...

— Этого мало. Я хочу получить с ним свидание.

— Я же сказал: получите. После окончания *работы*.

— Я начну работать только после того, как вы освободите мою же... Александру Гаврилину и сына...

— Вы с Лозовским встречались?

— Кто это? Знакомая фамилия...

— Соломон Лозовский, председатель Профинтерна...

— В семнадцатом встречался... И в двадцать первом тоже, на конгрессе...

— Как думаете, генсек Профинтерна Лозовский — он сейчас депутат Верховного Совета, заместитель товарища Вячеслава Михайловича Молотова — помнит вас?

— Вряд ли...

— А вашего отца?

— Наверняка должен помнить...

Аркадий Аркадьевич снова принялся ходить по своему огромному кабинету, потом взял со стола стопку бумаги,

самописку (очень дорогая, сразу же отметил Исаев, «монблан» с золотым пером и тремя золотыми ободками, миллионерский уровень) и положил перед Исаевым.

— Пишите, — сказал он. — Депутату Верховного Совета СССР Лозовскому С. А.

— Я не умею писать под диктовку... Каков смысл письма?

— Вы обращаетесь к представителю высшего органа власти страны с просьбой о помиловании Гаврилиной и вашего сына...

— В качестве кого я обращаюсь к Лозовскому?

— Подписываетесь Штирлицем... Этот псевдоним, думаю, был известен высшему руководству наркомата, тьфу, министерства иностранных дел...

— «Заключенный Штирлиц»? — спросил Исаев. — Или «штандартенфюрер»?

Иванов рассмеялся:

— Я сам поеду с этим заявлением к Соломону Абрамовичу... И покажу вам его визу — какой бы она ни была... Второе письмо напишите товарищу Кузнецову Алексею Александровичу, секретарю ЦК ВКП(б), он теперь курирует органы, попросите его о переводе вас на *дачу* в связи с началом операции по шведу...

— Второе письмо я напишу после того, как вы покажете мне резолюцию Лозовского.

— Хорошо, не пишите про шведа, — досадливо поморщился Аркадий Аркадьевич. — Посетуйте на несправедливость в отношении вас и попросите, указав на работу против Карла Вольфа в Швейцарии, перевести на *дачу*... Напишите, что идет завершающий этап *проверки*, вы убеждены в предстоящей реабилитации, сдают нервы, одиночка — не курорт... С этим письмом поедет заместитель товарища Абакумова. Возможно, все дальнейшие встречи с Александрой Гаврилиной и свидание с сыном мы проведем на даче... Я ничего не обещаю, я говорю предположительно, не обольщайтесь...

Эти его слова и позволили Исаеву взять перо и лист бумаги...

...Спрятав заявления, Аркадий Аркадьевич отошел к своему столу, снял трубку телефона и коротко бросил:

— Введите.

...Привели штурмбаннфюрера Риббе. Глаза его были по-прежнему совершенно пусты, лицо пепельное, прозрач-

ное, с очень большими ушами; Исаеву даже показалось, что отечные мочки трясутся при каждом шаге.

Рат, сопровождавший Риббе, улыбнулся Исаеву, как доброму знакомому.

— Спросите его, — сказал Рату Аркадий Аркадьевич, — что он может показать о деятельности Валленберга в Будапеште...

— В конце ноября сорок четвертого года, — начал рапортовать Риббе, — Эйхман поручил мне провести встречу с Валленбергом на конспиративной квартире и обговорить формы связи в Стокгольме, если произойдет трагедия и рейх рухнет. Сначала я возражал Эйхману, говорил, что нельзя произносить такие слова, однако Эйхман заверил меня, что фраза согласована с группенфюрером Мюллером, некая форма проверки агента... Нам надо, пояснил Эйхман, проверить реакцию Валленберга, и это я поручаю вам... Во время конспиративной встречи Валленберг сказал, что он гарантирует безопасность нашим людям... Переправит их в Латинскую Америку, если мы выполним его просьбу и освободим тех евреев, список которых он передал ранее «его другу» Эйхману... Вот в общих чертах та единственная встреча, которую я имел с Валленбергом...

— Вы видели его вербовочное обязательство работать на РСХА? — спросил Аркадий Аркадьевич.

Рат перевел, Исаев отметил, что он допустил ошибку, ерундовую, конечно, но тем не менее двоякотолкуемую: вместо «обязательство» сказал «обещание»; в разведке не «обещают», а «работают».

— Нет, — ответил Риббе, — все эти документы Эйхман хранил в своем сейфе...

— Каким образом Эйхман исчез? — спросил Аркадий Аркадьевич.

— Говорили, что он пробрался во Фленсбург, а оттуда — в Данию...

— Вы хотите сказать, что он стремился попасть в Швецию?

— Бесспорно. Все остальные партийные товари... коллеги, — быстро, с испугом поправился Риббе, — стремились на юг, к швейцарской границе, чтобы уходить по линии ОДЕССА* в Италию, а оттуда — в Испанию...

---

* ОДЕССА — секретная организация нацистов по переправке ответственных сотрудников партии и СС в Испанию и Латинскую Америку после краха рейха.

Аркадий Аркадьевич неожиданно обернулся к Исаеву и быстро спросил на ужасном немецком:

— Штирлиц, это правда?

— Да, — ответил Максим Максимович и сразу же пожалел об этом, надо было просто кивнуть; его уже, хоть в самой малости, в едином слове «да», втянули в *комбинацию*...

— Вас вывозили через Италию, Штирлиц? — продолжая коверкать немецкий, уточнил Аркадий Аркадьевич.

Исаев колебался лишь одно мгновение, потом ответил по-русски:

— Да, товарищ генерал...

Риббе никак не прореагировал на то, что он заговорил по-русски, *отсутствовал*; Иванов и Рат многозначительно переглянулись, и, хотя это было лишь одно мгновение, Исаев точно засек выражение их острых, напряженных глаз.

— Спасибо, Риббе, — мягко сказал Аркадий Аркадьевич. — Можете сегодня отдыхать, завтра вам увеличат прогулку до часа...

Рат чуть тронул Риббе, тот, словно автомат, повернулся и зашагал к двери, вытянув руки по швам, словно шел на параде...

— Ну как? — спросил Иванов. — Вы ему поверили? Или врет?

— Видимо, вы даете ему какие-то препараты, Аркадий Аркадьевич... Он производит впечатление больного человека... Он малоубедителен... Как Ван дер Люббе...

— Кто? — не понял тот.

— Ван дер Люббе, свидетель гитлеровского обвинения в процессе против Георгия Димитрова...

— Я отдам сотрудника под суд, — тихо, с яростью сказал Аркадий Аркадьевич, — если узнаю, что он применяет недозволенные методы ведения следствия...

Сейчас лучше промолчать, сказал себе Исаев; он должен отдать под суд Сергея Сергеевича, который держал меня на стуле по сорок часов без движения, да еще лампа выжигала глаза...

...Дверь внезапно открылась; вошел невысокого роста человек; Аркадий Аркадьевич замер, подобрался, лицо его резко изменилось, сделалось подобострастным, внимающим...

— Здравия желаю, товарищ Мальков! — отрапортовал он. — Разрешите продолжать работу? Или прикажете отправить заключенного в камеру?

— Нет, нет, продолжайте, — ответил Мальков. — Если не будете возражать, я посижу, послушаю, не обращайте на меня внимания...

...Мальков устроился на стуле с подлокотниками в углу кабинета, возле окна, так, чтобы лица не было видно заключенному, — солнце обтекало его толстое, женственное тело, лицо с коротенькими усами и бородкой-эспаньолкой, в то время как слепящие лучи делали землистое лицо Исаева со впавшими щеками, выпершими скулами и морщинистым лбом четким, как фотография.

— Итак, Всеволод Владимирович, — Иванов заговорил иначе, сдержаннее, даже голос изменился, чуть сел, — по указанию руководства я выполнил две ваши просьбы, что дает вам основание верить, что и последняя, третья, будет выполнена, тем более вы обратились к товарищу Кузнецову и товарищу Лозовскому, другу вашего покойного отца... Могу ли я в присутствии товарища Малькова задать вопрос: вы готовы помочь нам распутать шведский узел?

— Я уже ответил: до тех пор, пока я не увижу сына, все разговоры бессмысленны.

— Разумно ли ставить ультиматум?

Аркадий Аркадьевич отошел к сейфу, стоявшему в углу кабинета, с видимым трудом открыл тяжелую бронированную дверь, достал папку с грифом «совершенно секретно, хранить вечно», предложил:

— Полистайте.

Исаев машинально похлопал себя по карманам:

— Очки-то вы у меня изъяли...

— Вернем, — пообещал Аркадий Аркадьевич и протянул Исаеву свои — маленькие, круглые, в коричневой целлулоидной оправе.

Он дал мне дело Сани, понял Исаев; это — пик нашего противостояния, я должен приготовиться к схватке, я не имею права ее проиграть, грош тебе цена, если ты проиграешь; ты выиграешь ее, потому что ты устал жить, тебе стало это неинтересно после теплохода «Куйбышев», «Лондона» и одиночки; тебе *пусто* жить после встречи с изломанной Сашенькой, которая невольно выполняет их задания, откуда ей, бедненькой тростиночке, знать *наши* хитрости... Ты виноват в том, что погубил ее жизнь, ты виноват в том, что твой мальчик сидит в камере; если виноват — искупай вину, принимай бой; смерть — избавление, я мечтаю о ней, но они, эти двое, — люди иной структуры, и то, что они не понимают моей жажды искупления

вины, дает мне простор для маневра... Нет, сказал он себе, не торопясь открывать папку, ты виноват не только в том, что погубил самых близких, *единственных*, ты еще виноват в том, что предал друзей — тех, с кем начинал... Ты предал память Дзержинского, согласившись с тем, что все его помощники — Кедров, Трифонов, Сыроежкин, Уншлихт — «шпионы»; Революцию, разрешив себе смириться с тем, что друзья Ленина оказались «врагами и диверсантами», ты кругом виноват, и то, что ты выкрал Мюллера, закончив этим свою *личную* борьбу с нацизмом, не снимает с тебя вины... Ладно, сказал он себе, это — прошлое, сейчас ты готов к бою, открывай страницу...

Сначала он увидел изможденное лицо Сани, бритого наголо, в профиль и анфас, отпечатки его пальцев, понял, что папку *готовили*, потому что не было дат, перевернул следующую страницу, собственноручные показания сына: «Виновным в предъявленных обвинениях не признаю, прошу разрешения обратиться к великому вождю советского народа генералиссимусу Сталину». Затем увидел протокол вербовки сына пражским гестапо — 19 апреля 1945 года; затем шли пять его донесений о работе чешского подполья с адресами, явками, паролями вплоть до 26 апреля, затем была подшита справка гестапо: «По информации агента Шмель арестован руководитель Пражского городского комитета коммунистов Ян, он же Йозеф Смрковский...»

Стоп! Смрковский был арестован перед моей поездкой в Линц! О такого рода *победах* нам в РСХА сообщали, значит, мне суют липу...

— Дело в том, что указание завербоваться к нацистам дал сыну я, — Исаев поднял глаза на Малькова, словно бы Аркадия Аркадьевича не было рядом с ним. — Он был денщиком полковника военной разведки Берга, связь с РСХА была ему необходима как прикрытие...

— Значит, вы дали ему право предавать гитлеровцам товарища Смрковского, члена ЦК братской партии? — спросил Аркадий Аркадьевич. — Я не могу в это поверить...

Исаев папку захлопнул, брезгливо ее отодвинул от себя:

— Вы не учитываете меру моей информированности... Я знал, когда взяли Смрковского и кто руководил операцией по его захвату... Вы забыли, что я был не кем-то, а штандартенфюрером СС... Если вы намерены так же

работать процесс против Валленберга, вас ждет мировой скандал...

Аркадий Аркадьевич взял папку, запер ее в сейф, сел за стол, за свое рабочее место, потер ладонями лицо и бесстрастно поинтересовался:

— Вас надо понимать так, что вы отказываетесь помочь нам?

— Повторяю: до тех пор, пока я не получу встречи с сыном, пока он и Александра Гаврилина не будут освобождены, я палец о палец не ударю.

И тут заговорил Мальков:

— Я хочу отметить ряд ваших ошибок, Аркадий Аркадьевич... Во-первых, вы просили Исаева помочь *нам*... Это неверно... Речь идет о помощи Родине, большевистской партии, советским людям, которые до сих пор живут в Белоруссии и на Смоленщине в землянках, а денег, чтобы построить им дома, можно просить лишь у шведов... Во-вторых, вы употребили слово «ультиматум» вместо того, чтобы назвать вещи своими именами: «наглость»... В-третьих, мы не вернем очки Исаеву, как вы пообещали, до тех пор, пока он не начнет *работать*... Если же он не начнет работу по Валленбергу и не заявит об этом сейчас, немедля, в моем присутствии, я попрошу дать мне те материалы на него, которые у вас есть... Они подобраны? Или вы все это время играли с ним в вашу обычную христову доброту?

— Мы не подбирали документы, — откашлявшись, ответил Аркадий Аркадьевич. — Я был убежден в партийной дисциплине Исаева, как-никак старый чекист...

— Если он старый чекист и вы убеждены в его партийной дисциплине, какое вы имеете право держать человека в камере?! — Мальков даже пристукнул пухлой ладонью по ручке кресла. — Вы обязаны извиниться перед ним, уплатить ему компенсацию и выдать квартиру... Почему вы не сделали этого?! Отчего нарушаете Конституцию?! Кто дал вам право на произвол?!

— Товарищ Мальков, разрешите до... — начал было Аркадий Аркадьевич сдавленным, тихим голосом...

— А что вы мне можете доложить? — так же бесстрастно, но прессово-давяще продолжал Мальков. — Что?!

Аркадий Аркадьевич снова открыл сейф, делал он это теперь кряхтяще, с натугой, достал несколько маленьких папочек и, мягко ступая, чуть ли не на цыпочках, подошел к Малькову:

— Это неоформленные эпизоды...

Не скрывая раздражения, Мальков начал листать папки, одну уронил; Аркадий Аркадьевич стремительно поднял ее; первым порывом — Исаев заметил это — было положить ее на колени Малькова, но колени были женственные, округлые, папка не удержится, соскользнет, конфуз, *руководство* еще больше разгневается, решил держать в руках...

Не поднимая глаз от папок, Мальков спросил:

— В Югославии, в сорок первом, ваш псевдоним был Юстас?

Исаев снял очки, положил их на стол, потер лицо, разглядывая стены кабинета, — Маркс, Сталин, Берия; на вопрос, обращенный в пустоту, не ответил.

— Я вас спрашиваю или нет?! — Мальков повысил голос и поднял глаза на Исаева.

— Простите, но я не понял, к кому вы обращались, — ответил Исаев. — У меня еще пока есть имя... Имена, точнее говоря... Да, в Югославии я выполнял задания командования также под псевдонимом Юстас.

Мальков зачитал:

— «Единственно реальной силой в настоящее время является товарищ Тито (Броз), пользующийся непререкаемым авторитетом среди коммунистов и леворадикальной интеллигенции...» Это вы писали?

— Да.

— Настаиваете на этом и сейчас?

— Конечно.

Мальков протянул вторую папку Аркадию Аркадьевичу:

— Дайте ему на опознание подпись... Если опознает, пусть подтвердит.

Аркадий Аркадьевич быстро подошел к Исаеву, положил перед ним папку, в которой была сделана прорезь, вмещавшая в себя немецкую подпись — «Штирлиц».

— Ваша? Или фальсификация?

— Моя.

— Удостоверьте русской подписью.

— Сначала я должен посмотреть, какой текст я подписывал.

— При чем здесь текст? Речь идет о подлинности вашей подписи.

— Я ничего не подпишу, не посмотрев текста...

Аркадий Аркадьевич открыл папку: подпись была на чистом листе бумаги.

Исаев перечеркнул подпись, расписался заново и при-

писал «подпись верна, полковник Исаев», поставил дату и место — «МГБ СССР».

Как только Аркадий Аркадьевич отошел от Исаева, Мальков поднял над головой третью папку:

— «Обязуюсь по возвращении в СССР работать на английскую разведку с целью освещения деятельности МГБ СССР. Полковник Исаев (Юстас)». Это что такое?! Чья подпись?! Чья бумага?! Английская бумага и ваша подпись!

— Вам же прекрасно известно, что это фальсификация Рата, так называемого Макгрегора, — ответил Исаев. — Я не очень понимаю, зачем вам обставляться фальшивками? Никто не знает, что я вернулся, шлепните без фальшивок — и концы в воду...

Мальков ответил с яростью:

— Тогда нам придется шлепать и вашу бабу! Вы же хотели с ней повидаться?! Помните немецкую пословицу: «Что знают двое, то знает и свинья»?! А какие у нас есть основания ее расстреливать?! Нет и не было! Тянет на ссылку!.. А сейчас придется выбивать решение на ее расстрел! — он обернулся к Аркадию Аркадьевичу. — Все душеспасительные разговоры с ним кончать! Или в течение недели выбейте из него то, что надо, или готовьте материалы на Особое совещание, я проведу нужный приговор...

И, резко поднявшись с кресла, Мальков пошел к двери; Аркадий Аркадьевич семенил следом, всем своим видом давая понять малость свою, растерянность и вину.

Обежав Малькова, Аркадий Аркадьевич распахнул дверь, и тут Исаев громко сказал:

— Деканозов, стойте!

Реакция Деканозова, называвшего себя Мальковым, была поразительной: он присел, словно заяц, выскочивший на стрелка.

— Выслушайте, что я вам скажу, — требовательно рубил Исаев. — И поручите так называемому Аркадию Аркадьевичу выключить микрофоны — для вашей же пользы: работая с Шелленбергом, я прослушивал часть ваших бесед с Герингом и Риббентропом, а также с Ниночкой...

Деканозов медленно выпрямился и коротко бросил Аркадию Аркадьевичу:

— В подвал, расстрелять немедленно, дело оформите потом, — и снова открыл дверь.

Исаев рассмеялся — искренне, без наигрыша:

— Мой расстрел означает и ваш расстрел, Деканозов, потому что моя одиссея, все то, что я знал, хранится в

банке и будет опубликована, если я исчезну окончательно... Сядьте напротив меня, я вам кое-что расскажу — про Ниночку тоже...

— Молчать! — Деканозов сорвался на крик; кричать, видно, не умел, привык к тому, чтобы окружающие слышали его шепот, не то что слово. — Выбейте из него, — сказал он заметно побледневшему Аркадию Аркадьевичу, — все, что он знает! Где хранится его одиссея?! Принесите ее мне на стол. Срок — две недели, — и он снова распахнул дверь.

— Деканозов, — усмехнулся Максим Максимович, — возможно, вы выбьете из меня все, я не знаю, как пытают в том здании, где не осталось ни одного, кто начал работать в семнадцатом? Заранее обговорено, что рукопись вернут только в руки, в Лос-Анджелесе, один на один. И если мои друзья не получат моего приглашения — они, кстати, стали и *нашими* друзьями, ибо поверили мне, — и не проведут месяц у меня в гостях, в *моем* доме, — они опубликуют то, что я им доверил. Ключ от моего сейфа в банке у них, отдадут они его только мне — в присутствии адвоката и нотариуса... Моя подпись на любом письме, если вы заставите меня его написать, будет сигналом к началу их *работы*... Хотите, чтобы я процитировал отрывок из вашей беседы с Герингом, которому вы передавали устное послание Сталина? Вы не учли, с кем имеете дело, Деканозов... Меня послали на смерть — к нацистам... И я уже умер, работая в их аппарате... Но там я научился так страховаться, как вам и не снилось... Вы ломали честных и наивных людей... А меня национальный социализм Гитлера научил быть змеем, просчитывать все возможности... Я не думал, что мне придется применять этот навык у *своих*... Отныне я не считаю вас своими... Я вас считаю партнерами... А теперь можете идти, я сказал то, что считал необходимым...

— Поднимите его к Комурову, — растерянно сказал Деканозов, отвернувшись от Аркадия Аркадьевича. — Я буду там...

* * *

На лесоповале во время пятиминутного перекура подполковник авиации Розин Иван Онуфриевич, кавалер двух орденов Ленина, Отечественной войны (второй степени) и Красной Звезды, ныне зэк 14-846-к, осужденный решением Особого совещания на двадцать пять

лет каторги за «каэровскую деятельность» (вернувшись из родной деревни Климовичи, сказал друзьям, что в стране идет истребление крестьянства, наместники из областей обрекают людей на голодную смерть), собрал взносы с членов партии; на первом закрытом партсобрании уговорились платить по рублю из той зарплаты, которую стали давать тем, кто выполнял норму; до пятнадцати рублей в месяц (самые низкооплачиваемые негры и пуэрториканцы получали за час работы на стройке полтора доллара; американские коммунисты боролись против этого бесчеловечного выкачивания пота и крови из рабов капитала).

Собирая взносы, Розин шептал каждому: «Полетел Маленков. Начинается новый этап драки за власть. Передать каждому из руководителей пятерок: быть в состоянии боевой готовности номер один. Как только из Москвы поступят новые сведения, начинаем. Прошу всех большевиков провести репетицию первого этапа восстания: каждый должен точно знать свое место возле конвоиров, когда начнем их разоружать.. Передайте Скрипко, чтобы он, когда будет перегонять трактор в Усть-Вимский лагерь, связался с капитаном Темушкиным. Мы пойдем на соединение с его группами...»

И, отойдя к конвоиру, Розин протянул ему кисет:

— Вчера из дома посылку получил... Самодер... Угощайся, браток... Только газеты нету... Не поделишься на добрую козью ногу?

...Поздним вечером — в концлагерях поднимали в четыре утра, отбой давали в десять тридцать — собрал трехминутное совещание подпольного *парткома* ВКП(б). Распределили обязанности; в том, что ситуация на Большой земле способствовала скорейшему вооруженному выступлению заключенных-ленинцев против кровавой сталинской диктатуры, уверены были все.

10

Член Политбюро Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, маршал, Герой Советского Союза, заместитель Председателя Совета Министров Союза ССР, депутат Верховных Советов СССР и РСФСР, многолетний шеф госбезопасности товарищ Берия Лаврентий Павлович

испытывал к Сталину все более и более растущую ненависть — особенно после того, как Маленков (под нажимом Жданова) был отправлен в Ташкент и Берия остался один на один с «бандой» — так он называл членов ПБ.

Он ненавидел его так, как ненавидят выживших из ума стариков, которых, тем не менее, по законам мегрельской деревни полагается почитать *уважаемыми*, оказывать им прилюдный почет, не прерывать, когда они несут чушь, и постоянно славить, превознося их ум и заслуги.

Берия понимал, что Сталин, поставивший под пули своих выдвиженцев Ягоду и Ежова, рано или поздно расплатится им, *носителем* его тайн, без колебаний и жалости.

Он понял это давно, еще в тридцать девятом, когда Сталин, назначив его наркомом, не кооптировал при этом в Политбюро.

Он тогда сразу же просчитал возможные последствия: очередной «исполнитель» срочно переориентировал работу НКВД, организовал убийство Троцкого, Кривицкого, Рейса, перенес *акценты* на таинство закордонной службы, провел ряд показательных процессов над ежовскими садистами, реабилитировал несколько десятков тысяч коммунистов, обеспечив себе ореол «либерала и законника». Несколько успокоился, когда началась война, ибо стал членом ГКО, легендарного Государственного Комитета Обороны, — теперь уже наравне с Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем, Ждановым, Вознесенским, Микояном и Косыгиным; почувствовал звездный час, когда стал членом Политбюро. Сдружился с Егором (так звал Маленкова), их альянс — могучая сила. Но, после того как Сталин выступил в феврале сорок шестого перед избирателями и ничего не сказал о торжестве коммунизма, но лишь о величии Державы, Берия понял: грядет кардинальный поворот политики, невозможный без большой крови. Тогда-то и сообразил: спасение и *жизнь* лишь в том, если он возьмет на себя проект по созданию атомной бомбы (после Потсдама Сталин бредил ею) и аккуратно отойдет от прямого руководства МГБ.

Однако чем дальше, тем больше он ощущал, что его позиции пошатнулись, ибо верх брал прагматик Вознесенский, переведенный Сталиным из кандидатов в члены Политбюро, несмотря на те меры, которые в свое время были приняты им, Маленковым, Ворошиловым и Сусловым; взлет Вознесенского прошел не без влияния Жданова, ясное дело. И сейчас секретарь ЦК Кузнецов, взявший

отделы Маленкова, стал, таким образом, *курировать* Берия. Что ж, операция против Берия начата, его дни сочтены, если дать Жданову и Вознесенскому прибрать к рукам власть. Значит, предстоит борьба. А что в этой жизни дается без борьбы?! Или смерть, или победа, третьего не существует.

...Как-то Деканозов рассказывал, что фюрер стал фанатичным антисемитом, когда ему сказали, что доктор Блох, еврей по национальности, лечивший его мать от рака, применял не те медикаменты... Сначала Берия пропустил это мимо ушей, ждал *гостью,* очаровательную девушку, порученец Саркисов увидел ее на улице Алексея Толстого; *новеньких* Берия обожал, хотя сохранял самые дружеские отношения со всеми своими подругами, даже если переставал спать с ними...

Он еще не понял, отчего ночью, проснувшись резко, словно кто-то толкнул его в плечо, вспомнил рассказ «долбаря» (так в узком кругу называли Деканозова после того, как он, пригласив молоденькую стенографистку, запер дверь кабинета, снял брюки и показал ей член: «Маленькая, я хочу, чтобы нам стало сладко». Девушка, однако, оказалась строгих правил и крутого характера: выбросила в окно брюки заместителя министра иностранных дел; скандал замяли, отправив девицу в посольство в Монголию; на границе арестовали — везла «контрабанду», сунули в сумочку две тысячи рублей). Берия тогда не сразу уснул, так и не поняв, отчего вспомнил рассказ Деканозова о еврейском враче Блохе, но мыслью довольно часто к нему возвращался...

...Начиная с марта семнадцатого, когда стали жечь полицейские околотки и здания охранных отделений, в нем, Лаврентии Берия, постоянно жил затаенный страх: а что, если в архивах остались *следы* его встреч с *теми*, кто вел с ним затаенные беседы о его, Лаврентия, друзьях по подпольному кружку «социал-демократов»: о Гоглидзе (теперь начальник ГУЛАГа, Главного управления лагерей, все секретари сибирских и дальневосточных обкомов и крайкомов — под ним, в кулаке), Севе Меркулове (был куратором разведки, умница, эрудит, без него и помощника Петра Шария не выходил ни один документ *наркома,* ни один его доклад; сейчас оттерт в ГУСИМЗ)*, Мирджафаре Багирове (назначен вождем азербайджанских большевиков — с его, Берия, подачи). Одна надежда была

---

* Главное управление советского имущества за границей.

на то, что *бумаги* сгорели, но до двадцать второго года, до той поры, пока он не стал зампредом АзЧК и не получил в свои руки архивы, он страдал бессонницей — в его-то возрасте, всего двадцать два, ровесник века!

Несколько документов, обнаруженных им в папках особого отдела охранки, потрясли его. Сначала он решил сжечь их, но потом передумал, уехал за город, шофера и охранника оставил в машине, пошел погулять в лес: «Хочу послушать пение птиц, устал». Там-то, в лесу, отвалил камень и запрятал резиновый пакет — никто не найдет, спецсообщения охранки были не о нем, про себя он все сжег; рапорты были о другом человеке, датировались девятым и двенадцатым годами.

Шофера и охранника поручил устранить своему помощнику по оперработе; через час после того, как *задание* было выполнено, организовал стол и лично *сыпанул* в бокал помощничку; хоронили торжественно, с оркестром и залпами красноармейцев над свежей могилой, — концы в воду...

Зимой двадцать четвертого к нему в Тбилиси позвонил Сталин и предупредил, что он, Берия, новый председатель ГрузЧК, головой отвечает за безопасность и *времяпрепровождение* Льва Давыдовича, лечившегося в Сухуми: «Ни на шаг не отпускать, голову снимем, если что, — сами знаете, как еще сильны меньшевики в Закавказье, докладывать каждый день...»

Он докладывал — по телефону. Он понимал, чего ждет от него Сталин, но официальные рапорты подписывал его заместитель: еще не ясно было, куда повернется дело, — с армией шутки плохи, а Лев Давыдович — наркомвоенмор, Троцкий есть Троцкий, признанный вождь Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Но после того, как Зиновьев и Каменев в двадцать пятом году выступили против Сталина, объявив на Четырнадцатом съезде, что он не может руководить штабом партии, а Троцкий промолчал, не поддержал, отдав их, таким образом, на заклание Кобе и Бухарину, после того, как *леваки* потеряли свои позиции в ЦК, Берия до конца убедился: время колебаний кончилось, ставка сделана окончательно.

Поэтому, когда в Тбилиси приехал Каменев, остававшийся еще членом ЦК, Берия устроил роскошный стол (был искренне потрясен прекрасным грузинским, на котором говорил Каменев, — родился-то здесь, воспитывался среди грузин), поднимал тосты за друга Ильича, возглавившего

Институт Маркса — Ленина, и редактора собрания сочинений незабвенного вождя.

Назавтра подвел к нему двух осведомителей, те легко *разговорили* Льва Борисовича, мнения своего о Сталине он не скрывал, подчеркивал свою дружбу с Мдивани и Махарадзе, врагами Кобы; этот материал Берия сам отвез Сталину и вручил в руки.

...С затаенным восхищением Берия наблюдал за тем, как на Политбюро Вознесенский — единственный из всех — спокойно и уверенно возражал Сталину, спорил с ним, оперируя цифрами и фактами. Старец с нескрываемой любовью смотрел на *профессора*, соглашался с ним, конечно же, не всегда, но явно выделял его своим уважительным вниманием; однажды, в отсутствие Вознесенского, заметил: «Надо подумать, не дать ли ему Сталинскую премию за его брошюру о военной экономике... Хотя она отнюдь не бесспорна, но человек хорошо поработал, сам написал — не помощники...»

Если он — единственный из членов ПБ — получит премию, трудно предугадать, что может произойти в дальнейшем, тем более Кузнецов и Вознесенский — ленинградцы, одна шайка-лейка.

Вознесенский и Кузнецов и, конечно, Жданов должны уйти — в этом спасение. Но эту операцию должен провести другой человек, нужна комбинация; на мне нет ни одного политического процесса в стране, и я не намерен их на себя брать, я лишь убрал Троцкого и Кривицкого. Старцу это нравилось, обожает интригу, а разведка — это *долгая* интрига, комбинация может развиваться годами, а то и десятилетиями...

Берия понимал: если компрометирующие материалы на соперников будут подобраны, если придет время для *операции*, следствием которой будут арест, пытки, суд и расстрел, все это захотят взвалить на него. Но Вознесенский и Кузнецов не признаются в шпионстве, их не обманешь, как Пятакова и Рыкова, не сломишь, как Радека и Раковского, не уговоришь, как Ягоду и Буланова... Они прекрасно понимают, что никакое признание не сохранит им жизнь; лучше уж погибнуть, как Постышев, Эйхе или Чубарь, — безмолвно, хоть публичного позора не будет, зато *вопросы* в народе останутся, а любой вопрос рано или поздно родит ответ, нет ничего безответного в этом мире.

Именно поэтому Берия дважды встретился с Ждановым — один раз приехал к нему на дачу, другой раз — в ЦК, аккуратно подбросил, что курировать атомный проект

и органы не под силу ему, надо выдвигать молодых. Не он, а Суслов назвал Виктора Абакумова — прекрасный работник, хорошо показал себя во время войны, беспредельно предан товарищу Сталину, русский, из бедняцкой семьи, чем не нарком?

Зашел Берия и к Кузнецову (по протоколу ежемесячно заходил к секретарю ЦК, несмотря на то что был членом Политбюро; традиция родилась при Сталине, когда он сформировал свой Секретариат, — на смену Крестинскому и Серебрякову привел Молотова, тот, в свою очередь, подобрал людей по себе; и Зиновьев, приезжавший из Питера, и Рыков с Каменевым считали своим долгом заглянуть к секретарю ЦК — средостение всей текущей работы; с тех пор и пошло), попили чайку с сухариками, Берия поднял тот же вопрос: «Атомный проект забирает все время, надо двигать на Лубянку крепкого человека, кандидатуры у меня нет, назвал бы Гоглидзе или Багирова, но, думаю, целесообразнее назначить русского, нельзя не считаться с настроением великого народа, кровью заслужившего право на главенство в стране...»

Берия знал, что удар, нанесенный Ждановым по Ахматовой и Зощенко, был прелюдией к широкой кампании против интеллектуалов; как обычно, Сталин порекомендовал сначала ударить по русским: «Наши все снесут, не страшно, зато развяжем себе руки в главном». Он тщательно калькулировал возможную реакцию западных друзей, поэтому атаку начинал исподволь, загодя выстраивая линию защиты: «Виноват Жданов, его идея».

Судя по тому, как Сталин после победы правых в Израиле раздраженно бросил ему: «Посмотрите-ка внимательно, чем занимается наш Еврейский антифашистский комитет, народу надоел бесконечный плач израилев», Берия понял, что пришло время готовить компрометирующие материалы на руководителей комитета — Лозовского, Михоэлса, писателей Переца Маркиша и Фефера. Значит — новый процес?

Нет, он не намерен так просто терять ту репутацию, которую наработал в тридцать девятом.

...За день перед тем, как Сталин назначил его заместителем Ежова, — тот уже был отстранен, в наркомате не появлялся, — им был отдан *неподписной* приказ «*почистить*» ежовские подвалы; всю ночь шли расстрелы большевиков, которые вынесли пытки, ни в чем не признавшись; надо уничтожить всех, кто был связан с Орджоникидзе, Постышевым, Эйхе, Косиором, Чубарем; как-никак члены

Политбюро; никаких следов оставлять нельзя — совет Сталина.

Когда наутро Берия доложили, что приказ выполнен, расстреляно восемь тысяч заключенных, он тяжко вздохнул:

— Было сказано «почистить»! Это значит — выпустить людей, а не бесчинствовать! Сейчас же расстрелять всех расстрельщиков, это не люди — исчадия ада...

...Когда в июле сорок первого из Белоруссии привезли командарма Павлова, Берия проговорил с ним всю ночь, благодарил за помощь, которую тот оказывал чекистам с лета тридцать седьмого, обещал защитить его перед товарищем Сталиным; приказ на расстрел подписал не он, а высшее руководство, он лишь подготовил документы.

В сорок четвертом, когда сын наркома авиационной промышленности Шахурина застрелил на лестнице Каменного моста дочку посла Уманского, *аппарат* начал *дуть* дело: вышли на детей Микояна, арестовали, младшему только исполнилось шестнадцать. Берия затаенно ждал, не повалится ли Микоян, как-никак именно Серго и он, ветераны, давали санкцию на его, Берия, вступление в грузинскую партию меньшевиков — естественно, для «нелегальной работы»; Серго, к счастью, нет, а Микоян мог начать копать его прошлое, опасен. Сталин, однако, Микояна не тронул; Берия после заседания ПБ шепнул: «Не волнуйся, Анастас, я позабочусь о мальчиках, они будут хорошо устроены, все обойдется, ты держался мужественно».

...А сейчас — он ощущал это кожей — безумный Старец снова захотел кровавых игрищ, и, если он, Берия, по-прежнему будет шефом Лубянки, следом за этими спектаклями наступит его черед.

Но почему Сталин не убрал Вышинского после процессов, спрашивал себя Берия. Почему, наоборот, он его поднял? Потому, ответил он себе, что Вышинский работал с *трупами*, которые заранее выучивали ответы на его вопросы, а учить эти сумасшедшие ответы их заставляли Ягода и Ежов.

Он вспомнил, как Меркулов, приехав к нему на дачу с докладом, во время прогулки — это было в тридцать девятом — предложил запустить в народ термин «ежовщина»... Через пять дней его люди *обмолвились* в Большом театре после «Кармен», которую пела Верочка Давыдова, назавтра по Москве *поползло*; ничто так стремительно не

распространяется, как слухи, особенно в том обществе, которое лишено информации...

Ежову противопоставляли его, Берия: истинный преемник Дзержинского, ученик Вождя, как при нем спокойно дышится в стране, никаких нарушений закона...

Генерал Рычагов, посмевший грубить Сталину на ПБ в сорок первом, сам обрек себя на пулю; командарма Штерна можно было бы спасти, отрекись он от Блюхера... Но ведь Мерецкова, Рокоссовского и Ванникова спас я, Берия! Армия этого не забудет!

На мне нет процессов, повторил себе Берия, и не должно быть. Пусть это делают другие, а я дам приказ пристрелить их в камере, как Ежова, когда тот метался, падая на колени, а в него всаживали пулю за пулей те два человека, которых назвал Сталин поименно: управделами ЦК Крупин и Панюшкин...

...Когда Виктор Абакумов сел в его кабинет, Берия на Лубянке более не появлялся, работал в Кремле, однако «шарашки» оставил за собой; часто ездил туда, подолгу беседовал с одним из руководителей «Красной капеллы» Шандором Радо, с Туполевым; пил вместе с ними кофе, по-товарищески обсуждал не только текущую работу, но и международные дела; «шарашники» принимали все «голоса», заглушки не было — специфика их научной работы того требовала; с интересом рассматривал Сергея Королева — неуемная фантазия; Сталина посвящать в его идеи нельзя, рано, Старец помнил это имя, слишком рьяно хлопотали Гризодубова и Громов, именно они вытащили его из камеры смертников; если бы не преклонение Сталина перед прославленными летчиками — шлепнули б этого нового Циолковского в одночасье...

...Пусть себе Абакумов работает, пусть ощутит себя хозяином в лавке, все равно каждый шаг нового министра подконтролен: глубинные операции готовят его, Берия, люди, ему, Абакумову, докладывают только то, что он, Берия, санкционирует.

...И вот сейчас перед ним сидят растерянные Деканозов и Комуров, хотя всячески эту свою растерянность стараются скрыть, а он, Берия, понимая, что случилось нечто чрезвычайное, из ряда вон выходящее, неторопливо читает документы, хотя и не видит букв, а просчитывает партитуру предстоящего разговора; он не может не просчитать любой поворот разговора, потому что Деканозов как-никак сидел с Молотовым дверь в дверь; да, через

год-два Молотов потеряет свои позиции, *план* операции разработан, Жемчужина, его жена, станет субъектом еврейской комбинации, выдержка и еще раз выдержка... Деканозов, хоть и предан ему, опасен тем еще, что начал свою политическую жизнь как брат одного из лидеров боевиков армянского «Дашнакцутюн»; оружием делился с Литвиновым и через него — с Камо и Кобой. Старец благоволит к нему, до сих пор называет так, как писали о брате в сводках охранки, — «Деканози»... Проклятье какое-то, никому нельзя верить, никому и ни при каких обстоятельствах...

...Отложив наконец красные и синие папки, Берия снял пенсне, потер веки, улыбнулся визитерам своей неожиданной чарующей улыбкой и спросил:

— Что стряслось?

Деканозов и Комуров переглянулись: видимо, так и не решили, кто будет докладывать.

— Разрешите, начну я, Лаврентий Павлович, — несколько растерянно сказал Деканозов. — Богдан дополнит и поправит, если я в чем не прав.

— Давайте, слушаю...

— Вы, конечно, помните «девятого»? Он же Юстас? Работал в Берлине, у Шелленберга...

Берия ответил не сразу, ибо допускал мысль, что Абакумов мог всадить и к нему в кабинет прослушку — по просьбе Старика, конечно же, ведь он, Берия, ставил «жучки» у Молотова, Кагановича, Жданова, Ворошилова — деспот хотел знать, о чем его гвардия говорит дома, в кабинете, на даче, почему бы сейчас не послушать и его, Берия?

— Нет, — ответил *маршал*, хотя вроде бы ему что-то рассказывал Меркулов, особенно нажимая на то, что отец полковника ЧК был членом меньшевистского центрального комитета. Берия тогда поинтересовался его судьбою: когда посажен? Меркулов ответил, что старший Владимиров погиб в двадцать первом от белобандитской пули, активную работу в партии прекратил еще в феврале восемнадцатого, был вполне лоялен, судя по сохранившимся документам.

— А кто эти документы готовил? — задумчиво спросил тогда Берия. — Какие-нибудь Александровичи, Уншлихты или Кедровы с Бокиями? Вы его вызовите сюда, этого Юстаса, пусть на него здесь поглядят, дома человек лучше виден, чем за кордоном...

Именно тогда Исаеву и была отправлена шифровка

с просьбой вернуться, но связь с ним оборвалась, восстановилась только во время югославского кризиса, в апреле сорок первого. Вызывать его не стали, ибо Берия уже тогда точно знал, что Гитлер начнет войну именно двадцать второго июня, информация была абсолютной, но повторить это Хозяину было безумием, тот впадал в ярость, мог бросить в камеру, поднять на дыбу, уничтожить...

— Вы помните, Лаврентий Павлович, — тихо сказал Комуров. — Мы по вашему указанию готовили на него вхождение на звание Героя за срыв переговоров в Швейцарии между Даллесом и немцами...

— А почему вы, собственно, явились ко мне, а не пошли с этим вопросом к Абакумову? — Берия сыграл удивление. — Я сейчас позвоню к нему, проведите совещание, а потом, если решите посоветоваться, приезжайте втроем, зачем игнорировать наркома?

Деканозов, видимо, понял те мотивы, которые вынуждали Берия вести себя именно так.

— Поскольку Абакумов, — сказал он, — в ту пору, когда работал Штирлиц, занимался СМЕРШем, мы не хотим ставить наркома в неловкое положение...

Комуров, однако, гнул свое:

— Виктор не ориентируется в этой ситуации, Лаврентий Павлович... А если поймет, то может повернуть дело не туда, куда следует.

Берия резко поднялся из-за стола:

— Ты свои интриги брось! Что это за батумские штучки?! Одно дело делаете!

Спрятав папки в сейф, вызвал Саркисова:

— Позвони на дачу, пусть накроют стол на троих, голова разваливается, хоть часок воздухом подышу, — и пошел к двери, бросив Деканозову и Комурову: — Едем, я вам там мозги прочищу, интриганы...

Только в машине, отделившись от шофера и охранника толстым стеклом, Берия сказал:

— Ну, выкладывайте...

— Инициатором ареста этого самого Исаева был я, Лаврентий Павлович, — сказал Деканозов. — Богдан лишь подписал ордер... Дело в том, что он может оказаться ключевой фигурой в деле Валленберга, а вы знаете, как Иосиф Виссарионович относится к этому дурацкому инциденту...

— Это не дурацкий инцидент, — возразил Комуров. — Мы были готовы отдать Валленберга шведам, но Абакумов

лично вывез его из Будапешта в Москву и начал мять, выбивая признание, что тот работал на гестапо... Ну и домял — мы его с трудом отходили...

— Что у вас есть на Исаева? — спросил Берия.

— Обращение к Кузнецову и Лозовскому, — ответил Деканозов. — То есть связь с врагами... С будущими врагами народа... Это первое. Признание, что он является сторонником Тито, — два... Остальное довольно топорно сработал Влодимирский, он теперь, — Деканозов усмехнулся, — «Аркадий Аркадьевич»... Есть признание, что встречался с Троцким, называл его «вождем РККА»... Курит фимиам Тито... Есть обязательство «работать на англичан», подобраны апрельские шифровки из Берлина, чтобы мы переводили деньги на его имя в Парагвай...

Берия досадливо перебил Деканозова:

— Если мне не изменяет память, Меркулов считал это игрой...

Комуров вздохнул:

— Кстати, он еще там, в Южной Америке, в нашем посольстве стал просить, чтобы мы немедленно забрали Мюллера, давал координаты... Но ведь сидят-то на местах анкетные дуболомы, что для них Мюллер?

— Кто назначал этих людей? — спросил Берия заинтересованно.

— Мы, Наркоминдел, — ответил Деканозов. — Но виза Абакумова есть.

— Подготовьте мне записку, — сказал Берия.

...На даче и в своем особняке на улице Качалова Берия не опасался подслушки (вернее, не в такой мере, чтобы *непереступаемо* избегать рискованных разговоров); поскольку приглашал к себе Курчатова, реабилитированного Ландау, Микулина, других ученых, он ввел в личную охрану *своего* инженера, который контролировал возможность проникновения «вражеских технических спецслужб»; абакумовские «жучки» обнаружили бы неминуемо; в Кремле такого рода профилактика была недопустима — хотя Сталин давно уж не жил здесь, перебравшись на Ближнюю дачу, но работать приезжал сюда — немедленно б настучали...

Сев за стол, Берия, тем не менее, машинально включил приемник и разговор продолжил, потому что в голове его что-то зрело, тяжело, сумрачно ворочаясь, словно жернова гигантской мельницы прилаживались друг к другу...

Валленберг интересовал его в такой же мере, как и Сталина; Швеция до сих пор поднимала вопрос о своем

выкраденном дипломате; зимой сорок пятого посол в Стокгольме Александра Коллонтай, да и сам Деканозов заверили шведские власти, что Валленберг находится в Будапеште под охраной советских войск; как только кончатся уличные бои, его отправят домой, нет никаких оснований для беспокойства.

Однако Абакумов вывез Валленберга в Москву; швед действительно ничего не знал, кроме того, что переговоры с нацистами о спасении обреченных узников концлагерей ведут и американцы в Швейцарии.

Абакумов навалился на Валленберга со всей яростью, на какую был способен, несчастный оказался в госпитале, шведы продолжали требовать ответа от Москвы, к Сталину обратился министр иностранных дел Трюгве Ли, который должен был стать генеральным секретарем Объединенных Наций.

— Что со шведом? — раздраженно спросил Сталин, вызвав Берия. — Почему Коллонтай признала, что он у нас? Он действительно здесь? Если был гестаповским агентом — выведите на процесс, пригласите прессу, найдите свидетелей, не мне вас учить...

Но вскоре разразился очередной кризис в Берлине, не до шведа; потом Берия аккуратно *отошел* от Лубянки, а сейчас — в связи с делом этого банкира — Исаев обещает опубликовать книгу о беседах Деканозова с Герингом и Риббентропом... Деканозов его человек, сидел у Молотова в конечном-то счете как связник; значит, если книга действительно выйдет, будет нанесен удар по нему, Берия, потому что он — прямо или опосредованно — руководил работой аппарата, когда этот чертов Штирлиц был в рейхе, единственный внедренный в РСХА...

— Ну хорошо, — выслушав гостей, задумчиво произнес Берия, — а что, собственно, он мог знать о нас, кроме девок Деканозова и его бесед с Герингом? Что нам Геринг? Отвергнем, и все тут! Фальсификация истории, провокация господ империалистов! На девок и вовсе отвечать не будем, грязные сплетни. Что он мог знать еще?

— Он мог знать все об операции по устранению Лейбы, — сказал Комуров.

Берия нахмурился, не сразу его поняв, потом усмехнулся:

— Троцкого, что ль? Лейба... Во сколько миллионов стал нам этот Лейба... Ну написал Лейба книгу о Хозяине — гнусную, клеветническую, напечатали ее, а каков результат? Пшик! Ноль! Умные люди даже обернули ее

в нашу пользу: «Смертельный враг диктатора пишет о нем с уважением...»

— Он может знать и наверняка знает о наших *деловых* подходах к Гитлеру начиная с тридцать пятого, — сказал Деканозов.

— Вы имеете в виду Дадиани?

— Да...

— Что еще?

— Секретные протоколы, подписанные Молотовым и Риббентропом, уничтожение нашей агентурной цепи в Германии, приказ о прекращении работы по национал-социализму... — Деканозов вздохнул. — Он знает много, Лаврентий Павлович... Он пересекался с Орловым, который исчез из Испании и которого мы не можем найти... Орлов знал такое, от чего волосы встанут дыбом, открой он это...

— Так заставьте этого Исаева рассказать, что он написал! — Берия не мог скрыть раздражения. — Что, разучились работать?!

— Он не развалится, — убежденно сказал Комуров. — Вариант Постышева.

— А фармакология зачем?! — Берия принялся за жареного поросенка. — Возьмите показания, выкупите его рукопись, неужели трудно составить план и решить его? Денег не пожалеем, деньги решают все.

— Лаврентий Павлович, тут особый случай, — снова возразил Деканозов. — По словам Исаева, рукопись в сейфе, в Лос-Анджелесе... Его друзья и адвокаты имеют право отдать папку только ему и лишь в Америке...

— А если он блефует? — спросил Берия. — Вы такое допускаете?

— А если его книгу все же напечатают?

Берия усмехнулся:

— Боитесь, расскажет о ваших берлинских девках? За такое Хозяин действительно спустит шкуру...

— Но ведь представление на меня, как на посла в рейхе, писал не Молотов, а вы...

Берия неторопливо доел поросенка, отставил тарелку и, тщательно вытерев руки туго накрахмаленной салфеткой, негромко заметил:

— Товарищ заместитель министра иностранных дел, а ведь у порядочных людей это называется шантажом. — И, перейдя на крик, рубанул: — А ну, вон из-за стола, мамацгали! Прочь отсюда!

Деканозов медленно поднялся, вышел из-за стола и, согбенный, приниженный, покинул комнату.

— Что ты предлагаешь? — Берия обернулся к Комурову.

— У нас его жена и сын. Вернее, не то чтобы жена — мать его сына, так точней... Но она старуха, с ней перестарались... И с сыном тоже, парень свернул с ума... А этот Владимиров отказывается работать с Валленбергом, если мы не дадим ему свидания с сыном...

— Он русский?

— Да.

— А если отпустить его бабу и придурка?

— Во-первых, он не поверит... Во-вторых, судя по его словам, он должен периодически приглашать американцев, чтобы они не опубликовали его вещь...

— Да ну и пусть! — взъярился Берия. — Плевать мы хотели!

Комуров покачал головой:

— Первые недели он сидел у нас на даче и диктовал о своей работе, Лаврентий Павлович... У него такие *выходы*, которых нет и не было ни у кого из наших... То, *как* он описал убийство Рэма и Штрассера, — всего в паре абзацев, — целиком проецируется на дело Кирова... И это он писал не в камере, а на даче, ожидая, когда мы «подготовим» семью к встрече... Я взял с собою расшифровку, — Комуров вышел в холл, достал из папки рукопись, отдал Берия. — Он был знаком с Каменевым, Бухариным, Крестинским; Дзержинский действительно подписывал на него приказы, и — самое неприятное — мы нашли представление Дзержинского на Красное Знамя этому Владимирову-Исаеву... И Указ ВЦИКа... Мы нашли это только вчера...

— Поезжай на хозяйство, — сказал Берия. — Рукопись я погляжу... Деканози скажи, что приму через неделю, но чтобы он не входил ко мне, а вползал на пузе... Исаева посади к Валленбергегу...

— Стоит ли?

— А что? Плох швед?

— Да.

— Но голова варит?

— Даже слишком.

— Замечательно. Пиши не то что каждое их слово, а даже вздох. В воскресенье буду готов к разговору, — и Берия показал глазами на папку Максима Максимовича.

...В Кремль Берия не вернулся: не мог оторваться от *работы* Исаева; закончил в пять утра, долго ходил по своему сосновому бору, досадливо махнув Саркисову и двум охранникам, чтобы шли прочь, — постоянно маячили за ним затаенными тенями.

«А ведь только один человек, дай ему пистолет в руки, пустит пулю в лоб Старца, — очень медленно, пугаясь самого себя, Берия произнес эти страшные слова и снова оглянулся, не сорвалось ли с языка. — Вот оно, избавление от безумного деспота! Вот какую комбинацию бы разыграть! Вот бы что *сунуть* Абакумову!»

Ах, Егор, Егор! Как же не хватает тебя, Маленков! Один я, один...

Тогда-то он и сказал себе: «Исаева к такому делу надо готовить впрок, а вот если я не верну в Москву Маленкова, — в самое ближайшее время, — моя карьера кончена, Старец сделался полным психом, настроение меняется пять раз на день, ужас...»

11

Назавтра Исаева перевели в другую камеру; не успели надзиратели закрыть дверь (что-то сразу удивило в том, какой была эта камера), как стремительная, словно выстрел, догадка отторгла удивление: перед ним был изможденный, поседевший, лимоннолицый Рауль Валленберг.

Он стоял под оконцем, едва пропускавшим свет, прислонившись к стене так, словно хотел вжаться в нее, исчезнуть, и неотрывно смотрел на двух надзирателей: в глазах у него был ужас, сменившийся тяжелой ненавистью.

Только оторвавшись от лица Валленберга, Максим Максимович понял, что его удивило: стены и даже дверь были обиты войлоком; койки — деревянные, шаткие; видимо, узник пытался разбить голову о стену, понял Исаев, несчастный парень...

— Здравствуйте, — сказал он по-русски.

Валленберг молча кивнул.

— Русский еще не выучили?

Валленберг непонимающе пожал плечами, внимательно вглядываясь в лицо Исаева; потом спросил по-немецки:

— Мы не могли с вами где-то встречаться?

Исаев ответил по-английски:

— Мы встречались... То ли в вашем берлинском посольстве, то ли на Вильгельмштрассе, в министерстве иностранных дел, у Вайцзекера... И, пожалуйста, не говорите со мной о вашем деле, я не отвечу ни на один ваш вопрос и не дам ни единого совета: каждое наше слово записывается...

Валленберг усмехнулся:

— Я знаю... Мне подсаживали многих... Только они... Сначала я вообще ничего не понимал, теперь — знаю, что к чему... Вы отказываетесь говорить со мною вообще? Или найдем какую-то нейтральную тему?

— Нейтральную тему найдем... По вашему усмотрению...

— Последние семь месяцев я сижу один... Начал беседовать с самим собою.... Первый шаг в шизофрению...

— Отнюдь... Каждый человек постоянно говорит сам с собою... Неважно — про себя или вслух...

— Думаете, я еще не стал пациентом дома умалишенных?

— Я не психиатр, господин Валленберг...

— Вы не представились... Как мне к вам обращаться?

— Называйте меня сокамерник. Так будет лучше — в первую очередь для вас... «Мистер сокамерник» — прекрасное словосочетание...

Заметив книгу, лежавшую на койке Валленберга, удивился:

— А мне отказали в праве пользования библиотекой... Вы — счастливчик...

— Это Библия... Прекрасное издание, странный дар главного следователя, это ведь здесь запрещенная литература.

— Позвольте взглянуть?

— Конечно... Вы шотландец или англичанин?

Исаев сухо ответил:

— Я сокамерник... Мы же уговорились... Ладно? Вам днем лежать разрешают?

— В последнее время — да... Раньше я *стоял*... Вы давно здесь?

Исаев взял Библию, лег на свою койку, начал листать страницы; сразу же обратил внимание на то,

как кто-то отчеркивал на полях ногтем целые фрагменты.

В дверь забарабанили:

— Заключенный номер сорок, вам днем лежать запрещено!

Исаев, словно бы не поняв надзирателя, вопросительно посмотрел на Валленберга, по-прежнему стоявшего у «намордникового» окна; тот пожал плечами:

— Мне такое кричали первые полтора года... По-моему, требуют, чтобы вы поднялись...

— Вы же не знаете русского...

— Это не обязательно... Вам объяснят иначе...

— Лежать запрещено! — повторил надзиратель. — Ясно?! За нарушение режима отправим в карцер!

— Вас в карцер сажали? — поинтересовался Исаев.

Валленберг ответил с усмешкой:

— Здесь в карцеры *ставят*, сокамерник... Это шкаф, повторяющий человеческое тело; на вторые сутки вы теряете сознание... Стакан воды и ломоть хлеба в день... Мой дядя так мечтал похудеть... Ограничивал себя в еде, два часа в день скакал на моем Пауле, невероятно сноровистый жеребец, плавал, двухчасовой массаж — ничего не помогало бедняге... Ему бы три дня карцера, прекрасная метода для похудания...

«Дурачок, — сострадающе подумал Исаев, — зачем ты даешь столько подробностей тем, кто тебя слушает? Жеребец Пауль — сладкая подробность, ее могут использовать через пару-тройку месяцев, когда ты забудешь о том, что сам назвал своего жеребца, тебя эти подробности могут ошеломить, — как узнали?! — тут-то тебя и начнут колоть вопросами...»

Исаев притулился к стене; как прекрасно, что обито войлоком, в спину не вползает могильный холод. Нежданный подарок, подумал он, странно, отчего мне не разрешено *лежать*? В моей камере это не возбранялось; видимо, *игра* уже началась — из меня делают жертву, подчеркивая блага, разрешенные Валленбергу. Ну-ну, пусть себе... Они *играют*, и мы поиграем...

Исаев снова начал листать страницы, обращая внимание на следы ногтя; я так гадал, вспомнил он, нет ничего надежнее, чем гадание на Библии, великая книга, каждая строка таит в себе многосмыслие...

— Ваши пометки? — спросил Исаев, кивнув на открытую наугад страницу.

— Мои легкие... Я отчеркивал мизинцем, другие,

резкие, — генерала Власова, он неплохо понимал немецкий...

— Встречались?

— День в камере и три раза на очной ставке.

Исаев заметил глубокий, резкий ноготь в «Книге Пророка Иезекииля»: «Сын человеческий! Когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими... Я излил на них гнев Мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они осквернили ее идолами своими... И Я рассеял их по народам, и они развеяны по землям; Я судил их по путям их и по делам их... И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя Мое, потому что о них говорят: «они — народ Господа и вышли из земли Его...» И пожалел Я святое имя Мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел...»

Резкое отчеркивание Власова обрывалось именно здесь; следом шел аккуратный, едва заметный мизинец; Исаев невольно посмотрел на руки, бессильно висевшие вдоль тела Валленберга: длинные, тонкие пальцы, синеватые ногти, как у всех, страдающих малокровием, достаточно ровно подстриженные (неужели ему дают ножницы? Нет, наверное, обкусывает, как и я, только у него это получается лучше; впрочем, понятно: он сидит уж не первый год, опыт — дело наживное, научусь и я, если не шлепнут в ближайшие недели).

Валленберг подчеркнул те абзацы, которые шли всего через несколько строк после того, что яростно *вмял* Власов: «Когда явлю на вас святость Мою... возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу... и окроплю вас чистою водою — и вы очиститесь от всех скверн ваших, и ото всех идолов ваших очищу вас... И будете жить на земле, котору Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом».

Исаев начал листать дальше, ощущая неведомую ему ранее радость от чтения этой *рваной*, но при этом литой, единой прозы.

И снова резкое отчеркивание Власова из «Левита»: «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними; ибо Я Господь, Бог ваш... Если вы будете поступать по уставам Моим... Я дам вам дожди в свое время,

и земля даст произрастания свои... Если же не послушаете Меня... вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города разрушены... Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их... и падут, когда никто не преследует... И не будет у вас силы противостоять врагам вашим... И погибнете между народами и пожрет вас земля врагов ваших».

Как бы в пику ногтю Власова — мизинец Валленберга: «И тогда как они будут в земле врагов их, — Я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить завет Мой с ними; ибо Я Господь, Бог их... Вспомню для них завет с предками, которых вывел Я из земли Египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом».

Исаев поднял глаза на Валленберга:

— Молчаливые диалоги.

Тот кивнул.

— Поглядите Псалтырь... Пятьдесят девятый псалом...

Исаев закрыл на мгновение глаза, потер веки, прочитал на память:

— «Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины...» Вы это имели в виду?

Валленберг не мог скрыть восхищенного изумления:

— Знаете, все, кого ко мне подсаживали, сразу же начинали рассказывать о себе и спрашивать совета, как поступить... Потом начинали интересоваться мною... Изощренная постепенность. Вы — совершенно новое качество, интересно... Кстати, в этом же псалме заложено все «Откровение» Иоанна: «Ты потряс землю, *разбил* ее... Исцели повреждения ее, ибо она колеблется»... Но, прежде чем заглянете в «Откровение», вернитесь в «Иезекииль», по-моему, тридцать шестая глава...

— Смотрел...

— Вас заинтересовали подчеркивания *посередине*, я следил за вашими глазами... А вы посмотрите начало... Не ищите, я прочитаю вслух, вы меня ошеломили своей догадливой памятью, извольте изумиться моей, — Валленберг кашлянул, и Максим Максимович увидел в его глазах *открытость;* раньше ее не было, напряженная сосредоточенность.

— «...За то, именно за то, что опустошают вас

и поглощают вас со всех сторон, — начал Валленберг, — чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей, — за это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога... Я поднял руку Мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой». Разве подобное не случилось с Германией? Я ведь именно поэтому и начал свою работу в...

Исаев резко прервал его:

— Мы же уговорились! Никаких бесед о наших с вами *работах*...

Валленберг пожал плечами:

— А мы, кстати, только и делаем, что говорим о моей работе... Следование заветам Библии — вот моя работа...

— Вы более всего оперируете Ветхим Заветом, — заметил Исаев. — Как быть с Новым?

— Его исказили переписчики начала тысячелетия, — уверенно ответил Валленберг. — Тогда уже зрела неоформившаяся, зыбкая идея Святой Инквизиции... Но и в Новом Завете я готов оперировать словами Апостола Павла: «Спрашиваю: неужели Бог отверг народ свой? Никак! Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который Он наперед знал...»

Исаев нашел это место в Послании Апостола Павла Римлянам, прочитал стремительно, вбирающе, *разом;* только особо нужные ему места он перечитывал неделями, чтобы остались навсегда в памяти.

С Валленбергом можно спорить, подумал он; именно с ним, не с Павлом; Апостол — это уже политика, а не великая проза; поэтому зачитал:

— «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога; существующие же от Бога власти установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение...» Не кажется ли вам, что это не ошибка переписчиков, но включение экономических рычагов власти, начало борьбы за первенство?

— В какой-то мере вы правы, — кивнул Валленберг, — но следующая фраза возвращает нас к истине Божьей: «Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых»... Разве это оправдание зла? Политика таит в себе оправдание любого злодеяния, примат силы постоянен,

особенно, — он вздохнул, — при наличии хорошего пропагандистского аппарата...

— И да и нет, — ответил Исаев, медленно перелистывая Библию. — Смотрите, вот вам Пророк Малахия, последние строки Ветхого Завета: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы — весь народ — обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф...» Заметьте себе, это Ветхий Завет. И речь идет не о духе, но о *пище*...

— Тогда цитируйте дальше, — возразил Валленберг. — «Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: «что́ мы говорим против Тебя?» Вы говорите: «тщетно служение Богу, и что́ пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Разве это политика?

— Это бунт, — сказал Исаев. — Заключительный аккорд той политики, которая завела общество в тупик... Безвыходность, убитые надежды — дрожжи бунта... Или революции, если проецировать Святое писание на последние столетия, начиная с Конституции Северо-Американских Штатов, кончая русской революцией. Точнее говоря, *революциями*...

— То есть? — Валленберг не понял. — Почему множественное число?

— Потому что их было за четверть века четыре: девятьсот пятый год, февраль, октябрь... Это революции естественные, некие термодинамические *взрывы* общества... Была и революция *сверху*, двадцать девятый год,— геноцид против самых талантливых и работящих подданных, проведенный самим правительством. Ужасающий феномен, меньшинство уничтожает большинство, превращая страну в пустыню. Что же касается политики, то все Святые Благовествования — политические манифесты... Блистательная проза — верно; прозрение — да; проповедь нравственности — бесспорно, но политика присутствует в них, ибо видна тенденция... Матфей еще пытался примирить Ветхий Завет с новыми временами, он еще мог начинать с фразы: «Родословная Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил

Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его...» И ведь не кто-нибудь, по Матфею, а именно Ангел Господень сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их». И только после этого появляется Иоанн, который крестит Иисуса...

— Верно, — Валленберг ответил не сразу. — Святой Марк вообще начинает не с Иисуса, а с Иоанна Крестителя... Интересно... Я это как-то пропустил, потому что растворился в строках, шел за Словом, не позволяя себе обсуждать его...

Исаев подумал: «Хоть какое-то оправдание и для меня; я шел за *изменениями* в нашей истории, растворяя себя в них... Значит, наша Идея превратилась в религию? Так, что ли? Учитывая образование Сталина, можно допустить и такой поворот сюжета...»

— А вспомните «Благовестие от Иоанна»? — предложил Исаев.

Валленберг отошел наконец от стены, сел на свою койку и, закрыв глаза, продекламировал:

— «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков... Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн... И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников... спросить его: кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос... Я глас вопиющего в пустыне... И они спросили его: что́ же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас *некто*, Которого вы не знаете...» На другой день Иоанн видит Иисуса и говорит: „...Вот Агнец Божий, Который берет на *Себя* грех мира"...»

Исаев, следивший по тексту за той концепцией, которую Валленберг *выбирал* из Иоанна, отложил Библию и, презирая себя, хрустнул пальцами — ничего не мог поделать с собою, этот *звук* в одиночке сделался необходимым ему, словно бы свидетельствующим то, что он жив и что звон курантов не мерещится ему, а есть явь...

— Вы действительно плывете за строками, — сказал он, — вы блестяще декламируете, ни в одной церкви я не слыхал такого наполнения фраз Священного писания человеческим Духом, Верой, стоической убежденностью... Но вы все же позволяете увлекать себя потоку — пусть даже гениальному... Глядите-ка, Иоанн ни слова не гово-

рит о предках Иисуса, во-первых, и, во-вторых, называет его тем, кто примет на себя «*грех мира*»... О народе или народах нет ни слова, речь идет о *мире*... Это — начало притирки светских властей с Верой, ставшей необходимой человечеству, ибо владыки не знали, где найти выход из постоянных кризисных ситуаций. Позже, в послании Павла Колоссянам, он уже требует: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу...» Не отсюда ли надо отсчитывать идею монополии на единственную правду? Не в этом ли пассаже сокрыт будущий запрет на диспут, соревнование разных точек зрения, на *мысль*, наконец?! Разве Павел свободен от политики, когда он обращается к пастве со словами: «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим во плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога...»

— Вы католик? — спросил Валленберг.

Исаев долго молчал, ответил грустно:

— До недавнего времени я искал в Библии ответы на вопросы истории, политики и экономики... Да, да, это так... По-моему, кстати, Власов отмечал для себя пассажи, примирявшие идеологию, которую он исповедовал в рейхе, с определенными фразами Великой Книги... У меня отобрали очки, руки устают держать книгу в метре от глаз, трясутся... У вас зрение хорошее?

— Левый глаз теперь совсем не видит, — ответил Валленберг сухо. — Уже как полгода... Полная потеря зрения... Правый — абсолютен... Читаю без очков... Стараюсь заучить всю Библию наизусть — кто знает, что меня ждет через мгновение?

Исаев вспомнил пастора Шлага, его лицо, маленькую, не по росту, кацавеечку, вспомнил, как старик неловко шагал на лыжах по весеннему снегу, перебираясь в Швейцарию, на *связь* с его, Штирлица, Центром, вспомнил, как тот бранил француженку Эдит Пиаф: «Какое падение нравов, это не музыка, только Бах вечен»; почувствовал, как кровь прилила к щекам (неужели я сейчас покраснел?); заново услыхав запись разговора Шлага с *его,* Штирлица, провокатором Клаусом, когда пастор недоумевающе, с обидой в голосе, спрашивал: «Разве можно проецировать прекрасную библейскую притчу на национал-социалистическое государство? Это подобно тому, как логарифмической линейкой забивать гвозди»; представил себе лицо провокатора, который ликующе-позволительно

издевался: «А что же вы, пастырь божий, молчите, когда вокруг вас творится зло, когда нацисты жгут невинных в печах?! Где ваша Христова правда?!» Эти видения пронеслись у него перед глазами, и он вдруг почувствовал себя в своем доме под Бабельсбергом, даже запахи ощутил — каминного дымка, жареного кофе и сухой кёльнской воды в ванной комнате.

Неужели это было, спросил он себя. Неужели ты действительно был таким, каким *был*? Неужели ты тогда жил без сомнений и тягостных раздумий о судьбе твоей страны, о трагедии, которая на нее обрушилась?

Да, ответил он себе, я жил тогда именно так, я был весь в борьбе, а если ты убежден в том, что обязан сделать все, чтобы уничтожить нацизм, ты не имел права на сомнения, война исключает любую форму сомнений, долг становится самодовлеющей формулой духа... Ой ли? Ведь так отвечал Гудериан в Нюрнберге... Да, но Гитлер никого, кроме группы Рэма и Штрассера, не расстрелял, он не убивал *своих*; пара тысяч — не в счет; *дал* убить Гейдриха, убедившись в том, что он не *свой* — в жилах течет еврейская кровь деда... А в Испании? Я и тогда ни в чем не сомневался? Да, я гнал сомнения, потому что видел франкизм как «советник РСХА» изнутри, во всем его ужасе... Но ты ведь знал, что наши дрались против троцкистских бригад ПОУМ, которые стояли насмерть против фашистов и сражались отменно, до последнего патрона? Ты что, не читал сводок Франко о том, как яростно сражались троцкисты? Не видел, как они гордо держались на допросах и шли на расстрел с криками: «Да здравствует коммунизм! Да здравствует Четвертый Интернационал! Смерть фашизму! Но пасаран!»

Ох, не надо, не надо об этом, взмолился он и неожиданно для себя впервые в жизни услыхал в себе мольбу: «Господи, прости меня, прости!» И, моля прощения себе, он видел лица Сашеньки и Саньки, Гриши Сыроежкина, Станислава Уншлихта, Михаила Кедрова, Гриши Беленького, Артура Артузова, Яна Берзиня... А Лев Борисович? А Бухарин? Кольцов? Радек? Крестинский?

— Вы себя дурно чувствуете? — спросил Валленберг.

— Нет, отнюдь...

— Очень побледнели...

— Бывает, — ответил Исаев. — Пройдет... Как это в Притчах? «Не говори: „я отплачу за зло"; предоставь Господу, и он сохранит тебя...»

Валленберг несколько раз быстро глянул на Исаева:

— Вам легче, по ушам вижу... Они у вас какое-то мгновение были желтыми, сейчас стали нормальными, отпустило?

— Да.

— Поэтому я вам отвечу другой притчей: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?»

Исаев снова почувствовал, как похолодели пальцы и замолотило сердце:

— Не помните, на какой это странице?

— Или в двадцать третьей, или в двадцать пятой главе, страницу не помню, у меня «поглавная метода»...

Исаев отставил книгу от глаз еще дальше, чтобы не так сливались, подрагивая, строки, нашел притчу номер одиннадцать. Следом было напечатано: «Скажешь ли: „вот, мы не знали этого?» А Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его...»

Вслушиваясь в прекрасную музыку *слов*, Исаев спросил себя: «Но почему же американская революция сражалась против англо-французских колонизаторов вместе с церковью? Священники там были подвижниками идеи «свободы и равенства», а французы, громя Бастилию, гонялись за аббатами с веревками, распевая песни Беранже про то, что последнего короля надо повесить вместе с последним попом... Отчего в пятом году наши люди шли за Гапоном? А в семнадцатом восстали против церкви так же яростно, как и против самодержавия? Только ли потому, что Бурцев разоблачил Гапона, которого завербовала охранка? Или оттого, что наша церковь, ее пастыри всегда шли с властью рука об руку? И звали к повиновению даже тогда, когда здравый смысл подсказывал: зовите паству к противостоянию государевой неправде, которая влечет страну в пропасть. Ведь если бы церковь объединилась с Гучковым, Путиловым, Милюковым, Родзянко, февральского взрыва могло б и не быть... А они поддерживали малограмотных фанатиков «великорусской идеи»... Если бы не женщины, выстоявшие три дня в пуржистых очередях за хлебом, пошли в центр города, а мудрые и *независимые* священники повели за собою паству, кто знает, как бы повернулась история?!»

12

Виктор Абакумов, министр государственной безопасности СССР, карьеру сделал головокружительную, как и все те, на кого *поставили* за год до начала Большого Террора аппаратчики Маленкова.

Казалось бы, его восхождение было случайным, вне логики и здравого смысла.

Однако же так могло показаться лишь тем, кто не знал Сталина, а его по-настоящему не знал никто.

Порою и сам Сталин во время тяжкой бессонницы поражался себе и тем словам, которые произносил днем: каждому находил свои, единственно нужные, спроецированные в Историю; иногда он ломал собеседника, порою подстраивался к нему, очаровывая; изредка готовился загодя, писал черновики, особенно когда встречался с писателями, зная, что это уйдет в Память — будущее Евангелие от Иосифа; с людьми академической науки встреч избегал, понимая свою неподготовленность, зато часто приглашал авиаконструкторов — практики, живут реальностью, а не таинством формул.

Он благодарил судьбу за то, что получил теологическое образование: ничто так не логично и бесстрашно, как школа трактовки слов и мыслей, заложенных в догматах церкви. Действительно, наука после поражения Святой инквизиции теснила религию по всем направлениям, опровергала святые изначалия, доказав вращение Земли вокруг Солнца, навязав человечеству электричество, выдвинув теорию тяготения, а затем — относительности, подняв человека в небо и научившись передавать голос на расстояние в тысячи километров. Надо было *обойти* все эти новшества, ранее караемые смертью фанатичными инквизиторами; необходимо было придумать объяснения случившемуся, сложить легенды о чудесном Прошлом; русские люди сказки любят, поменять бы только Иванушку-Дурачка на Ивана-Умницу, как можно было разрешить такое самоуничижение?! Надо уметь породить в пастве сомнения во всем новом, подчинив себе этим простолюдинов, а ведь их — тьма; мыслителей — единицы; примат массы очевиден...

Сталин не смел признаться себе в том, что главной задачей его жизни было умерщвление ленинской Памяти, подмена Значимостей и, наконец, создание Державы, послушной лишь его Мысли и Слову.

Он не смел признаться себе и в том, что относился

к русскому народу с отстраненной, сострадательной жалостью, долей зависти и некоторым презрением.

Поддавшись в свое время блеску и напору Бухарина, утверждавшего, что принуждение на производстве и в селе малорезультативно, успеха в деле прогресса достигают лишь инициативные, сытые и свободные люди, Сталин, изучая статистические таблицы, приготовленные Молотовым и Кагановичем специально для него, видел, что справный «бухаринский» мужик и городской кооператор все более выходят из-под контроля отделов, секторов и управлений, делаясь независимой, *производящей* силой. Пройдет пара лет, и они, кооператоры, нэпманы и мужики, реально ощутят свою общественную значимость, поскольку именно они подняли страну из голода и разрухи, а это гибельно для аппарата диктатуры; столь же гибельно и то, что рабочие, трудящиеся на концессионных предприятиях, на фабриках и в мастерских, построенных на принципах ленинской новой экономической политики, зарабатывали значительно больше, чем заводской пролетариат, подчиненный наркоматам; пошли разговоры — «власть не умеет править, обюрократилась, прав был Троцкий...»

Сталин поручил Мехлису и Товстухе, своему мозговому штабу, перелопатить Ленина, сосредоточившись на одном лишь вопросе — кадровом.

Выдернул одну фразу Старика из его письма Цюрупе: «Главное — подбор кадров», слова «все наши планы — говно» вычеркнул; он, Пророк, не позволит низвести Ульянова до уровня простого человека; и так Ленин слишком часто *снисходил*. Сейчас новое время, русскими следует править иначе, *являя* себя; это в их традиции; Петра многие до сих пор ненавидят, над Керенским потешаются — болтун, а дурака-Николашку втайне жалеют, ибо тот следовал принятому веками: являл себя; событие, новость, общение Помазанника с народом...

Итак, ленинская ссылка на кадры, на их главенствующую роль — необходима. Он, Сталин, не предлагает ничего нового, он руководствуется заветом великого Ленина, своего верного друга и соратника.

Лишь однажды он не смог проконтролировать себя и услышал в себе *правду*: если и дальше в стране останутся люди, которые *помнят*, его будущее окажется в постоянной опасности, ибо, обратившись к периоду с семнадцатого по двадцать четвертый год, к засекреченному Завещанию парализованного Ульянова, всегда может найтись *псих*, который вылезет на трибуну съезда или

конференции: «Товарищи, как можно терпеть диктатора?! Куда мы идем?!»

Да, Молотов, Ворошилов и Каганович подобрали достаточно устойчивое большинство, преданное ему, «верному соратнику» Ленина, лишенному блистательного фразерства Троцкого, шатаний Каменева и Зиновьева, философского фейерверка Бухарина («не вполне диалектического»), прямолинейности Рыкова, крестьянских «штучек Калинина (того припугнул еще в двадцать шестом, разрешив напечатать в «Крокодиле» злую карикатуру на Старосту: неравнодушен к прекрасному полу, причем подставляется, об этом говорят, такое в политике не прощают — или будь во всем со мною, или ЦКК вышвырнет из *рядов*, фактов у Куйбышева и Сольца хватает). Все это так, людей подобрали, но истина такова, что можно управлять лишь сотней преданных, хоть и разнохарактерных политиков. А тысячью? Она неподвластна ничьей воле, даже Ленин порою не мог совладать со съездами, — отсюда дискуссии, оппозиции, турниры эрудитов, которые могут выстреливать без заранее подготовленного текста, швыряться латынью, приводить немецкие и французские первоисточники; он, Сталин, не может этого, но он в отличие от всех них решился на то, чтобы признаться себе: русским народом можно и нужно, для его же блага, управлять круто, жестко и немногословно, искушая при этом пряником будущего. Чем жестче с этим народом, чем беспощаднее, тем покорнее он и *счастливее*: наконец-то появилась *Рука*, пришел *Хозяин*, наведет *Порядок*.

Но русский человек пойдет за ним только тогда, когда он назовет *врагов*, на которых лежит вина за лишения, заклеймит тех, кто сознательно мешал коммунистической, равной для всех, *благодати*. И этими виновниками должны быть не пешки, а руководители, всем известные люди, признанные вожди.

Изначальный дух традиционного общинного равенства удовлетворится этим, он примет и одобрит крушение тех, кому ранее поклонялись, и будет благодарен именно ему за это *очищение от чужих*.

Однако масса — массой, а *умы — умами*; прав Грибоедов — «горе от ума».

Значит, начав сверху, надо уничтожить всех, кто вступил в партию до семнадцатого года; Калинин испугался, теперь во всем со мной. Испугаем еще с десяток ветеранов; таким образом, пуповина, связывающая

качественно новую волну молодых руководителей с памятью о Ленине, не будет перерезана: Лепешинские будут славить его, Сталина, истинного продолжателя дела Ленина, так же как это делал в тридцатом Зиновьев, а в тридцать шестом — Бухарин с Радеком...

Именно поэтому Ежов, поднаторевший в аппаратной работе — просидел восемь лет в замзавах орготделом, — должен загодя приготовить *списки*: как на тех, кого надо уничтожить, так и на ту *молодежь* (прав был Троцкий: «молодежь решает все»), которая займет места *памятливых*.

...В тридцать шестом году Виктор Абакумов был младшим оперативным уполномоченным Воронежского НКВД; его любили за веселый нрав, отзывчивость и умение работать за других; если кто из товарищей *зашивался*, он всегда был готов придти на помощь, просиживал на работе воскресенья, спал по-наполеоновски — пять часов.

Когда на второй день после расстрела Каменева и Зиновьева из Москвы пришел *список* и первым в нем значились начальник областного управления, два его заместителя, секретарь обкома и председатель облисполкома, его, Абакумова, заранее обсмотренного уже людьми Ежова и Маленкова со всех сторон в течение полугода, вызвали к аппарату прямого провода.

Звонил не нарком Ягода, внезапно занедуживший, но лично секретарь ЦК Ежов:

— Даю вам неделю срока на то, чтобы вы добились признания от воронежских троцкистов... Фашисты пытают наших товарищей по классу, Троцкий — агент Гитлера, почему мы должны работать в белых перчатках? Око за око, зуб за зуб! Я надеюсь на вас, товарищ Абакумов... Если возникнут какие вопросы — звоните к Миронову, Берману или Слуцкому, люди с опытом, дадут совет...

Лишь в конце недели (арестованные продолжали запираться, несмотря на то что Абакумову передали из Москвы папки с изобличающими их показаниями, данными на следствии Валентином Ольбергом и бывшим зиновьевским помощником Рихардом Пикелем, ныне членом Союза писателей) он зашел в буфет, купил коньяка и коробку шоколадных конфет, поднялся в свой закуток, выпил из *горла* бутылку «Варцихе», напоенного запахом винограда, вызвал из камеры бывшего начальника управления НКВД — того, кто учил его навыкам работы («у чекиста должны быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце»), и, заперев дверь, начал молча и яростно

бить его со всей своей богатырской силой; потом, окровавленного, полубессознательного, взяв под мышки, подтащил к столу и заставил подписать чистый бланк протокола допроса.

Заполнив его, вытащил из камеры секретаря обкома, ознакомил с «чистосердечными показаниями» начальника НКВД и предложил: «Либо десять лет по Особому совещанию, если напишете то, что я вам продиктую, либо расстреляем сейчас же — партии нужны свидетельства против врагов народа, вам, большевику, это известно не хуже, чем мне... Даю честное слово чекиста — если поможете разгрому троцкизма, через год станете парторгом строительства на Дальнем Востоке».

Сломал всех, дела отправил в Москву, оттуда пришло указание: «расстрелять признавшихся, арестовать тех, кого они помянули в показаниях, готовить новое *дело*, более *охватное*...»

Организовал и это: расстрелял еще четыре тысячи ветеранов партии, получил орден Красной Звезды.

После этого Ежов хотел сразу же забрать его в центральный аппарат; Маленков, отвечавший перед Сталиным за создание нового партийно-государственного механизма, Абакумова придержал, поставив его исполняющим обязанности руководителя Воронежского НКВД; лишь когда Берия был назначен первым заместителем Ежова, а того стали готовить к переводу на работу в Наркомвод России, чтобы расстрелять без шума, Абакумова вызвали в Москву.

Вот его-то Берия и двинул на пост министра, сохранив свою старую бакинскую гвардию, провинившуюся при вывозе трофеев из Германии (собрал их в ГУСИМЗ): Меркулова, братьев Кобуловых, Деканозова.

И когда его, Абакумова, неожиданно для него самого назначили главою государственной безопасности, после первых недель счастья и сладостной, пьянящей эйфории, постепенно, по прошествии месяцев, он начал отдавать себе отчет в том, что он окружен людьми Лаврентия Павловича и каждый шаг его контролируется; практически — *поднадзорен*; любая инициатива докладывалась Берия в тот же час, как только он выдвигал ее...

И Абакумов стал перед выбором: либо начать *работу* — тайно, аккуратно, исподволь — против своего высокого покровителя, выдвинувшего его на этот ключевой пост, либо смириться со своим положением: послушная кукла, которой управляет невидимая рука могущественного сатрапа; можно постараться войти в блок с секретарем

ЦК Кузнецовым, который после Маленкова все активнее входил в дела *аппарата,* обращаясь к делам тридцатых годов, постоянно требуя борьбы с рецидивами «ежовщины» — «законность прежде всего».

Абакумов взял из архива свои воронежские дела, увидел следы крови на бланках допросов (начальник НКВД уронил голову на протокол, испачкал бумагу, сволочь); сжег, но понял, что таких дел — тысячи, особенно когда он отвечал за допросы и депортацию на Колыму бывших пленных и узников гитлеровских лагерей; все не спрячешь, сказал он себе, *наследил,* дурак!

Нет, блок с Кузнецовым не получится — просидел всю ленинградскую блокаду, от дополнительных пайков отказывался, лез в окопы, *чистюля...*

Тем не менее исподволь, постепенно он начал выстраивать свою линию: попросился на прием к Вознесенскому, внес предложение о более активном использовании заключенных на стройках коммунизма, попросив при этом увеличить пайки отличившимся зэкам. Тот посоветовал перевести на вольное поселение как можно больше узников, если, конечно, эти люди не были фашистскими наймитами на оккупированных территориях, обещал помочь с увеличением *паек,* ничего из предложенного не отверг.

После этого Абакумов позвонил Кагановичу. Министр путей сообщения был более аккуратен в разговоре, обещал подумать, но в принципе идею одобрил, заметив:

— Генерал Куропаткин, командовавший русской армией в пятом году, верно говорил: «Дайте мне вторую ветку во Владивосток, и мы опрокинем японцев...» В тридцать третьем мы пытались было начать этот проект, но силенок не хватило, спасибо за предложение, вижу разумное зерно...

Абакумов тогда лишний раз подивился напористости и уверенности в себе этого еврея. Одного брата расстреляли, другой покончил с собой накануне ареста как изобличенный бухаринец, кулацкий прихвостень, а этот сохранил позиции; более того, люди ездят в Метрополитене имени Кагановича, а не Сталина, поди ж ты!

...Абакумов ждал, как прореагирует на его визиты благодетель — Лаврентий Павлович; тот, однако, не сказал ни слова, хотя наверняка знал обо всем. Но кожей, каждой клеточкой своего существа, каким-то особым чувством, непонятным ему самому, министр ощутил, что Берия изменился к нему, хотя внешне стал еще более приветливым и радушным.

Вот тогда Абакумов и решил разыграть козырную карту: когда Берия уехал в отпуск, министр вызвал двух *своих* — тех, кого ему удалось притащить с собой из Воронежа, и показал им письмо, подписанное неразборчиво (сам продиктовал шоферу, верил ему, как себе, тот работал с ним девять лет). В анонимке сообщалось, что трое молодых контриков, живущих на Можайском шоссе, по которому товарищ Сталин каждый день ездит на Ближнюю дачу, готовят теракт против великого вождя.

— Это что же такое, а?! — Абакумов играл ярость. — У вас под носом орудуют террористы, и мне об этом докладывают простые советские люди, а не вы — с генеральскими погонами, лечебным питанием, двусменками и кремлевкой! Чтоб через три дня у меня на столе лежало оформленное *дело,* ясно?!

Арестовали троих «троцкистов»: семнадцати, девятнадцати и двадцати одного года. Сломали их за двое суток, выбили у них показания еще на пятерых юношей, и тогда-то Абакумов, замирая от ужаса, позвонил Сталину, сказав, что он не посмел бы тревожить, если бы не чрезвычайное обстоятельство...

Сталин питал слабость к высоким и статным военным; Абакумов помнил эти слова, оброненные как-то Берия во время застолья. Поэтому, отправляясь на прием к генералиссимусу, он надел генеральский мундир, галифе и сапоги-бутылочки.

Ознакомившись с *делом,* Сталин пыхнул трубкой и, задумчиво посмотрев в окно, выходившее на кремлевскую площадь, усмехнулся:

— Не унимаются? Скажи на милость... Что ж, если остались волчата, надо искать волка. Сами они на такое дело б не пошли. Как считаете?

И тогда, похолодев, Абакумов спросил:

— Разрешите докладывать ход следствия, товарищ Сталин? К сожалению, Лаврентий Павлович в отпуску, мне бы не хотелось тревожить его...

Сталин поднял глаза на Абакумова, изучающе, как-то по-новому осмотрел его и, пожав плечами, ответил:

— Что это за манера перекладывать ответственность на других? Мне не нравится такая манера, товарищ Абакумов. Это не что иное, как перестраховка. Трусость и перестраховка, извините за прямолинейность. Вам ЦК поручил руководить госбезопасностью, вот и извольте выполнять свои обязанности. Нужен совет — звоните. Я, как и всякий член ЦК, готов обсудить с вами любой вопрос...

За это меня, кстати, до сих пор и держат в этом кабинете...

Сталин снова пролистал *дело*, задержался на показании самого молодого «террориста» о том, что он был намерен поступать в школу-студию Еврейского государственного театра, поставил галочку на полях и заметил:

— Вы, кстати, знаете, что режиссер этого театра Михоэлс — брат моего лечащего врача Вовси? Не надо травмировать Вовси... Прекрасный доктор... Но если Михоэлс... — Сталин оборвал себя, нахмурился. — Вы читали информацию о том, что в сорок четвертом, когда Михоэлс был в Штатах, от имени Еврейского антифашистского комитета собирая для нас деньги, он довольно часто *отрывался* от остальных членов делегации? То, видите ли, к Альберту Эйнштейну ездил, то еще куда-то... Странно это — обычно наши люди держатся друг за друга, этим и сильны.

...Когда Абакумов взялся за ручку двери, Сталин окликнул его:

— И вот еще что... У меня вчера была жена товарища Жданова. («Визит продолжался семь минут, — автоматически отметил Абакумов, — с семи тридцати до семи тридцати семи, генералиссимус торопился, хотел посмотреть новый фильм; Жданова одолевала его звонками девять дней».) Говорит, плохо ему, — продолжил Сталин, — постоянно жмет сердце, нужен отдых... Я успокоил ее: нервы, пройдет... А потом пожалел: всяко может быть — а что, если у любимца партии, героя Ленинграда, действительно плохо с сердцем? Я ему позвоню, пожалуй, скажу, чтоб завтра отдохнул, полежал на даче, а вы организуйте консилиум... Женщины, особенно жены, хорошие жены,— многозначительно добавил Сталин, не отрывая глаз от лица Абакумова (тот ощутил, как после этих слов генералиссимуса по ребрам начали струиться крупные капли пота, у него самого с женой нелады), — порою слишком уж паникуют по поводу здоровья мужей...

— Ясно, товарищ Сталин. Разрешите доложить заключение консилиума?

Сталин поморщился:

— Что вы из Сталина бога делаете? Или какого-то царского унтера Пришибеева? Во-первых, не стойте во фрунт, мы с вами члены одной партии, единомышленники, товарищи... А вы весь напряженный, словно аршин проглотили... Позвоните, конечно... Если найдется окно — приму, а нет, так сообщите товарищам Молотову, Кагановичу...

Товарищу Вознесенскому непременно доложите, Кузнецову.

...За неделю до разговора с этим симпатичным ему русским красавцем Сталин просмотрел свой любимый фильм «Цирк» (эту картину и «Волгу-Волгу» он смотрел ежемесячно), сделал замечание Поскребышеву, чтобы наркомкино Большаков вырезал эпизод, где Михоэлс поет песню по-еврейски, передавая маленького негритосика грузину, и в добром расположении духа вернулся к себе. Берия, получив немедленную информацию от своего человека из охраны, позвонил Старцу и попросил уделить ему десять минут.

— А спать Сталину можно? — усмехнулся Старец. — Друзья бранят Сталина, товарищ Берия, за нарушение режима... Хотите, чтобы я поскорее уступил вам всем свое место? — Помолчал, *слышимо* раскуривая трубку, пыхнул и заключил: — Приезжай, батоно, жду.

Последние слова произнес тепло, мягко, как говорил с ним накануне расстрела Ежова, рассказывая со слезами на глазах, каких замечательных людей погубил этот «душегуб и алкоголик». Глядя тогда на него, Берия испытывал ужас, ибо он-то уже знал одну из причин предстоящего устранения Ежова: Сталин был увлечен его женой — рыжеволосой, сероглазой Суламифью, но с вполне русским именем Женя. Она отвергла притязания Сталина бесстрашно и с достоинством, хотя Ежова не любила, домой приезжала поздно ночью, проводя все дни в редакции журнала, созданного еще Горьким; он ее к себе и пригласил.

Сталин повел себя с ней круче — в отместку Женя стала ежедневно встречаться с Валерием Чкаловым; он словно магнит притягивал окружающих; дружили они открыто, на людях появлялись вместе. Через неделю после того, как это дошло до Сталина, знаменитый летчик разбился при загадочных обстоятельствах.

Женя не дрогнула: проводила все время вместе с Исааком Бабелем; он тоже работал в редакции; арестовали Бабеля.

Сталин позвонил к ней и произнес лишь одно слово: «Ну?»

Женя бросила трубку. Вскоре был арестован Михаил Кольцов, *наставник*, затем *шлепнули* Ежова — тот был и так обречен, «носитель тайн»...

...Сталин улыбнулся Берия мягкой улыбкой, спросил

по-грузински, как дела, что нового, как дома; Берия мгновение думал, на каком языке отвечать, Старец все более и более верил в то, что он русский, выразитель народного духа, вполне может быть, что идет очередная проверка, поэтому фразу построил хитро:

— Матлобт*, товарищ Сталин, все хорошо...

— Ну, что стряслось?

— Вот, — Берия протянул папку, — здесь всего две странички, товарищ Сталин.

Тот отодвинул папку в сторону:

— Корреспонденцию можно было и с фельдъегерем прислать... Расскажи, в чем дело, а это, — он положил руку на папку, — я потом посмотрю...

— Хорошо, я готов, хотя мне очень больно рассказывать об этом...

— Тебе больно? — Сталин удивился. — Такой молодой, а больно... Это мне больно всех вас слушать... Наши споры — при Ленине — ничто в сравнении с вашей скорпионьей банкой... Откуда в вас такое макиавеллиевское интриганство?! Я же постоянно прошу: критикуйте. возражайте, деритесь за свое мнение... А вы? Кроме Вознесенского — тянете руки, как школьники... Ну, давай, что стряслось?

— В журнале «Вопросы философии» появилась статья, товарищ Сталин... Очень резкая... Не называя никого по имени, там, однако, мазали грязью тех атомщиков, без которых мы не получим *штуки*. А затем потребовали собрать совещание моих атомщиков, чтобы они покаялись и заклеймили космополитов... А у меня, к сожалению, их много, начиная с главы школы Иоффе и кончая Ландау... Словом, приехали товарищи из Агитпропа, объявили заседание открытым и предложили высказываться: по-моему, они подготовили двух младших научных сотрудников, но кому они нужны в нашем проекте, эти сопляки? Первым руку поднял Иоффе: «Прошу слова...» Поди не дай. Старик вышел и сказал буквально следующее: «Наша задача заключается в том, чтобы работать над *проектом*, с утра и до ночи, без отдыха и сна, речь идет об обороне Родины. Либо мои сотрудники будут заниматься *своим* делом, либо транжирить его на этих бессмысленных сборищах... Но тогда я попрошу наших уважаемых гостей-идеологов из Агитпропа ЦК отправиться сейчас же в лаборатории и приступить к работам по *проекту*...»

---

* Спасибо (*груз.*).

Сталин на мгновение замер, лицо собралось морщинами — *больное* лицо, — потом усмехнулся:

— Идиоты... Что, не на ком свои перья пробовать? Мало им физиологии и генетики?! Шмальгаузена им мало?! Кто давал задание опубликовать эту статью?

— Не знаю, товарищ Сталин... Но физики по сию пору бурлят...

Сталин снял трубку «вертушки», не посмотрев даже на часы: половина третьего ночи; гудки были долгими; Старец терпеливо ждал; дождался.

— Товарищ Жданов, — сухо сказал он, не поздоровавшись даже, — кто распорядился напечатать статью в «Вопросах философии» о космополитах в атомной физике? Я готов встретиться с вами часа в четыре, вас устроит это время?

И, не дожидаясь ответа, положил трубку.

Берия вышел от Старца так, словно летел по воздуху: вот оно, свершилось! Статью-то написал его человек, принес помощнику Жданова, тот читал, делал пометки; спокойной ночи, Андрей Александрович!

...А через три дня, сердечно попрощавшись с «дорогим Андреем Александровичем», Берия отправился в Сухуми — на отдых...

...Вернувшись от Сталина в министерство, Абакумов выпил стакан мадеры (присылали из Крыма, специальной очистки, почти совсем без сахара), дождался, пока внутри *осело*, снял френч, поменял совершенно мокрую от пота рубашку, переоделся в штатское и только после этого погрузился в тяжелое раздумье.

...Еще в первые месяцы работы в Москве, выполняя *поручение* Берия, он наладил наблюдение и подслух всех разговоров бывшего народного комиссара здравоохранения Семашко, одного из тех, кто начинал революционную борьбу вместе с Лениным.

Данные прослушки оказались любопытными: однажды Семашко сказал за чаем, что «гибель Холина, исчезнувшего в конце двадцатых, когда Ягода стал заправлять в ОГПУ, — серьезный удар по науке; гениальный врач, черт его дернул брякнуть о гибели Мишеньки, на каждую сотню честных приходится один платный мерзавец».

Поначалу Абакумова заинтересовали слова о «платных мерзавцах», но когда он затребовал дело на исчезнувшего

доктора Холина, то оказалось, что тот ассистировал при операции Фрунзе.

Значит, Мишенька — это Фрунзе, понял тогда Абакумов, вот в чем дело!

Все знали, что преемником Фрунзе стал Ворошилов, — таким образом, армия сделалась сталинской. Через полгода после этого *странно* умер Дзержинский. Фактическим хозяином ОГПУ сделался Ягода. Первые распоряжения о слежке за Троцким, Каменевым, Зиновьевым, Преображенским, Смилгой и Иваном Смирновым подписал он, Генрих Григорьевич, не Менжинский...

Приказ войскам Московского гарнизона на обеспечение порядка при высылке в Алма-Ату Троцкого отдал Ворошилов...

Дело смерти Надежды Аллилуевой, жены генералиссимуса, Абакумов затребовать не решился: прикосновение к высшим тайнам Кремля чревато.

Тем не менее о «Мишеньке» и Холине доложил Берия.

Маршал взял материалы на Семашко, несколько дней изучал их, потом отправился к Сталину.

Выслушав Берия, тот, не скрывая раздражения, спросил:

— А ты разве не знал об этой гнусной сплетне? В свое время японский шпион Вогау преуспел в раскрутке этой гнусности... Вогау — известно такое имя?

Берия знал, что врать Сталину нельзя: либо нужна заранее подготовленная двусмысленность — генсек это любил, либо правда.

— Нет, Иосиф Виссарионович, не известно.

— Псевдоним писателя Бориса Пильняка, — зло сказал Сталин. — Как не русский, так прячется за псевдоним... Один Эренбург удержался, молодец, ценю в людях достоинство... Ну а Семашко... Встретился бы с ним... Карпинский с Бончем молчат, конспираторы... Лепешинская — верна, я в ней убежден, тоже из нашей, истинно ленинской гвардии... Поговори с Семашко, по-дружески поговори: «Мы все знаем, шутить с огнем опасно, подумайте...» И пусть напишет статью о роли истинных ленинцев в гражданской войне.

Через пять дней Семашко подписал панегирик в честь истинного организатора всех побед Красной Армии против беляков, об «иудушке Троцком», предателе и наймите фашистов; закончил, как и положено: «Сталин — вера, надежда и гордость народов всего мира».

Подслушка зарегистрировала (наблюдение с Семашко,

конечно, не снимали): чай теперь пьет молча, все больше пишет, никого к себе не приглашает, *успокоился*...

После нескольких часов мучительных раздумий Абакумов с карандашом перечитал речь Жданова против Зощенко (обожал этого писателя, с дочкой раньше вслух читали, оба покатывались со смеху) и Ахматовой (эту и не знал вовсе; наблюдение за ней вели только потому, что была когда-то женой террориста и контрреволюционера Гумилева, бывшего сотрудника разведки царского генштаба; хорошо, кстати, работал в Африке, тоже что-то сочинял), попросил принести постановление ЦК по журналам, операм и фильмам, потом затребовал специнформацию у *своих*; те доложили, что якобы сын товарища Жданова сказал отцу в машине, когда ехали на дачу, будто борьба против космополитов, за патриотизм и приоритет русской науки и культуры начинает приобретать ярко выраженный антисемитский характер, отнюдь не антисионистский. Жданов якобы ничего на это не ответил, только пожал плечами. В другой раз, когда сын недвусмысленно высказался против гениальной теории великого ученого Лысенко, любимца товарища Сталина и всего советского народа, Жданов усмехнулся: «Смотри, он тебя скрестит с какой-нибудь морковью или яблоком — станешь фруктом, а фрукты — едят...» Была, оказывается, специнформация и о том, что якобы Жданов сказал одному из своих помощников: «Безродный космополитизм мы выкорчуем с корнем — это историческая задача, поставленная перед нами товарищем Сталиным, но давать пищу врагам о мифическом антисемитизме мы не должны, во всем надо соблюдать чувство меры».

И лишь после всего этого, уже вечером, постоянно вспоминая менявшееся выражение глаз Сталина, когда тот говорил о Жданове, министр снял трубку ВЧ и попросил соединить его с той дачей на Кавказе, где сейчас отдыхал товарищ Берия.

Маршал выслушал не перебивая, поблагодарил за звонок, поинтересовался, не просил ли товарищ Сталин обговорить этот вопрос с ним, Берия, и после короткого раздумья ответил:

— Как ты понимаешь, мне в этой ситуации давать тебе какие-либо советы нетактично. Тебе поручено — ты и исполняй. Сам знаешь, как всем нам дорого здоровье товарища Жданова... Я бы на твоем месте собрал два консилиума, пусть они, независимо друг от друга, выскажут

свое мнение, знаешь ведь, как они цапаются, эти светила... А уж потом пригласи самых главных корифеев, познакомь их с заключениями первых двух консилиумов — с этим и иди к Хозяину... Заранее дай команду своим людям за кордон, пусть будут готовы немедленно купить все необходимые лекарства, сколько бы они ни стоили: Жданов есть Жданов...

На информацию о Михоэлсе и Вовси не обратил особого внимания — надо решать главное!

Сразу же после разговора с Абакумовым маршал позвонил Вознесенскому: «Может быть, я прерву отдых? Надо же быть рядом с Андреем Александровичем...»

Затем связался с Молотовым и Ворошиловым; те успокоили: «Иосиф Виссарионович считает, что это переутомление, все наладится, отдыхайте спокойно».

...Через два часа к Берия вылетел Комуров; Лаврентий Павлович попросил его срочно привезти новые сообщения об атомных исследованиях в Штатах.

Говорили, однако, не об атомных проектах — о Жданове.

— Сталин вернет Маленкова в тот день, когда закопают *любимчика*, ясно? — Берия рубил, засунув руки в карманы пиджака. — Включай свою медицинскую агентуру, диагноз должен быть точным: «сердце может сдать, нужен отдых». Пусть уедет куда подальше, только б не остался на своей даче... Все дальнейшее — дело техники, не мне тебя учить... Запомни — это последний шанс вернуть Маленкова в Москву, тогда Вознесенский с Кузнецовым мне не так страшны. А я — это вы все!

...Вскоре директора и главного режиссера Еврейского театра Михоэлса пригласили в Минск.

Провокатор, подведенный к нему, — из старых добрых знакомцев — позвал на вечернюю прогулку. Шли по пустынной улице, был поздний вечер. Знакомец и подтолкнул Михоэлса под колеса полуторки, за рулем которой сидел друг Берия министр госбезопасности Белоруссии Цанава, подчиненный, естественно, Виктору Абакумову...

...В Москве великому артисту устроили торжественные похороны. Лицо загримировали, чтобы скрыть кровоподтеки: Цанава проехал по несчастному дважды, для страховки; на кладбище представители общественности говорили проникновенные речи.

...А Жданов *умер* на Валдае, в новой даче ЦК; Берия, рыдая, первым позвонил в Ташкент Маленкову: «Георгий Максимилианович, у нас горе, страшное горе!»

По прошествии нескольких недель, накануне заседания Политбюро, Сталин поставил кадровый вопрос. Берия отправился на дачу к Старцу:

— Товарищ Сталин, если вместо незабвенного Андрея Александровича, который так помогал атомному проекту, встанет кто-либо новый, работа может застопориться на месяцы, притирка она и есть притирка.

— А Кузнецов?

— Он прекрасный секретарь ЦК, но если вводить его в Политбюро, как себя почувствуют Шкирятов, Шверник?

Сталин спросил:

— Что, тревожишься по поводу монолитного единства? Молодец, умница, — в глазах его, однако, таились угроза и недоверие. — А кто, по-твоему, сможет помогать *проекту* так, как это нужно?

И Берия, замирая от ужаса, тихо ответил:

— Маленков, только он. Простите его, товарищ Сталин... Ведь он ваш ученик, он вами выпестован, предан до последней капли крови...

— Политбюро решит, — ответил Сталин. — Я соглашусь с мнением большинства... Партии не нужен культ, папа, император... Коллегиальность — вот наш принцип, завещанный Ильичем...

Берия в тот же день посетил Молотова, Ворошилова, Косыгина (хоть тот был кандидатом в члены ПБ, правом голоса не обладал), Суслова и Микояна. С Андреевым и Кагановичем перезвонился: «Есть мнение проголосовать за возвращение Маленкова, товарищ Сталин интересуется, не против ли вы этого решения?»

...Маленков вернулся в Москву, заняв место «скрипача», — так в последнее время Сталин порою называл Жданова, зная его пристрастие к скрипке. (Повторение Тухачевского, что ли? Ишь, борец за интернационализм и Закон! А кто первым поставил подпись под приказом применять пытки? Я? Нет, не я, а он. Где, кстати, эта телеграмма? Надо изъять.)

Записал на календаре: «Телеграмма о пытках». Потом, подумав, вырвал страничку, сжег, пепел стряхнул в корзину для бумаг; запомню и так, завтра дам указание Кузнецову; однако к вечеру забыл об этом, увлекся чтением дела о новоафонских духоборах, которые первыми подня-

ли вопрос о примате Слова, в шестнадцатом году еще...

Вернуть Маленкова разрешил не из-за мольбы Берия. Дело в том, что все чаще думал: пришла пора выступить с рядом фундаментальных теоретических работ, не все Троцкому теоретизировать или Бухарчику. Надо стать над ними, решить проблему Духа, то есть Языка, ибо сначала было Слово, и, конечно же, экономики. Жданов наверняка потянул бы и в этом на себя одеяло — слишком любил большие аудитории, блистал эрудицией, налаживал блок с писателями и учеными, подминая их под себя; вот, бедный, и надорвался; каждый сверчок должен знать свой шесток... Маленков такого себе никогда не позволит, человек-тень. Бригаду филологов и экономистов Маленков организует так, как никто другой, Берия прав — моя школа...

...Абакумов продолжал ездить к Сталину практически каждую неделю.

Берия знал об этом, но расспрашивать не расспрашивал, не позволяла особая этика; довольствовался информацией, которую ему *отдавал* сам Абакумов: кое-что подкидывали сидельцы Кобы, что-то — его, Берия, личная агентура, работавшая на Ближней даче: порою Старец вызывал Абакумова не в Кремль, а за город.

Чувствуя все большее расположение к себе Сталина, министр государственной безопасности постепенно стал *закрываться*; о беседах с Хозяином практически ничего не рассказывал, а ведь просиживал у него минут по сорок.

Молотов теперь звонил к нему напрямую, минуя Берия; так же повели себя и Ворошилов с Кагановичем.

Это и решило судьбу Абакумова: маршал решил убрать его, однако не сейчас, а в нужный час и по организованному его людьми сценарию.

Убрать — не убить; такой костолом пригодится позже в делах, но без прямых *выходов* на Старца.

А поскольку в большой игре мелочей не бывает, то Берия через свои давние возможности сделал так, что в Швеции снова заговорили о судьбе похищенного барона Валленберга; с этими материалами он и отправился к Сталину; тот жадно интересовался всем тем, что происходило за кордоном.

Читая спецсообщение, заметил:

— Стокгольм — самый скучный город из всех, где мне приходилось работать... Я там, кстати, в одном номере с Алешей жил, с Рыковым...

13

На этот раз Аркадий Аркадьевич встретил Исаева сумрачно, из-за стола не поднялся, несколько раздраженно кивнул на стул, что стоял возле маленького столика, поставленного перпендикулярно к его большому, с резьбой, письменному; сцепил свои крепкие пальцы и начал монотонно ударять ребром ладоней по толстому стеклу, под которым лежал список телефонов и фамилий.

— Объясните мне, — заговорил он наконец, аккуратно подыскивая нужные слова, — почему вы... полковник МГБ... ни на йоту не верите нам?

Исаев не торопился с ответом; удержался, чтобы не хрустнуть пальцами; до натужной боли в ладонях сжал кулаки и откинулся на спинку стула:

— Во-первых, я никогда — во всяком случае официально — не был еще «коронован» званием полковника МГБ. Я просто Штирлиц... Для меня достаточно... И потом это какое-то странное новшество — держать полковника МГБ в камере внутренней тюрьмы... Впрочем, может быть, у *руководства* есть на этот счет свои новаторские соображения... Во-вторых, вы сказали «нам». Следовательно, вы не разделяете себя с Деканозовым? И с тем человеком, к которому вы меня подняли, когда он орал на меня в присутствии Деканозова, как уголовник с Хитрова рынка... Вы едины с Сергеем Сергеевичем? А он держал меня на стуле, покуда я не валился на пол, потеряв сознание. Вы едины и с теми, кто глумился надо мной во время морского путешествия? Не разделяете себя с ними?

— Не разделяю, — отрубил Аркадий Аркадьевич; взяв карандаш, быстро написал несколько слов на маленьком листочке бумаги и молча передал Исаеву, приложив при этом палец к губам.

Исаев посмотрел бумажку, отставив ее от себя, — почерк был мелкий, неразборчивый; Аркадий Аркадьевич протянул ему очки, продолжая *рубить*:

— И никогда не буду отделять себя от моих друзей, запомните это! А демагогия вам не к лицу, стыдно!

На бумажке было написано: «Еще как отделяю!».

— Если не отделяете себя от них, я вообще не стану с вами разговаривать, — ответил Исаев, кивнул на карандаш.

Аркадий Аркадьевич словно бы ждал этого; протянул ему «фарбер».

— И вообще я не буду говорить в этом кабинете, — продолжал Исаев, — где каждое мое слово записывается,

а потом из этого вполне может быть склеена нужная вам композиция из нарезов пленки...

На бумажке написал: «Пригласите в ресторан — если пойдем пешком, стану говорить»; последнее слово резко подчеркнул — так резко, что даже обломился кончик остро отточенного грифеля.

Аркадий Аркадьевич прочитал ответ; Исаев, изучающе глядя на него, резко подвинулся к большому столу, закрыв локтем обломившийся кусочек грифеля.

— Да, любопытно, черт возьми, — после долгой паузы ответил Аркадий Аркадьевич с усмешкой, — казалось бы, политик, то есть экономист, а не понимаете, что в стране дефицит серебра! А без него нет пленки для записывающей аппаратуры... Все деньги — особенно золото и серебро — идут на восстановление из руин Минска, Сталинграда, Харькова, Смоленска...

Достав пачку «Герцеговины Флор», протянул Исаеву:

— Курите...

Зажег спичку, запалил бумажку, тщательно растер пепел пальцами, высыпал на ковер, *прошелся* подошвой и, кивнув на отдушины, сыграл:

— Отвыкли от папирос, что ль? Сигареты легче раскуриваются? — и зажег вторую спичку, протянув ее Исаеву.

— Ваши папиросы отсырели, — ответил Исаев, не отводя глаз от лица Аркадия Аркадьевича. — На вашей даче эти же папиросы были хорошо высушены...

— Я не зря спросил о том, отчего вы нам не доверяете... У меня для вас есть два сообщения... Первое — неприятное, второе — радостное... От того, как вы прореагируете на эти сообщения *купно*, зависит очень многое... С какого начинать?

— С неприятного.

Аркадий Аркадьевич медленно поднялся из-за стола и пошел к сейфу.

Исаев неторопливо взял кусочек грифеля и положил его под язык; Аркадий Аркадьевич достал из сейфа папку, вернулся к столу, протянул ее Максиму Максимовичу:

— Читайте.

Исаев сделал три быстрые, глубокие затяжки; табак был горьковатый, крепкий; закружилась голова; это головокружение, однако, было приятным, чем-то напоминавшим ощущение после бокала хорошего сухого шампанского; тщательно затушил папиросу — курил до картона, жадно; только после этого открыл папку.

Первое, что он увидел, было его заявление Лозовскому;

прочитал записочку, приколотую к нему: «Дорогой Матвей Федорович, если мне не изменяет память, автор заявления достаточно серьезно работал — если, конечно, это тот самый Юстас, кем он себя рекомендует; органы, убежден, разберутся в этом. Его отец, Владимиров, знаком мне по эмиграции. Хоть он и был меньшевиком, но никогда не занимал враждебных по отношению к нам позиций. Он отошел от меньшевизма без какого бы то ни было давления, поняв бесперспективность идейной борьбы, и погиб от белогвардейской пули вместе с комиссаром Шелехесом... Был бы признателен, погляди Вы личное дело Юстаса: если он действительно честно выполнял свой служебный долг, находясь за кордоном, нельзя ли подумать о снисхождении? Лозовский».

— Кто такой Матвей Федорович? — спросил Исаев.

— Совесть партии, — торжественно объявил Аркадий Аркадьевич. — Председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Матвей Федорович Шкирятов...

— Ну и каково мнение Матвея Федоровича?

— Разбирается... А теперь переверните страницу...

Сначала Исаев увидел большие красные буквы: «радиограмма»; ниже было что-то написано от руки, видимо, время отправления и приема, чьи-то резолюции, но он пропустил все это, потому что понял: весточка от Сани!

«Дорогой папа, как я счастлив, что ты дома! Мне не верили, что я ушел в Пльзень искать тебя! Теперь мое дело отправили на переследствие. Приговор отменен. Но я в госпитале. Не волнуйся, это бронхит. Через месяц сюда начнут летать «дугласы», меня обещали вывезти в Москву с первым же. Целуй маму, жду встречи. Саня».

— Где он? — спросил Исаев, откашлявшись.

— За Магаданом... Почтовый ящик семнадцать сто сорок четыре...

Исаев перевернул еще одну страницу; текст был очень короткий: «Гаврилину А. Н. из-под стражи освободить, отобрав подписку о невыезде вплоть до суда над Гелиовичем Я. П., где она обязана дать свидетельские показания.

Генерал-майор А. Иванов».

Исаев потер веки, судорожно вздохнув:

— Где она?

— Мне удалось договориться с руководством, — по-прежнему медленно, с плохо скрываемым раздражением ответил Аркадий Аркадьевич, — что ей позволят поехать на курорт... Она ж совершенно измучилась за это время... Тюрьма не санаторий, что и говорить... Постарайтесь по-

нять следователей: в стране разруха, половина России в руинах, и если перед ними сидит человек, хранивший книжонки Троцкого, Бухарина и Джона Рида, — вместе с долларами, — состояние их делается накальным, скажем прямо. Мы жестоко наказываем за это, но ведь люди есть люди... Завтра поедем провожать вашу... Сашеньку... на Курский вокзал... Вам уже подогнали полковничью форму, орденские планки, так что предстанете перед нею во всей красе... А потом — на *дачу*... Придется переодеться в штатское — Валленберга мы тоже поселяем там, начнете работать над сценарием...

— Через месяц, — ответил Исаев, — как только провожу на курорт сына...

— Давайте вернемся к вопросу о сроках после того, как уйдет поезд в Симферополь, — Аркадий Аркадьевич наконец улыбнулся. — С лагерным госпиталем попробуем связаться по радиотелефону. Это вас устроит?

Не дожидаясь ответа, поднялся из-за стола и, снова показав глазами на отдушины, закончил:

— С вокзала зайдем отпраздновать освобождение матери вашего сына в ресторан «Москва» и выпьем по рюмке. Напишите, кстати, пару строк Лозовскому — поблагодарите за хлопоты... А потом возвращайтесь в камеру и хорошенько подумайте над нашим разговором...

(Письмо Лозовскому подшили к делу, которое уже вели на заместителя министра иностранных дел, — будет арестован вместе с членами Еврейского антифашистского комитета.)

...В камере, продолжив с Валленбергом дискуссию о жизни римских цезарей (как выяснилось, они эту книгу тоже знали чуть ли не постранично), Исаев, расхаживая под «намордником», внезапно замер, потом подбежал к параше, согнулся над нею, изобразив внезапный приступ рвоты, незаметно достал обломок грифеля из-под языка, сунул его в карман и вернулся «под глазок», чтобы надзиратели не ворвались в камеру с обыском; обыскивать тут умели, он это понял в первый же час, когда его привезли сюда.

Валленберг, заметив странность в поведении сокамерника, *подыграл*:

— Тошнит? В солнечном сплетении нет боли? В левую руку не отдает?

Исаев, потирая грудь, хмуро поинтересовался:

— Хоронили кого из друзей, почивших от разрыва сердца?

— Старшего дядю, — ответил Валленберг. — Кстати, заметьте: от этой болезни не умирал ни один деспот, император или тиран... Даже Моисей, скончавшийся на сто двадцатом году, сдается мне, просто-напросто решил уйти в райские кущи: поближе к богу, подальше от суеты людской... Надоел ему шумливый народ... Все же от гомона устают больше, чем от могильной тишины вроде этой...

— Не успокаивайте себя, — сказал Исаев. — Вы произнесли этот пассаж для себя, вам ведь не больше пятидесяти, вам нужны люди, общество, общение...

— Мне тридцать пять, — Валленберг покачал головой. — И я стал очень бояться людей.

Исаев поразился:

— Тридцать пять?! М-да... Эко вас жизнь покорежила...

— Знаете, я только в течение первого года ярился, даже хотел голову размозжить о стену, но потом задумался: а если страдание угодно? Если это мой взнос в очищение человечества от скверны? Если бы я сломался, стал здесь нечестным, принял те гнусные условия, которые мне навязывал следов...

Исаев резко перебил:

— Мы же договорились! Ни вы, ни я не говорим о наших делах!

Сев на койку, он откинулся, упершись выпирающими лопатками в мягкую шершавость войлока, устало закрыл глаза и сказал себе: «Этот Аркадий ведет игру, которую я не могу понять... По логике вещей, он сегодня должен был задать вопрос... В конце беседы, уже после того, как ошеломил своими новостями: «Зачем вы начали свое общение с Валленбергом по-русски? Это же неминуемо посеяло в нем недоверие к вам! Вы намеренно хотели заставить его затаиться? Чтобы потом могли сказать: «Банкир отведет меня на процессе как русского!» Почему вы запретили ему исповедоваться? Он жаждет разговора о своем деле! Он со всеми говорил об этом! Почему вы не произнесли ни единого немецкого слова? Почему даже Библию вы переводили с листа на английский? Хотите переложить ответственность на Валленберга, когда он отведет вас на процессе как русского агента, так, что ли?»

...Ночью, в то время, когда надзиратель в очередной раз кричал о сдаче и приемке постов по охране врагов народа, Исаев *сыграл* резкое вскидывание с койки — «разбудили

слишком громкие голоса»; снова лег, закинул руки за голову, хрустко потянулся.

Потом поднялся, подошел к койке Валленберга, взял Библию, неловко толкнув при этом банкира; тот дернулся и открыл глаза, в которых был ужас.

Исаев прошептал:

— Извините, пожалуйста... Не спится... Я возьму *поподчеркивать*, ладно? Мой ноготь вы отличите — буду работать безымянным пальцем.

— Старый конспиратор, — сонно улыбнулся Валленберг, и в глазах его уже не было ужаса, а какая-то ищущая, в чем-то даже детская доброжелательность...

Исаев стал у двери, под лампой, и начал читать «Песнь песней»; он слышал — потому что *чувствовал*, — как возле глазка сопяще стоял надзиратель; пусть себе, подумал Исаев, они лентяи, работа тюремщиков — для тех, кто бежит от *труда*, трутни; наверняка через пять минут отойдет, устроится на стуле и подремлет — это ж Россия, не германцы...

...Через десять минут, когда охранник осторожно прикрыл смотровое оконце, Исаев достал из кармана кусок грифеля и начал быстро писать на заглавном листе Библии...

...Через полчаса Валленберг прочел: «Потребуйте вызова матери, адвоката из Стокгольма и местного дипломата. Если встречу дадут, соглашайтесь на процесс: да, вел *переговоры* с Эйхманом во имя спасения несчастных от истребления в концлагерях. Агентом же гестапо, а тем более Эйхмана, даже фиктивным, чтобы облегчить переговоры, — не был. Это провокация нацистов, которые загодя хотели поссорить мою страну с Советским Союзом.

Во время свидания с адвокатом, мамой и дипломатом из вашего посольства поставьте ультиматум: если я стану нести на процессе околесицу и клеветать на себя, потребуйте проведения экспертизы на месте, в зале суда, — по поводу инъекций... Следы на теле останутся, меня кололи, я знаю... Я буду выступать свидетелем обвинения, как штандартенфюрер СС Макс фон Штирлиц. Вашу агентурную работу на гестапо буду отвергать. Факт секретных *переговоров* признáю. Потребую от вас ответить на мои вопросы. Если пойму, что вы несете чушь, заявлю суду, что у меня другая фамилия, должность и национальность... Подойдите к параше и, разжевав, съешьте страницу... Согласитесь на процесс только в том случае, если я попрошу

вас об этом, один на один, и не в камере, а на прогулке в лесу. Затем подтвердите это третьему человеку, генералу, который обеспечит вам встречу с мамой и другими шведами».

Валленберг рывком поднялся; Исаев замер; в тюрьме резкие движения подозрительны. Если надзиратель у окошка, может ворваться; нет, ответил он себе, сначала он побежит к тому, кто хранит ключи; все, тем не менее, обошлось: Валленберг разжевал бумагу, с трудом проглотил ее, вернулся на койку и, по-детски подложив руки под щеку, посмотрел на Исаева с невыразимой тоской и какой-то юношеской благодарностью: в глазах у него стояли слезы; одна скатилась по небритой щеке — медленно, как последняя капля внезапного весеннего дождя...

Исаев не отрывал глаз от лица Валленберга, а вспоминал писателя Никандрова, с которым сидел в двадцать первом в тесной камере таллиннской тюрьмы; он вспоминал горестные слова Никандрова и свои — беспрекословные — возражения ему; как же я был тогда жёсток в своей позиции, подумал он, как непререкаем... Впрочем, я готов подписаться под каждым моим словом, но только тем, двадцать первым годом, трагичным годом, когда никто не мог представить себе, что произойдет в стране девять лет спустя...

Он помнил, как Никандров, расхаживая по камере, яростно возражал ему (о *подслушках* тогда никто не думал; как же летит время, а?! Человечество на пути к прогрессу изобретает радио — на радость всем, и *жучок* — на смерть тем, кто норовит остаться самим собой. Каждый шаг прогресса одномоментно рождает шажок беса. Почему так? Почему?!).

Никандров всегда грохотал, отстаивая свою правоту; голос его был как иерихонская труба:

— Каждый истинный литератор находится на своей Голгофе, Максим! Трагедия русского писателя в том, что он может быть писателем только в России... Внутренне... Но он не может им быть внешне, потому что именно в России ему мучительно трудно пробиться к людям... Верно, поэтому в нас и родился чисто «русский писательский комплекс»?! Русский литератор не может писать, не думая о тех, кто его окружает, но вместе с тем не может к ним пробиться, понимаете?! Это трагедия, на которой распята наша литература! Или она органично политичная, как у Писарева, и тогда она даже счастлива, если ее распинают... А коль скоро в ней возникает *просвет*, как у Толстого,

Достоевского или Гоголя, тогда рукописи летят в огонь, тогда человек бежит из дома невесть куда, он эпилептик, потому что эта гениальная бездна не может удовлетвориться данной политической ситуацией, вот в чем дело! Трагедия русского писателя в том, что в нем накапливается Мысль, Вера, она рвет ему сердце, сводит с ума, но уехать из России для него такая же трагедия, как и остаться там... Ведь когда властвует сила, места для морали не остается...

А что я ему ответил тогда, подумал Исаев, он ведь согласился со мною... Ах да, я вроде бы сказал, что русский писатель должен постоянно напоминать миллионам, что они *люди*... В него будут лететь камни, гнилые помидоры, дротики даже... Такой литератор погибнет — осмеянным и опозоренным... Но такие должны быть! Их не может не быть... И покуда оплеванный и униженный писатель продолжает говорить, что Добро есть Добро, а черное не есть белое, люди могут остаться людьми, иначе их превратят в тупое стадо...

А он ответил, что потерять константу духа и морали, которым служит истинная русская литература, можно только однажды... «А вы, — сказал он мне, чекисту, который не скрывал от него правды, потому что верил ему, — хотите втянуть литературу в драку! Впрочем, вас можно понять... Вам нужно выполнить чудовищно трудную задачу, вы ищете помощь где угодно... Вы готовы даже от литературы требовать чисто агитационной работы, да будет ли прок?»

Ну и как? Получился *прок*, спросил себя Исаев? Или где-то, когда-то, в чем-то все *перекосило*? Когда? Где? В чем? Кто?

— Не спится? — тихо спросил Валленберг.

— Не спится...

— Теперь уже не уснете.

— Это почему? — удивился Исаев. — Поворачивайтесь на правый бок и считайте до тысячи — уснете... Завтра у нас предстоит разбор Цезаря, очень важный реферат.

И он снова вспомнил бернскую квартиру, отца, Воровского, Мартова, Аксельрода, Зиновьева, Дана и сразу понял, отчего увидел лица этих людей: «реферат» был их самым любимым словом — турнир идей; пусть победит умнейший — не сильнейший, ум мощнее силы, ибо не преходящ, а постоянен...

...Сашенька, сказал он себе, сынок, любимые, простите меня... По моей вине вы оказались в *жерновах*... Я не ве-

рю ни единому слову этого Аркадия... Я понимаю, как они испугались после того, как я *вмазал* Деканозову; страх не прощают, за унижение страхом мстят... И не просто, а кровью...

14

Понимая, что ситуация в Политбюро продолжает оставаться зыбкой из-за открытого благоволения Старого Демона к Вознесенскому, *маршал* постоянно строил комбинации, которые бы укрепили его позиции. То, что он успел — после краха Жукова еще — *подкинуть* Старцу на «друзей» по Политбюро, постепенно, подспудно, медленно зрело в уме Кобы.

Вопрос с Молотовым решен — дело времени; после предстоящего ареста членов Еврейского антифашистского комитета жену министра иностранных дел посадят — вражина; Ворошилов скомпрометировал себя во время войны, эпоха конницы кончилась, Тухачевский был прав, все сталинские фавориты — Клим, Буденный и Кулик — не смогли противостоять немцам, бежали, фронт трещал; Каганович — не в счет; Шверник хорошо зарекомендовал себя в качестве судьи на первых пробных процессах против меньшевиков и технических интеллигентов, но не тянет на самостоятельность; Андреев — списанная фигура, Хрущев — мужик, у Микояна сидели дети, Булганин пойдет за тем, кто сильней.

Только Егор Маленков, которого я вернул в Москву, я, и никто другой, понял раз и навсегда, что без меня он — ничто.

Конечно, поскольку безумный Старец забыл, где родился, считает себя квасным русским патриотом, я не смогу — формально во всяком случае — претендовать на первую роль; фамилию не менял, горжусь, что мегрел; Егор — первый, я — за ним; еще посмотрим, кто сильнее: Фуше или Талейран? А Егор вовсе не Талейран, а если и Талейран, то карманный.

Жизнь приучила Берия к тому, что мелочей не существует; именно поэтому информация об Исаеве, чье имя раньше, до панического сообщения Деканозова и Комурова, помнил зыбко (Лео Треппера и Шандора Радо знал, руководители «Красной капеллы»; обоих видел во время допросов, легче всего в голове откладывались не фамилии, а лица), а этого Штирлица, который гнал какую-то

информацию по поводу бернских переговоров немцев с Даллесом, не представлял себе; потом и вовсе забыл этот псевдоним — готовил встречу в Ялте, обрабатывал документы, не до агентуры, судьбы мира решались...

Но сейчас, когда близилась *схватка*, когда Старец может выкинуть фортель и отдать портфель главы правительства Вознесенскому, ситуация по-прежнему была неблагоприятной, и если действительно этот Исаев бабахнет книгу о той службе, которую в ту пору возглавлял он, Берия, его недруги получат в руки козырь, а ведь в Политбюро *все* его недруги, ибо понимают: ему известно о каждом из них *все*, абсолютно все, без исключения...

Поэтому, приняв Комурова на даче, как и условились, в воскресенье, пригласил его на прогулку по песчаным дорожкам соснового бора, спускавшегося к реке, где у причалов стояли мощные катера (летом любил смотреть молодых купальщиц, выбери какую постатней — полковник Саркисов через час доставит голубушку к столу: фрукты, вино, коньяк, ванная комната, сладостный момент ожидания любви под крахмальной простыней, потом быстрое прощание: «Вот тебе, лапушка, подарок — облигация пустяшная, всего двести рублей, но чует мое сердце — на следующем розыгрыше возьмет пять тысяч»; говорил так потому, что брал в Наркомфине «для оперативных целей»).

Комурову верил безоговорочно, поэтому размышлял с ним вслух, словно бы проверяя на генерале логику своих умопостроений:

— Хозяин обожает все подробности о Гитлере, — он вдруг зло усмехнулся. — Еще бы... Так вот этот ваш Исаев, если он действительно общался с Борманом и Шелленбергом, бывал действительно на докладах у Гиммлера, может рассказать много таких деталей, которые Коба *проглотит*... Однако всей информации сразу отдавать нельзя... Надо дозировать, чтобы разжечь в нем интерес... Я бы подумал, как подбросить Абакумову идею, предварительно повернув к этому вашего Штирлица, чтобы тот — под запись — сказал: «Но самые важные сведения, имеющие выходы на завтрашний день — Гитлер заложил фугасы впрок, — я расскажу только товарищу Сталину». Понимаешь?

— Товарищ Сталин зэка не примет, — убежденно ответил Комуров.

— Так посели его на даче, одень в форму: вернулся Герой, проверка кончилась, он чист, не ссучился, как такого не показать Иосифу Виссарионовичу?!

— Не очень понимаю смысл комбинации, — признался Комуров. — Что это даст — в связи с Вознесенским? И потом, мы лишаемся его как свидетеля на процессе Валленберга, он наш козырь...

Берия удивился:

— Почему? Его можно переводить на дачный режим хоть завтра... Вместе с Валленбергом... Отпустите жену... Вроде бы отпустите... Придумайте что-нибудь с сыном... Выступит на процессе Валленберга, дадим орден, а дальше — моя забота...

— Лаврентий Павлович, вы не видели этого человека... Случай совершенно особый...

Берия недоумевающе посмотрел на него:

— А что, ты уже не в силах устроить так, чтобы я лично посмотрел на него?.. Нужна санкция товарища Абакумова? Так попроси! Скажи, мол, Лаврентий Павлович просит вашего разрешения, товарищ министр!

Комуров обиделся:

— Если разрешите — я хоть завтра пристрелю Абакумова в его же кабинете...

— Не разрешу, — усмехнулся Берия. — К сожалению... Если уж и расстреливать — то в камере, после ареста и процесса... Да и надо ли? Дурак в лампасах дорогого стоит... Запомни: Сталину сейчас нужно небольшое, но красивое *дело* против «великорусской автаркии», чтобы потом ударить по его любимым евреям; Израиль мы просрали, время менять ориентиры, нам нужно Средиземное море, нужны арабы, для этого изолируем от общественной жизни собственных евреев — неужели не понятен азбучный строй рассуждений Сталина?! Он их ненавидит, но никогда в этом никому не признается; ты ж его знаешь: «Прежде всего интересы русского народа, мы ему служим и должны делать это отменно и впрок»... А народ в деревнях мрет от голода! — Берия резко оборвал себя. — Поэтому с Валленбергом не торопись, дорого яичко ко Христову дню... А главную комбинацию ближайшего будущего я вижу следующим образом: на предстоящей партконференции Питера нужно сделать так, чтобы там произошла какая-то *заметная* накладка: то ли Сталина мало в речах помянут, империализм ли будут недостаточно громить, не того человека проведут в бюро — не знаю, это *подробности*, тебе о них и думать... Информация об этом скандале должна поступить на стол Сталина не от Абакумова... От Маленкова... Егор сам доложит Кобе... Вот тебе и *дело* против «ленинградского вели-

корусского уклона»; выбьешь показания у ленинградцев... Допросы проводи сам — особенно первые... Это ты умеешь — сломятся. От них нужно только одно: да, были связаны с Вознесенским и Кузнецовым, вместе думали о создании русской столицы в Ленинграде или Горьком... Дальше — само покатится... Вот тогда все отдашь Абакумову... И Вознесенский, и Кузнецов станут молчать, что бы с ними ни делали... И это — замечательно... Егор доложит Старцу, что Абакумов, видимо, тоже тяготеет к великорусской группе... Сталин поручит следить за ним неотступно: что и требовалось доказать! Принимать его откажется, Витюшка — в кармане! С потрохами... Это — первый этап. Но этого мало... Поскольку Абакумов тряс Кремлевку, поднимал историю болезни Жданова, но *выводов* не сделал, возьми у него ордер на арест пары-тройки профессоров — не из Кремлевки, а тех, кого туда приглашали на консультации; пусть те твои идиоты, кого не жаль, начинают их мотать: отчего ставили неверные диагнозы? По чьему указанию? Сколько за это получили? От кого? Пусть работают ласково, дружески, без крови... А ты — доложи Абакумову, что, мол, *вражины* молчат... Но это — лишь когда я дам тебе сигнал... Старцу очень нужен очередной спектакль, — повторил Берия. — С кровушкой... Вознесенский в четверг докладывал на ПБ: экономика трещит трагически, либо мы поможем сельскому хозяйству и вложим хоть какие-то средства в легкую промышленность, пособим группе «Б», либо возможны необратимые социальные диспропорции... Старец его спросил: «А если помогут наши пропагандисты? Уговорят народ потерпеть еще чуток? Назовут имена тех, кто мешает нам в работе? Объяснят, кто виноват в недостатке жилья, одежды, обуви? Мы не можем перекачивать средства из обороны на ботинки. Мы не можем заморозить группу «А» во имя «Б». Я лично довольствуюсь одной парой башмаков, почему другим надо больше?» А Вознесенский ответил, что, мол, это гомеопатия, а в создавшейся ситуации нужен скальпель... Сталин тогда спросил: «Беретесь быть хирургом?» А тот ответил: «Если поручите, дав полномочия, — возьмусь...» И Сталин улыбнулся: «А что, возраст у вас хороший, сорок пять, я в ваши годы уже был генсеком...» Ты понимаешь, что мы стоим на краю обрыва? Понимаешь, что выживший из ума деспот алчет крови?! В ней — его спасение! Вот так-то... А уж когда наша команда доложит Егору, что и по евреям в хозяйстве у Абакумова шло раскачай ногу, арестованные

профессора молчали, вот тогда и понадобится Валленберг... Цепь замкнется: гестапо — великорусская оппозиция — евреи — американская спецслужба...

Комуров остановился:

— Гениальная комбинация, Лаврентий Павлович! Просто-напросто гениальная! Ваше имя занесут на скрижали!

— Ах, Богдан, Богдан... — Берия вздохнул. — Порою меня потрясает твоя наивность... Как ребенок, право! Да разве я разрешу себе мараться в таком процессе?! Это ж позор империи! От этого страну придется отмывать! Вот я ее губкой и отмою. Я. Никто другой. Запомни это.

...За обедом, испуганно извинившись, Комуров, зримо превозмогая себя, спросил:

— Лаврентий Павлович, но все же сориентируйте меня, дурака: зачем тогда нам этот Исаев?

Берия недоумевающе глянул на Комурова:

— Кто?

— Исаев-Штирлиц...

Берия не рассердился, ответил тихо и очень грустно:

— Политик, который ставит на успех лишь одной комбинации, — не политик, а недоумок... Взяв у Штирлица информацию о Гитлере, заинтриговав — через Абакумова — Хозяина, получив собственноручную санкцию Сталина на расстрел бабы этого самого Штирлица и его полоумного сына как шпионов и террористов, — это тоже все на Абакумове, запомни, — видимо, я сам встречусь с Исаевым. Пусть его Влодимирский готовит к этому загодя... Бородку приклею, усы нарисую, — Берия вздохнул, — я гримироваться научился еще в Баку, тряхну стариной... Если ваш Штирлиц — особый случай и если он узнает, что...

Берия резко оборвал фразу; даже себе нельзя в чем-то признаваться, а уж друзьям тем более...

...Нет ничего более обманчивого, чем взгляд со стороны.

Как часто мы видим мужчину и женщину, идущих по улице (солнечной, дождливой, морозной); улыбаются друг другу, он поддерживает ее под руку, само внимание, а на самом-то деле давно не любит, живет с другой, она мстит ему за это; дома — *крематорий*, но развод невозможен: он потеряет свою престижную работу. Сталин вернул стране былое ханжество, развод, разрешенный судом, приравнивается чуть ли не к государственной измене — вот и жи-

вут недруги (чтобы не сказать враги) под одной крышей...

Как часто мы видим праздничные застолья — нет ничего прекраснее грузинского, когда *стол* выбирает тамаду и его заместителя, и они не имеют права покинуть гостей до тех пор, пока не кончится обед, они должны пить, произносить мудрые тосты, в которых заложены не только восхваления, но и логический анализ причин этих восхвалений; возможен и *намек* на определенные (впрочем, легко исправляемые) недочеты того или иного гостя; угодна и самокритика тамады, это ценится особо, значит, не *дежурный*, человек одарен даром божьим, призванием.

Глаз радуется, когда наблюдаешь такой стол — хоть издали, хоть вблизи... И никому невдомек, что один из гостей завтра утром *проинформирует* о поведении, словах и мыслях тамады, поскольку другой (или другие) уже сигнализировал о том, что тамада «живет не по средствам», позволяет себе двусмысленные высказывания, дерзок в мыслях и слишком уж независим в суждениях.

Бедный тамада, дни его сочтены, ждут камера, нары, допросы, допросы, допросы...

...На крупнейшей стройке — прорыв; экстренное совещание у директора; приглашены стахановцы, ударники, ведущие инженеры и конструкторы; директор не спит вторую ночь, выдвигает одно предложение за другим, держит себя лишь крепчайшим чаем, записывает предложения, спорит, соглашается, дает команды по объектам, но среди присутствующих есть тот (или та), который обязан написать отчет о вражеской деятельности директора, «намеренно» устроившего этот прорыв, — тайный враг...

Неудачники мстят талантам.

Скряги — щедрым.

Глупцы — умным.

Уроды — красивым.

Лентяи — тем, кто наделен инициативой, смелостью и сметкой.

Однако мир устроен так, что порой умный становится злейшим врагом умного — ревность, соперничество; щедрый — щедрого; сметливый — сметливого (конкуренция, несовместимость характеров); талант вступает в борьбу с талантом — порой это следствие продуманной провокации, никто еще не отменил римское «разделяй и властвуй» — союз талантов опасен власть предержащим; порой, впрочем, за этим стоят разность идейных позиций, комплексы, влияние жены (мужа, матери, брата); воистину именно благими намерениями устлана дорога в ад.

...Посмотри со стороны, как дружески беседуют в ресторане «Москва» седой щеголеватый полковник с орденскими колодками (щеки запали, лицо в рубленых морщинах, видно, недавно из госпиталя) и краснолицый веселый крепыш в поношенном костюмчике, глядящий влюбленными, сияющими глазами на своего военного товарища!

Исаев и Иванов, они же Штирлиц и Аркадий Аркадьевич, они же Юстас и генерал; на самом же деле — зэк Владимиров и полковник МГБ Влодимирский; преследуемый и преследователь.

Аркадий Аркадьевич что-то говорил, весело смеялся, но Исаев сейчас не слушал его, вспоминая Сашеньку, ее сияющее лицо; «Нашего Санечку тоже привезут в Сочи? Ты запомнил: моя палата — тринадцатая?! Я люблю эту цифру! Ты напишешь мне? Я буду сочинять тебе письма в стихах, любовь!» — и уже за минуту перед тем, как поезд тронулся, трагичное и беспомощное: «Максимушка, поверь, доктор Гелиович ни в чем не виноват, это какая-то непонятная, недостойная интрига... Если сочтешь возможным, пожалуйста, помоги... Почему ты не хочешь взять ключи от дома? Я понимаю, у тебя теперь своя квартира, но, может быть, Санечку привезут раньше, он сразу пойдет на Фрунзенскую...»

Исаев резко потер лоб, выступали красно-багровые полосы; чуть поднял правую руку, словно бы прося слова.

Аркадий Аркадьевич еще ближе придвинулся к нему:

— Что, товарищ полковник?

— Этот доктор... Гелиович... Там можно что-то поправить?

— Я разрешу вам присутствовать на беседе с ним... И самому задавать вопросы... любые... От вас будет зависеть, как поступить...

...Исаев помнил их разговор с Аркадием Аркадьевичем (как только они ушли с перрона Курского вокзала) практически дословно; он попросил, чтобы в ресторан поехали на метро: «Я ведь ни разу в жизни не видел этого чуда». — «На метро так на метро», — Иванов согласился легко, чувствовал себя иначе, чем в кабинете, и совсем не так, как во время первого выезда в город.

Заговорил Иванов не в вагоне; во-первых, Исаев завороженно смотрел на станции, людей, нежно улыбался шумным детишкам (кадык *елозил*, но глаза оставались сухими), а во-вторых, ждал *одиночества*, которое и наступило, когда они вышли на станции «Охотный ряд».

— Отвечаю на ваш давешний вопрос о том, с кем я, —

по-прежнему весело улыбаясь, но явно эту улыбку *играя*, начал Аркадий Аркадьевич, чуть понизив голос. — Раньше не мог, *служба* наверняка смотрит за вами, взаимная перепроверка, особенно в метро, там бежать легче, толпа, пневматические двери... Итак, я считаю Сергея Сергеевича и прочих — кроме Рата, он талантливый опер, — подонками, которые компрометируют высокое звание чекиста. Они пришли в аппарат недавно, вместе с новым министром Абакумовым. Почему с этого поста оттерли Лаврентия Павловича? Потому что он сохранил Родине маршала Рокоссовского и маршала Мерецкова — обоих должны были расстрелять, пытали в подвалах, подвергали чудовищным мучениям... Они не падали в обморок, — вдруг ожесточившись, заметил Аркадий Аркадьевич, — от того, что сидели недвижно на стуле! Их били металлическими прутьями, ясно?! Берия сохранил Родине авиаконструктора Туполева, министра Ваншикова, который потом снабжал фронт «катюшами»... Он реабилитировал десятки тысяч ленинцев — практически всех, кого не успел расстрелять мерзавец Ежов... Думаете, не питай я к вам уважение за ваши подвиги и не доложи Берия, вас бы не истязали?! Еще как бы истязали... Словом, ситуация не простая... Попытка отодвинуть товарища Берия от непосредственного руководства органами произошла под воздействием чьих-то темных сил. Чьих? Не знаю. Но намерен узнать. Я не один в этом желании. То, что я вам сейчас сказал, — основание для моего расстрела без суда и следствия. Если хотите помочь мне... нам... свалить мерзавцев — включайтесь в работу... Да, да, сидя на *даче* или в камере — если я решу, что так угодно нашей борьбе... Если вздумаете играть на этом моем признании — вас убьют вместе со мной. Точка! — прервал он себя. — Всё, забыли! Говорим о меню, вине и женщинах... И еще о фюрере... Меня очень интересуют взаимоотношения Гитлера с его окружением в начале их движения; честно говоря, национал-социализм, его рождение и развитие мы прошляпили. Информации — серьезной и объективной, если хотите, бесстрашной — у нас практически не было. Стол в ресторане, скорее всего, *оборудован*, поэтому информацию дозируйте... И засадите фразочку: «О каких-то эпизодах — Гитлер заложил фугасы под будущее — я доложу только товарищу Сталину... Лично...»

— Скажите, — задумчиво спросил тогда Исаев, словно бы не услыхав его, — а если бы товарищ Берия приехал в Москву в тридцать пятом году, процесса Каменева не

было бы? Каменева с Зиновьевым не расстреляли бы?

Аркадий Аркадьевич долго молчал, улыбка с лица сошла:

— На это я ответить не в силах... И не потому, что боюсь. Просто — не знаю. Я, честно говоря, вопросы о прошлом себе не ставлю... Думаю о будущем, чтобы не повторился, упаси господь, тридцать седьмой...

— Спасибо за честность, — ответил Исаев. — Переходим к меню, вину и женщинам...

— Слушайте, Всеволод Владимирович, — покончив с солянкой, спросил Иванов, — а вы когда-нибудь фюрера вблизи видели?

— Что значит «видел»? На съездах партии, на приемах, в Байрейте — во время вагнеровских фестивалей — много раз... Лично у него на докладе не был. Но ведь служба составляла каждый день материал: о том, кто его посетил, о чем шла речь, реакцию Гитлера на тех, кто был удостоен аудиенции, слежка за этими людьми... Так что кое-какую информацию о нем в здании на Принцальбрехтштрассе при желании можно было получить... с трудом, но — можно.

— Эти *материалы* докладывали Гитлеру?

— Судя по тому, что обрабатывали их на нормальной машинке, — нет... Только то, что печаталось на «Ундервуде» с большими литерами, шло к нему тут же, с фельдъегерем...

— А кто получал материалы с нормальным шрифтом? Гиммлер?

— Конечно.

— А еще?

— Гесс, «брат фюрера», их не получал... Он вообще не жаловал *службу*, всегда подчеркивал, что государством арийцев правят не штурмовики или военные, но рабочий класс и бауэры...

— Кто? — Аркадий Аркадьевич не понял. — Сторонники Бауэра?

— Вы имеете в виду социал-демократа Бауэра? — Исаев не считал нужным скрыть усмешку. — Все социал-демократы, кто не успел сбежать, сидели в концлагерях, они ни разу не пошли на компромисс с нацистами... «Бауэр» — это «крестьянин»...

— А Борман? — спросил Иванов, пропустив замечание Исаева о социал-демократии. — Ему такие материалы отправлялись?

— Не думаю... Он бы обернул это против Гиммлера: «фюрер, за вами следят»...

Аркадий Аркадьевич хохотнул:

— И назавтра бедолагу в пенсне шлепнули бы в подвале...

Исаев покачал головой:

— У вас неверное представление о партийном механизме рейха... Вы знаете, кто был самым сильным противником фюрера?

— Как это «кто»? Коммунисты...

— И социал-демократы. Не сбрасывайте их со счетов, — повторил Исаев. — Думаю, что в обозримом будущем именно они станут ведущей силой на Западе... Впрочем, это одна из тех тем, которые я готов изложить лишь товарищу Сталину, боюсь, другие меня не смогут понять из-за въевшихся стереотипов... Но я не об этом, — заметив восторженную улыбку Аркадия Аркадьевича, Исаев молчал кивнул, подчеркивая этим, что он выполнил просьбу «генерала Иванова». — Я имею в виду другое... В двадцатых годах самым грозным противником фюрера был Геббельс...

— Тот самый?! — искренне поразился Аркадий Аркадьевич.

— Именно... А гауляйтера Коха помните? Руководителя областной парторганизации в Кёнигсберге? Одного из ветеранов... нацизма?

— Не просто помню... Мы с ним работали — вместе с поляками... Молчит, сволочь...

— А вы знаете, что именно этот «друг фюрера» в двадцатых годах бросил лозунг: «В нашей рабочей партии решает большинство, а не папа! Долой партийных императоров, да здравствует национальная революция социалистов!» А кто его поддержал? Геббельс. Это было, если мне не изменяет память, в конце двадцать пятого... Так вот, он тогда прямо-таки заорал во время совещания, созванного истинным создателем партии Грегором Штрассером: «Я предлагаю исключить из рядов национал-социалистической рабочей партии Адольфа Гитлера как мелкого буржуа, пробравшегося в наши ряды! Мы — партия рабочего класса и трудового крестьянства! Мы не вправе терпеть в своих рядах ни социал-демократических, ни буржуазных элементов!»

Аркадий Аркадьевич слушал завороженно, даже папироску не решался закурить, хотя Исаев видел, как рука его то и дело тянулась к открытой пачке «Герцеговины Флор»...

— Да вы курите, — сказал он. — И я закурю, если разрешите...

— Бога ради, Всеволод Владимирович! Водочки не хотите? Рюмашку?

— Обвалюсь... Тащить придется... На ваших харчах человек только что не умирает... И язык начнет заплетаться... Давайте выпьем, когда я переберусь на свою квартиру...

— Тоже верно, — согласился Аркадий Аркадьевич, — я водку ненавижу, а пить приходится, особенно на приемах — дело есть дело... Ну, и что потом?

— А через полгода Геббельс переметнулся к Гитлеру: тот посулил ему пост гауляйтера всех парторганизаций Берлина... И судьба Штрассера была решена...

— Погодите, погодите, тут что-то не сходится, — возразил Аркадий Аркадьевич. — Штрассера расстреляли в июле тридцать четвертого года, а вы говорите про двадцатые...

— Все сходится, — Исаев вздохнул. — Гитлер планировал комбинации против тех, кого считал недругами, не на год вперед, а на десятилетия... Думаете, он перед гибелью не заложил фугасы под будущее? Думаете, он ушел просто так, завещая лишь бить евреев? Не-ет, Аркадий Аркадьевич! Его фугасы так страшны, так изощренны, что и представить себе трудно...

— Какие именно?

— И это я готов открыть Иосифу Виссарионовичу. Только ему. После моей реабилитации... Никому другому, кроме товарища Сталина...

Иванов удовлетворенно кивнул, изумленно покачав при этом головой: «Ну и работа, ну и профессионал!»

— А что же было со Штрассером после того, как Геббельс переметнулся?

— Ничего... Гитлер передал в его ведение орготдел НСДАП, ключевой пост; с тех пор все назначения и перемещения гауляйтеров готовил именно Штрассер. Но, утверждая назначение, Гитлер — в присутствии всего руководства партии — заметил: «Я согласен с критикой моих товарищей: нам не нужно императоров и пап, все вопросы решаем большинством! Меньшинство подчинено железной воле, выраженной *массой*». И Штрассер был вынужден проводить решения, которых он внутренне не принимал, но подчинялся им как фанатичный ветеран. А как это было выгодно первому лицу?! Он делал то, что ему выгодно, чужими руками!

Аркадий Аркадьевич ничего не ответил, попросил официантку принести ему рюмку водки, снова закурил:

— Ничего этого в наших информациях не было...

— А знаете, кто спас Гитлера от самоубийства?

— Какого?! Когда?!

Исаев испытующе посмотрел на собеседника:

— Если вы играете незнание, я рано или поздно пойму это...

— Клянусь детьми! Только... Всеволод Владимирович, пожалуйста, не говорите больше «национал-социалистическое» государство... У нас принято писать «фашистское» или, по крайней мере, «национал-социалистское»...

— Такого слова ни в немецком, ни в русском языках нет, — отрезал Исаев. — Так вот, после того как любовь фюрера, Гели Раубаль, сказала, что уходит от него и ее за это убили из маленького пистолетика, любимого пистолетика фюрера, тот чуть не помешался... И Грегор Штрассер просидел с Гитлером, никому не отпирая дверь его квартиры, два дня... И спас его, черт возьми, от того, чтобы тот не пустил себе пулю в лоб... А вот разрыв между фюрером и Отто Штрассером, младшим братом Грегора, руководившим прессой, которая атаковывала фюрера слева, произошел после того, как Гитлер принял в партию и приблизил к себе сына свергнутого кайзера — принца Августа-Вильгельма... Это было явным предательством первой программы партии, в которой говорилось, что представители эксплуататорских классов никогда не будут приняты в ряды национал-социалистов... И брат создателя партии, Отто, опубликовал в газете лозунг: «Истинные национал-социалисты должны покинуть «партию» Гитлера»... Несмотря на это, вторым человеком в партийном аппарате продолжал оставаться Грегор... Это, кстати, ошибка — считать всех членов партии Гитлера ублюдками и кретинами... Вначале там было довольно много идейных людей... Странно, что у вас нет информации о Штрассерах, я же посылал вам шифровки из Лиссабона, когда Шелленберг взял меня с собою для организации убийства Отто Штрассера... Тот вовремя уехал из рейха, поэтому и уцелел... По приказу фюрера в РСХА был создан специальный отдел «террора» — для убийства Отто Штрассера, одного лишь Штрассера, представляете?! Он, кстати, жив, скрывается где-то в Канаде... Слыхали о его «Черном Интернационале»? Он создал его в эмиграции, в пику фюреру...

— Очень мало...

— Если у вас в архиве есть европейские и канадские газеты, я готов подобрать досье... Любопытно: у него было все, как у Гитлера, только без призывов к антисемитизму, перекройке карты мира и войне... Все остальное — калька, одно к одному: равенство, экспроприация банков и крупных заводов, права рабочим и ба... крестьянам...

— У меня хорошая память, — заметил Аркадий Аркадьевич. — Могли бы говорить «бауэры» — врезалось навечно. — И он сладко, как-то по-особому, тягуче, выпил принесенную официанткой водку; не закусывая, сразу же закурил, вновь выжидающе приблизившись к Исаеву.

— Если бы не Геббельс, — продолжил Исаев, — возможно, Грегор Штрассер не был бы расстрелян... Однажды Гиммлер показал Гейдриху фотографии черновиков речей Геббельса... Тот рассказал Шелленбергу, ну а этот поделился со мной... Геббельс переписывал каждую страницу раз по восемь... Сам вставлял пометки: «здесь нужны аплодисменты»... Или: «тут — драматическая пауза, чтобы началась овация», или: «резкий взмах рук, отчаяние на лице — неминуемы возгласы поддержки»... У него в «особой команде» было тридцать человек, которые рассаживались в разных точках зала, где выступал хромой, и организовывали толпу, начиная овации и выкрикивая слова поддержки в запланированных местах... Их потом всех расстреляли... В ту же ночь, когда убили Штрассера и Рэма... И еще одного человека шлепнули, без которого Гитлер бы вообще не состоялся, — господина Штемпфле; то ли пастор, то ли расстрига; он переписал всю «Майн кампф» — от начала до конца... Гитлер ведь провел две волны чисток: в тридцать четвертом и тридцать девятом... Он приказал имитировать покушение на себя, чтобы обвинить в этом «английских шпионов» — их руками в пивном зале были убиты самые *памятливые* ветераны, их заботливо посадили в первые ряды, поближе к трибуне фюрера, но тот быстро уехал, а эти через двадцать минут превратились в куски мяса... Ничего, а? Кстати, стенограммы бесед Гитлера с Брайтингом у вас сохранились?

— Не слыхал. Кто это?

— Вполне порядочный консерватор, редактор одной из немецких газет... Фюрер был заинтересован в нем... Тридцать первый год, кризис в партии, финансовый крах — нужна реклама... Вот он и пригласил его для интервью... Когда Брайтинг спросил фюрера, как можно идти к власти с кровавыми призывами Геббельса и Розенберга, которые

требуют немедленно повесить всех марксистов и евреев, Гитлер ответил: «Лес рубят — щепки летят... Я не хочу скрывать: придя к власти, мы покажем, сколь тверда наша рука... Но мы не собираемся вешать на телеграфных столбах всех богатых евреев, чушь... Это всего лишь пропагандистский ход Геббельса и Розенберга, не судите их строго, они дают нации лозунги, которые угодны эксплуатируемым и голодным... Однако правда такова, что после победы мы будем приказывать, а немцы беспрекословно слушаться! Низы подчиняются, верхи правят! И Геббельс позаботится, чтобы девяносто девять процентов нации восторженно поддержали нашу политику! Печать будет мобилизована на службу обществу... Каждый будет призван к ответственности — в соответствии с законом!» Неужели не читали? — удивился Исаев. — По-моему, часть этих материалов была опубликована в Лейпциге в тридцать первом... И это у *нас* не переводили?

— В тридцать первом я занимался коллективизацией, Всеволод Владимирович... В органы пришел только в тридцать седь... Нет, в конце тридцать восьмого, по набору товарища Берия, когда мы раз и навсегда покончили с ежовскими нарушениями законности.

...На этот раз в здание МГБ они вошли через подъезд; Иванов показал удостоверение, бросив охране:

— Товарищ со мной, на него есть пропуск.

Когда вошли в его кабинет, со стульев поднялись три человека: двое были в форме, а один, сутулый, седой, лохматый, — без пояса; губы синие, глаза запавшие, но живые, мочки ушей оттянуты, увеличены — значит, болен.

— Это Гелиович, — пояснил Иванов. — Тот самый... Можете допросить его.

— Я бы хотел поговорить с ним один на один.

Иванов внимательно посмотрел на тех двоих, что стояли рядом с доктором, что-то, видимо, понял — то, чего Исаев понять не смог, и поинтересовался:

— В гестапо такую просьбу, учитывая специфику нынешней ситуации, удовлетворили бы?

— Нет, — ответил Исаев.

Иванов кивнул; обратился к военным (капитан и подполковник):

— Ну что? Пойдем походим по коридору, а?

Когда дверь за ними закрылась, Исаев спросил:

— Вы знаете, кто я?

— Вы очень похожи на Сашенькиного мужа... Там

много ваших фотографий... Все, правда, размножены с одной...

— Где это «там»?

— У Сашеньки. На Фрунзенской...

— Как вас зовут?

— Яков Павлович.

— В чем обвиняют?

— В шпионаже и антисоветской пропаганде.

— В пользу кого шпионили?

— Я не шпионил... Эти доллары остались в наследство от моего дяди... Его брат уехал в Америку перед революцией... А когда ввели Торгсин, он перевел доллары, тогда разрешалось...

— С вашими доводами согласились?

— Да.

— Значит, обвинение в шпионаже отпало?

— Да.

— Вы действительно занимались антисоветской пропагандой?

— Да.

— В чем это выражалось?

— Я хранил и давал читать другим книги врагов народа...

— Кого именно?

— Троцкого и Бухарина... Будь проклят тот день, когда я получил эти книги...

— От кого вы их получили?

— От профессора Шимелиовича...

— Кто это?

— Главврач Боткинской больницы.

— Почему он их вам дал?

— Потому что мы с ним очень дружили.

— В книгах есть призывы к антисоветским действиям?

— Я... Почему вы говорите так? Зачем? Не надо, пожалуйста! Я же признался во всем... Пощадите меня, я же хотел Сашеньке только добра! Она бы погибла иначе, — Гелиович заплакал. — Если бы вы только видели ее в сорок шестом! Если бы видели... Она никогда не любила меня... Я был вашей тенью... Она всегда любила только вас...

— Вас пытали?

Гелиович в ужасе откинулся на спинку стула:

— Что?! Зачем?! Почему вы так говорите?! Я не хочу!

— Как я говорю? Я просто спрашиваю: вас пытали?

— Нет. Со мной... Меня не пытали... Наши органы никого не пытают...

— Тогда отчего вы признались в том, чего не было?

— Было! — истерично закричал Гелиович. — Я во всем признался! Было!

— Ни в «Азбуке коммунизма» Бухарина, ни в книге Троцкого «Октябрь», которые вы хранили, нет антисоветской пропаганды. Один автор — член Политбюро и наркомвоенмор, другой — редактор «Правды» и член ЦК, чушь какая-то...

— А я категорически повторяю, что меня никто не бил! — снова закричал Гелиович.

— Я говорю с вами как друг, доктор... Я... Я благодарен вам за Сашеньку... И хочу вам помочь... Вы говорите, что вас не пытали... И что вы сами признались в антисоветской деятельности... Вы знали, что идете на *преступление*, прятав у себя книги Троцкого и Бухарина?

— Все советские люди знают, что это преступление... Значит, и я должен был знать...

— Почему вы зашили эти книги в матрац моего сы... Почему вы так тщательно прятали литературу, изданную в Советском Союзе?

— Что вам от меня надо? — прошептал Гелиович. — Ну что, объясните?! Я никогда не откажусь от признания, которое карается восемью годами! И ни днем больше!

— Вас сломали, — сказал Исаев. — Вы просто боитесь мне открыть правду, потому что знаете: нас здесь подслушивают... Закатайте рукава! Быстро!

Исаев подскочил к нему, думая, что именно сейчас-то в кабинет ворвутся; никто, однако, не ворвался. Руки Гелиовича не были исколоты; человек в своем уме, воля не парализована. А если кололи в ноги? Нет, его не кололи... Судя по тому, как он вскинул кисти, чтобы закрыть лицо, когда я бросился к нему, его просто били... Человек идеи обязан выдерживать все, а этот несчастный, которому пообещали сохранить жизнь, подписал с ними договор на верность... А Иван Никитич Смирнов, спросил себя Исаев, член Реввоенсовета, большевик с девятьсот первого года? Почему он все признал на процессе Каменева? Испугался побоев? Не верю. Накололи черт-те чем? Тоже не верю, какие-никакие, но ведь зрители были в зале суда, они бы заметили психическое нездоровье подсудимого! Лион Фейхтвангер писал в своей книге «Москва, 1937», что Пятаков, Радек и Сокольников вели себя как совершенно нормальные люди, порою даже шутили, переговаривались друг с другом, отрицали пытки, хотя могли прокричать об этом... Ведь Радек лично знал Фейхтвангера, сказал бы

ему по-немецки, все б полетело в тартарары и сделалось очевидным: спектакль, термидор, антиленинский путч! Почему не прокричал? Ладно, сломали, не знаю еще как, но их сломали... А люди?! Зрители?! Если завтра на скамью подсудимых выведут Клима Ворошилова и тот начнет признаваться, что был гестаповцем, этому тоже поверят?!

Исаев ужаснулся вопросу, потому что растерялся, не зная, что ответить. Если поверят, тогда стоит ли вообще жить? Во имя чего? Значит, над народом тяготеет трагический рок; такова наша судьба. Нет, возразил он себе с какой-то испугавшей его настороженностью, просто мы единственное государство, которое на протяжении веков было лишено самого понятия «Закон» и права на Слово.

— Если бы вы признались, что вас пытали, — устало сказал Исаев, подойдя к окну, — честное слово, мне было бы легче помочь вам...

И вдруг Гелиович рассмеялся:

— Да? Это как же? Предали б суду моих палачей?

Не оборачиваясь, Исаев ответил:

— Попробовал бы во всяком случае... Я ведь такой же зэк, как и вы...

Гелиович поднялся:

— Отойдите-ка от окна, разрешите мне все кончить разом...

— Здесь непробиваемые стекла, пластик, — ответил Исаев. — Только шишку набьете.

— Помогите! — вдруг истошно, тонко закричал Гелиович. — Товарищ капитан, спасите! Помогите! Я больше не мо-о-о-гу!

Никто не вбежал в кабинет, было так тихо, что ломило в ушах.

— Простите, — сказал Исаев, отошел от окна и сел на стул рядом с Гелиовичем. — Я не скажу больше ни единого слова. Простите...

И он опустил руки между ног точно так, как Гелиович; фигура *отчаяния*, кто только ее изваял?

...Когда Исаева вывели из кабинета, Влодимирский, он же генерал Иванов, он же Аркадий Аркадьевич, обнял «Гелиовича».

— Спасибо, Шурка!.. Ты сыграл гениально! Поезжай на Рижское взморье, — он протянул ему пачку купюр, — и отдыхай как следует... В клинику мы позвоним, мол,

служебная командировка... Готовься к новому делу, брат... Громчайшее дело, такого еще у нас с тобой не было...

...В Сочи Сашеньку встретил разбитной парень, подхватил ее фибровый чемоданчик, сказал, что Максимович просил встретить у вагона: «С автобусами мучение, очереди, а я вас вмиг домчу».

В санатории ее приняла сестра в халатике, накрахмаленном до голубизны, померила давление, покачала головой: «Маловато, товарищ Гаврилина, размещайтесь, ваш муж попросил устроить для вас отдельную палату. Вообще-то у нас живут по два-три человека, но его просьба для нас — честь. И сразу пойдем к доктору».

Сашенька вошла в маленькую комнатку, открыла дверь на балкон и увидела зеркальную гладь моря; солнце было совершенно белым, окруженным желто-красным ореолом; жестяно, как-то игрушечно шелестела листва пальм.

Сашенька опустилась в плетеное креслице и сразу вспомнила строки: «Я тело в кресло уроню, я свет руками заслоню и буду плакать долго-долго, припоминая вечера, когда не мучило «вчера» и не томили цепи долга...»

Она сняла жакетик, подумав, что сейчас ляжет спать и не проснется до завтрашнего утра, а когда проснется, будет новый день, она сядет к столу и напишет огромное письмо — сначала Максимушке, потом Санечке...

В дверь постучали:

— Открыто, — тихонько откликнулась она: в тюрьме соседки приучили ее к *тишине*. Боже, какие страшные женщины, меня нарочно посадили к этим проституткам и бандитским наводчицам, я ведь была готова на все, только б перевели к интеллигентным людям...

Вошла давешняя сестра и с прежней доброй, сострадающей улыбкой пригласила ее на осмотр.

Вид доктора поразил Сашеньку: по-ришельевски закрученные усы, бородка, грива седых волос, ниспадающих на плечи, и пенсне, болтающееся на черном шнурке.

— Наслышан, наслышан, — скаля чуть выпирающие желто-прокуренные зубы, быстро заговорил он. — Вопросов не задаю, приучили пациенты... Но, голубушка, что это у вас за давление? Девяносто на шестьдесят! Я вас просто выпишу из санатория с таким давлением, — довольно расхохотался врач. — Помрете вы, а отвечать за вас кому? Мне, старому дураку Евгению Витальевичу Рыбкину, честь имею...

— Как замечательно вы говорите, — Сашенька сидела

по-тюремному, заложив руки за спину, — совершенно забытый русский... Так говорил мой отец...

— Жив-здоров? Или почил?

— Не знаю... Мы потеряли друг друга во время гражданской.

(О том, что отец ее эмигрировал в Америку, не знал никто, кроме Максимушки. Раньше это было не так страшно, а сейчас...)

— Ну те-с, давайте я сам померяю давление, а потом послушаю вас... С легкими все в порядке? Туберкулеза не было?

— Нет. Так мне, во всяком случае, кажется.

Послушав Сашеньку, Евгений Витальевич сокрушенно покачал головой:

— Вы кто по профессии, голубушка?

— Учитель.

— Историк?

— Нет, литератор. Почему вы решили, что я историк?

Евгений Витальевич надел на нос пенсне, глаза стали сразу же иными, жесткими, ответил с ухмылкой:

— Самый трудный предмет... Особенно история нашего государства... *Неправда* точит... Ладно... Сие — российское горестное теоретизирование, взгляд и нечто... Начнем мы с вами курс лечения вот с чего, голубонька... Массаж с самого раннего утра. Потом полчаса отдыха и нарзанная ванна... После нее — в кроватку... До обеда. Засим спать... Мертвый час... Не менее ста двадцати минут... После мертвого часа возьмем грязь — и в кроватку... На этот раз до утра...

— Какое страшное словосочетание «мертвый час», — сказала Сашенька. — Отдых, лечение, санаторий, *мертвый час*...

— Все претензии к космополитствующим лекарям, — раздраженно ответил доктор. — Притащили из-за границы это определение, совершенно с вами согласен, нелепо и страшновато...

— Евгений Витальевич, получается так, что я и к морю сходить не смогу?

— Голубушка моя, да вы и не дойдете! — Евгений Витальевич чуть повел носом, и пенсне легко соскочило на грудь; глаза снова сделались милыми и чуточку растерянными. — Сначала я вас укреплю, витаминчиками поколю, а потом гуляйте хоть весь день! Кстати, извините, но я обязан вас спросить: что это у вас на спине за шрамы?

Сашенька ответила так, как посоветовал следователь:

— Я была в плену у беляков... На Дальнем Востоке... это следы нагаек...

— Партизанили? — Евгений Витальевич снова надел пенсне.

Сашенька растерялась, к этому вопросу ее не готовили:

— Нет... Так уж случилось...

— Первая женщина, которая не умеет лгать, — сурово заметил доктор. — Поздравляю *себя* с такого рода открытием... И еще вот что, голубушка... На ночь вам будут давать чернослив и маленькую рюмочку коньяку, я бы не хотел травить вас бромом...

Сашенька покачала головой:

— Я только и мечтаю, как бы отоспаться... Мне ни бром не нужен, ни коньяк...

— Тут с врачами не спорят, голубушка... Коньяк придаст вам бодрости, улучшит аппетит...

— Я такая голодная, что готова есть по пять раз в день!

— Простите, вы москвичка?.. Там же хорошее обеспечение... Что, держали диету?

— Да... Хотела вернуть форму... Чуть перестаралась...

...Коньяк, который ей приносили, выливала в рукомойник; через неделю почувствовала себя окрепшей; иногда правда, вскидывалась ночью и тонко кричала от ужаса: грезилась камера и эти ужасные женщины, которые лезли к ней на нары. Доктор разрешил прогулки; она уже написала четыре письма Максиму Максимовичу и три Санечке; не отправляла, мечтала сфотографироваться, когда не будет такой страшной.

Портрет получился на удивление хорошим, но, как ей показалось, с ретушью.

Когда она сидела, рассматривая свои портретики, в дверь постучали.

— Открыто, — ответила она, думая, что пришла сестричка с витаминами.

На пороге, однако, стоял мужчина в штатском, но с военной выправкой.

— Разрешите, Александра Николаевна? — спросил он. — Не помешал отдыху?

Сердце ее сжалось на какое-то мгновение, но сразу же отпустило, потому что мужчина, державший руки за спиной, переступил порог комнаты и протянул ей два роскошных букета:

— Гвоздики — от меня, розы — от Максима Максимовича, от сына — радиограмма...

Она схватила радиограмму: «Дорогая мамочка, примерно через две недели прилечу в Москву. Я тут хворал, бронхит, но меня поставили на ноги. Новый адрес папы знаю. Остановлюсь у него. Отдыхай как следует, родная. Целую, Саня».

Сашенька почувствовала, что расплачется, поднялась:

— Спасибо вам огромное...

И начала приспосабливать вазочки для цветов, незаметно утерев при этом слезы. Это дурно — позволять кому бы то ни было видеть в тебе то, что принадлежит только тебе и никому больше.

— Александра Николаевна, — продолжал между тем мужчина, — я, видимо, огорчу вас, но меня уполномочили сообщить следующее: полковник Исаев срочно вылетел за границу... С заданием правительства Союза ССР... Он очень волнуется за ваше здоровье... У нас есть возможность передавать ему ваши письма...

— Что?! Значит, он снова исчез?! Надолго?!

Опустив глаза, человек тяжело вздохнул:

— На два года... Поэтому, пожалуйста, напишите как можно больше писем... И ставьте на них разные даты: ноябрь, декабрь, январь... Понимаете?

— Я читала такой рассказ...

— Какой?

— Как умирающий писал письма своему самому близкому человеку, и тот получал их десять лет, уже после смерти того, кто... У меня плохие анализы? Туберкулез? Язва?

— Как не совестно, Александра Николаевна! Лечащий врач сказал, что вы резко пошли на поправку... Просто когда человек работает за границей, он мучительно волнуется за своих, понимаете? Если мы передадим ему все письма скопом, без дат, он может занервничать — там, среди врагов, быстро учишься трагическому недоверию... По отношению ко всем. Увы, порою даже к своим: мол, не хотят говорить правду о ее здоровье...

— Когда вернется мой сын?

— Я не знаю...

— Вы не читали этого? — она указала глазами на радиограмму.

Посетитель нескрываемо удивился:

— Но ведь это адресовано вам! Я не смел читать вашу корреспонденцию...

— Максим Максимович ничего не написал мне перед отъездом?

— Его письмо ждет вас в Москве. По законам конспирации это нельзя отправлять по почте. И еще просьба... Не надо называть его в письмах по имени... Он сказал, что вы знаете, как называть его...

«Любовь, как я счастлива, что и это мое, зимнее уже, письмецо попадет в Ваши руки, такие сильные, сухие, нежные... Помните, Вы рассказывали, как Вам гадала судьбу цыганка, на берегу бухты, в дни золотой осени, когда солнце появлялось лишь в девять, а жарким становилось к полудню? Я всегда помню ее слова, вы их дважды повторили: «Берегись старика усатого, он зло на тебя таит, и уж если кто и погубит — так он...» Нет ли среди ваших нынешних друзей злых и усатых стариков?

...Женщина — это музыкальный инструмент, но музыку из него умеет извлекать только великий композитор, а композитор — это высшая тайна мира... Вы — моя любимая и нежная тайна (только сильные люди, в чем-то суровые и закрытые, умеют быть нежными по-настоящему).

Кто-то рассказывал мне, что даже большие музыканты достают из своего архива музыкальные фрагменты прошлых лет, проигрывают мелодии других мастеров, видоизменяют их, и из этого рождается гармония. Я не поверила, потому что говорить о творчестве (любовь — это творчество, контролируемое дисциплинированной логикой, не смейтесь, это правда!) как о некоей механической работе — нечестно, в этом есть что-то от мелкой зависти несостоявшейся бездари, мечтавшей проявить себя в искусстве.

Вы же никогда не пользовались архивом и не искали своего аккорда в чужих мелодиях, Вы всегда были самим собою... Как это редкостно в наш век... Я счастлива, что мне выпало быть с Вами. Ведь порою даже одна встреча остается в тебе на всю жизнь, и ты близко видишь каждую ее подробность, явственно слышишь слова, четко, словно это было вчера, помнишь свои ощущения. А с другими людьми встречаешься ежедневно, говоришь, смеешься, печалишься, веришь, сомневаешься, но все это проходит сквозь тебя, мимо, мимо, мимо...

Кто-то сказал: «Надо уметь строить отношения...» Это проецировалось на мужчину и женщину. Строить можно сарай, но не отношения. Либо они есть, либо их нет... Иногда я с ужасом спрашивала себя: «А если бы мы с

Вами всегда были вместе? Если бы провели под одной крышей не те прекрасные месяцы, что подарила судьба, а долгие годы?» Ведь все кругом уверяют, что рано или поздно любовь становится *бытом*... Наверное, самое страшное — это разрешить себе привыкнуть к счастью, которое есть любовь. Представьте себе, если бы к верующей бабульке пришел Христос и сказал: «Матушка, я хочу пожить у вас...» Как бы она, верно, была счастлива! Но Христос ведь не мог без людей, он служил им, и через год бабульке сделалось бы трудно терпеть множество гостей в своей маленькой избеночке... Неужели она бы перестала видеть в нем чудо и стала бы просить его пораньше заканчивать свои проповеди, не оставлять на ночь паломников и не забывать колоть дрова для печки... Неужели кратковременность счастья есть гарантия его постоянности? Но ведь это несправедливо! И я возражаю себе: не нам судить о справедливости, это понятие в людях субъективно и *мало*. Только высший суд определяет правоту человеческую: Кукольник умер, осиянный славой и любовью публики, а Пушкина тайком увезли на скрипучих дрогах в могилу, но кто *остался?!*

Вспомнила стихи. Увы, не мои. Вы знаете, чьи они. В них ответы на многие вопросы, которые живут во мне постоянно: «Я жду, исполненный укоров, но не веселую жену для задушевных разговоров о том, что было в старину. И не любовницу: мне скучен прерывный шепот, томный взгляд, и к упоеньям я приучен, и к мукам горше во сто крат. Я жду товарища, от Бога в веках дарованного мне за то, что я томился долго по вышине и тишине. И как преступен он, суровый, коль вечность променял на час, принявший дерзко за оковы мечты, связующие нас...»

Как прекрасно это, как избыточно: «Принявший за оковы мечты».

Не в этом ли разгадка всех споров о том, что такое любовь? Не оковы. Мечты.

Любовь, у меня все очень хорошо, веду класс, Санечка чувствует себя прекрасно, начал занятия в университете.

Я отмечаю каждый день в календарике не потому, что он прошел, а оттого лишь, что он приблизил меня к Вам.

И еще... Когда я отдыхала в санатории, спасибо Вам за это, лечащий врач сказал: «Бытие человеческое расписано, словно медицинские процедуры, особенно бытие женщины: сначала влюбленность, потом близость, затем пресыщение и переход в новое физиологическое каче-

ство — продолжение рода; ребенок, иная форма нежности, новая ее сущность; разрыв между иллюзиями поры влюбленности и прозой пеленок и недосыпания, когда у продолжателя режутся зубы; постепенный перенос нежности на младенца; неосознанная ревность мужчины, робкий поиск иного идеала, внутренний разрыв с прошлым; сохраняемая связь — дань долгу. Эрго — любовь убита физиологией, вечной, как мир».

Сначала я с ужасом отвергла эту теорию, столь циничеcкой и гадостной она показалась мне. Потом подумала, что у нас все было бы иначе. У нас не было бы оков, мы бы жили мечтою, правда? Нет. Не правда. Вы всегда жили своими «читателями»... Неужели и нас могла постичь участь всех тех, кто, по уверениям врачевателя, существует по раз и навсегда утвержденным законам физиологии?! Тогда спасение в разлуках! Они дают силу мечтать и просыпаться каждый день с новой надеждой на близкую и счастливую, хоть и недолгую, встречу...

Я надоела Вам своим раздрызганным и грустным письмом?

Не сердитесь, потому что Вы приучили меня к открытости. Вы не представляете, какой страшный бич женщины — закрытость, тайна, *думочки*... Ах, как они отвратительны! Я ненавижу их, гоню прочь, но они то и дело, словно чертики, хихикая и зло усмехаясь, рождают в душе ужас и недоверие.

Я заклею это письмо, положу его в конверт, оденусь и пойду гулять по Кольцу, посижу на скамейке возле Пушкина, остановлюсь около Тимирязева, которого с некоторой пренебрежительностью называют «популяризатором», но ведь истинное популяризаторство есть превращение сложного в доступное всем! Это поднимает человечество на новую ступень знания, которое только и может спасти мир от ужаса... Не красота, нет... Федор Михайлович был неправ... Спасти мир красота не в силах, только Мысль и Знание — составные части Достоинства...

Любовь, я счастлива, что смогла поговорить с Вами.

Спасибо за это.

Я снова ощутила Вашу сухую ладонь с длинной и резкой линией жизни.

Как только Вы вернетесь, отдохнете у себя, жду Вас на Фрунзенской, в гости, будем пить кофе. А потом пойдем бродить... Втроем...

Храни Вас судьба, я прошу об этом каждое утро и каждую ночь...»

Когда Сашенька написала девять писем, приехал тот же штатский. Темнело, луна начала серебрить море.

— Накиньте плащ, — посоветовал он, — я хочу пригласить вас на вокзал...

Она вскочила со стула:

— Приехал Санечка?!

На вокзале, однако, сына не было. Ее посадили в «столыпинку» и отправили этапом в Москву. Абакумов получил у Сталина санкцию на приведение в исполнение приговора: «высшая мера социальной защиты»; Сталин посмотрел на карандаш — цвет грифеля был красный.

16

...Больше всех на свете министр Абакумов любил свою дочь, брал ее с собою на отдых в Мисхор, жену отправлял отдельно, на Кавказ. В Кисловодске для нее оборудовали «спецномер» из двух комнат; привозили особое питание, из Железноводска три раза в день гнали «ЗИС» с теплой минеральной водой, подавали в кровать, наливая в хрустальный стакан из большого английского термоса, который в свое время прислал в подарок посол Майский.

Получив эту уникальную вещицу, Абакумов с какой-то внезапно возникшей в нем горечью подумал: «А вот снять с тебя наблюдение, запретить запись каждого твоего слова, милый Иван Михайлович, я все равно не могу... И поправить что-то в расшифрованных записях твоих разговоров с женой, Фадеевым, академиком Несмеяновым, Эренбургом, поваром Игорем (псевдоним Мечик), Антони Иденом, когда он завтракает у тебя, Рандольфом Черчиллем, когда он у тебя пьет (называется «ужин»), секретарем Галиной Васильевной (псевдоним Бубен) я лишен права. Сталин Сталиным, но окружен-то я чужими, здесь, в этом доме...

Впрочем, наиболее рискованные высказывания Майского, которые нельзя было утаить от Хозяина, он сопровождал замечанием:

— Порой на язык он слаб, что верно то верно, но с противником работает виртуозно. Это *перекрыто* другой информацией, товарищ Сталин. Видимо, иначе с англичанами нельзя.

Сталин пожал плечами:

— А что, Эренбург тоже англичанин? Или Майский и с ним *работает?* Он меньшевик, как и Эренбург... Только Илья рисовал карикатуры на Ленина в паршивых парижских изданиях, а Иван сидел в министрах у Колчака...

Превозмогая себя, потухшим голосом Абакумов ответил:

— Я понял, товарищ Сталин...

Сталин устало отвалился на спинку кресла, потом, испугавшись, что этот красавец, косая сажень в плечах, увидит его старческую немощь, резко придвинулся к столу:

— Ну и что же вы поняли?

— Материалов достаточно на обоих: были знакомы с Бухариным, Зиновьевым, Рыковым, Радеком, дружили с Мейерхольдом, Мандельштамом, Тухачевским...

Сталин *собрал* тело, заставил себя легко подняться из-за стола, походил по кабинету, не вынимая трубки изо рта, но не куря ее, а лишь посасывая; расхаживал бодро, хотя мучительно болела вся правая часть тела и пальцы леденели. Потом наконец остановился перед Абакумовым и, не отводя рысьих глаз с постоянно менявшимися зрачками от его лица, спросил:

— Кандалы у вас есть?

— Только наручники, товарищ Сталин. У нас в тюрьмах нет кузниц: Дзержинский приказал уничтожить...

— Меня интересует: у вас с собою есть эти самые наручники?

— Товарищ Сталин, никто из входящих к вам не имеет права носить с собой не только оружие, но и любой металлический предмет... Я подтвердил это указание тридцать четвертого года новым приказом...

— Что, боитесь, Ворошилов меня саблей зарубит? — хмуро усмехнулся Сталин. — Или Молотов маузер вытащит? Он слепой, стрелять не умеет, да и от страха помрет... Зря, что не принесли с собою наручники. — Сталин по-арестантски протянул ему руки. — Вам бы меня надо первым сажать в острог... Я ведь ближе, чем Майский и Эренбург, сотрудничал и с Бухарчиком, и с Каменевым... Он меня Коба звал, я его Левушка... Да и председатель Реввоенсовета для меня был не Иудушкой, а товарищем Троцким...

Зрачки его глаз расширились, словно после кокаина, в них была тоска и ненависть, говорил, однако, с усмешкой, лицо жило своей жизнью, только глаза ужасали, особенно бегающие зрачки.

— Ну, что ж не сажаете? Я ведь для вас *сладок*... Ка-

кой процесс можно поставить?! Жаль, хороших режиссеров не осталось...

Сталин вернулся к себе за стол, Абакумову кивнул на стул, снова пыхнул пустой трубкой (профессора Виноградов и Вовси советовали не отказываться от привычки сосать трубку, запах табака постоянен. «А если уж невтерпеж, пару раз пополощите рот *дымком*, стараясь не затягиваться. Хоть здоровье у вас богатырское, но и богатырям надо уметь себя щадить».)

— При ком в нашу партию вступил бывший меньшевик Майский? — сурово спросил Сталин, не спуская глаз с Абакумова.

Тот молчал.

Сталин отчеканил:

— При Ленине. Более того, Ленин публично перед ним извинился в прессе за какую-то неточность в своем выступлении. При ком в нашу партию вступил Вышинский, бывший террорист, меньшевик и преследователь Ильича в июньские дни? А? Что молчите? Боитесь попасть впросак? При Ленине! Ему этот вопрос докладывал Молотов, и Ленин согласился с необходимостью принять в партию грамотного юриста... Ленин не терпел сведения личных счетов со своими политическими противниками и нам это завещал... А Заславский, который назвал Ильича «немецким шпионом» и требовал суда над ним в семнадцатом? При ком он примкнул к *нам*? При Ленине... А сейчас фельетонист в «Правде»... И вот эти бывшие меньшевики громили группы Троцкого, Зиновьева и Бухарина почище многих большевиков... Те, страха ради иудейска, отмалчивались, видите ли... Хоть и были русскими и украинцами вроде Постышева или Чубаря с братьями Косиорами...

— Я понял, товарищ Сталин, — глаза Абакумова сияли, ибо Хозяин впервые так доверительно, по-отцовски, говорил с ним, не произнеся ни единого резкого слова (хоть от него все можно принять, гений). А ведь он, оказывается, брякнул то, что Сталину совсем не по душе...

— Ну и что вы поняли? — глаза внезапно изменились, в них появилось доброжелательство. — Что вы поняли? — повторил Сталин.

— Я сниму наблюдение с товарища Майского...

Сталин начал раскуривать трубку.

Абакумов вдруг с ужасом вспомнил показания сына Троцкого, Сергея Седова. Тот с отцом уехать отказался, большевик, военный инженер, патриот державы, был расстрелян в тридцать седьмом, а сначала сидел в Сибири.

Перед казнью пришел приказ Ежова поговорить о его житье-бытье в Кремле. Квартира Троцкого была неподалеку от сталинской, *сыночек* тогда такое порассказал... Особенно врезался в память эпизод: «Я очень дружил с Яшей Сталиным, он у нас порою ночевал... Отец бил его смертным боем, когда охрана доносила, что он курит. «Мой отец — зверь», — сказал однажды Яша, сотрясаясь в рыданиях. Мама уложила его спать у нас, а он все умолял: «Оставьте меня жить у вас, я его ненавижу...»

Абакумов сжег эти показания у себя в кабинете, ужаснувшись тому, сколько лет они *валялись* в спецархиве. Пришлось ликвидировать сорок сотрудников, всех, кто имел к этому касательство (членов семей сослали в Магадан, поставили слежку за всеми знакомыми; потом для подстраховки арестовали и тех).

Сталин тогда наложил на списке резолюцию «ВМСЗ» — «высшая мера социальной защиты» (иногда писал «ВМН» — «высшая мера наказания»), потому что Абакумов объяснил: «Они хранили архивы, связанные с клеветническими заявлениями сыновей врагов народа, которые жили в Кремле».

Сделав один *пых*, Сталин прополоскал рот табачным дымом, отложил трубку в сторону («Что бы я делал без Виноградова, Вовси и Когана? Четверть века они со мною, четверть века держат мне форму, ай да умницы») и медленно произнес:

— Когда я ехал в Лондон, к Ленину, на съезд, один из делегатов тоже много говорил об английской «специфике». С моей точки зрения, тем не менее, там нет никакой специфики... Одна островная амбициозная гордыня... И мы собьем эту самую мифическую амбициозную специфику... Дайте время... Так что не надо защищать Майского, его дрянную болтовню ссылками на какую-то специфику... Вся их специфика заключается в том, что на завтрак дают овсяную кашу, словно там не люди живут, а жеребцы с кобылами... И Майский и Эренбург нам нужны... Пока что, во всяком случае... Вот придут новые кадры, умеющие говорить с людьми Запада без униженного русского пресмыкательства, тогда и... Делайте свое дело, Абакумов... Давайте информацию, а уж нам предоставьте возможность принимать решения... Всегда помните слова нашего учителя, нашего Ильича: если ЧК выйдет из-под контроля партии, она неминуемо превратится в охранку или того хуже... Так-то... За вами — информация, за нами, ЦК,— решения... Уговорились?

— Спасибо за указания, товарищ Сталин, конечно, уговорились...

...Возвращаясь после таких бесед домой, Абакумов чувствовал себя совершенно измотанным, словно весь день дрова колол.

Единственное успокоение он находил в беседах с дочкой, приглашал ее в свой кабинет, угощал диковинными французскими конфетками и, слушая ее веселый щебет, расслаблялся, постепенно успокаивался, заряжаясь верой в то, что во имя счастья детей отцы должны нести свой крест, постоянно соблюдая при этом условия *игры* — никем не написанные, никогда не публиковавшиеся, вслух не произносившиеся, но всегда существовавшие.

...Комурова министр обычно принимал без очереди, прерывая встречи с другими сотрудниками, ибо знал, сколь дружен Богдан с Берия.

Так и сегодня он радушно усадил его за маленький столик, заказал порученцу «липтон» с английскими печеньицами «афтер эйт» и, порасспросив о домашних, приготовился слушать своего могущественного подчиненного.

...Абакумов стыдился признаться себе в том, что панически боялся Комурова. Он боялся его не потому, что видел в деле: и на фронтах, когда случалось какое ЧП, и в камерах, где он лично пытал тех, кто отказывался сотрудничать со следствием при написании того или иного *сценария* для процесса (работал в майке — волосатый, неистовый; воняло потом, и это более всего запомнилось Абакумову: не крики начальника Генерального штаба Мерецкова, которого он истязал в июле сорок первого, а именно едкий запах пота); он боялся Комурова потому, что не мог понять таинственной непоследовательности его поступков и предложений, которые каким-то странным образом оказывались в конце концов верхом логического умопостроения, законченным, абсолютным кругом.

То ли он счастливчик, есть такой сорт людей, которых постоянно хранит бог, то ли в нем была сокрыта какая-то потаенная, неизвестная ему *машина*, которая умела превратить хаос в порядок.

Это последнее страшило его более всего, даже больше, чем дружеское покровительство Берия.

Мне Берия тоже покровительствует, размышлял Абакумов, он мою кандидатуру назвал, век не забуду, зато я теперь бываю у генералиссимуса чаще, чем Лаврентий

Павлович; кто знает, не придет ли час моего торжества, если я *почувствую* время, когда на стол Сталина *нужно* будет положить те материалы, которые помимо моего приказа сами по себе приходят в этот дом, ложась пятном на Берия. Тут и думать нечего! А узнай генералиссимус о девках маршала?! Если б пять-шесть, у кого не бывает — а ведь уж под две сотни подвалило! Девок-то этих, как блядушек, так и именитых матрон, моя служба проверяет: не болтают ли, нет ли молодых любовников с трипаком или сифилисом, не имеют ли осужденных родственников...

...Комуров достал из папки *постановление* на расстрел террориста, власовского недобитка и предателя Родины Исаева, готовившего покушение на товарища Сталина, полностью признавшего свою вину, заявившего, что, если выйдет из тюрьмы, все равно уничтожит «тирана, губителя ленинизма».

— Это дело прошло мимо меня, — удивился Абакумов.

— Мимо меня не прошло, — ответил Комуров. — Нужно добро товарища Сталина, чтобы в нас с тобой каменьями не кидали.

— А кто же в нас с тобой может кинуть каменья?

Комуров вздохнул:

— Товарищ министр, во многия знания многия печали.

— Сколько раз повторять: я для тебя был и остался Виктором! Как не совестно тебе?! Или не гожусь в друзья?

Комуров подвинул ему *постановление* и ответил:

— Твои враги, Витя, — мои враги... Наши, говоря точней... За Исаева хлопочет наш с тобой подопечный Соломон Абрамович Лозовский... Это у меня зафиксировано... Документально... Перед Шкирятовым слово замолвил... Понял? А Матвей прислал мне: «Почитай, *поэзия*»...

— Где дело?

— У меня... Прикажете передать?

Абакумов понял, что Комуров снова загнал его в угол; просить прислать материалы после резкого перехода на «вы» — значит портить отношения.

— Как только буду у генералиссимуса — подпишу. Справочку только составь покрасивей, ладно?

— Хорошо, Витя, справку я тебе завтра же подготовлю.

Когда порученец принес «липтон» и печенье, Абакумов

сам разлил кипяток, опустил пакетики в стаканы, поинтересовавшись, не хочет ли Богдан покрепче: «Два пакетика по эффекту воздействия равны рюмке хорошего вина».

— Какого? — спросил Комуров. — Крепленого? Или кавказского?..

Сейчас что-то попросит, понял Абакумов, *постановления* ему мало, неспроста он про крепленое спросил, кто-то из моей охраны им стучит, что я мадеру пью, только в их компании нахваливаю всякие там цинандали и мукузани. Рот вяжет, вода водой, не *берет*, а государь не дурак был, мадеркой баловался. «Женский коньяк»! Пусть называют как хотят, а по мне лучшего вина нет: и сладко на вкус, и пьянит томно...

— Хорошего вина в бутылках мало, — ответил Абакумов уклончиво. — Вот когда меня грузины угощали зеленым сухим вином прямо из бурдюков — это, я доложу, сказка! Хотя грузинскую «Хванчкару» люблю даже в бутылках...

— У нас есть лучше вина... Скажи, Витя, тебе о Рюмине ничего не докладывали?

— О Рюмине? — переспросил Абакумов, нахмурившись. — Кто это?

— По Архангельску работал, подполковник...

— А почему должны были докладывать? ЧП? Запросить?

— Не надо. Я прошу твоей санкции, дай его мне, буду готовить к хорошему делу.

— Да пожалуйста, — сразу же согласился Абакумов. — Тут моей санкции не нужно, подписывай приказ сам, используй по своему усмотрению.

...Вопрос о Рюмине был задан не случайно: подполковник попал *«на подслух»*, находясь в квартире некоего Шевцова, за которым давно смотрели — крайний шовинист; крепко выпил и сказал: «А ведь в одном бесноватый фюрер был прав: евреев надо изничтожить! Смотрите, кто у нас сейчас ведет главную борьбу против родины? Кто продает страну за иностранные самописки? Евреи! Кто критикует русских писателей и артистов? Еврейские космополиты! Кто клевещет на русских шахтеров в кино? Еврей Луков, под русским псевдонимом прячется, сволочь! Кто завел в тупик нашу экономическую науку? Еврей Варга! Кто клевещет на нашу историю? Евреи. Кто какофонии сочиняет? Еврей Шостакович!»

Кто-то из присутствовавших заметил, что Шостакович русский.

Рюмин и Шевцов взъярились: «Нет таких русских фамилий! И уши у него еврейские!»

Поскольку Влодимирский разрабатывал Еврейский антифашистский комитет, Комуров сразу прикинул, что такой человек может пригодиться. Однако потом, подумав, решил взять этого Рюмина под свою опеку, надо сначала *обкатать*, а использовать — лишь тогда, когда наступит черед для коронного дела. Берия намекнул, что политика Кобы будет однозначной, поскольку экономически русских еще больше зажмут, надо будет обращаться к их патриотизму, подчеркивать исключительность, поставляя «врагов», виновных в трудностях.

— Спасибо, Витя, — поднимаясь, сказал Комуров. — И за чай спасибо. Действительно, прекрасный напиток... Только абхазский лучше, честное слово... Пришьют еще тебе этот чертов «липтон»... Товарищ Суслов в этом деле строг, поимей в виду... Ты лучше адлерский чай хвали, он русский. Краснодарский край, казаки, опора державы... Советую как другу, *Витя*...

С этим и ушел, оставив Абакумова в мрачной задумчивости.

...Домой министр вернулся рано, сказав помощнику, что захворал, мигрень. Велел соединять только с Поскребышевым и членами Политбюро, для всех остальных министров — закрыт.

Дочь уже вернулась. Он предложил ей поиграть в «морской бой»; сражались с увлечением, потом перешли на «крестики-нолики», он поддавался, изображал огорчение, *любимица* хохотала. Потом принесла колоду карт, сразились в «дурака».

Отодвинув руку с картами так, чтобы дочка могла подглядывать, с тоскою думал: «бедненькая ты моя кровинушка, случись что со мной, тебя такой ужас ждет, такие муки... Зачем я лез вверх, карабкался по проклятой лестнице?! Служил бы себе тихо и незаметно, так нет же, понесло! У нас только тихие выживают... Лишь маленькие да незаметные своей смертью помирают... А как уйти от судьбы? Мы ж все букашки, нас сверху в микроскоп разглядывают... Богдан неспроста этого самого Рюмина попросил... Он ничего просто так не делает, у него всегда коварство на уме... А потребуй я материалы, сразу настучит Лаврентию: «мелочная опека, мешает инициативе, что за недоверие среди *своих*?!» Пойди, объясняйся! Он ведь член Политбюро, а не я... Бедненькая ты моя неж-

ность». Он поднял повлажневшие глаза на дочь: «Пойти бы в церкву, как с бабушкой Леной, покойницей, да и бухнуться на колени, прижаться лбом к *вечным* плитам храма Господня и помолиться б за нее... Мне-то ничего не страшно, огонь и воду прошел... Да и не отмолю себя, ее б уберечь...»

— Папуль, а ты почему не кроешь? У тебя же козыри есть! Так нечестно!

— И вправду есть, — вздохнул Абакумов, — отобьюсь, сей миг покрою, малышенька...

— Ты мне не поддавайся, я ж не маленькая! Неинтересно играть... А знаешь, меня сегодня училка отчитала...

— Вот проказница... За что?

— Я не смогла ответить, когда было покушение на Владимира Ильича...

Ну, завтра этой суке шею накрутят, подумал он, девочку попусту травмирует; ответил, однако, иначе:

— Такие вещи надо знать, дочура... В Ильича стреляла эсерка Фанни Каплан, космополитского племени, ей Бухарин пистолет в руки дал...

— Вот она б тебе двойку и влепила! — рассмеялась девочка. — Первое покушение на Ленина было в январе, еще в Петрограде! Его тогда какой-то швейцарец спас, собой прикрыл...

— Швейцарец? — Абакумов удивился. — Это кто ж?

— Платтен, — произнесла дочка чуть не по слогам и пошла к роялю: знала, что отец больше всего любил, когда она играла «Полонез» Огинского.

А вроде Платтена этого самого мы расстреляли, подумал Абакумов. Уж не из троцкистов ли? Ну и учителя! Эти такому научат, что потом из детей колом не вышибешь...

Хотел было сразу пойти к себе и позвонить помощнику: пусть проверят учительницу, не контра ли, но, расслабившись, отдался музыке, любуясь стройной фигуркой дочери, грациозно сидевшей возле огромного белого «Бехштейна»...

...В это же самое время три врача-психиатра работали с Александром Исаевым, бывшим офицером военной разведки РККА, кавалером боевых орденов, а ныне зэком и придурком — не в грубо-лагерном, жаргонном смысле, а настоящем — он сошел с ума во время допросов.

Они уже час сидели с ним в маленькой комнате, оборудованной магнитофонами, и всячески пытались раз-

говорить несчастного. Молодой старик, однако, тупо молчал, глядя куда-то вдаль неподвижными глазами.

Один из врачей, самый старый, Ливин, попросил коллег выйти. Оставшись наедине с зэком, тихонько, дружески, доверительно спросил:

— Санечка, хочешь поговорить с отцом?

Зэк продолжал смотреть *сквозь* доктора, но в глазах его что-то мелькнуло...

Ливин включил магнитофон, зазвучал голос Исаева: «Я хочу получить свидание с сыном...»

Зэк вдруг умиротворенно улыбнулся:

— Папа...

— А ты его позови, Санечка, — так же добро, вкрадчиво продолжал Ливин. — Покричи: «Папа, папочка, папа!» Он тебя услышит... Ты ведь веришь мне?

— Папочка! — после долгого непонимающего молчания вдруг закричал Саня и, чуть отодвинувшись, поглядел на врача. — Папочка! Ты меня слышишь?

— Громче, — не отрывая глаз от зрачков Сани, нажал Ливин. — Кричи, что плохая слышимость... Ты ж не слышишь его? Правда? Пусть говорит громче...

— Па-а-а-апочка! Что ты молчишь?! Говори громче! Почему ты замолчал?!

— А замолчал он потому, что слишком волнуется, — по-прежнему ласково, доверительно объяснил Ливин. — Столько лет не видал сыночка... Крикни, что скоро приедешь к нему... Скажи, что уже выздоровел... Только кричи громче, тогда отец ответит...

...Послушав *настриг* пленки, приготовленный подполковником медицинской службы Ливиным в тот же день, Влодимирский позвонил Комурову:

— Отменная работа! Наложу на голос радиопомехи — получится вполне трогательная беседа.

— Не обольщайся, — ответил Комуров. — Твой подопечный так изощрен, что наверняка проверит придурка подробностью, нам с тобою неведомой... Вот и конец твоей комбинации...

— Ничего подобного! У нас каждая фраза начинается с того, что тот орет: «Папочка, громче, я очень плохо слышу...» А на *проверочном* вопросе папочки мы прервем радиосеанс: «Помехи, попробуем завтра». Состояние у Исаева будет шоковое, *скушает*, поверьте...

— Ты еще не ударил его в лоб вопросом: «Что написал в Библии и передал Валленбергу?»

Владимирский ответил убежденно:

— Это мой главный козырь. Рано. Давайте послушаем, как они будут беседовать на *даче*, во время прогулок... Они ж не знают, что мы их и в лесу сможем слушать, *шарашки* не зря сливочное масло и кофей с цикорием получают...

Комуров усмехнулся:

— Валяй. Я тебе верю, ответственность на тебе...

Когда Исаев, надрываясь, прокричал в трубку:

— Санюшка, сыночек, любимый, перед вылетом подстригись, как стригся в Кракове... Помнишь?!

В этот момент Сергей Сергеевич остановил пленку с голосом Александра Исаева, а вторую, на которой был записан треск и шум радиопомех, сразу же усилил. По прошествии полуминуты, пока Максим Максимович надрывался — «алло, Саня, Санечка, сынок, алло, ты слышишь меня?!» — снова сквозь писки и треск радиопомех дал голос сына: «Папочка, говори громче, я ничего не слышу...»

...А потом Аркадий Аркадьевич распекал в присутствии Исаева радистов; те виновато оправдывались:

— Товарищ генерал, но это же Колыма! И так чудом вышли! Радиограмму хоть сейчас передадим и запросим немедленный ответ...

— Чтобы завтра же была связь! — бушевал Аркадий Аркадьевич. — Деньги любите получать, а работать не умеете!

Нервно закурил, прошелся по кабинету, потом словно бы споткнулся:

— Извините, Всеволод Владимирович, не предложил вам. Курите...

Исаев медленно поднял на него глаза:

— Я хочу стакан водки. И отвезите меня на дачу. Валленберга присылайте завтра. И если я сегодня попрошу на вашей даче еще стакан водки, пусть мне дадут. И приготовят хорошую зубную пасту. Или отменный чай. Отбивает запах перегара...

Аркадий Аркадьевич сел рядом с Исаевым, положил ему руку на острое колено и проникновенно, с болью, сказал:

— Спасибо, товарищ полковник... Я не сомневался, что у нас, у большевиков, все так и кончится...

И, вызвав своего лощеного секретаря, *повелел*:

— Бутылку лучшей водки, банку икры и кусок вареной осетрины.

...Воздух был прозрачен и хрупок. Проснувшись, Исаев увидел верхушки сосен, сразу вспомнил тот русский, затрепанный журнал, что он нашел в оккупированном Париже на книжной набережной Сены; «и так неистовы на синем размахи огненных стволов...»

Поднял голову с мягкой, *тонкой* подушки: стволы деревьев были действительно огненными. «Размахи» или «разбеги», — подумал Исаев, — и то и другое слово подходит к *сути*, к этой извечной красоте. Как же им больно, когда их медленно, с перекуром, пилят, боже ты мой!»

Он поднялся. Голова после вчерашней водки кружилась. Спустил худые ноги с выпирающими коленями на коврик, в дверь сразу же постучались. Значит, постоянно смотрит надзиратель, понял он. Вошел, однако, не солдат, а «Макгрегор», Виктор Исаевич Рат.

— Доброе утро, Всеволод Владимирович, как спалось?

— Хорошо спалось, благодарю. Что там со связью? Наладили?

— Информации пока что не поступало. Позавтракаем и после этого позвоним Аркадию Аркадьевичу...

— Валленберга еще не привезли?

— Нет.

— Когда?

— Не знаю. Указаний не получал.

Завтракали на веранде, залитой солнцем. Масло, сыр, два яйца всмятку, кофе; хлеб был двух сортов — черный и серый. («Мы называем «рижский», — пояснил Рат, — самый, по-моему, вкусный, в вашу честь заказал»). Потом послушали последние известия по радио: перевыполнение плана уборки хлеба колхозниками Одесской, Херсонской и Белгородской областей, приветственное письмо вождю всех народов, гениальному зодчему нашего счастья великому Сталину от строителей Днепрогэса, восстающего из руин. Максим Максимович запомнил две подписи — парторга ЦК Дымшица и секретаря обкома Брежнева. Диктор сухо зачитал сообщение о продолжающейся борьбе с вероломством группы театральных критиков-космополитов типа Альтмана и Борщаговского. Закончился выпуск прогнозом погоды: обещали солнце.

— Стакашку не засосете? — поинтересовался Рат.

— Это вы по поводу водки?

— Почему? С утречка хорошо пойдет джин с тоником,

здесь все есть, — он усмехнулся, — как в Лондоне. Так что? Устроить оттяжку?

Исаев поинтересовался:

— У вас дедушка есть?

— Умер... Прекрасный был дедушка Исай Маркович, пусть ему земля будет пухом...

— Неужели он вас не учил: «Проиграл — не отыгрывайся, выпил — не похмеляйся»?

— Он у меня и не пил, и не играл, Всеволод Владимирович. Он с конца прошлого века был в революционной работе... В большевиках он был с начала и до конца, без колебаний...

— Рат? — Исаев удивился. — Я помню многих ветеранов, что-то такой фамилии нет в голове.

— Вы его знаете, — убежденно ответил Рат, — прекрасно знаете, только под другой фамилией... Она общеизвестна.

— Давайте позвоним в Центр, — сказал Исаев. — Как там дела со связью...

— Пошли, — согласился Рат, — телефон рядом.

...Голос Аркадия Аркадьевича был потухший, грустный:

— Возвращайтесь, Всеволод Владимирович, есть новости.

Говоря так, он не лгал: после вчерашнего разговора с ним Комуров встретился с Берия и, доложив ему об успехе в комбинации по делу «Штирлица — Валленберга», сказал, что начинается работа на даче.

Берия поздравил его, просил передать благодарность Влодимирскому, а в конце разговора предложил заехать после работы, вечером: «Надо перекинуться парой слов о *проекте*».

Начав с какого-то малозначительного вопроса и дождавшись того момента, когда Комуров начал отвечать, как всегда многословно и обстоятельно, Берия достал из сейфа красную папку тисненой кожи и положил ее перед Богданом.

Тот на мгновение прервал доклад, вопросительно посмотрев на Берия. Маршал кивнул головой: мол, продолжай.

Дослушав Комурова, сказал:

— Погляди, думаю, пригодится...

«После многочисленных запросов в МИД СССР со стороны шведского правительства, связанных с «исчезновением» во время освобождения Будапешта подданного Швеции некоего Валленберга, товарищ Иосиф Виссарио-

нович Сталин запросил дело Валленберга и пообещал принять посла.

На беседе товарища Иосифа Виссарионовича Сталина с послом присутствовал замминистра иностранных дел т. Лозовский С. А.

Посол Швеции Содерблом был приглашен в Кремль, однако не для беседы о «деле» Валленберга, ибо такого «дела» нет, оно сфабриковано антисоветской пропагандой, а в связи с окончанием срока аккредитации в Союзе ССР.

Накануне беседы, зная, что Содерблом наверняка передаст послание Короля и премьер-министра Швеции, товарищ Иосиф Виссарионович Сталин затребовал справку по поводу боев за Будапешт и вызвал для беседы маршала Малиновского, который якобы встречался с Валленбергом по просьбе последнего в Дебрецене.

Действительно, во время протокольной беседы, после того как посол Швеции выразил благодарность Генералиссимусу Сталину за выдающуюся роль Советского Союза в победе над нацизмом и фашизмом и попросил передать сердечную признательность коллегам из Министерства иностранных дел, он перешел к вопросу о Валленберге.

Сначала посол коснулся вопроса о том, что, когда в Стокгольме в октябре 1944 года узнали о приходе в Будапеште к власти нациста Салаши и изучили первую официальную декларацию нового лидера, в которой он, в частности, призывал к тотальному противостоянию большевизму и немедленному истреблению евреев в Венгрии, Его Величество Король Швеции отправил телеграмму регенту адмиралу Хорти, в которой заявил протест по поводу официального заявления г-на Салаши, объявив его «неприемлемым» и «противным духу гуманизма и цивилизации».

Именно в это время в Венгрии работал шведский дипломат, секретарь посольства Рауль Валленберг, успевший к тому времени спасти тридцать тысяч евреев от уничтожения. Посол отметил выдающуюся роль Валленберга, его беззаветное мужество и абсолютную честность. Валленберг, продолжил посол, проделал немыслимое: он со дня на день отодвигал исполнение приказа Гитлера о тотальном уничтожении всех несчастных. «Валленберг...» — хотел продолжить посол, но был прерван товарищем Иосифом Виссарионовичем Сталиным, который сострадающе попросил произнести фамилию шведского дип-

ломата по буквам, что и сделал немедленно советник-посланник Швеции г-н Баркхольст.

Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин записал крупными буквами фамилию Валленберга.

Посол продолжил свой рассказ о том, как Валленберг отправился из Будапешта в Дебрецен на встречу с представителями Красной Армии и, выезжая из города, на улицах которого шли бои, встретил русских солдат и спросил их о том, каким путем лучше добраться до штаба. После этого он исчез.

— Он ехал на вашей машине? Под флагом Швеции? — спросил товарищ Иосиф Виссарионович Сталин.

Посол ответил в том смысле, что он ехал именно на шведской машине. Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин поинтересовался, известно ли господину послу, что советской авиации был отдан приказ ни в коем случае не атаковать машины под шведским флагом? Посол ответил, что он прекрасно помнит этот приказ и благодарен за него Генералиссимусу Сталину. Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин ответил, что благодарить надо не его, а Молотова с Вышинским. «Я убежден, — заявил посол, — что советская авиация не нападала на шведский автомобиль, такая возможность исключается нами».

Обратившись к т. Лозовскому, товарищ Иосиф Виссарионович Сталин указал: «Надо посмотреть, был ли такой же приказ у немцев и салашистов?»

Затем товарищ Иосиф Виссарионович Сталин задал вопрос шведскому послу: «Какое объяснение происшедшему печальному инциденту было дано советской стороной?»

Посол ответил, что никакого ответа получено не было, хотя в сорок пятом году посол СССР в Швеции г-жа Коллонтай и заместитель министра иностранных дел г-н Деканозов заявили, что Валленберг находится под протекцией войск Красной Армии...

Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин прервал беседу словами, в которых содержалось обещание предпринять все возможное для изучения вопроса, поднятого шведской стороной.

Запись беседы сделана Павловым».

— Ясно? — вздохнув, спросил Берия. — То-то... У меня все время это в памяти шевелилось... Неспокойно было на душе. Я-то был в отъезде, когда произошла эта беседа, товарищу Сталину готовил ответ Деканозов, но материал не удовлетворил товарища Сталина, он попросил

обдумать все еще раз, но больше к этому вопросу почему-то не возвращался... Едем, поужинаем на Качалова, мне сегодня сидеть часов до трех...

В машине задумчиво продолжил:

— Но самое любопытное заключается в том, что спустя четыре дня после этой беседы в Кремле член Политбюро Венгерской компартии Ласло Райк устроил гала-концерт в «память о герое Рауле Валленберге»... И знаешь, с кем он советовался по этому вопросу по линии МИДа?

— Представить не могу, Лаврентий Павлович...

— И я не мог. С Соломоном Абрамовичем, нашим другом Лозовским... Понимаешь, куда я клоню?

— Нет, — откровенно признался Комуров. — Ваша мысль, Лаврентий Павлович, всегда так неожиданна, изящна, всеохватна, что я не в силах предугадать *поворот*...

— Не люблю комплименты, — отрезал Берия, выслушав, впрочем, их до конца. — Мысль как мысль, нормальная мысль... Поскольку страна в изоляции, поскольку нам нужны контактные *зоны*, товарищ Сталин может перерешить: вместо процесса над агентом гестапо Валленбергом он прикажет *разыскать* его и *подарит* Стокгольму. Объяснение? У нас шведский никто не понимает, нет переводчиков, не уразумели, кто такой, думали, мол, фашист маскируется. Тогда что?

— Тогда плохо. Ведь его сильно *жали*...

— Так вот, пусть с ним этот ваш Штирлиц поработает в камере, ублажит, если, как ты мне сказал, ваш «гранит» согласился на сотрудничество. Нам нужна правда, понимаешь? Полная правда!

...Вернувшись от Берия к себе, Комуров работу на *даче* отменил: пусть Исаев начинает «разминать» Валленберга в камере. Тот теперь на допросах молчал, требовал свидания со своими шведами и матерью... Пусть этот самый Штирлиц поможет нам узнать всю правду, а там решим, что делать.

Влодимирский ответил:

— Но ведь Исаев сразу предупредил Валленберга, товарищ генерал: «О делах не говорить». Он этим вполне ясно разъяснил шведу, что камера «на подслухе»... Мы можем узнать правду только на *даче*.

Комуров поднял на Влодимирского глаза:

— Приказ поняли?

— Так точно, товарищ генерал.
— Вот и исполняйте...

...Аркадий Аркадьевич встретил Исаева у двери, передал две радиограммы от сына: «Бушуют ветра, постригусь, как ты велел, обещали восстановить связь в ближайшие дни». Во второй, более развернутой, просил поцеловать маму, благодарил за то, что отец устроил ее в такой прекрасный санаторий, и просил срочно выслать, если, конечно, это не очень трудно, набор американских витаминов.

Аркадий Аркадьевич кивнул на три коробки американских витаминов, лежавшие на столе:

— С утра этим занимался.

Исаев поинтересовался:

— А как же вы ему это доставите? Там же самолет сесть не может.

Аркадий Аркадьевич искренне изумился:

— Так ведь грузы-то мы туда парашютами сбрасываем!

Потом еще более потускнел лицом, досадливо махнул рукой:

— Все не верите? Ловушки ставите?

— Теперь не ставлю, — ответил Исаев. — Ответ логичен.

Аркадий Аркадьевич протянул ему конверт:

— Сашенькино письмо и фотография.

Исаев прочитал письмо несколько раз, вглядываясь в каждую строчку, кадык несколько раз *ерзанул* в горле, однако лицо было непроницаемым.

— Спасибо.

Аркадий Аркадьевич походил по кабинету и, подняв глаза на отдушины, многозначительно посмотрел на Исаева.

Тот едва заметно кивнул: если здесь все снимают, то зрителю показалось бы, что он всего лишь устало опустил голову.

— Всеволод Владимирович, я посоветовался с товарищами, и мы пришли к выводу, что Валленберга нельзя везти на дачу...

— В камере он говорить не станет... Вы же фиксируете наши с ним собеседования... Я с самого начала предупредил его, чтобы он не затевал разговоров о деле... Это ваша вина: удовлетвори вы мои требования, все могло сложиться иначе...

— Я думаю, — после долгой паузы ответил Влодимирский, мучительно сдерживая себя, чтобы не хлестануть этого гада по морде и не спросить, что он писал шведу на Библии, — делу можно помочь... Но это... Мне даже страшно говорить... Это обяжет вас к страданиям...

— Считаете, что сейчас я благоденствую?

— Работаете, — сухо отрезал Аркадий Аркадьевич. — Вы на службе, Всеволод Владимирович. Вы под погонами... Так вот, если мы вернем вас после двухдневного отсутствия в камеру, то вернем в наручниках... А сейчас выпьете таблетку брома, чтобы сразу свалиться на койку... Вас поднимут... Вы снова свалитесь, вам прикажут встать, но вы не сможете, тогда вам объявят карцер... Поспите в другой камере, хоть сутки... Потом снова наденут наручники и приведут к Валленбергу. И вы исповедуетесь ему, потому что, скажете вы, вполне возможно, что вас расстреляют, а вы хотите, чтобы правда о вашей жизни осталась в памяти хотя бы одного человека...

— И я расскажу ему о себе всю правду?

— Именно.

— Он спросит, отчего вы мне не верите? — Исаев пожал плечами. — А если верите, то отчего держите в *браслетах* и хотите расстрелять? В голове нормального человека такое не укладывается...

— Во-первых, мы вам верим, Всеволод Владимирович, и вы это поняли. Во-вторых, именно потому, что мы вам *якобы* не верим, он вам поверит. И раскроется.

18

— Ложь рождает ложь, — задумчиво заметил Валленберг и поменял тряпку с холодной водой на распухших оладьях-кистях Исаева. — Я не сказал здешним следователям ни единого слова лжи и чем больше убеждал их в том, что говорю правду, тем меньше они верили мне... Особенно в связи с «Джойнт Дистрибьюшн Комити»...

— Почему?

— Не знаю. Они все время требовали открыть агентуру «Джойнта» в Восточной Европе... Я не понимал их поначалу, путался, вы ж знаете, сколько в Англии и Америке этих самых «джойнтов»?! Что ни комитет, то непременно «джойнт» — «объединенный»... Я им говорил, что в Штатах было только одно сокращение, понятное всем: «Борд»...

— Я не знаю этого сокращения, — признался Исаев.

— Видимо, запамятовали, — ответил Валленберг, и Исаев лишний раз подивился его такту. Только верь мне, дружище, только верь, я знаю, что сделаю на процессе — «постригись, как в Кракове»; никогда мы с Санькой об этом не говорили, а прервали нас именно на этом моем вопросе, они смонтировали пленку — это ясно. Что ж, им за это коварство и отвечать... И в письме Сашеньки есть строки Гумилева, она их не зря вставила. Я говорил ей во Владивостоке, что этот поэт несет в себе постоянное ощущение тревоги и неверия в реальность происходящего.

— Вы просто запамятовали,— повторил Валленберг, нахмурившись, словно бы перед принятием трудного решения. — Первым забил тревогу о тотальном уничтожении всех евреев, живущих в Европе, британский министр Антони Иден в своем выступлении в палате общин, что равнозначно обращению ко всей империи... Но при этом британцы играли, не желая пускать евреев в Палестину: «возможны трения с арабами». Везде и всюду «разделяй и властвуй», как горько это, как постоянно... Вы знаете, что Лондон предложил Рузвельту провести совещание о гитлеровском геноциде евреев? И что тот поначалу отказался?

— Не знал. РСХА такими сведениями не располагало...

— Британские службы умеют хранить свои тайны, — сказал Валленберг, и Исаев сразу же отметил всю опасность этой его фразы: начнут мотать, откуда ему это известно... Пусть не гестаповский шпион, а британский — все одно сойдет...

— Дальше, — требовательно перебил Валленберга Максим Максимович.

Тот удивленно пожал плечами: мол, что я сказал неосторожного? И продолжил:

— Так вот, Рузвельт медлил... Почему? Для меня это до сих пор загадка. Только после того, как стало известно, что гитлеровцы сжигают пятнадцать тысяч евреев ежедневно, Белый дом дрогнул и государственный департамент создал «Комитет помощи беженцам войны». И этот-то «Уор рефьюджи борд» передал из своего бюджета миллион долларов организации, распределявшей талоны на еду и жилье среди бежавших от Гитлера евреев: здесь ее называют «Джойнт», мы называли «Объединенный распределительный комитет»... Мою кандидатуру, — мол, готов помочь спасению несчастных, — предложил пред-

ставитель «Борд» в Швеции — ведь из-за состояния войны Америка не могла послать в Венгрию своего человека, чтобы заступиться за евреев, обреченных на уничтожение. В Стокгольме все знали, что я отказался заниматься банковскими операциями, хоть и преуспел в Палестине еще до войны. Банкир — профессия циников, право, — Валленберг вздохнул. — Из Южной Африки — я там тоже разворачивал дела нашего банка «Энскилд» — дедушке прислали письмо, что, мол, я талантлив и все такое прочее, прекрасный организатор, но для настоящего банкира слишком уж большой фантазер... Словом, «Борд» депонировал в нашем семейном банке «Энскилд» семь миллионов долларов для спасения венгерских евреев, которых Гитлер, чувствуя приближение краха, приказал уничтожить. Шло лето сорок четвертого, Красная Армия наступает, союзники высадились в Европе, финал войны, конец нацизма...

— Гитлер не считал войну проигранной даже в марте сорок пятого, — возразил Исаев. — Он же был фанатиком.

— Я тоже был фанатиком, когда спасал евреев от сожжения...

— Вы не были фанатиком. Вы просто исполняли свой человеческий долг... Фанатизм Гитлера шел не от идеи, а от паранойи и самовлюбленности... Ну, дальше?

— А дальше я приехал в Будапешт... Это было девятого июля сорок четвертого... Приехал как секретарь шведского посольства по гуманитарным вопросам. И как раз в это же время там начал разворачивать свою активность оберштурмбаннфюрер СС Эйхман. Я хотел спасти евреев, а он хотел сжечь их в Освенциме... Как солому... Сотни тысяч... С детьми, с беременными женщинами... Я купил — доллары-то у меня были — множество домов в Будапеште, таким образом, в венгерской столице появилась шведская недвижимость — попробуй прикоснись к собственности нейтральной державы! А потом я начал выдавать евреям шведские паспорта... Вы не представляете себе, что творилось в шведской миссии и у меня, на улице Минервы, где я открыл свой отдел! Десятки тысяч несчастных осаждали мои двери, ужас, ужас! У меня до сих пор в ушах этот страшный вопль тысяч людей... Я был наивным идиотом, вы даже не представляете, сколь наивен я был, когда собрал совещание представителей министерства внутренних дел Венгрии, нацистов и руководителей еврейской общины... Эйхман требовал немедленной депортации, а я уповал на здравый смысл... Но я знал

от венгров, что адмирал Хорти наконец понял: война проиграна... Более того, шеф будапештской жандармерии Ференци сказал мне: «Валленберг, я восхищен вашей идеей со шведскими паспортами и охранными письмами для евреев... Думаю, Хорти согласится признать этот шаг вашего правительства правомочным...» Он же потом и шепнул мне: «Хорти отправил своих людей в Москву на другой день после того, как Румыния повернулась к русским и объявила войну Гитлеру и нам... Он готов подписать мир, но этот мир должен быть *почетным*, иначе нация не примет его...» И началась политическая игра в *постепенность*: пока люди Хорти пробирались в Москву, адмирал сменил своего премьера. В кресло сел Геза Лакатош, либерал, но в первой же речи заверил всех, что Венгрия будет продолжать борьбу против русского большевизма и американского еврейства... А тогда нельзя уже было играть... Надо уметь вовремя действовать: утрата времени невосполнима, особенно в политике.

Исаев мягко улыбнулся:

— И в любви.

Валленберг, тяжко вздохнув, повторил:

— И в любви. Верно... Так вот, немцы что-то поняли, и в Будапешт...

Исаев кивнул:

— Дальше я знаю: в Будапешт приехал мой старый добрый друг, посол по особым поручениям фон Риббентропа, вечно молодой Эдмонд Веезенмайер...

— Откуда вы его знаете? — вновь насторожился Валленберг. Порою он делался похожим на оленя: замирал и немигающе глядел прямо перед собою.

— Я вместе с ним готовил вторжение нацистов в Югославию, *Рауль*, — ответил Исаев. — Кстати, по-русски меня зовут Максим... Или, если хотите, Всеволод...

Валленберг, не отрывая глаз от лица Исаева, ответил:

— Максим легче... Вы готовили вместе с этим мерзавцем оккупацию Югославии?!

— Такова была моя официальная миссия... Я прожил среди мерзавцев немало лет, Рауль. Я тогда бомбардировал Москву шифровками, что вторжение вот-вот начнется... Льщу себя надеждой, что эти мои сообщения в чем-то подтолкнули Москву заключить договор с югославами в ночь перед началом гитлеровского вторжения...

— А кто подтолкнул Москву отречься от этого договора спустя пять дней после разгрома Югославии? — жестко спросил Валленберг.

Опасаясь, что тот будет продолжать свои рискованные «подставные» вопросы, Исаев вновь взял огонь на себя:

— Сталин делал все, чтобы отдалить начало войны...

— Он бы отдалил начало войны, подписав договор с Черчиллем, который сражался против Гитлера, — отрезал Валленберг.

— Погодите, Рауль, — снова перебил его Исаев. — Вернемся к Веезенмайеру: его профессия была подготавливать вторжение... Я помню, что он мотивировал ввод гитлеровских танков и дивизий СС необходимостью защиты южного фланга обороны рейха... Как вам удавалось тогда работать? Эйхман ведь стал не «представителем дружественной страны», а обычным оккупантом...

Валленберг отрицательно покачал головой:

— В полной мере он стал оккупантом в середине сентября, когда гестапо получило неопровержимые данные, что Хорти начал переговоры о мире. Тогда его оттерли, и пришел сумасшедший Салаши... Еще более ярый антисемит, чем Гитлер, хотя был выходцем из армянской семьи... Откуда в нем это? Эйхман подписал секретный протокол с министром полиции Салаши, совершенно безумным Габором Вайна о том, что часть евреев депортируют в Германию на принудительные работы, часть поселят в центре Будапешта, в гетто, и что наши паспорта теряют свою силу... Только немцы вправе определять: выпустить еврея со шведским паспортом за границу или сжечь в крематории. Кое-как мне удалось отменить расстрел несчастных в гетто и депортацию на принудительные работы в Германию — это же был камуфляж крематориев... Салаши согласился создать «еврейские батальоны принудительного труда»: людей бросили на восток рыть окопы и строить укрепления против той армии, которая шла их освобождать... Расстреливали тех, кто плохо работал, дурно выглядел, не так шел в колонне; салашисты — это звери, те же гитлеровцы... А в ноябре, когда уже все трещало и русские вовсю наступали, меня пригласил Эйхман в свою штаб-квартиру в отеле «Мажестик»... Дверь его громадного люкса заперли, и он стал допрашивать меня, зачем я работал в Палестине в тридцать седьмом? Почему мой дядя выступает против великого фюрера германской нации, друга всех народов мира, защитника цивилизации от большевизма? Почему Рузвельт платит мне деньги? Какие американцы встречались со мною? Русские? Кто напечатал мне тысячи проклятых валленберговских паспортов? В каких типографиях? Он,

кстати, — Валленберг прерывисто вздохнул, — не говорил о «Борде», он только и трещал о шпионах из еврейского «Джойнта»... А потом сказал: «Всех евреев с вашими паспортами мы депортируем в Данию». И засмеялся. Причем смеялся искренне, глядя на меня как победитель, сваливший противника по боксу в нокаут. Я же понимал, что Дания — это фикция, там лагерей нет, несчастных расстреляют по дороге, как только вывезут из города... У меня были секунды на раздумье... Знаете, что я придумал? Я сказал ему: «Пусть отопрут дверь, я пошлю шофера за бутылкой виски и блоком сигарет... После этого продолжим наше собеседование...» Эйхман долго сидел не двигаясь, потом обернулся и заорал так, как умеют орать лишь одни немцы: «Открыть дверь!» И все то время, пока мой шофер ездил за виски, Эйхман ходил по кабинету и насвистывал мотив еврейской песенки, представляете? Он, Эйхман, — и еврейский мотив?!

— Сколько времени он свистел? — Исаев задал этот вопрос строго, без обычной своей мягкой улыбки.

Лицо Валленберга внезапно замерло и осунулось:

— Этот же вопрос мне задавали все здешние следователи... Даже делали следственный эксперимент...

— Уверяю вас, так бы поступило и Федеральное бюро расследований...

— А я говорю, что он ходил и свистел! — вскочив с нар, тонко закричал Валленберг. — Он свистел и ходил! Как заводной! Вы ведь жили там, по вашим словам! Тогда вы знаете, что со жратвой у них было плохо! А с сигаретами — и вовсе! У них не было сигарет! Не было! Они травили свой народ каким-то смрадом, гнилым сеном! А я еще сказал шоферу, чтобы он взял банку ветчины и круг сыра! Эйхман жлал еду, понятно вам?! Эта тварь хотела жрать!

Спецпайки давали начиная с штандартенфюрера СС, вспомнил Исаев, да и то далеко не всем. Эйхман был ниже меня званием, хотя руководил отделом по уничтожению евреев. Валленберг прав, жрать хотели все...

— И что случилось, когда вы дали ему *взятку*? — подтолкнул Исаев. — Как он себя повел?

— Он напился, крепко напился, — сразу же успокоился Валленберг, обрадованный, видно, тем, что ему поверили наконец. — И сказал, что я ему нравлюсь... А потом изогнулся надо мною как строительный кран, я чувствовал его запах, запах гнилых зубов, плохо стиранного белья, плесени, и произнес: «Я так хорошо отношусь к

вам, милый Валленберг, что готов помочь... Это бесценная помощь, ее будут ставить вам в заслугу те евреи, которые чудом уцелеют от правого суда фюрера... Если вы переведете на мой счет сто пятьдесят тысяч золотых швейцарских франков, я позволю вам вывезти отсюда маленький эшелончик евреев с вашими валленберговскими паспортами... А там — поглядим... Как? Ничего, а?»

С того дня меня повсюду сопровождал офицер тайной полиции Салаши — «для обеспечения безопасности»: «Венгры вас ненавидят за помощь евреям, могут пристрелить ненароком». Я встретился с Эйхманом еще раз, во время разгула салашистского кошмара, когда работать мне становилось все страшнее и страшнее: гитлеровцы и салашисты, будучи не в силах сдержать натиск русских, обрушивали свою ненависть на несчастных евреев, словно те были виноваты в их поражении... Вот тогда-то Эйхман и сказал мне: «Согласитесь, что лишь один я помогал вам спасти евреев... Был бы кто другой на моем месте, вам бы ничего не удалось сделать... Если вы честный человек, то скажете будущим поколениям: "Евреев спасал Эйхман"...» А на следующий день началась резня в гетто... По его приказу... Ну, а потом... Потом, когда вошли русские, я хватал мерзавцев Салаши, которые учинили расстрел в гетто, встречал красноармейцев. Был допрошен офицером НКВД, — он усмехнулся, — евреем... Очень, кстати, старался, звал к чистосердечному признанию... Какому, я до сих пор не пойму... Но меня освободили наутро... Отвезли к какому-то комиссару, сказали, что он во главе армии, то ли Вризнефф, то ли Бризнефф, тот расспрашивал меня о ситуации, сказал, что надо ехать к маршалу Малиновскому, в штаб фронта, в Дебрецен... Я ответил, что сначала надо посетить гетто, помочь тем, кто остался в живых после расправы... Убили сто тысяч, эсэсовцы и салашисты старались как могли. Осталось в живых семьдесят тысяч — люди без глаз, без лиц, парализованные страхом... Это те, кого мне удалось спасти... Я вновь вернулся в штаб русских и сказал, что сейчас объеду друзей, которые остались в живых, и после этого передам все деньги «Борд» в фонд немедленного восстановления Будапешта... Города ведь не было — стены, руины, пожарища. Я назвал мою организацию «Институтом Валленберга по восстановлению»... С этим я и отправился в штаб, передав все деньги для начала восстановительных работ... А меня схватили... Сначала обвиняли в том, что я немецкий шпион, потом — английский, а сейчас требуют

признания, что я агент этого самого «Джойнта», а я с их людьми и не встречался ни разу... Нет, вру... Встречался...

— Погодите-ка, — перебил его Исаев, но Валленберг словно и не слышал его.

— Я встречался, — с какой-то злобой, думая о своем, чеканил он, — с Альбертом Эйнштейном, Фейхтвангером и Иегуди Менухиным, они были почетными членами «распределительного комитета», «Джойнта»... Когда я учился в Мичигане на архитектора, я слушал Менухина... Три раза... Баснословно дорогие билеты на его концерты, но я покупал...

Исаев облегченно вздохнул: Валленберга не *понесло*.

— Что, у банкирского сына туго с деньгами?

— Банкирские родители самые что ни на есть скупердяи, — ответил Валленберг, — я рассчитывал каждый цент на месяц вперед, чтобы не одалживать у друзей...

19

Александр Максимович Исаев, которого по правде-то должны были записать в метриках Александром Всеволодовичем Владимировым (не знала Сашенька истинного имени любимого, тот выполнял приказ, жил по *легенде*), после того как услышал голос отца (шальной случай свел их лицом к лицу в Кракове, в сорок четвертом, до этого он только грезил о нем, разглядывал единственную сохранившуюся у матери фотографию), когда доктор уговаривал его кричать все громче и громче: «Сейчас твой отец придет, ты ж слышал его? Он ведь звал тебя, правда?!», после того как действительно он услышал голос отца, усиленный динамиками, в ответ на свои бесконечные «папа, папочка, папа, ты слышишь меня, папочка?!», медперсонал зафиксировал странное изменение в поведении больного зэка.

Долгие годы он пребывал в полнейшей апатии, по зарешеченной палате двигался робот. Теперь же глаза Александра Исаева обрели некоторую подвижность; он, например, стал реагировать на яркие закаты. Более того, впервые за все годы заключения сам, без чьей-либо просьбы произнес слово «солнышко».

Узнав об этом, доктор Ливии вызвал к себе пациента, считавшегося безнадежным, сел напротив него, положил тоненькую, девичью ладонь на колено бывшего капитана

армейской разведки РККА, а ныне зэка, приговоренного к двадцати пяти годам лагерей, зэка 187-98/пн, и, приблизившись к нему, впился в зрачки больного своими базедовыми глазами, увеличенными толстыми линзами очков.

— Санечка, а зыркалки-то у тебя получшали, — заговорил он ласково, чуть недоумевающе, но одновременно с какой-то долей радости. — Они ведь, зрачоченьки твои, Санечка, стали реагировать на... Хм, вот что значит с родителем поговорить, а?! Ну-ка, скажи, что ты вчера вечером в окне видел?

Зрачки Александра Исаева расширились, лицо свело резкой, странной гримасой то ли смеха, то ли ужаса, — и он тихо ответил:

— Одуван...

Доктор Ливин, не снимая ладони с его колена и не отрывая взгляда от зрачка, придвинулся еще ближе:

— Что, что? Я не понял, Сашуля, повтори-ка еще раз...

— Фу-фу, — показал зэк губами, а потом выпалил, — и детишки полетели, полетели, беленькие, с ножонками, легонькие...

Доктор резко откинулся на спинку стула. Александр, выработавший во время пыток рефлекс страха на быстрые и неожиданные движения, схватившись за голову, вскочил. Однако на этот раз он испугался не того, что его могут ударить, а потому, что явственно увидел фразу, которую произнес. Она жила не отдельно от него, не в таинственной его глубине, забиваемая сотнями других странных, бессильных, ищущих друг друга разноинтонационных *звучаний*, как это было последние годы, а вполне реально: вот он, одуванчик, дунь на него весною, и, как говорила мама, одуванчиковы детишки полетят по лесу.

Доктор Ливин подошел к Александру, обняв его, вернул к столу, мягко усадил, погладил по голове, привычно ощутив глубокие шрамы и мягкие *податливости* черепа; заговорщически подмигнул:

— А как же звали папу детишек?

Александр Исаев долго молчал, страшась чего-то, а потом прошептал:

— Не скажу.

— Почему? — обиженно удивился доктор Ливин.

— А все равно детишки уж разлетелись на парашютиках, — Александр Исаев тихо улыбнулся. — Не поймать...

— Какие детишки? — по-прежнему мягко поинтересовался Ливин. — Разве у тебя братья были? Сестры?

— Были...

— Ну-ка, позови их, — предложил доктор, — я их сейчас к тебе привезу.

— Улетели... Не догнать теперь...

— Да кто улетел?! — Ливин начал терять терпение: «Старею, раньше мог беседовать с несчастными идиотами, стараясь понять ломаную, но тем не менее таинственно-логичную *линию* трагической аномалии».

— Детишки, — повторил Александр. — Мягонькие, пушистенькие, никого не обидят, зла не принесут...

— А дуешь ты почему?! Разве на детишек дуют?

— На одуванных — да...

Ливин наконец понял:

— Так это ты про одуванчик?

Тот покачал головой:

— Вы ж про солнце спрашивали... А я про одуванчик сам думал... Без вас... Один...

С того дня Ливин перевел Александра Исаева в отдельную тихую палату, прописал ему курс новой терапии и сегментальные массажи, добился у начальства двухчасовой прогулки — зэк *ложился* в его докторскую диссертацию «Роль шока в психике больного, перенесшего тяжелую травму черепа».

Он работал каждый день, часа по три; Александр постепенно начал хмуриться — явный симптом возвращения памяти или обостренной реакции на вопрос.

Речь его становилась менее загадочной — поначалу была потаенной, тройной смысл в каждой фразе.

...Ливин помолодел, научное счастье само шло в руки.

И в тот как раз день, когда он намеревался начать заключительные программы, его вызвал начальник спецтюрьмы:

— Как Исаев? Вы с ним, говорят, много возитесь?

Поскольку начальник был обыкновенным тюремщиком, к науке не имел никакого отношения, на ученых смотрел с открытым юмором, не лишенным, впрочем, доброжелательства, Ливин рассказал ему про работу.

— Ну и хорошо, — ответил тот, внимательно выслушав доктора. — Завтра комиссия приезжает... Ему, оказывается, вышку дали, а полных придурков не шлепают... Так что вы уж порадейте, чтоб он, понимаете, показался нашим гостям более или менее нормальным.

— Я умоляю вас, — Ливин прижал свои девичьи руки к старческой груди, — я вас умоляю, Роман Евгеньевич! Этого зэка нужно спасти! Я работаю с ним во имя науки! Нашей, русской, науки! Он может опрокинуть всю диагностику, которая была раньше! Молю вас, Роман Евгеньевич!

— Товарищ военврач, — сухо отрезал начальник, — вы мое приказание слышали? Слышали. Извольте исполнять... Советский народ, понимаете, строитель коммунизма, терпит нужду, еще не всюду живут так, как мы того хотим, а нам, понимаете, с придурочными контриками цацкаться, которые пищу рабочего класса жрут?!

...Дождавшись, когда персонал ушел по домам и остались одни лишь надзиратели, Ливин заглянул в камеру Александра Исаева:

— Санечка, завтра к тебе приедут разные люди, — прошептал он. — Будут спрашивать тебя... Так ты молчи, Санечка, ладно? Ты молчи! Молчи, как раньше! К тебе плохие люди придут, ты им не верь, на вопросы не отвечай, понял меня, сынок?

— Я не твой сынок, — так же тихо ответил Александр Исаев, — у меня папочка есть, он красивый и очков не носит...

Доктора Ливина арестовали на рассвете — камера Исаева-младшего прослушивалась.

...Члены комиссии, прибывшие утром, внимательно ознакомились с историей болезни зэка 187-98/пи, затем вызвали Александра Исаева в комнату, залитую солнцем, предложили сесть; он, глядя на них непонимающим взглядом, стоял молча.

— Санечка, вы ведь уж и говорить начали, — копируя манеру арестованного Ливина, ласково начал старший комиссии. — Ну-ка, расскажите и нам что-нибудь интересненькое...

Александр Исаев стоял неподвижно, стараясь удержать в себе не столько шепот Ливина, сколько его молящие глаза, в которых ему почудились капельки, — кап-кап, кап-кап, дождик, лей, грибочки, растите скорей... Лизанька... Это в пионерлагере пела Лизанька...

— Ну, Санечка, мы ждем, — по-прежнему ласково и неторопливо продолжал председатель комиссии. — Мы ведь хотим выписать тебя... Отпустить домой... К родителям, если твое дело действительно пошло на поправку...

Доктор Ливин считает, что ты уж совсем поправился...

Александр Исаев по-прежнему стоял неподвижно, смотрел сквозь этих людей, ворошивших какие-то бумаги, и не произносил ни единого слова.

Тогда председатель комиссии, довольно молодой военврач, осторожно, с долей брезгливости, повернул черный рычажок под столом — терпеть не мог отечественной техники, непременно подведет в самый важный момент.

В комнате послышалось завывание ветра, далекий треск морзянки, чьи-то размытые слова, набегавшие друг на друга.

А потом, прорываясь сквозь эту далекую пургу, явственно прозвучал голос Максима Максимовича Исаева:

— Сыночек, ты слышишь меня?!

И Александр Исаев, сделав шаг навстречу, закричал:

— Папочка, миленький, слышу! Слышу тебя, родной! Мне уже совсем хорошо! Я почти все вспомнил, папочка! Где ты?! Папочка?! Отвечай же! Хочешь, я еще громче закричу? Ты слышишь меня?!

Военврач выключил магнитофон и кивнул надзирателям: «Можете уводить».

— А папа? — по-детски пронзительно закричал Саня. — Папочка! Я же здесь! Почему ты замолчал?! Я здоров, папочка! Я помню! Я вспоминаю, папа!

...Александра Исаева признали вменяемым и увезли в другую тюрьму.

Когда трем исполнителям показали его — один из них должен был во время конвоирования по коридору выстрелить осужденному в затылок, — самый рослый из них сделался вдруг белым как полотно:

— Так это ж наш капитан! Это Коля! Он нам в Праге жизнь спас! Товарищ, он наш! Он наш! Это ошибка, товарищи!

— Ты на одуванчик подуй, — тихо сказал Исаев-младший, — детишки по миру разлетятся. — А потом улыбнулся загадочно: — Мне в спину нельзя... Мне в голову надо, она у меня болит, а спина здоровенькая...

...*Исполнитель* Гаврюшкин был расстрелян через семь дней; провел пять суток без сна на конвейере: «Кто рекомендовал пролезть в органы? С кем снюхался в Праге в мае сорок пятого?!»

...Начальник команды получил строгача с занесением.

Заместитель начальника отдела кадров отделался выговором без занесения в учетную карточку.

Начальнику тюрьмы было поставлено на вид.

20

Влодимирский чувствовал, что *наверху* происходит нечто странное, непонятное ему, какое-то дерганье и суета, начинавшаяся вдруг и столь же неожиданно кончавшаяся.

Разгадывать политические ребусы — работа, непосильная обычному человеку, хоть и с полковничьими погонами, да еще при полнейшем расположении начальства: как абакумовского, так и комуровского (считай, бериевского). Именно это последнее — благорасположение с *двух* сторон — держало его в состоянии постоянной напряженности, не оставляя времени исследовать то, что так беззвучно и незаметно, но давно и грозно ворочалось в Кремле: мимо него не проходили ни разговоры о семье Молотова — странные разговоры, тревожные; ни намеки на то, что Сталин перестал принимать члена Политбюро Андрея Андреевича Андреева, который в свое время тесно сотрудничал с Дзержинским; прервал отношения с Ворошиловым; постоянно — так было в тридцать шестом, рассказывали старожилы, — вызывает Вышинского; явно приблизил Абакумова; Берия принимает реже, чем Виктора; маршал по этому поводу сухо заметил: «Зарвался».

Он несколько растерялся после недавнего разговора с Комуровым потому еще, что тот поинтересовался: «Ты твердо убежден, что Исаев не гонит липу по поводу его рукописи, хранящейся в банке?»

Значит, и это навесили на него: если Исаев не лжет, удар придется именно по Лаврентию Павловичу — бить есть по чему: именно тот приказал Шандору Радо после заключения договора о дружбе с Гитлером не проявлять активности; именно он запретил Шандору привлекать к работе Рёслера, человека, имевшего прямую связь со штаб-квартирой фюрера, — «провокатор и английский шпион». Именно он же, Берия, в панике, в шесть утра двадцать второго июня, когда началась война, подписал шифровку Радо: «Платите Рёслеру любые деньги, только б работал!» И презрительный ответ Шандора: «Рёслер работает не из-за денег, он не осведомитель, а борец против

нацизма». А расстрел всех наших нелегалов, внедренных в Германию? Прекращение разведработы против гитлеровцев? Неважно, что приказал Сталин, — подписал-то Берия... А дело Кривицкого? Исаев вполне мог с ним встречаться, а тот знал все о процессах тридцатых годов... В Испании он виделся с Орловым — исчез, голубь, а работал в Центре, для него тайн нет... С Леопольдом Треппером, «Большим шефом», контачил... С Сыроежкиным дружил, с Антоновым-Овсеенко... На кой черт Берия уступил кресло Абакумову?! Сам ведь ушел, никто не принуждал... Ах люди, люди, порождение крокодилов... Неужели нельзя жить дружбой? Открыто? Нараспашку?! Одно ведь делаем дело!

Дело? *Дела*, усмехнулся Влодимирский; ставим спектакли в угоду директору театра...

Хорошо, допустим, я ввожу в комбинацию с Валленбергом и Исаевым моего Рата, сулю ему вторую звезду на погон и боевой орден... Но ведь Сталин дал честное слово Каменеву и Зиновьеву, что их не расстреляют, и дал его в присутствии Ворошилова, Ежова, Ягоды, Миронова... Ведь именно после этого у чекистов гора с плеч свалилась: никаких расстрелов не будет, речь идет лишь о политическом уничтожении троцкизма, кровь ветеранов большевистской партии не прольется... А ветеранов партии расстреляли через полчаса после того, как они кончили писать прошения о помиловании, — на рассвете; день, говорят, был на редкость солнечный. И это узнали старики Дзержинского и взроптали: «Сталин — лгун, ни одному его слову нельзя верить», и их стали косить из пулеметов... Тысячами... Десятками тысяч... «Ты это о чем?» — грозно спросил он себя, как-то съежившись, — такое слышал в себе впервые. И ответил: «Это я о Влодимирском, о тебе, дурак!»

...Он дважды прослушал запись разговора Исаева с Валленбергом и до конца убедился в том, что исповедь обоих — предельно искренна, их надо немедленно освобождать, нет за ними никакой вины... Но кто же колол Валленберга на этот самый «Джойнт»? Почему мне никто не докладывал об этом? Одно время с ним работал Рюмин, потом Рат... Рат — мой, но он мне про это не говорил. Почему? Рюмин, судя по словам Комурова, теперь тоже будет нашим. Но и он молчит... Сталин расстреливал тех следователей, кто не мог справиться с людьми, арестованными по его приказу.

Ну, хорошо, допустим, я вывожу на процесс Валленберга и его обличают Риббе, Штирлиц, Рат — введу его в комбинацию как «связника» из Лондона.

Процесс против Каменева проводили в Октябрьском зале, ни одного пропуска по приказу Сталина не дали ни единому члену ЦК или ВЦИКа. Зал был забит работниками НКВД: согнали стенографисток, уборщиц, курьеров, надзирателей.

А Пятакова судили при иностранцах. Почему пошли на такой риск? Где гарантии, что обвиняемые не начали бы орать в зал правду? Кто знает, как этого добился Ежов? Придется просить у Берия санкцию на ознакомление со *спецпапкой*... Даст ли? Ответы подсудимым писал Сталин, это известно, захочет ли Берия, чтобы я воочию в этом убедился?

А что, если я проведу процесс, а меня после этого уберут, как убрали всех в НКВД, когда пришел Ежов, а потом Берия? Ведь тех, кто поставил гениальные спектакли, которых не было в истории человечества, перестреляли!

Так и не ответив ни на один из этих вопросов, Влодимирский вызвал машину и отправился в Театр оперетты на площадь Маяковского.

Сначала он никак не мог сосредоточиться на шуточках старика Ярона, потом увлекся тем, как себя подавала Юнаковская; закрыл глаза, слушая арию, исполнявшуюся Михаилом Качаловым, постепенно спектакль захватил его, растворил в себе, успокоил.

Выходя из подъезда, подумал: «Все же оперетта — очень доброе искусство, дает надежду на выход из самых трудных положений, когда, кажется, трагическая развязка неминуема... Говорят, "легкий жанр"... Ну и замечательно, что легкий! В операх или топятся, или помирают, чего ж в этом хорошего? Вот бы и назвать оперу — "тяжелый жанр"...»

Приехал домой, решив не возвращаться в *контору*, однако жена сказала, что дважды звонил помощник, разыскивал.

Влодимирский набрал номер, сухо поинтересовался:

— В чем дело?

— Гнедов ждет вас с черзвычайным сообщением.

Гнедовым был следователь Сергей Сергеевич; прижимал к себе папку, в которой лежал лишь один конверт — только что нашел на Центральном почтамте: письмо из Лос-Анджелеса некоему Максу Брунну от Грегори Спарка; обратный адрес, марки, все честь по чести.

Влодимирский прочитал русский перевод: «Я пытался найти Вас и Пола повсюду. Я пишу туда, где, быть может, вы сейчас находитесь. После гибели моих детей и жены хочу передать Вам и Полу мое проклятие. Я пишу это за несколько минут до того, как нажму спусковой крючок пистолета. Я проклинаю Вас не как Бруина, а как носителя идеи добра и справедливости. Такой идеи нет, не было и не будет на этой земле. Я прощаю Вам *лично* то зло, которое Вы мне причинили. Но Вам никогда не будет прощения Божьего. Человек да соразмеряет силы свои!

Грегори Спарк».

Влодимирский походил по кабинету, потом позвонил к Комурову: тот обычно сидел до той поры, пока из Кремля не уезжал Сталин.

— Заходи, — отозвался тот. — Что-нибудь экстренное?

— Да. Очень.

...Комуров отложил письмо в сторону:

— Ну и что ты об этом думаешь?

— Ничего не понимаю, — признался Влодимирский. — Ясно только одно: Исаев не блефовал. Он говорил правду про свои контакты в Штатах.

— В его отчете, что он гнал на *даче*, есть два опасных имени: Пол Роумен и Грегори Спарк. Других контактов из Штатов у него не было, верно?

— А черт его знает, угрюмо отозвался Влодимирский. — Особый случай... Я его не понимаю, совершенно не понимаю... Пол-то этот самый тоже исчез, а ведь Исаев все первые часы кричал про Пола и Мюллера...

— Не паникуй... Что это ты вдруг? Я прослушал его беседы с Валленбергом... Разделаемся с этим чертовым шведом, а Исаева потрясешь, не такие кололись... В конце концов получишь адреса, если таковые остались в Америке... Ничего, мы рукастые, достанем... Да и потом у Лаврентия Павловича, мне кажется, появились какие-то особые виды на этого Исаева...

— Но ведь Валленберг отказывается брать на себя «Джойнт»... Он вполне популярно объяснил, что это такое, нельзя выставлять себя на посмешище.

— А мы сейчас и не будем жать на «Джойнт», — ответил Комуров. — Сосредоточь внимание на его переговорах с гестапо, Эйхманом, он же этого не отрицает... И с Салаши... И, возможно, с *товарищем* Ласло Райком, —

медленно добавил Комуров. — Да, да, с нашим коллегой из Венгрии.

— Что, плохо с ним? — осторожно поинтересовался Влодимирский.

— И не только с ним одним... Его настоящая фамилия, кстати, Райх, он такой же венгр, как я эстонец...

— Тогда надо вводить еще одного человека в комбинацию...

— Вводи, *дело* закреплено за тобой.

— Я хочу подсадить к Валленбергу нашего Рата.

— Резон?

— Хочу попробовать через него узнать, что Исаев написал Валленбергу, а тот сжевал...

— Думаешь, сможет?

— Попытка не пытка.

Комуров засмеялся:

— Э, нет, милый! Пытка — это попытка, а не наоборот!

— Товарищ генерал, — осторожно спросил Влодимирский, — а если Лаврентий Павлович имеет виды на Исаева, может, не выводить его на процесс?

Комуров после паузы повторил задумчиво:

— Твое *дело*, дорогой, тебе и решать...

В тот же день Исаева перевели в просторную камеру с душем: его место занял Рат — окровавленный, в изорванной рубашке, в туфлях на босу ногу, в полубессознательном состоянии. Два дня Валленберг выхаживал «англичанина», потом тот рассказал, что от него требуют признания, что он ехал в Будапешт в январе сорок пятого на встречу с неким Райком и шведом Валленбергом, вез доллары.

Сидел он в камере Валленберга два месяца и расположил его настолько, что тот сказал: «Я соглашусь на процесс только в том случае, если получу свидание с матерью, шведскими дипломатами и адвокатом. И если они будут присутствовать в суде».

А на следующий день добавил фразу, которая сделала ясным, что Исаев написал ему:

— Иначе обвинение не получит свидетелей. Пусть тогда плетут что угодно, фарс и есть фарс.

...Аркадий Аркадьевич поздравил Рата с успехом, обнял, сказал, чтоб отдыхал неделю.

...Арестовали Рата в приемной Влодимирского, отправили в одиночку; через месяц зашел Сергей Сергеевич:

— Рат, у вас одно спасение: рассказать на процессе все то, что вы говорили в камере. Впрочем, это спасение не только ваше, но и всей семьи: мы их сегодня забрали — связь с еврейскими буржуазными националистами...

...Валленберга вызвали на допрос через полчаса после того, как Влодимирский предложил Исаеву переодеться в свой полковничий китель: «Едем встречать сына».

Заказал ему стакан кофе и сушки, сказал, что вернется через десять минут, и покинул кабинет.

Следователь, сопровождавший Валленберга, шепнул:

— Сейчас наконец вы встретитесь с тем, кто все эти годы курировал ваше дело. Постарайтесь договориться с ним миром, он человек крутой, но справедливый.

Следователь открыл дверь кабинета Влодимирского, обменявшись стремительным взглядом с помощником, поднявшимся из-за своего бюро; пропустил Валленберга; встал у двери.

Валленберг увидел седого полковника, который медленно обернулся к нему, узнал Исаева, глаза его округлились, наполнились ужасом, он тонко закричал и, наклонив голову, бросился к окну.

Следователь и ворвавшийся помощник схватили Валленберга и, повалив его, начали крутить руки.

Исаев поднялся, схватил стул и со всего маху ударил им лощеного помощника по голове. Тот отвалился, Исаев взмахнул стулом еще раз, чтобы обрушить его на голову второго, но руку его вывернули, кабинет заполнился людьми, Аркадий Аркадьевич орал что-то, брызгая белой пеной, а потом Исаев потерял сознание от боли...

...Через три года в одиночку Исаева пришел высокий человек, явно загримированный, и, тщательно скрывая акцент, спросил:

— Хотите знать, кто виновен в вашей трагедии?

Исаев безразлично молчал.

Человек в темных очках и с неестественно льняной шевелюрой — парик, ясное дело, — протянул ему постановление ОСО на расстрел жены и сына с резолюцией Сталина.

Реакция Исаева была странной: он согласно кивнул.

— Конечно же, хотели бы отомстить? — усмехнулся человек.

— История отомстит, — ответил Исаев. — Человек бессилен.

Посетитель еще глубже сунул кулаки в карманы плаща и мягко заметил:

— Я попрошу, чтобы вам дали прочесть Горького. Найдете нужную фразу: «Человек — звучит гордо». Особенно советский человек. А не вы ли пример для советских граждан, полковник?

И, не дожидаясь ответа Исаева, вышел из одиночки...

...В салоне «ЗИСа», стащив с себя льняной парик и очки, Берия задумчиво сказал Комурову:

— Переведите его в хороший лагерь, где есть отдельные домики... Отхаживайте, как любимую... Если Рюмин или еще кто будут интересоваться, где он, — а я это вполне допускаю — ответите, что вытребовали в мою «шарашку»... Познакомьте его с процессом над Трайчо Костовым, Ласло Райком и Яношем Кадаром... Подготовьте материалы о подготовке процесса над Сланским и Артуром Лондоном — с этим он был знаком лично, я не поленился потратить еще два дня на его личное дело... Вот и все. Приведите его в форму... Пусть говорит все, что хочет, — не записывайте ни одного его слова... Лагерь должен быть на расстоянии не более двух часов лета до Москвы: Исаев может понадобиться мне в любой день и час, днем или ночью.

...Первые дни Исаев вообще не мог спать, снотворного не давали, только массировали.

Читал. Сначала не очень-то входил в текст, перед глазами стояли лица Сашеньки, Саньки, Валленберга, Пола, Никандрова, Спарка, Ванюшина — они все время были с ним, в нем, перед ним...

Потом, однако, стал вчитываться: газеты давали все. И постепенно, перейдя от первых двух полос — фанфарных, торжественных, чуждых Началу, — к третьей и четвертой, он все больше и больше ощущал, что его, прежнего, нет уже; пуст; если что и осталось, то лишь одно — отчаяние. Оно было безмерным и величавым, как огромный океан в минуты полного штиля. Он запрещал себе нарушать этот океан отчаяния вопросами и ответами, он знал, что не сможет ответить ни на один вопрос; он не чувствовал в себе сил, воли и гнева, хотя именно гнев сокрыт в подоплеке отчаяния — затаенный, холодный, лишенный логики и чувства, чреватый таким взрывом, который непредсказуем так же, как и неотвратим...

21

...Забившись в угол «паккарда», окруженного пятью «линкольнами» и «ЗИСами» охраны, Сталин любил проноситься по узенькой горловине ночного Арбата, вырываться на Смоленскую и оттуда, на огромной скорости, словно танковая атака, *занимать* всю Можайку, отправляясь отдыхать на Ближнюю дачу.

Иногда, впрочем, он говорил начальнику охраны: «Хочу посмотреть людей».

Тот, как и все окружавшие генералиссимуса, обязан был понимать не слово даже, а намек, интонацию, паузу, генерал успевал дать команду по трассе — помимо батальона охраны, расквартированного в казарме, оборудованной в бывшем ресторане «Прага», на Арбат мгновенно перебрасывалось еще одно подразделение: люди в коричневых и синих драповых пальто стояли на расстоянии ста метров друг от друга, в поле взаимной видимости; снайперы занимали все отдушины на чердаках, генералиссимус мог ехать со скоростью сорока километров, улыбчиво обнимая своими желто-рысьими глазами прохожих, их лица, одежду, сумки в руках...

Однажды Георгий Федорович Александров, начальник Управления агитации и пропаганды ЦК, предложил Сталину ознакомиться с совершенно секретными переводами дневников «колченогого» — так, с легкой руки Деканозова, в близком окружении Сталина звали рейхсминистра пропаганды Геббельса.

Сталин равнодушно кивнул на стол: мол, оставьте, будет время — погляжу, но не обещаю, занят...

Читал всю ночь, с трудом удерживая себя от того, чтобы не делать карандашных пометок (на «Майн кампф» наследил, не мог себе этого простить, тем более что экземпляр был не его, а Ворошилова, выпустил еще Зиновьев в 1927-м, для членов ЦК — «угроза № 1»; просить, чтоб вернул, нельзя, не преминет полистать, простован-то простован, а дока). Порою, хуже того, увлекшись, он делал отчеркивания ногтем, тюремная привычка; отучил, кстати, сокамерник Вышинский: «Коба, у вас крепкая рука, давите большим пальцем, очень заметно, охранка умеет работать с книгами арестантов (сидели в Баку), могут набрать на вас материалы, будьте осторожны».

Особенно интересовался церемониями встреч фюрера с нацией — Геббельс организовывал это артистически, осо-

бенно с детьми и старушками, непременно в небольших городках; истинная легенда, которая останется в веках, рождается в сельской местности, город мгновенно поглощает все новости, растворяет их в себе; беспочвенность интернационального «асфальта» чревата потерей национальной памяти. Молодец Геббельс, смотрел в корень; если Петр учился у шведов, отчего нам не поучиться у немцев?

...Сталина заинтересовала эта глава потому особенно, что он в отличие от Гитлера, любившего *зрелища,* предпочитал держаться в тени, с одной стороны, он слишком хорошо знал русских, их сдержанность, в чем-то даже зажатость, а с другой — страшился разрушить ореол, созданный пропагандой: вместо высокого, широкоплечего *русского* военачальника и ученого — только поэтому Вождя — люди увидят рябого, плешивого, маленького человека с прокуренными зубами, седого и малоподвижного, страшащегося, что его может окружить тесная и душная толпа незнакомых ему людей.

Назавтра Александров заметил свою папку точно на том же месте; решил, что Сталин не прочитал; тот, увидев взгляд *академика,* усмехнулся:

— Как-нибудь в другой раз прогляжу... Спасибо... Можете взять, не было времени...

...По прошествии четырех лет Александров убедился, что Сталин эту папку с рецептами «как делать фюрера» прочитал. Поскольку его последние встречи с *народом* состоялись в конце двадцать девятого, когда он выехал в Сибирь во время трагедии с хлебозаготовками, пришло время дать новую пищу для разговоров: для этого поэту Долматовскому позволили напечатать поэму о поездке Вождя на фронт, к солдатам, — рассчитано на интеллигенцию; в Понырях и Орле, предварительно нашпигованных охраной, Сталин прошелся по улице возле станции, где работали строители: назавтра об этом знала вся Курская железная дорога; на шоссе из Сочи в Гагру шофер его машины остановился возле мальчика (отдел охраны заранее подобрал русского, Колю Саврасова; грузина, абхазца или армянина — их возле Адлера много — решительно отвели); в тот же день ликовало все Черноморское побережье.

Во время отдыха на своей скромной маленькой дачке возле Сухуми (всего семь комнат, кинопросмотровый зал и бильярдная) Сталин зашел в один из трехэтажных домов, где жила охрана, и, не обращая внимания на вы-

тянувшихся по стойке «смирно» майоров и полковников, спустился в подвал, вспомнив, что туда покидали всю библиотеку, после того как сначала Троцкий, а потом Бухарин были выведены из Политбюро.

Провел он там часа два, не меньше; сидел на краешке какого-то скрипучего ящика, перечитывая Троцкого; испытывал при этом непонятное самому ему чувство снисходительно-сострадающего восхищения стилем «врага-брата». Нашел бухаринский томик, написанный в двадцатом: «Экономика переходного периода»; тогда Врангель и Слащев бросили клич: «Красных в плен не брать — земли нет! Вешать вдоль дорог без суда!» Именно он, Сталин, первым позвонил Бухарину: «Великолепная работа». Ленин чуть покритиковал, но в общем-то одобрил работу «красного академика»; Троцкий усмехнулся: «Играем в якобинство? Ну-ну! Пора бы думать о металле и железных дорогах, кои наши революционные «троглодиты» предлагают разрушить, поскольку их строили буржуи...»

...Вернувшись к обеду, сделал замечание начальнику охраны Власику: «Стоит ли держать мусор в доме? Молодые офицеры не знают истории нашей борьбы, начитаются без подготовки — черт знает что может в голову прийти...»

Той же ночью библиотеку погрузили на полуторки, вывезли в лес, облили бензином и сожгли.

Именно тогда он и подумал вновь: «Скоро стукнет семьдесят, а где мои теоретические работы? У Троцкого пятьдесят томов, у Бухарина было чуть ли не двадцать, а что у меня? Подоспело время готовить цикл теоретических трудов, где будут расставлены все точки над i. На смену Идеи интернационала должна прийти доктрина Державности».

Он любил думать *впрок*, не терпел спешки, своего любимца Мехлиса осаживал прилюдно: «Это ты в своем кагале кипятись и отдавай команды, мы, русские, любим неторопливую, солидную обстоятельность, запомни».

На торжествах, когда весь мир *гулял* его день рождения и Москва была иллюминирована ярче, чем на Первомай, он, слушая бесконечные речи о великом вожде, гениальном стратеге, лучшем друге, выдающемся ученом, брате и соратнике Ленина, поднявшем на невиданную высоту его учение, несколько рассеянно оглядывая многочисленных гостей из-за рубежа, что привезли ему множество подарков, на какое-то мгновение отключился; надоела аллилуйщина; как чисто и высоко было в нашем храме в Тбилиси, как прекрасен был хор, когда мы возно-

сили слова господу и купол вбирал их в себя, давал им новое, иное звучание, *отдельное* от нас, сопричастное с вечностью, а не с бренной плотью...

Глядя на затылок очередного оратора, бритый под скобку (чистый охотнорядец, читал, не отрываясь от бумажки, написанной в Агитпропе и трижды утвержденной на Оргбюро, Секретариате и Политбюро, наверняка какой-нибудь дрессированный мужик из колхоза), Сталин вдруг явственно услышал голос отца Георгия, который говорил им, замеревшим в зыбком восторге семинаристам, литые, *значимые* Слова, а не дребедень, что болтают в этом зале: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть...»

Неожиданно для всех Сталин поднялся — как всегда норовил устроиться один где-нибудь в четвертом ряду президиума, поближе к выходу, — и, балансируя, на цыпочках, стараясь не мешать оратору, покинул зал.

Он вошел в комнату, где были накрыты столы с бутербродами, водкой, минеральными водами, вином и коньяком, не обратив внимания на вытянувшихся *официантов* и нескольких членов президиума, вышедших перекурить, — сидели уже третий час, а конца и краю чествованию не видно.

Ни к кому не обращаясь, Сталин спросил, где телефон; *официант* и подбежавшие офицеры личной охраны повели его к маленькому столику; он снял трубку, набрал три цифры, но услышал гудок и одновременно голос помощника начальника личной гвардии:

— Товарищ Сталин, это не «вертушка»... Это городской телефон.

— Зачем же меня сюда вели? — Сталин был раздражен и нетерпелив. — Язык проглотили? Головы нет? Водки перепили?

Он, видимо, хотел спросить, где правительственный телефон, но потом досадливо махнул рукой и вернулся на сцену, встреченный бурной овацией, что окончательно вывело его из себя; заставив себя улыбнуться, огладил усы и, подняв руки, попросил всех садиться, легко отключился, когда возникла пугающая тишина, — остался сам с собою, отрешился от суеты; именно в этот момент и понял, что первая фраза, которую напишет в своем *теоретическом* труде, будет перчаткой, вызовом Троцкому, да и тем читателям, которые хоть что-то помнят: «Ко мне обрати-

лась группа читателей из *молодежи* с просьбой высказать свое мнение в печати по вопросам языкознания...»

Сталин ничего не слышал, кроме своего глуховатого голоса.

Фразу, родившуюся столь стремительно (такого раньше не бывало, он по десять, двадцать раз правил тексты речей во время борьбы за власть), обсматривал со всех сторон, выверял интонационно, разглядывал со стороны, любовался ею, словно мать новорожденным.

«Отлито; лучшего быть не может, — сказал он себе. — Слово — начало начал Бытия: именно Слово, Язык, существовавший всегда; и Маркс, и Ленин бежали этого парадокса, они норовили все подмять под производство, станки, науку, то есть Базис. Что ж, мне придется вернуть Слову его изначальный, основополагающий смысл... Реальных благ в ближайшем обозримом будущем мы русским не дадим. Что ж, вернем высший смысл Слова — Проповедь... Никого так просто не уговоришь, как русских, им я и передам примат Слова — отныне, присно, во веки веков... Кто только воспользуется моим Откровением? — горестно подумал он, пробежав невидящим взглядом по затылкам и плешинам своих соратников. — Из тех, кто здесь, — никто. Надо ждать. Ничего. Подождем... И начнем готовить реальную смену — вот что главное...»

...Через несколько дней Академия наук внезапно глухо зашевелилась; была создана секретная группа подготовки; Митин нажимал на президента: «срочно!»; институт, отданный филологу Виноградову — кстати, бывшему зэку, — делал «языкознанческие заготовки» — все это шло на стол Сталину.

Приученный жизнью к неторопливости, к тщательной подготовке удара, от которого противнику не подняться, — иначе не стоит бить, рискованно, — Сталин, расклеив академические заготовки, которые должны стать фундаментом его теоретического труда «Марксизм и вопросы языкознания», после десятого, по крайней мере, прочтения внезапно почувствовал какое-то неудобство, словно новый башмак жал. (Майский рассказывал, что британские аристократы дают своим слугам носить новую обувь; появляться в новых туфлях — дурной тон: истинный аристократ подчеркивает, что носит старые вещи, — чем человек богаче и могущественней, тем меньше он обращает внимания на одежду; рассказ-намек своего посла Сталин запомнил; следовал во всем, хоть и дал санкцию на арест.)

Он отложил работу, уехал на дачу, много гулял, смот-

рел фильмы, вырезал цветные фотографии из «Огонька», устроил стол, пригласил Берия, Маленкова и Булганина, был по-прежнему рассеян, анекдоты слушал невнимательно и лишь назавтра понял, что́ жало.

Три пассажа в академических заготовках его будущего текста прямо-таки *грохотали:* «Октябрьская революция...»

«В Октябре была не революция», — медленно выдавливая слова, сказал он себе, внезапно испугавшись закончить фразу, которая подспудно, безъязычно, но образно, зримо жила в нем многие годы, разрывая душу; как же мучительно было бороться с собою самим, запрещая услышать те слова, которые, оказывается, давно жгли сердце. «Революция — реальна; в Октябре был хаос, — произнес он. — В Октябре был *переворот!* Истинная революция, уничтожившая дремучесть русского мужика, поставив его под контроль соседа, сына, бабки, Павлика Морозова, панферовских героев, комиссаров Багрицкого — то есть *власти,* вернувшая его в привычное состояние общинной круговой поруки, — поди не поработай! — была проведена им, Сталиным, в тридцатом году, когда он, Сталин, осуществил реальную Революцию Сверху!»

...Он вычеркнул во всех заготовках ученых «Октябрьская революция», заменив «Октябрьским переворотом».

Ленин был взрывной силой нации, организатором *разрушения,* он же, Сталин, свершил Революцию Созидания — уникальную, единственную в своем роде.

Ленин считал основоположением марксизма Базис, а засим — Надстройку.

Он ошибался. Он был идеалистом, никогда до конца не понимавшим русский народ.

Сейчас, после войны, когда поднялось национальное самосознание, не Базисы нужны русским и не Надстройки, а признание величавости и незыблемости их Духа — то есть Языка.

И Сталин, ощущая значимость каждого своего жеста, поступка и слова, вписал: «Сфера действия языка гораздо шире, чем сфера деятельности надстройки...»

По прошествии недель сделал еще одну правку: вспомнив Вознесенского, Кузнецова и всю эту ленинградскую группировку, он решил раз и навсегда *теоретически* отрезать Север России от ее «исконной» сущности: «Некоторые местные диалекты могут лечь в основу национальных языков и развиться в самостоятельные национальные языки. Так было, например, с курско-орловским диалектом (курско-орловская «речь») русского языка, который

лег в основу русского национального языка. Что касается остальных диалектов таких языков, то они теряют свою самобытность, вливаются в эти языки и исчезают в них...»

Поскольку, считал Сталин, этим пассажем он подводил черту под возможностью появления какой бы то ни было «русской автаркии» вознесенско-кузнецовского плана (отныне лишь курско-орловская речь будет истинно русской, а она триста лет под игом страдала — с нею легче, с такими просто управляться; даже Иван Грозный не истребил до конца северный новгородский дух, а сколько веков прошло), он дал указание секретариату предусмотреть включение этого пассажа в его ответ на письмо какого-нибудь национала.

Просмотрев письма тех филологов, что были заранее утверждены Агитпропом, Сталин не без раздражения заметил:

— Что вы мне сплошную аллилуйщину подсовываете? Неужели дискуссия по ключевому идеологическому вопросу о сути и смысле слова проходит так скучно и серо, что нет любопытных писем?

Поскольку Маленков тщательно муштровал аппарат в том плане, чтобы *наверх* поступало как можно меньше «негативной информации» (определил пятнадцать процентов как максимум), отдел писем тщательно фильтровал поступавшую корреспонденцию.

Однако когда от Хозяина поступил запрос на «острые отклики», вездесущий академик Митин (Сталин как-то пошутил: «Говорят, у Гитлера были «экономически полезные евреи» — тех не жгли, до времени использовали; надо бы и нам поставить штамп в паспорте Митина: «идеологически полезный еврей»... В случае маленького погромчика это будет служить ему надежной защитой, особенно если подпишут Шкирятов с Сусловым, их прямо-таки распирает от пролетарского интернационализма».) сразу же передал письмо от Белкина и Фурера — явно *задиристое*, на таком Сталин выспится, он большой мастер *добивать*...

Получилось, однако, не совсем так.

Белкин и Фурер, восхищаясь (так положено) гениальной работой великого Вождя, поставили вопрос: а как быть с глухонемыми? Поскольку великий Сталин разъяснил советскому народу и всему прогрессивному человечеству все, относящееся к грамматике, словарному фонду и семантике, вывел гениальный закон о том, что мысли возникают лишь на базе языкового материала, опрокинув, таким

образом, низкопоклонного аракчеевского идеалиста, псевдофилолога Марра, остался нерешенным лишь один маленький вопрос, связанный с глухонемыми. Ведь они не имеют языка?! На какой же базе возникают их мысли? Всегда, во все века, в любые общественные формации, как явствует из указания товарища Сталина, сначала было слово и лишь на его базе появлялись мысли. Вне слова нет мысли. Как спроецировать это гениальное открытие великого Сталина на убогих? А ведь их миллионы! Может ли самое демократическое общество на земле игнорировать этих несчастных?

Сначала Сталин взъярился, швырнул письмо Поскребышеву: «у меня нет времени заниматься психологией идиотов!»; потом, однако, вспомнил, что сам просил чего-то острого, без аллилуйщины и надоевших славословий.

Недели полторы Сталин обдумывал сокрушительный ответ, составленный из рубленых, разящих фраз, а потом написал своим четким, безукоризненным почерком: «Вы интересуетесь глухонемыми, а потом уж вопросами языкознания. Видимо, это и заставило вас обратиться ко мне с рядом вопросов. Что ж, я не прочь удовлетворить вашу просьбу. Итак, как обстоит дело с глухонемыми? Работает ли у них мышление, возникают ли у них мысли? Да, работает у них мышление, возникают у них мысли. Ясно, что, коль скоро глухонемые лишены языка, их мысли не могут возникать на базе языкового материала...»

Когда Сталин показал этот ответ на заседании ПБ, все восторгались, подчеркивая при этом поразительную, разящую логику Иосифа Виссарионовича.

Тот рассеянно ходил по кабинету, не очень-то слушая членов Политбюро; в голове, однако, все время вертелось возражение самому же себе: «Но если я допускаю Мысль вне Слова, то, значит, прав Марр? А пусть, — вдруг озорно подумал он. — Пусть. Я подчинюсь Политбюро, их хвалебным отзывам, напечатаю ответ; посмотрим: кто в стране посмеет возразить или хотя бы отметить несоответствие, противоречивость моего ответа... Не посмеют ведь... А с тем, кто решится, следует встретиться, послушать; я совершенно отучился видеть людей, которые хоть в чем-то перечат мне, а это плохо, лишает мысль необходимой активности в защите. В этом кабинете меня все хвалят, газеты хвалят — хотят, чтобы я расслабился! Им всем мое кресло не дает покоя...»

Поразмышляв об этом, Сталин решил не торопиться с тем, чтобы отправлять рукопись членам Политбюро;

пусть пока читают отрывки, полностью отправлю позже, когда получу информацию, что они говорят о моем труде *дома*... «Что они говорят дома? — он переспросил себя раздраженно. — Гений и мудрый вождь, вот что они говорят дома! А мне надо знать, что они *думают*! А сие не дано, потому что, когда на скамью подсудимых сядут Молотов, Микоян и Ворошилов, их показания снова, как и Пятакову с Радеком, придется писать мне — в камере все совершенно теряют чувство достоинства и здравого смысла...»

Поскольку Сталин еще во время войны решил отменить самое понятие «большевизм» (оно слишком уж связывало партию с Лениным, лишало ее державной заземленности, которая куда как надежней синагогальных дрязг лондонского и иных съездов, особенно сейчас, после победы, когда встали задачи по реальному включению всей Европы в орбиту новой социальной структуры, основоположением которой является Русь), он аккуратно вписал пассаж о том, что империи Александра Великого, Кира и Цезаря не могли иметь общего языка, однако есть «те племена и народности, которые входили в состав империи, имели свою экономическую базу и свои издавна сложившиеся языки»...

Прикидку собранной рукописи Сталин, как это было заведено с ленинских времен, пустил «по кругу», разослав членам Политбюро; снова ожидал хоть одного вопросительного знака на полях: «Какая империя имеется в виду? Британская? Но ее нет более. Значит, Российская?..», «Почему „Октябрьский переворот“? Так о нас писали белогвардейцы».

Никто, однако, не сделал ни одного замечания, лишь восторженные отклики!

Писали членам ПБ их помощники, сами не могут, а какой помощник рискнет подставлять своего шефа?! Вот он, механизм, которому отданы годы труда, вот она, Система, которая гарантирует единство равных при беспрекословности Суда Первого!

...Когда книга вышла, была переведена на все языки мира и введена в курсы всех университетов, Сталин, листывая *свой* труд (уже привык к тому, что писал он, тех, кто *готовил*, попросту вычеркнул из памяти), вдруг наткнулся на фразу: «Язык умирает вместе со смертью общества. Вне общества нет языка».

Как обычно, Сталин позволил себе услышать эту фразу, полюбоваться ее безапелляционной чеканностью, а по-

том вдруг резко поднялся с тахты: «А латынь?! Или древнерусский?! Это же бред какой-то! Языки живы вне общества!»

Он сразу достал папку с «нарезами» — был убежден, что этот идиотизм вписал в текст какой-то враг; с внезапной усталостью увидел свой карандаш; сам писал; «ни один из академиков не посмел сказать, что это абракадабра... А кто виноват? Я, что ли? Их рабский характер виноват, их врожденный страх виноват, не я!»

Позвонил министру государственной безопасности и попросил подготовить к утру (было уже около четырех, скоро рассвет) документы с негативными отзывами наиболее ярых антисоветчиков по поводу брошюры «Языкознание».

...Министр тут же поехал к себе, поднял на ноги заместителей, но ознакомившись с отзывами, понял, что Сталину, во всяком случае лично он, их не понесет. Как он может положить на стол генералиссимуса, например, такое: «В условиях сталинской темницы, при невиданной в истории человечества личной диктатуре, когда люди вынуждены со слезами показного счастья называть «день» «ночью», а «зло» «добром», как может «коммунистический император», истребивший цвет страны, терпеть высказывания академика Марра о том, что «язык (звуковой) стал ныне уже сдавать свои функции новейшим изобретениям, побеждающим пространство, а мышление идет в гору от неиспользованных его накоплений в прошлом... Будущий язык — мышление...». Как может терпеть подобное Сталин, который запрещает самое мысль, расстреливает выдающихся ученых России, провозглашает бионику «мракобесием», кибернетику — «происками еврейских космополитов», а генетику — «заговором мирового сионизма»?! В принципе мы можем радоваться этому, ибо Сталин зримо доказал, что коммунизм лишен какого бы то ни было здравого смысла, если запрещает разрабатывать первооснову военной науки — кибернетику, однако мы не можем не сострадать великому Народу, попавшему в лапы тирана»...

Дальше министр читать не стал, сказав себе, что он не в силах видеть гадость завистливых интриганов, купленных американской разведкой; приказал подобрать отзывы из леворадикальной прессы — коммунистические газеты Сталина бы не устроили, он потребовал абсолютно «нелицеприятную информацию». Кое-как настригли.

Сталин приехал на работу раньше обычного, не к часу,

а в двенадцать; кивнул министру, взял у него из рук папку и бросил:

— Ждите указаний.

Тот ждал указаний до пяти вечера, когда Сталин решил перекусить; вышел сосредоточенный; удивился:

— А вы тут что делаете? Я же сказал — спасибо, вы свободны...

...Более всего Сталина умиротворили слова в статье итальянского журналиста, который, приводя его, Сталина, пассаж о том, что «никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики», подчеркивал, что генералиссимус показал ученым в России, чересчур перегибавшим палку в плане критики Менделя и Моргана при явном попустительстве Жданова, претендовавшего на роль идеолога, кто на самом деле является истинным мыслителем России. Именно Сталин не просто не глушит критику, как это делал Жданов, а, наоборот, бесстрашно зовет к ней — вот образец мудрой государственности, преподанный тому же Белому дому, погрязшему в охоте на ведьм; «один-ноль в пользу Джузеппе Сталина; коммунистический выпускник семинарии дает фору политикам со светским образованием...»

...А действительно, подумал Сталин, наше, семинарское, истинно теологическое образование было значительно глубже и в чем-то практичней гуманитарного, хотя нас приучали к таинству общения с вечными постулатами, а светская школа давала достаточно широкий разброс знаний, но без той одержимой систематичной сосредоточенности, которой от нас требовали.

...Никогда, ни в одном из своих выступлений Сталин не *задирал* зло ни веру, ни религию, позволяя себе порою чуть тронуть «боженьку», да и то в фольклорном смысле, понятном народу, которым он безраздельно правил. (Тем не менее священников, истинных подвижников Веры, бросал в тюрьмы, безжалостно гноил в лагерях, расстреливал.)

Если бы я сел на скамью исторического или юридического факультета, признался он себе как-то, не видать мне как своих ушей ни победы над оппонентами, ни, как следствие этого, партийно-государственного лидерства. Мне противостояли все — все без исключения члены Политбюро Ленина и большинство его ЦК, с изумлением думал он, порою не веря себе самому, а сейчас они стали шпионами, диверсантами, врагами народа, осведомителями

гестапо; такими и останутся на века в памяти русских.

Что дало мне силу молчать, когда блистал Троцкий? Таиться, пока в Кремле правили Каменев с Зиновьевым? Как я понял, что настало мгновение готовить Каменева и Зиновьева к удару против Троцкого, пугая их тем, что он, герой Октября, председатель Петросовета и Военно-Революционного Комитета, рано или поздно свалит их, ленинцев, чтобы стать во главе партийной пирамиды и подменить учение Старика своим, вполне оформившимся; троцкизм был весьма популярен в Италии, Германии, Франции, Мексике — особенно после введения нэпа: «шаг назад от революции»...

Мне были видения, думал Сталин; мне был голос божий, иначе моя победа необъяснима; всем этим крикам о моей гениальности — грош цена, посади на мое место остолопа, и его будут славословить. Да, было Откровение.

Он никогда не мог забыть, с каким блеском Каменев и Зиновьев *раздавили* Троцкого на Тринадцатом съезде партии — первом, который проходил без Старика. Троцкий тогда предупреждал, что РКП(б) на грани кризиса, рождается партийная бюрократия, цифры и отчеты подменяют жизнь, тасуется колода одних и тех же бюрократов, в то время как главной ставкой партии должна сделаться молодежь, особенно студенческая, то есть та, что, кончив гражданскую войну, по ленинскому призыву решила учиться, учиться и еще раз учиться.

Сталин вспомнил, как он тогда легко *подшлифовал* антитроцкистский погром, учиненный «его евреями», заявив себя при этом мастером «товарищеских компромиссов». В угоду Каменеву и Зиновьеву, которые требовали привлечения в ЦК как можно больше рабочих и «упрочения» Политбюро за счет именно русских товарищей, знающих деревню не понаслышке, он поднял Бухарина и Рыкова: «вот монолитное единство истинных ленинцев». В то же время Троцкого попросил сосредоточиться не только на армии, но и на металлургии и концессионной политике — сделал это уважительно, по-товарищески, обращаясь не как к равному, но как к признанному лидеру.

А сразу же после этого провел тайное совещание с Бухариным и Рыковым: «Каменев и Зиновьев никогда не смоют с себя октябрьского пятна, к тому же они внутренне страшатся справного мужика и нэпа, не пора ли вам, интеллектуалам и практикам ленинизма, брать на себя тяжкое бремя власти?»

И снова мне было видение, подумал Сталин. Сам бы я

не смог так точно рассчитать время. Это был голос свыше. Теперь можно признаться себе в этом... Я нашел самые нужные слова: «берите на себя бремя власти». Я? Ничего я не нашел... Я лишь произнес то, что было угодно тому, кто вел меня тогда и ведет поныне...

Через год Бухарин обрушился на Каменева и Зиновьева; Сталин и Троцкий заняли выжидательную позицию: «два выдающихся вождя современного ЦК» сидели в президиуме рядом, пару раз перебросились записками, пару раз обменялись вполне корректными репликами; в это же время Бухарин, Рыков, Ярославский и Каганович *закапывали* Каменева, Евдокимова и Зиновьева при молчании Троцкого и беззащитной попытке Надежды Константиновны спасти старых друзей Ильича...

На следующем съезде Троцкий вошел в блок с Каменевым и Зиновьевым, но было поздно уже — торжество Бухарина, отстоявшего справного мужика и нэп от нападок «леваков», было абсолютным, линия Бухарина — Рыкова — Сталина победила.

И сразу же после этого тайные эмиссары Сталина — после того, как Троцкий был выслан в Турцию (пусть мусульмане поживятся горячей еврейской кровушкой), — встретились с Каменевым и Зиновьевым: «Да, товарищи, в чем-то вы были правы, выступая против мужицкого уклона, однако никто не мог предположить, что Бухарин и Рыков так открыто отклонятся вправо, время действовать; Сталин один бессилен, начинайте атаку в партийной прессе».

...Когда Бухарин и Рыков были ошельмованы и выведены из ПБ, Сталин почувствовал себя наконец на Олимпе — слава богу, один! Все, кто окружал его теперь в Политбюро — Молотов, Ворошилов, Калинин, Каганович, — были послушным большинством; с Серго и Микояном можно было ладить, поскольку их перевели на хозяйственную работу; пусть себе, это не аппарат... Один, слава богу, один, руки развязаны наконец... И он начал Революцию Сверху — «сплошную коллективизацию», вложив в нее все то презрение к народу, который подчинился ему, как грубо изнасилованная женщина — садисту.

...Именно в тот день, когда Сталин вспомнил ненавистно-любимую им семинарию, по спискам, утвержденным им, было расстреляно еще двести сорок человек, среди них двенадцать докторов наук.

Трое умерли с истерическим криком:

— Да здравствует товарищ Сталин!

По существовавшим тогда порядкам залп можно было давать лишь после того, как приговоренный к смерти закончит здравицу в честь Вождя.

Эпилог

Вознесенского пытали изощренно, днем и ночью; порою попросту отдавали молодым стажерам, чтобы те отрабатывали на бывшем члене Политбюро, портреты которого они еще год назад проносили в дни всенародных празднеств по Красной площади, приемы самозащиты без оружия.

Он тем не менее все обвинения категорически отрицал.

Министр наконец вызвал его к себе — после пяти дней, проведенных Вознесенским в госпитале; приводили в порядок лицо и массировали распухшие пальцы.

— Послушайте, Вознесенский, — заговорил он устало, с болью. — Я не знаю, для кого бóльшая пытка разговаривать сейчас: для вас или для меня, ранее перед вами преклонявшегося. Улики неопровержимы, вот вам дело, садитесь и читайте, там показания членов Ленинградского бюро, допросы председателя Российского правительства Родионова. Первые подтверждают, что они фальсифицировали результаты партконференции по прямому указанию Кузнецова, который согласовал это с вами. Факт подтасовки бюллетеней бесспорен, все это есть в деле, — министр кивнул на гору папок. — Я нарушаю закон, знакомя вас с делом, которое еще не закончено... Процесс начнется не раньше, чем через полгода, слишком много фигурантов — разветвленный заговор великорусской группы...

— Не было никакого заговора, — сухо ответил Вознесенский. — Не было никакой фальсификации на выборах: либо это работа ваших провокаторов (работали провокаторы Комурова, министр об этом не знал), либо желание следовать политике «показухи», которой поражена вся страна, как раковой опухолью. Смотри, министр, это дело может оказаться твоим последним — тебя после него уберут, как убрали Ягоду и Ежова... Подумай... У тебя в руках сила...

Министр, сделавшись серым от ужаса и ярости, грохнул кулаками по столу:

— Скотина паршивая! Ты меня агитировать вздумал, контра! Я тебе поагитирую...

Через час Вознесенского вывели из тюрьмы — в легком костюме, шелковой сорочке, разрешив повязать галстук, — и посадили в «ЗИС». Рядом с ним сидели охранники в тулупах: мороз был восемнадцать градусов, деревья покрыты голубоватым инеем, небо бездонное, голубое.

Вознесенского привезли на Красную Пресню, на ту ветку, что шла к пересылке, и пересадили на открытую дрезину; по бокам устроились охранники; у одного на коленях лежал тулуп и меховая шапка; второй держал валенки, в которые были всунуты две бутылки водки, обернутые чистыми бланками допроса.

Полковник, ожидавший Вознесенского возле дрезины, сказал:

— Покатайтесь, поглядите, как хорошеет столица... Когда почувствуете, что превращаетесь в ледышку, подпишите бланк допроса. Вас немедленно напоят водкой, оденут в тулуп и валенки, отвезут в госпиталь. Не подпишите — ваше дело...

Кузнецову, бывшему секретарю ЦК, избитому, окровавленному, высохшему, устроили встречу с женой в кабинете Маленкова.

Есть ситуации, которые неподвластны слову, их нельзя описать — это удел скульптуры или музыки: *выразить* неописуемый ужас происходившего.

Когда встреча кончилась, Маленков сказал:

— От вас зависит все: признаетесь — спасу! Нет — не взыщите. Условия не мои, а товарища Сталина.

Когда министр МГБ СССР Абакумов был арестован по обвинению в потворстве «великорусской оппозиции» во главе со злейшим врагом народа Вознесенским и его подручным Кузнецовым, следователи выбивали из Абакумова показания про то, когда впервые секретарь ЦК Кузнецов потребовал у него дела, связанные с расследованием обстоятельств убийства Кирова, и отчего готовил свой план повторного изучения «загадочной» — как он говорил — «трагедии».

Второе обвинение заключалось в том, что Абакумов, получив устные показания от «агента еврейской шпионской группы «Джойнт» доктора Гелиовича» о главном враче Боткинской больницы профессоре Шимелиовиче и консультанте Лечебно-санитарного управления Кремля профессоре Этингере, расстрелял их, чтобы оборвать нити следствия, которые должны были привести к выяснению

истинных обстоятельств гибели товарищей Щербакова и Жданова, умерщвленных еврейскими националистами, которые не могли простить великому сыну советского народа товарищу Жданову героической борьбы против еврейских космополитов.

Абакумов, подвергнутый пыткам, держался стойко, кричал в ярости:

— Про Кузнецова не знаю! А «Джойнт» — по-английски «объединенный»! У них даже в компартии написано «джойнт сентрал комити»! Я ж Валленберга по стене из-за этого размазывал, он мне все объяснил! Я и велел «джойнт» убрать, чтоб не засмеяли! Наши-то всему поверят, а американцы от хохота перемрут! Я жидовню проклятую больше вас ненавижу, но ведь их по-умному надо уничтожать, а не топором! Гитлера забыли, да?! Урок не пошел впрок?!

Сразу после окончания девятнадцатого съезда партия перестала называть себя большевистской, интернациональной, а стала государственной. Молотов и Микоян не были введены в Бюро Президиума ЦК. Новый министр госбезопасности Игнатьев начал готовить *дело* на Ворошилова — «английского шпиона». Сталин, как всегда, ничего не называл своими именами; в беседе с Игнатьевым вспоминал Троцкого и Склянского, с юмором рассказывал о стычках с Серебряковым — они вместе защищали Москву в девятнадцатом году, два представителя ЦК: один, Серебряков, был тогда секретарем ЦК, второй — наркомнацем, но оба являлись членами Военного совета фронта, — дивился тому, как Троцкий («надо отдать ему должное, армию держал в руках, хоть и драконовскими репрессиями») оказался завербованным гитлеровцами. «Парадокс истории»; впрочем, история нескончаема; «наш Клим, например, и сейчас взахлеб говорит о том, как блистательно работают англичане в Израиле, как умело закрепляются в Бирме, сколь сильны их позиции в Канаде и Кении... Прямо как член их парламента говорит, а не как русский».

Зная от сталинской охраны, что Сталин неоднократно называл Ворошилова «английским агентом», давно не принимал его, Игнатьев *понял*, что угодно Вождю; начал работу.

Проанализировав все эти факты, особо сосредоточившись на том, что на съезде было только шесть процентов делегатов от колхозного крестьянства (в основном руководители совхозов и колхозов) и восемь процентов от

рабочего класса (Герои труда, *обкатанные* на предыдущих совещаниях сталевары, ткачихи, имена которых были на слуху у народа), Берия понял, что Сталин совершенно потерял основополагающие ориентиры: если восемьдесят шесть процентов делегатов представляли новый класс — партийно-государственную бюрократию, то как можно в дальнейшем говорить о «партии рабочего класса и трудового крестьянства»?! Фикция! Русские хоть и терпеливы, но глухой *протест* теперь фиксировался органами не только в деревнях, но и повсеместно (в Донецке на монумент — на голову Вождя — надели ведро с мазутом; в Москве, Киеве и Ленинграде в парадных и на стенах домов — во дворах, к счастью, — расклеивались листовки, призывавшие к борьбе за ленинизм, против «кровавого тирана», предающего идеи демократического социализма); несколько раз в Салехардские концлагеря, в Тайшетлаг, Джезказган, Молотовский каторжный комплекс, в Комилаг приходилось десантировать дивизии: восстания зэков приобретали все более организованный характер, чувствовалась рука арестованного генералитета и высшего офицерства.

Когда Абакумов (за три дня перед арестом) доложил, что производительность труда в концлагерях резко падает, заключенные по-прежнему мрут от голода, Сталин, опросив мнение членов Политбюро и не получив удовлетворившего его ответа, обратился к Абакумову:

— Ваше предложение?

Тот ответил:

— Товарищ Сталин, если мы уберем десять процентов заключенных, тогда норма питания автоматически увеличится, работа пойдет успешнее.

— Что значит «уберем»? — Сталин остановился посреди кабинета, упершись взглядом в лицо Молотова. — Отправите по домам, что ли?

— Нет, — ответил Абакумов, — я должен получить санкцию на ликвидацию больных и наиболее истощенных.

— Не ликвидацию, — по-прежнему не отрывая взгляда от Молотова, жена которого сидела в концлагере как «еврейская националистка», — а расстрел. Нет смысла танцевать на паркете, здесь не бал, а Политбюро... Приучитесь называть вещи своими именами, пора бы... И не больных надо расстреливать, а наиболее злостных врагов народа, диверсантов и шпионов... Больные и сами помрут... Десять процентов многовато, а пять процентов достаточно. Как, товарищ Молотов? Согласны?

— Д-да, т-товарищ Сталин, с-согласен, — ответил тот, заикаясь больше обычного.

Берия понимал, что после предстоящего ареста Молотова и Ворошилова из тех вполне могут выбить показания и на него с Маленковым.

Поэтому через неделю после ареста Абакумова он отправился к Суслову. Затем, посоветовавшись с Хрущевым, которого Старец перевел в Москву первым секретарем горкома, — чего мужика бояться, не конкурент, образование не позволяет, но в раскладе сил необходим, врубит, если надо, от всего сердца — Берия поехал к Маленкову.

— Егор, я поглядел абакумовские дела с врачами, которых он прикрывал, и пришел в ужас: а если еврейские демоны решат мстить нам и обратят свой удар против товарища Сталина? Ты представляешь себе, что постигнет нас, родину, мир, наконец?!

Маленков поднялся из-за стола:

— Неужели они могут пойти на такое?!

— Ты считаешь невозможным? Тогда я снимаю вопрос. Просто я не мог с тобой не поделиться... Все-таки Иосифу Виссарионовичу за семьдесят, мы должны беречь его, как отца...

— Нет, нет, хорошо, что ты поднял этот вопрос... Что надо предпринять?

Берия, готовясь к этому разговору, заново просмотрел все материалы, связанные с болезнью Ленина, когда Политбюро поручило генеральному секретарю Сталину *личную* ответственность за лечение Ильича.

Наученный читать не только строки, но и типичные византийские междустрочья, Берия многое понял, лишний раз испугавшись вседозволенного коварства Старца.

— Предпринять можно одно: провести на Политбюро решение о твоем назначении на пост ответственного за состояние здоровья товарища Сталина.

Маленков долго смотрел в бесстрастное лицо Берия, выражения глаз маршала *понять* не мог, бликовали стекла пенсне, потом ответил:

— Я завтра же внесу на Политбюро предложение о придании тебе функции лично отвечающего за состояние здоровья Иосифа Виссарионовича...

...Что и требовалось доказать!

Когда решение состоялось (все проголосовали «за» при одном воздержавшемся — Сталине: «Я себя отлично чувствую, зря вы это затеяли», но при этом смотрел на

Маленкова с добротой), Берия встретился с Комуровым и сказал во время прогулки по аллеям Серебряного бора:

— Включай в работу того самого следователя... Как его? Забыл фамилию... Ну, ты его взял «на подслухе», он Гитлера хвалил...

— Рюмин, — сказал Комуров. — Подполковник Рюмин.

— Ты от него отодвинься, — заметил Берия, — чтоб никто и никогда не прочитал никаких твоих с ним связей... Передай кому-то из новых игнатьевских ребят... Не сам, а через третьи руки...

— А в какую работу его включать? — спросил Комуров.

Берия ответил не сразу, сунул кулаки еще глубже в карманы пиджака, несколько минут шел молча, в трудном раздумье, потом спросил:

— Кто у тебя есть из надежной агентуры в Кремлевке? Из врачей, работающих там постоянно?

Комуров начал неторопливо перечислять, загибая короткие пальцы.

— Евреи не годятся, — внимательно выслушав его, заметил Берия. Попросил рассказать о каждом подробнее; слушал вбирающе, замерев. — А вот эта твоя Тимашук... Она кардиолог?

— По-моему, сидит на электрокардиограммах.

— Годится... Кто ее вербовал?

— Абакумовцы.

— Прекрасно. Подведи к ней кого-нибудь из непосаженных еще абакумовских парней, и пусть они поработают с ней, пусть подскажут, как написать письмо в МГБ, что в Кремлевке действует банда врачей-убийц, еврейский заговор против членов Политбюро, а в основном против товарища Сталина.

Берия заметил, как Комуров, обычно краснолицый, побледнел, понизил голос:

— Кого называть? Поименно? Или вообще?

— Кто тебя в Кремлевке лечит?

— Постоянно — Коган... Горло ведет Преображенский... Егоров консультирует...

Берия поморщился:

— Нужны евреи. Коган, его брат, мой доктор — Фельдман, брат Михоэлса профессор Вовси, профессор Зеленин, тоже еврей, кстати... Но — тебя нет во всем этом. Ты — человек-невидимка. Недреманное всевидящее око. Донесение этой самой Тимашук должно попасть в руки

Рюмина... Твои люди, имеющие на него влияние, помогут ему сочинить письмо Сталину... Мне — ни в коем случае. Только копия... Срок даю минимальный. Как себя ведет министр Игнатьев в последние дни?

Комуров усмехнулся:

— Хоть и болен, но пообещал научить всех нас работать без белых перчаток...

— Это в связи с чем?

— Лозовский, Перец Маркиш, Бергельсон, Фефер, словом, Еврейский антифашистский комитет...

— Верно, — Берия кивнул, — Хозяин торопит, да и костоломам не терпится вкусить дымной кровушки...

Через неделю все члены Антифашистского комитета во главе с членом ЦК Лозовским были расстреляны без суда; стихотворение Квитко «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят», напечатанное во всех школьных хрестоматиях, было предписано заклеить куском белой бумаги, зачеркнув предварительно строки тушью.

Через три дня Сталин согласился принять врачей из Санупра Кремля; профессор Виноградов (Вовси более к Вождю не подпускали) сказал то, что ему порекомендовал «старый друг», личный агент Берия (из его «золотого фонда»): «Товарищ Сталин, я не вижу особых отклонений от нормы, но вам необходим длительный отдых, по крайней мере два-три месяца».

Сталин прореагировал на эту рекомендацию спокойно (в кругу друзей называл Виноградова «куци-куц» — у профессора была такая постоянная присказка), сказал об этом Берия, заметив, что, видимо, поживет на Рице; начал собираться в дорогу. Однако через два дня позвонил в четыре утра: Берия не спал, сидел у аппарата, звонка этого ждал, ибо получил информацию, что письмо Рюмина о врачах-убийцах передано Поскребышеву.

— Немедленно приезжайте ко мне, — сухо, с трудно сдерживаемой яростью сказал Сталин.

Берия знал, что деспот в Кремле; когда вошел в кабинет, тот — пожелтевший, осунувшийся за день — поинтересовался, подчеркнуто выделяя местоимение «вы»:

— Откуда вы знали, что я здесь?! В это время я обычно бываю на Ближней!

Берия похолодел: если сказать, что звонил на дачу, Сталин спросит, с кем разговаривал, конец, провал; ответил поэтому полуправдой:

— Мне бы позвонили, товарищ Сталин... Мне звонят, когда вы уезжаете...

Сталин кивнул на две странички, лежавшие на совершенно пустом огромном столе для заседаний:

— Прочтите...

Берия внимательно прочитал текст, который знал наизусть, ибо Рюмину помогли сочинять его «верные люди».

Сыграл ярость, ударил кулаками по столу, вскочил со стула:

— Я их завтра же поставлю к стенке!

— Э, нет, — очень тихо, злобно, стараясь не сорваться, проговорил Сталин. — Сначала эта сволочь будет арестована, пройдет круги ада, скажет всю правду, а потом уж выведем на процесс... Все. Идите. Не вы, а патриот России Рюмин раскрыл заговор... Рюмин, простой следователь, а не вы, — Сталин брезгливо заключил, — отвечающий за бесценное здоровье лучшего друга всех народов товарища Сталина...

Берия побледнел:

— Товарищ Сталин, Рюмин выпестован мною, нашими людьми, мы его сориентировали на поиск...

В дверях Берия столкнулся с серым от волнения новым министром госбезопасности Игнатьевым.

Тому Сталин сказал лишь несколько фраз:

— Всех врачей — в карцеры. Заковать в кандалы. Применять пытки. Дело поручаю *генералу* Рюмину, вашему *заместителю*. Завтра приму его в пять часов. Все. Идите.

Оставшись один, с внезапным ужасом вспомнил двадцать второй год, когда он, используя врачей, приглашенных из Германии, отправил Ленина в Горки, *запретив* ему (решением Политбюро) текущую партийную и государственную работу...

Услышал вдруг: «Мне отмщение и аз воздам».

Позвонил Маленкову, шел уже пятый час утра:

— Решение Политбюро о моем отпуске отменяется. Все заседания Политбюро и Секретариата буду проводить лично я. Бюро Совета Министров — тоже.

Новых врачей генералиссимус не принимал три недели; через секретариат нашел своего старого друга — еще по Царицыну, тот был военфельдшером, вызвал на дачу, дал себя обслушать и обстучать; старик махнул рукой:

— Ты здоров, Коба... Здоров, как бык... А новым вра-

чам покажись, только пусть я буду при этом... Не в белом халате, конечно, а в сталинке, вроде бы твой денщик...

...После ареста Виноградова, который сразу же согласился сотрудничать со следствием, Сталин, получив от Рюмина первые собственноручные признания Виноградова и Вовси: «работали на англичан, филиал американской разведки и еврейский "Джойнт"», собрал Политбюро:

— Врачей-убийц будем вешать на Лобном месте. Прилюдно. Погромы, которые начнутся следом за этим, не пресекать. Подготовить обращение еврейства к правительству: «просим спасти нашу нацию и выселить нас в отдаленные районы страны». Кагановичу проследить за тем, чтобы были подготовлены бараки для депортируемых. Молотов отвечает за редакцию текста обращения.

Вечером позвонил Берия:

— Пусть твои *грызуны* (так пренебрежительно звал грузин) приготовят ужин, привезешь на дачу, я приглашаю Хрущева и Булганина, посидим вчетвером.

...Разлив из большой супницы харчо, обратился к Берия:

— Пробуй первым. Если невкусно — выплюнь.

Не отрывал прищуренных глаз от лица Берия, который начал жадно поедать харчо.

Все следующие блюда пробовал только после того, как заканчивали Берия и Булганин с Хрущевым.

К концу вечера подобрел:

— Одному скучно, будем теперь вместе ужинать...

На прощание сказал:

— Завтра присылайте новых эскулапов, пусть осмотрят...

Дождавшись, когда машины Хрущева и Булганина отъехали, Берия сказал с горечью:

— Товарищ Сталин, ведь мерзавца Абакумова не я назначал, а Жданов... Поднимите архивы — его резолюция стоит... Разве я тогда мог противиться? Я ж в *кандидатах* ходил... Абакумова наши люди разоблачили, Комуров его разоблачил, товарищ Сталин...

Сталин долго, неотрывно, *бегающе* смотрел на Берия, потом, повернувшись, бросил:

— Случись что со мной, тебя первого вздернут... Как паршивого кинто... Рюмин — талант, береги его... Он ненавидит Сион, и верно делает... Все враги народа — жидовня, начиная с Троцкого, я им всегда поперек глотки стоял...

Собравшись, сдерживая нервный озноб, Берия ответил:

— Не только им, товарищ Сталин... У меня есть один нелегал, может быть, помните, он разгадал переговоры американцев с нацистами в Берне... Юстас, он же Штирлиц... Если бы я вам его привез, он бы такое рассказал про *корни*, про союз евреев и американцев с гестапо...

— Не буду я никого принимать, — отрезал Сталин. — Пусть напишет и даст показания на процессе... Если знал — отчего молчал? Еврей, конечно?

— Русский.

— Штирлиц — не русское имя... Пройдет на процессе как еврей, вздернем на Лобном рядом с изуверами...

Берия решил *разыграть* эту свою последнюю карту, потому что подивился крепкой собранности Старца, хорошему цвету его лица и вновь обретенному спокойствию.

«Если он продержится еще год, — сказал себе Берия, — всем нам конец, разве что Шкирятова пощадит и Суслова, времени у меня больше нет...»

Поэтому его агентура подействовала на людей профессора Тареева, нового руководителя бригады врачей, в том смысле, что необходимо отменить все лекарства, которые ранее были предписаны Сталину «еврейскими убийцами в белых халатах». Более того, поскольку арестованные доктора прежде всего опасались инсульта Вождя (выходили его после инфаркта и двух предынсультных кризов), сейчас надо сосредоточиться на профилактике желудка, активной витаминотерапии (Сталин знал, что Гитлера *держали* витаминами), а все сосудорасширяющие препараты отменить...

Военфельдшер — Сталин звал его Нико — новые назначения одобрил, посоветовав при этом:

— А вообще-то кальцекс надо пить, Коба... Безвредно и профилактирует.

...Поскольку курс лечения, предписанный «убийцами» из «Джойнта», был отменен (следуй он ему, неизвестно еще, сколько б прожил), состояние здоровья Сталина ухудшалось с каждым днем; он запрещал себе признаваться в этом; более того, рабочий день теперь начинал не в двенадцать, а на час раньше и спать ложился на рассвете; много читал, стараясь этим заглушить темную ярость, которая душила его, стоило лишь вспомнить Вовси, Виноградова или братьев Коганов. Порою чувствовал, как давит кадык и кружит голову; пил кальцекс.

Готовил еду сам на маленькой электроплитке.

Когда его разбил инсульт и он не отпер дверь своих покоев, охрана позвонила Берия, тот велел взломать замок. Увидев Сталина, лежавшего в странной позе, одетого, глядевшего на него с мольбой, гневно посмотрел на охрану:

— Вы что, не понимаете?! Товарищ Сталин хочет уснуть! Не сметь мешать ему!

...Профессор Тареев, вызванный лишь на следующий день, трясся, не владел руками, плакал; применять те препараты, которыми Виноградов и Вовси спасли Сталина семь лет назад, не имел права; министр Игнатьев дал устную рекомендацию следователям провести с «врачами-убийцами» консилиум по поводу состояния здоровья «неназываемого пациента».

После смерти Сталина первый заместитель Председателя Совета Министров и министр внутренних дел Берия (МГБ ликвидировали в одночасье), «человек номер два», вызвал к себе Абакумова, беседовал с глазу на глаз пять часов; в карцер Абакумова был посажен бывший генерал Рюмин.

Вскорости «врачи-убийцы» были реабилитированы: сообщение в «Правде» было дано от имени МВД СССР. Берия начал тур борьбы за лидерство, его имя сразу же сделалось популярным в среде советской интеллигенции.

Хрущев, понимая, что такого спускать нельзя, опубликовал в «Правде» статью о нарушениях законности в «бывшем МГБ».

Берия решил ответить ударом на удар: внес предложение на ПБ о нормализации отношений с Тито («это *дело* — фикция и дутое провокаторство; интрига»), выходе на международный рынок и налаживании политического диалога с Западом («мы отстали в технологии на десятилетия»), предложил снять с поста первого секретаря ЦК Компартии Украины Мельникова, заменив его истинным украинцем (прекратив таким образом насильственную русификацию республик, вернувшись «к нормам ленинского социалистического интернационализма», выраженного в Завещании). Не забыл он и об эмоциональном аспекте борьбы за лидерство: приказал найти в лагерях и тюрьмах бывших нелегалов, подкормить их, подлечить и дать о них серию материалов в газетах: «В МГБ были не только садисты типа Рюмина, ставленники тирана, но и истинные герои в борьбе с нацизмом».

Исаева нашли во Владимирском политическом изоля-

торе: полуослепший, беззубый, с перебитыми ногами, он был помещен в тюремный госпиталь.

Леопольда Треппера и Шандора Радо выпускать нельзя: работа в «шарашке» продолжается; Радо пусть там сидит, благо Родины прежде всего...

Лишь после этого Берия вспомнил о Валленберге: не помер ли где в одиночке или на каторге?

По счастью, был жив.

Перед тем как пригласить его к себе, Берия поинтересовался:

— Не псих?

— Вполне нормален, — ответил Комуров.

— Постригите, оденьте как следует, накормите обедом из «Националя», а потом ведите ко мне.

Комуров покачал головой:

— Лаврентий Павлович, рискованно.. Иностранец...

Берия, словно бы не услыхав этих слов, посмотрел на часы:

— К семи вечера... Послезавтра...

...Навстречу Валленбергу вышел из-за стола, пожал руку:

— Те, кто мучил вас в течение всех этих лет, трагичных для нашей страны, по моему приказу арестованы. Начато следствие. Мерзавцев ждет смертная казнь, они позорили Сталинскую Конституцию...

— Господин Рюмин? — сухо осведомился Валленберг. — Какова его судьба?

— Этот черносотенец взят первым.

Переводчик не решился корректировать Лаврентия Павловича: слово «взят» перевел дословно.

Валленберг не понял:

— Что значит взят?

— Это значит — арестовали...

— Я могу выступить свидетелем на его процессе?

— Конечно, господин Валленберг. — Берия мягко улыбнулся. — Мы дадим вам постоянную визу в Москву, вы этого заслужили годами нечеловеческих мук... Хочу надеяться, что вы, несмотря ни на что, не станете игрушкой в руках тех сил, которые по-прежнему норовят разжечь ненависть к Советскому Союзу... Они не хотят понять: начался новый период нашей истории, новое время, мы нуждаемся в друзьях... Вы же видели, что в камерах вместе с вами мучились невиновные советские граждане

и никто из них не ругал свою родину, ругали тех мерзавцев, которые обрекли их на муки.

— Я был, есть и останусь другом тех советских людей, которые делили со мною горе... Это были прекрасные люди... И вообще, я не намерен заниматься общественной деятельностью... Я — если вы действительно освобождаете меня — уйду в лоно Церкви.

— Благодарю вас, господин Валленберг. — Глаза Берия повлажнели, он снял пенсне и вытер слезы. — Какие у вас еще пожелания?

— Я бы хотел также выступить на процессе против изувера Абакумова, который проводил со мной первые допросы...

(Берия держал Абакумова в резерве: когда он переместит Маленкова в секретари ЦК, а сам возглавит Совмин, Виктор вернется в прежнее кресло, кроме него некому, разве что Меркулов, но опять-таки армянин: Сталин разжег национальную рознь, с чечни и татар начал, евреями кончил, нужно время на успокоение.)

— Вы что-то путаете, господин Валленберг... Абакумов к вашему делу не имел никакого отношения, — ответил Берия. — Он сам был жертвой клеветы, его пытали в этом же здании...

— И аз воздам, — Валленберг был тверд. — Первые недели мной *занимался* Абакумов. Да, именно он. Поэтому я оставляю за собой право прислать моих адвокатов для вызова его в суд.

— Если настаиваете — не смею возражать, — ответил Берия, распрощался с Валленбергом, пожелав ему благополучного возвращения к родным, проводил до двери.

Сразу после этого вызвал Комурова:

— Ты был прав, Богдан. Увы, ты был прав... Подготовь справку, датированную сорок шестым или сорок седьмым годом: «Валленберг умер от разрыва сердца». И запри в сейф. До поры до времени: я намерен свой первый официальный визит нанести в Скандинавию: через них возможен прорыв в технологию, у них можно получить заем... Справку пусть сделают по форме, подпишется начальник тюремного госпиталя, протокол и все такое прочее, чтоб в Стокгольме никто не подточил носа...

...Арест Берия, необходимый и в высшей мере своевременный, был, однако, оформлен для печати по рецептам Сталина и того же Берия: «югославский и английский шпион»; через полтора года после расстрела «югослав-

ского» шпиона», *убившего* Сталина, в Белград к «товарищу Тито, верному коммунисту-ленинцу», отправилась советская делегация во главе с Хрущевым.

Маленкова, который произнес слова, кивнув на Берия во время того памятного кремлевского заседания: «Арестуйте его, это враг народа!» — среди членов делегации не было.

В секретном архиве Берия было обнаружено множество фактов о пытках, которые применялись к участникам процессов тридцать шестого — тридцать восьмого годов; часть этих фактов была приведена Хрущевым на XX съезде партии, который означал начало конца Сталина, мучительное и кровавое.

Двадцать третьего декабря пятьдесят третьего года советские газеты опубликовали сообщение Верховного суда Союза ССР, в котором сообщалось, что приговор Специального Военного Присутствия Верховного суда СССР в отношении присужденных к высшей мере наказания — расстрелу — Берия, Гоглидзе, братьев Кобуловых, Деканозова и других приведен в исполнение.

Казнь проходила в присутствии и под контролем маршала Ивана Конева.

Дело бывшего заместителя министра бывшего МГБ Рюмина было выделено в отдельное производство.

Рюмин был осужден и расстрелян.

Следом были осуждены и расстреляны Комуров и Влодимирский.

Абакумов, обвиненный (после захвата Берия в сталинском кремлевском кабинете) в фальсификации «ленинградского дела» и садистских зверствах, содержался в Лефортовской тюрьме; от дачи каких-либо показаний отказался наотрез; следователю дал отвод.

Когда к нему в камеру пришел генерал, работник ЦК в прошлом, назначенный (после ареста Берия) заместителем Главного военного прокурора, проводивший реабилитацию всех необоснованно репрессированных, Абакумов хмуро поинтересовался:

— В чем дело? Я ж сказал — никаких показаний не будет. Точка и ша. И вообще — вы кто такой? Я вас раньше не видел.

— Я заместитель военного прокурора.

Абакумов расхохотался: в этом его веселом, *дерзком* хохоте не было ничего наигранного или, более того, истеричного:

— Ты мне баки не заколачивай, «прокурор»! Ни на

Лубянке, ни в Лефортове ноги прокурора не было и не будет! Это наша вотчина! И нé хрен со мной комбинации строить, я их все наизусть знаю!

Генерал достал удостоверение, подписанное Прокурором СССР, протянул Абакумову:

— Вот, ознакомьтесь...

Тот взял красную книжку, раскрыл, читал долго, шевеля губами, раз пять, не меньше, потом книжку аккуратно закрыл, вернул ее генералу, обхватил голову руками и начал медленно раскачиваться из стороны в сторону, повторяя:

— Все... Все... Все... Все кончено... Конец... Конец Державе... Конец родине, конец святому делу, конец, конец, конец...

...Назавтра начал давать показания, *выскабливался*.

Держался с полнейшим безразличием; только один раз разбушевался: «Я санкции на расстрел доктора Шимелиовича и Этингера не давал! В бумагах генералиссимуса ищите!»

Был приговорен к расстрелу.

Расстреляли.

...«Золотую Звезду» Героя Советского Союза Всеволод Владимирович Владимиров (Исаев) получил из рук Ворошилова, который вместе со Сталиным и Молотовым шестнадцать лет назад подписал *список* на расстрел учителей и друзей Исаева товарищей Уборевича, Антонова-Овсеенко, Постышева, Блюхера, Пиляра, Сыроежкина — несть числа этому списку.

Обменявшись рукопожатием с «народным президентом», Исаев обязательного в таких случаях благодарственного слова не произнес, возвратился на свое место за столом заседаний, а перед началом коллективного фотографирования ушел, сославшись на недомогание.

Через месяц он начал работать в Институте Истории по теме «Национал-социализм, неофашизм; модификации тоталитаризма».

Ознакомившись с текстом диссертации, секретарь ЦК Суслов порекомендовал присвоить товарищу Владимирову звание доктора наук без защиты, а рукопись изъять, передав в спецхран...

1952—1956

«КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ»

В конце июня 1952 года два фельдъегеря из Кремля приехали к директору Первой Образцовой типографии имени Жданова; в сером, низком небе — третий день собиралась гроза, парило — угадывалось рождение рассвета. Был четвертый час утра.

Директор типографии и секретарь парткома, бледные от волнения, вручили подтянутым капитанам пакет.

— Развяжите, — коротко приказал один из фельдов, квадратный, чуть кривоногий, налитой.

Директор типографии развязал шелковую ленточку (доставали загодя, обращались в Минвнешторг, те прислали пять метров импортных лент трех цветов).

Фельд открыл свой кожаный, довольно потрепанный портфель черного цвета, уложил в него десять книжечек небольшого формата, в красном сафьяне, с золотым тиснением, молча козырнул и вышел; следом за ним, прикрывая спину товарища, мягко прошагал второй.

...В час дня, когда Сталин проснулся, эти книги в сафьяне после соответствующей проверки химиками — затаившиеся враги народа по сю пору мечтают отравить генералиссимуса, ни один предмет из внешнего мира не должен попадать в руки вождя без надлежащего контроля ученых МГБ — были вручены ему начальником охраны.

Сталин взял книгу в руки. Еще с семинарских времен он относился к Слову как к первоначалию бытия, почтительно, с долей мистического страха: из ничего рождалось нечто, на века; только книга есть единственное выявление Памяти человечества, да и архитектура, пожалуй.

Прежде всего он посмотрел на последнюю страницу с выходными данными: тираж восемь миллионов триста семьдесят пять тысяч, каждый член ВКП(б) должен иметь его биографию; усмехнулся, заметив номер Главлита: А-04305; на том, чтобы и его книга была выпущена в свет цензурой, настоял сам, повторив на заседании Политбюро свои давние слова: «Что Сталин? Сталин человек маленький.

Пусть охранители государственных тайн почитают его биографию, возможно, возникнут какие-то вопросы, поспорим без ошибки мнений жизнь мертва, сие — диалектика...»

Хрущев и Булганин переглянулись; хотя Сталин и не смотрел в их сторону, однако сразу же поинтересовался:

— Как я понимаю, Хрущев — против?

Никита Сергеевич заставил себя рассмеяться, смех был тихий, горло сдавил спазм; отрицательно покачал головой, начал писать что-то на листе желтой «слоновой» бумаги...

...Продолжая рассматривать выходные данные, Сталин обратил внимание и на то, что никто не решился поправить его: он, утверждая макет, зачеркнул слово «печатных» листа и поставил «бумажных» — так было принято на Кавказе, когда он переправлял брошюры Авелю Енукидзе для опубликования в бакинской подпольной типографии работ Плеханова, Ленина, Жордания, Троцкого, Мартова; привычка — вторая натура, ничего не поделаешь...

Никто не посмел возразить, когда он вымарал фамилии технических редакторов и корректоров, — Сталин человек грамотный, корректоры ему не нужны, как, впрочем, и редакторы. Сталин привык сам себя редактировать.

Фамилии художника и художественного редактора вычеркнул тоже он, Сталин, заметив составителям биографии — Александрову, Митину и Галлактионову: «Это не „Жизнь животных“, а биография политического деятеля, при чем здесь художники и художественные редакторы!?»

И лишь после того, как он заново просмотрел фотографии, помещенные в книге, оглавление, сноски, — только после этого пробежал — в который уже раз — текст. Каждое слово было знакомо: многое переписывал, порою целые страницы, компоновал фразы, делал купюры. В первом варианте текст его обращения к народу третьего июля сорок первого года был приведен полностью. После долгих размышлений Сталин убрал обращение «братья и сестры» и свою заключительную фразу: «Вперед, на врага, под знаменем партии Ленина — Сталина!»

...Перед обедом приехали врачи, — фамилии их до сих пор толком не запомнил, за тридцать лет привык к своим Вовси, Виноградову и братьям Коганам; сейчас все в одиночках, дают показания Рюмину, читать страшно, звери, оборотни, душегубы в белых халатах.

Новые врачи провели текущий консилиум — все в порядке, никаких отклонений от нормы. Правда, один из профессоров заметил, что надо бы внимательно посмотреть щитовидку.

Услыхав это, Сталин сразу же явственно увидел лицо Крупской: щитовидная железа, при нарушении ее функций, ведет к базедовой болезни. Все что угодно, только не это...

Сегодня на обед к себе никого не пригласил. Последнее время подогревал, а порою и готовил еду сам, на электрической плитке, в своих комнатах.

Обычно, когда приносили обед, наливал суп гостям — Маленкову, Булганину, Хрущеву, Берия, — внимательно смотрел, как они ели, только потом наливал себе — раз живы, значит, яда нет. Господь подарил еще один день, спасибо ему...

Позвал коменданта дачи Ефимова — бедняга был кандидатом в члены партии лет восемь, не мог поехать на Дзержинку на партсобрание, жил здесь безвыездно, — налил ему бульона и, пока тот сёрбал, отошел к книжному шкафу, достал книжку Крупской, выпущенную в самом начале тридцатых.

Пролистав несколько страниц, нахмурился. Ефимову сказал уйти, к бульону не прикоснулся, взял карандаш, начал делать пометки на полях, то и дело заглядывая в свою «Биографию»...

Потом достал из кармана медный ключик, отпер *заветный* шкаф, вытащил оттуда рукопись Троцкого под коротким названием «Сталин», привычно открыл страницу — вещь знал почти наизусть — и прочитал *страшную* строку: «В юбилейной статье 1918 года (посвящена первой годовщине революции. — *Ю. С.*) он (Сталин) писал: «Вся работа по практическому руководству восстанием проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета тов. Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Советов партия обязана прежде всего и главным образом тов. Троцкому. Товарищи Антонов и Подвойский были главными помощниками тов. Троцкого».

Сталин перечитал еще несколько пассажей: «Свердлов огласил письмо Ленина, клеймившее Зиновьева и Каменева и требовавшее их исключения из партии... Чтобы развязать себе руки для агитации против восстания, Каменев подал заявление о выходе из ЦК... Кризис осложнился тем, что в «Правде» появилось заявление редакции в защиту Каменева и Зиновьева (Сталин был одним из редакторов «Правды». — *Ю. С.*)... Пятью голосами — против Сталина и двух других — принимается отставка Каменева. Шестью голосами против Сталина выносится решение, воспрещающее Каменеву и Зиновьеву вести борьбу против ЦК. Протокол гласит:

«Сталин заявляет, что выходит из редакции»... ЦК отставку Сталина отклоняет... На заседании ЦК 21 октября он восстанавливает слишком нарушенное накануне равновесие, внеся предложение поручить Ленину подготовку тезисов к предстоящему съезду Советов и возложить на Троцкого политический доклад... 24 октября утром в Смольном, превращенном в крепость, происходит заседание ЦК... В самом начале принято предложение Каменева, успевшего вновь вернуться в ЦК: «Сегодня без особого постановления ни один член ЦК не может уйти из Смольного». В повестке дня стоит доклад Военно-Революционного Комитета... Самое поразительное в том и состоит, что Сталина на этом решающем заседании нет. Члены ЦК обязались не отлучаться из Смольного. Но Сталин вовсе и не появлялся в его стенах. Об этом непререкаемо свидетельствуют протоколы, опубликованные в 1929 году. Сталин никак не объяснил своего отсутствия — ни устно, ни письменно... Дело идет не о личной трусости — обвинять в ней Сталина нет основания, — а о политической двойственности...»

Сталин держал эту рукопись спрятанной в запертом шкафу оттого, что мучительно боялся, как бы это не прочитали дети: нравственная катастрофа, крушение всех иллюзий. Что касается других, его это не волновало уже: история переписана, отредактирована, все протоколы съездов и конференций подогнаны под новую модель общественного мышления; какая может быть вера фашистскому наймиту Троцкому, засланному врагами в состав ЦК!? Люди теперь будут думать так, как им предписано, не в них дело. Единственно, кого следует постоянно контролировать, — так это историков; кто из них имеет доступ к первоисточникам? Впрочем, в этой стране сейчас не найдется ни одного человека, который бы рискнул назвать черное — черным: масса верующих в него, Сталина, нового пророка Революции, вотрет сапогами в асфальт того, кто посмеет против него выступить; русские — раз поверив — не отступают, вот уж воистину — мужик что бык...

Единственно, что до сих пор ранило и страшило его, так это письмецо Ленина, отправленное Карпинскому: «Большая просьба: узнайте фамилию Кобы (Иосиф Дж...? мы забыли)».

У Карпинского есть семья, помимо книг память хранят дети... Впрочем, решился ли он — после уроков тридцать седьмого — рассказывать своим об этом документе? Вряд ли. Ну а если и решился? Теперь никому нет веры, кроме него, Сталина

Заварив себе крепкого чая — Чарквиани присылал лучшие абхазские сорта, — Сталин взял с этажерки зачитанный им пятый том «Собрания» своих сочинений, сразу же открыл нужную страницу, на которой он, в далеком двадцать третьем году, приводил цитату: «Перерождение „старой гвардии“ наблюдалось в истории не раз. Возьмем наиболее свежий и яркий пример: вожди и партии II Интернационала. Мы ведь знаем, что Вильгельм Либкнехт, Бебель, Каутский, Бернштейн, Лафарг, Гед и другие были прямыми и непосредственными учениками Маркса и Энгельса. Мы знаем, однако, что все эти вожди — одни отчасти, другие целиком — переродились в сторону оппортунизма... Мы должны сказать — именно мы, «старики», — что наше поколение, естественно, играющее руководящую роль в партии, не заключает в себе, однако, никакой самодовлеющей гарантии против постепенного и незаметного ослабления пролетарского и революционного духа, если допустить, что партия претерпела бы дальнейший рост и упрочение аппаратно-бюрократических методов политики, превращающих молодое поколение в пассивный материал для воспитания и поселяющих неизбежно отчужденность между аппаратом и массой, между стариками и молодыми... Молодежь — вернейший барометр партии — резче всего реагирует на партийный бюрократизм...»

«Да, Троцкий, конечно, владел пером, — подумал Сталин. — Я сделал ошибку, позволив включить это его письмо к партии в нынешнее издание...»

Он посмотрел на последнюю страницу: редактора, понятно, не было: кто посмеет его редактировать? Впрочем, Молотов не возражал против включения в «Собрание сочинений» этой цитаты. Да и Ворошилов — тоже. Почему? Разве они не понимали, что мои возражения Троцкому неубедительны? Увы, неубедительны...

Сталин прочитал свои строки, медленно шевеля старческими, с голубыми прожилками, губами: «Троцкий, как видно из его письма, причисляет себя к старой гвардии большевиков...»

«Но ведь он не причислял, — в который уже раз возразил себе Сталин. — Он просто написал «старая гвардия»...

Он снова медленно *начал* читать, вслушиваясь в слова, сказанные им двадцать девять лет назад: «...непонятно, как можно ставить на одну доску таких оппортунистов и меньшевиков, как Бернштейн, Каутский, Гед, и старую гвардию большевиков...»

«Но ведь и это не ответ, — признался он себе. —

Во-первых, никто из этих людей не был меньшевиком, это ведь наше, русское, — «меньшевик». А во-вторых, они действительно начинали как истинные марксисты, смешно с этим спорить. Отрицать их вклад — на первом этапе — в развитие марксизма — ненаучно, любой подготовишка от политики опровергнет...»

Сталин усмехнулся: «Если тогда не попробовали, сейчас и подавно не осмелятся... Но в следующих изданиях моих сочинений Троцкого надо будет убрать, перевести в прямую речь, что ли... «Экономические проблемы» и «Языкознание» красят новое издание — теория всегда украшает книгу... В следующем году, после съезда, надо будет подготовить «Марксизм и наука», «Марксизм и культура», «Марксизм и проблемы Востока» и, наконец, «Марксизм и религия» — это, пожалуй, главное.

Он отхлебнул холодный уже чай и, ощутив ноющее жжение под лопаткой, подумал: «А что будет, когда я уйду?»

...Недавно военные подбросили материал против сына, Василия, любимца. Он долго думал, как с ним говорить, все же человек под погонами, генерал-полковник, самый молодой в армии, надо щадить самолюбие. Поэтому решил чуть приоткрыть себя: сын должен понять, на то он и сын, не волчонок же. (Так называл Якова, испытывая к нему непонятную самому себе неприязнь.)

Поэтому, усадив Василия напротив, долго молчал, упершись своими желтыми, немигающими глазами в такие же рысьи глаза сына; потом, глухо откашлявшись, сказал — тихо, с болью:

— Ты думаешь, ты — Сталин? — Он отрицательно покачал головой. — Нет. Ты не Сталин. Думаешь, я — Сталин? — спросил еще глуше и, глубоко, судорожно вздохнув, ответил: — Нет, я тоже не Сталин. Он, Сталин, там, — генералиссимус поглядел на потолок, потом перевел взгляд на окно, кивнул на бездонную синь неба. — Исходя из этого состоявшегося факта, тебе и надлежит контролировать все свои поступки. Слишком много глаз. Русские люди желают видеть сына их Бога человеком идеальным. Понятно? Такой у нас, русских, характер. Изменить его не дано никому. Нация, — Сталин, наконец, улыбнулся, — идеалистических материалистов.

...Перед тем, как выехать в Кремль, еще раз полистал Крупскую. Эту, первую, редакцию ее воспоминаний изъяли еще в тридцать четвертом, бóльшую часть уничтожили, что-то оставили в спецхранениях, но ведь сколько осталось в личных библиотеках?! Поэтому приказал во время арестов

все библиотеки конфисковывать; политическую литературу, изданную до тридцатого года, немедленно сжигать, если обнаружат книги Бухарина, Каменева или Троцкого — расстреливать по решению «тройки». ЧП случилось с Блюхером. После его ареста не осталось времени перепечатать школьные учебники по истории, — там был помещен его портрет: «Легендарный маршал». Кто-то из коллег предложил разослать инструктаж всем районо: поручить учителям вместе со школьниками во время первого же урока закрасить лицо шпиона черной тушью, объяснив при этом детям, как ловко маскировался японский шпион, готовившийся открыть границы Дальнего Востока самураям...

Сталину потом сообщили, что дети не удовольствовались одной лишь тушью. Перед тем как замазать фотографию, они выкалывали глаза «изменнику и диверсанту»...

Сталин листал воспоминания Крупской, и тяжелая ярость вновь рождалась в нем: каждая ее строка дышала неприязнью к нему, Сталину. А что он мог сделать с ней в тридцатом? Ничего он не мог тогда сделать, висел на волоске. Найдись кто решительный среди старой гвардии — не жить бы ему сейчас на Ближней Даче...

Он вдруг споткнулся: «жить»? А разве я живу, спросил он себя. Разве это жизнь, когда приходится каждую ночь запирать дверь в свои покои, выключать свет и в темноте, чтобы не заметили охранники, дежурившие в саду, менять комнаты: в каждой стоял низкий диван, он сам переносил подушки и белье, стараясь ступать бесшумно, каждую ночь спал в разных комнатах, — кому можно верить на этом свете!? Кому!?

Ночью, вернувшись в Кунцево, спросил коменданта Ефимова:

— У нас есть печь в доме?

— Конечно!

— Я имею в виду не электрическую печь, — пояснил Сталин. — Есть ли у нас печь, типа деревенской?

...Он бросил в пламя рукопись Троцкого, а потом кинул в алчно завывавшую топку томик Крупской.

...Все мы смертны, сказал он себе, всем своим существом сопротивляясь этим успокоительно-страшным словам. Но с ужаснувшей его кинематографической четкостью он увидел, как после его смерти сюда войдет Василий, откроет шкаф и достанет потаенные рукописи, книжку Крупской, ее первое, не отредактированное им издание; он представил себе тот удар, который ощутит мальчик, прочитав первое издание протоколов ЦК нака-

нуне Октября, странички показаний Бухарина, написанные его, Сталина, рукой, стихи, посвященные ему Николаем, что были написаны накануне ареста, и он ощутил страх — неведомый ему ранее — отца, который оставляет на земле двух сирот... Почти все Аллилуевы в тюрьме — вздумали написать в мемуарах, что он у них в ночь Октябрьского переворота пил чай; правдолюбцы; воистину, услужливый дурак опаснее врага, лили воду на мельницу Троцкого! К кому ж пойти детям, если найдется один, который рискнет повторить то, что сделал я, когда умер Ленин?! Кто тогда пригреет их, мою кровь и мою память!

Он смотрел на то, как огонь пожирал бумагу, ломал ее, корчил, превращая в литой, черный монолит, который сделается пеплом, стоит лишь подуть на него, и почувствовал вдруг, как глаза его наполнились слезами, — такого с ним не случалось давно, он уж и не помнил, когда плакал после июня сорок первого.

Вернувшись к себе, тщательно запер дверь, выключил свет и, сняв мягкие ичиги, пошел в ту комнату, где решил сегодня спать. Раздевался долго, по-стариковски, стыдясь своего кряхтенья, саднящей боли в затылке, тяжелого гуда в ушах, ломоты в пояснице.

Лег на мягкий, очень низкий диван, закрыл глаза, начал считать, чтобы поскорее уснуть, но сон не шел к нему. С трудом поднявшись, он перешел в другую комнату, включил свет и поднял с пола свою «Биографию». Комендант Ефимов раскладывал в каждой комнате по одному экземпляру той книги, которую читал Хозяин.

Набросив на себя шинель, Сталин присел на краешек стула и начал читать. Постепенно успокоился, пришло тихое умиротворение.

«Несчастные люди алчут простоты и ясности, они устали от сложности и многообразия. Они не забудут меня хотя бы за то, что я поднял их до себя, позволив каждому считать себя мудрым и убежденным в завтрашнем дне. Разве такое благо забывают?! Мы, русские, благодарный народ, — успокаивал себя, — нет народа благодарней».

Вдруг услышал песню, которую пела мама, когда оставалась одна в их маленьком доме. Она не знала русского, так до смерти и не выучила, обижалась, бедненькая, когда ей говорили, что любимый сын был исключен из семинарии; говорила всем: «Я сама его оттуда взяла, он заболел легкими, кто мог исключить такого умного мальчика!?» Конечно, это не преминули напечатать в Грузии; слава богу, до России не дошло; того, кто переводил с грузин-

ского, расстреляли, газетчиков ликвидировали, бедная моя мама, прости меня за то, что я был таким плохим сыном...

Сталин понял, что ему не уснуть сегодня. Он пошел в ванную, достал тот порошок для сна, что ему выписывали братья Коганы начиная с двадцать седьмого года; выпил, прополоскав рот глотком «боржоми», и отправился в самую дальнюю комнату: сон теперь придет быстро, он будет легким, без разрывающих душу сновидений...

Но сон, тем не менее, не пришел к нему сразу же, как бывало раньше. Он отчего-то явственно увидел лицо матери Меркадера, того испанца, который проломил длинный, яйцеобразный череп Троцкого швейцарским ледорубом.

Берия привез к нему эту женщину, и Сталин вручил ей Золотую Звезду Героя, которой был удостоен ее сын за этот беспримерный подвиг.

Сталин считал, что дни Меркадера сочтены — в общем-то это по правилам, знал, на что шел; его тронули слова испанки; кстати, несмотря на годы и горе, смотрится хорошо, очень женственна:

— Камарада Сталин, если потребуется и моя жизнь,— заключила она, — я отдам ее за вас со слезами счастья.

— Спасибо, — ответил тогда Сталин, — но ваша жизнь, жизнь матери, давшей жизнь Герою, нужна ему. Скоро вы встретитесь, обещаю.

«Где она, интересно? — подумал Сталин. — А сына ее не расстреляли только потому, что смогли перевербовать... Неважно, что на суде он молчал... Мы умеем заставлять говорить в суде, они — в камере, с глазу на глаз с тем, кому сулят жизнь...»

Он вдруг услышал хруст пробиваемого черепа, почувствовал сладкий запах крови, залившей лицо Троцкого, представив себе, как тот дрался с Меркадером, вырывая у него из рук ледоруб, чтобы не дать нанести второй удар, и ужас объял его, и он перешел в самую первую комнату, возле входной двери, опустился на диван и затаился, прислушиваясь к тихим шагам охраны. Он решил не спать всю ночь, потому что ощутил зловещее предчувствие чего-то неотвратимо-страшного, решил было снова подняться, но не смог — провалился в тихое забытье, которого так боялся...

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ

Он сидел в кресле у парикмахера. Половина его лица была намылена, а половина уже гладко выбрита. Он шмыгал носом и кривил губы, разглядывая себя в зеркале.

— Привет, старик! — сказал он, заметив меня. Он сказал это спокойно и просто, будто мы расстались вчера, а не пять лет назад. — Что будем делать? Хорошо бы пойти куда-нибудь к женщинам и слегка попить, а?

Он был смешным парнем до ареста. Его считали главным хохмачом во дворе. На спор он снимал брюки и, перекинув их через плечо, как плащ, гулял в длинных синих трусах и накрахмаленной рубашке по Можайскому шоссе. А еще он умел смешно говорить в рифму. Особенно это нравилось продавщицам из рыбных магазинов. Вечером, отсидев часок в обществе интеллигентов, которые, включив радио на полную мощность, жарко говорили о трагедии художника в наш век, он прочитывал им свои новые стихи и потихоньку сваливал к девицам: болтать в рифму, есть свежую рыбу и развлекаться в постели. Раздевая очередную продавщицу, он плел:

— Жил на свете милый Блюм, положили Блюма в трюм, попросили не блевать и не какать на кровать!

Его все звали Блюмом: и рыбные девицы, и мы, друзья. Никто не звал его по имени. Даже участковый, составляя протокол за то, что он купался ночью в фонтане, где воды было по щиколотку, записал: «Означенный Блюм плескался в фонтане и кричал, как Тарзан, изображая из себя обезьяну Читу».

Однажды Блюм пошел на первомайскую демонстрацию. Ему доверили нести портрет Лаврентия Павловича. Блюм шел в правой колонне и должен был, проходя мимо трибуны, провозгласить лозунг в честь нашего родного правительства. А он, подняв что было сил портрет Берия, выкрикнул:

— Да здравствует наше родное Ваше Величество!

Он был напичкан историями, которые знал от матери

и помнил от отца, расстрелянного в тридцать восьмом году с группой писателей. Особенно много историй он знал про Лазаря Моисеевича, потому что его мать работала в театре Революции, а Каганович часто туда ездил. Блюм рассказывал, как однажды в тридцатых Каганович приехал смотреть спектакль «Самоубийца», поставленный по пьесе Эрдмана. Каганович сидел в зале один, а возле всех проходов, где горели синие и красные фонарики, стояли сотрудники НКВД, охранявшие жизнь ближайшего соратника товарища Сталина.

Лазарь Моисеевич смеялся до слез: Эрдман написал злую и веселую комедию. За кулисами бедные актеры сжимали друг друга в объятиях и шептали:

— Все-таки правда торжествует! Ты видел, как он добро смеялся?

Они теперь были убеждены, что Каганович разрешит этот запрещенный спектакль. Когда занавес опустился, Лазарь Моисеевич сунул в карман неизменные четки и начал аплодировать, продолжая весело смеяться. За кулисами был праздник. К Кагановичу подбежал директор.

— Это великолепно и зло, — сказал Лазарь Моисеевич, — прекрасная, мужественная и разящая сатира, бьет наповал. Немедленно снять, немедленно. Разве это нужно показывать москвичам? Кому нужны зловещие тени, выведенные талантом выдающихся художников на сцену? Никому, — закончил он, подтвердив свои слова округлым жестом левой руки — точно таким же, какой был у гениального зодчего нашего счастья, когда тот закуривал неизменную трубку.

После двух лет знакомства я привык к веселому Блюму, который бродит по улицам без брюк, спит с продавщицами и, ошалев от водки, купается в пересохших фонтанах. Но, узнав о расстреле секретаря ЦК Кузнецова, который честно дрался всю ленинградскую блокаду, Блюм зачитал:

Ныне юродствуете во Христе,
Но ваша лояльность сомнительна,
Партию вам не распять на кресте,
Товарищи, будьте бдительны!

Это было так непохоже на все, сказанное им за два года нашего знакомства, что я опешил и быстро оглянулся по сторонам. Мы гуляли по еврейскому кладбищу. Оно тогда было на берегу Москвы-реки, где теперь стоят кра-

сивые новые дома и школа-одиннадцатилетка. Там была одна поразительная могила, мы очень любили ее. На сером камне по-русски и еврейски было написано под синим фарфоровым портретом хорошенькой девушки: «Илька Дэмон, которую убили при погроме. Прощай, доченька, твой папа Хайм Мойша Цырульник».

Я оглянулся еще раз; на кладбище было пусто и тихо. По Москве-реке картинно плыли баржи, гулко басили катерки; на другой стороне реки в парке Красной Пресни высверкивала иллюминация. Там сегодня было народное гулянье, посвященное очередному снижению цен. Тогда каждый год снижались цены на галантерею, бриллианты и крахмал, но одновременно на всех заводах повышались расценки, выходило так на так, но про расценки не печатали, а о снижении цен радио говорило с шести утра, а уж в девять начинали объяснять комментаторы, приводя отклики буржуазной прессы. Мы шли молча, а потом Блюм возгласил голосом диктора Юрия Левитана:

— Цены на куриный помет снижены на семнадцать процентов!

Однажды, гуляя по улице Горького, он начал жечь свои волосы, поднося к ним свечку, и при этом громко кричал: «А вот идет космополит, Еврей Иваныч Айболит!»

Это было в дни, когда печатались статьи про безродных космополитов, продавших родину за иностранные самописки.

Это бы все ничего, за это бы, наверное, Блюма не посадили. Но в милиции, куда его забрали из-за свечки, — явное нарушение порядка, — он стал метаться по дежурной комнате, а когда его скрутили, чтобы успокоить и отправить в медицинский вытрезвитель, он заорал: «Ну что ж! Смейся, хохмач! Кулаком меня в рожу бей! Но, ети вашу мать, все-таки я еврей!»

На беду в это время в дежурку зашел один из руководителей районной милиции Павел Федорович Гроднер, подполковник. Он всем говорил, что по национальности литовец. Услыхав стихи Блюма, он закурил «Герцеговину Флор» и стал молча расхаживать по дежурке.

— Пьяный дурак, — сказал наконец Гроднер, — что ты болтаешь, что?

— Иуда, ты откуда? — тут же ответил Блюм в рифму.

Лицо Гроднера стало скорбным. Дежурный лейтенант фыркнул и сказал старшине, который доставил Блюма в отделение:

— Литовцы, одно слово...

Гродиер бросил папиросу в зеленую деревянную урну и, став совсем серым, сказал дежурному:

— Оформляйте протокол и позвоните в аппарат товарища Абакумова.

Оттуда приехали и забрали Блюма. А через месяц, посидев в Сухановке, он начал говорить все, что хотел его следователь. Он сказал про многих из нас. Часть ребят забрали, часть оставили — «на разживу». Тех, кого забрали, судили в трибунале за попытку покушения на жизнь товарища Сталина. Руководителем «террористической группы» следователь уговорил стать Блюма, гарантировав ему хороший лагерь и дополнительное питание в тюрьме. Все ребята получили по смертной казни с автоматической заменой на двадцать пять лет каторжных лагерей. Самому старшему «террористу» Блюму было девятнадцать лет.

Гроднера, который сдал Блюма, тоже вскоре забрали как «язычника», очищая кадры органов от «литовцев». Сидя в камере с Блюмом перед этапом, Гроднер поучал его:

— Чудак, тебя обработали, как куренка. Разве можно колоться и сдавать людей? Надо было брать на себя анекдот, получать «пятерку» по Особому совещанию и мотать в лагерную самодеятельность.

— Сука, — сказал Блюм грустно, — жидовская морда. Пусть твой папа Гроднер вертится в гробу пропеллером, сука. Ему будет плохо за такого просексоченного сына...

...Блюм вышел из парикмахерской красивым, хотя несколько ссутулившимся. Он сильно полысел за эти годы. И потом у него изменилась походка: она стала какой-то суетливой, непомерно быстрой.

— Ты чего семенишь? — спросил я. — Идешь, как балерина...

— Там были деревянные колодки, — ответил он, шмыгнув носом, — соскакивали, заразы. Ну, ты придумал, куда двинем?

— Да. Нас ждут редакторши кино.

— Старухи?

— Что ты... Выпускницы ГИКа, они боготворят тебя заочно, с моих слов.

Мы сели в троллейбус. Блюм прилепился к стеклу и начал вертеть головой, как птица.

— Слушай, а сколько стоит мороженое? — спросил он.

— Смотря какое.

— Мне там часто снилось шоколадное эскимо на палочке.

Вдруг, просветлев лицом и став прежним Блюмом, он возгласил:

— Ешьте зернистую икру, это питательно и вкусно!

— Ты что? — удивился я.

— Ничего. Просто читаю объявление. Вон, видишь на стене дома.

Он помолчал немного, а потом выкрикнул на весь троллейбус:

— Ешьте мороженое, оно холодное и вкусное, и не ешьте дерьмо, оно невкусное, хоть питательное!

Пассажиры, слышавшие его реплику, стали смотреть в разные стороны, будто ничего не произошло. Блюм внимательно оглядел их и скорбно заметил:

— Все в порядке, ничего не изменилось. Люди по-прежнему хорошо воспитаны. Хоть бы один сказал, что я подонок! Нет, молчат, как мыши.

Редакторши, у которых я пасся в тот год, увидев Блюма, стали молчаливо-торжественными. Они быстро затащили его в комнату, чтобы Блюма не увидели соседи, и стали просить, чтобы он рассказал им свою одиссею. Они теребили его, трогали за руки и смотрели на него влажными глазами. Блюм поначалу улыбался, лицо его стало жалким, а потом на скулах выступили красные пятна:

— Девочки, какая к черту одиссея, когда у вас тут эдакий цветничок!

И залился идиотским смехом, — похрюкивая и брызгая белой слюной. Редакторши недоуменно переглянулись. Тогда Блюм, юродствуя, перецеловал каждую, приговаривая:

— Ах, девочки, вы себе не представляете, какое это счастье — прикасаться к гибкому женскому стану!

Бедные редакторши стали поочередно выскакивать в коридор. У девушек вообще есть манера выскакивать в коридор, а особенно если их трое, а нас двое, да еще один из лагеря. Они там консультировались, как быть дальше. Одна из редакторш, Мика, вернулась первой, села возле Блюма и сказала:

— Вы, наверное, ужасно устали, милый...

— Почему? — удивился Блюм. — Я ничуть не устал, крошка, — и он положил ей ладонь на грудь.

— У вас в глазах столько горя, — Мика осторожно отодвинулась.

— Какое там горе, — хихикнул Блюм, подсаживаясь еще ближе к Мике. — Нет никакого горя, когда рядом такая крошка, как ты!

— Сейчас я принесу кофе, — сказала Мика и вышла.

— Сколько у них станков? — спросил меня Блюм.— Где мне с ней примоститься?

— Не гони картину, они ж не проститутки.

— Какая жалость. А долго надо с ними разводить матату?

— Ты что — забыл?

Блюм внимательно посмотрел на меня:

— Да. Потому что там мы онанировали не на разговоры, а на репродукции с Рембрандта, где были изображены толстые женщины. Нам было не до разговоров, — надо было поскорей управиться и сразу спать, мы ж начинали валить лес в шесть...

Вошли редакторши. Они несли поднос. На подносе были две бутылки водки и маленькие бутербродики, сделанные на западный образец.

— Ого, — сказал Блюм, — пожрем, девочки!

И он начал запихивать в рот бутерброды, поправляя их указательными пальцами обеих рук.

— Кир! — возгласил он торжественно. — Да здравствует кир водяры!

Бедные редакторши старались на меня не смотреть. Блюм налил себе стакан водки и начал медленно пить: иногда, замирая, он полоскал горло, будто это вовсе не водка, а боржоми с молоком. Выцедив стакан, он, зажмурившись, рыгнул:

— Девочки, давайте музыку.

— Вы, наверное, там совсем не слышали музыки, — сказала Мика, включая магнитофон.

— Почему же? — обидчиво ответил Бюм. — Я там играл в джазе.

— Где?!

— В джазе. Контрабасистом.

— У вас был джаз?

— В каждом лагере был свой джаз.

— Вы там изголодались, — сказала Мика, — берите бутерброды, они сделаны специально для вас.

— Почему это я изголодался? Я воровал, я был сыт.

Я понял, что Блюм завелся. Наверное, он обиделся, когда редакторши, крадучись, вели нас по коридору, чтобы

не слышали соседи. Не зря, видно, Блюм тогда громко заметил мне, что он реабилитированный, а не амнистант.

— У кого воровали? — допытывалась Мика.

— У большевиков, — усмехнулся Блюм, — они доверчивые...

— Что вы такое говорите, Блюм?! — ужаснулась Мика.

— Правду, — ответил он, — только правду и ничего, кроме правды!

— Но...

— Хватит, — сказал Блюм. — Мне надоело кудахтанье. Пора перейти к телу.

Редакторша Лиля сказала:

— Я должна поработать в фундаменталке.

— А я к Юткевичу, — поднялась редакторша Надя.

— Счастливо, — сказал Блюм. — Только возвращайтесь попозже, а то мы с Микой не управимся.

— Вы не умеете себя вести, — сказала Мика.

— А вы разве девица? — осведомился Блюм.

— Я не девица, а вы совсем не умеете себя вести.

Надя и Лиля вышли. Мика выключила магнитофон и встала к двери.

— Иди ко мне, цыпочка, — сказал Блюм, дожевывая бутерброды, — я сделаю тебе больно и хорошо.

— Уходите прочь, — сказала Мика. — Мне совестно за вас.

— Сейчас, — ответил Блюм, — минуточку.

Он выпил еще один стакан водки и потер лицо пятерней так, что появились красные полосы.

— Дура, — сказал он, поднявшись. — Ты хотела, чтобы я говорил о красивых страданиях? Страдания всегда уродливы, а я не клоун. Или плати мне, как проститутке, тогда я буду выдавать тебе сюжеты про муки интеллигентов в каторжных лагерях.

— Блюм, — тихо сказала Мика, и глаза ее засияли, — простите меня, Блюм.

— Я вам не Блюм, — ответил он. — В миру меня зовут Юрой.

— Сволочи, — говорил он, пока мы ехали в Парк культуры, — им хотелось аттракциона: страдалец на файф-о-клоке. Хрен в сумку.

Он прижался лбом к стеклу, надолго замолчал, а потом выкрикнул:

— Хорошо по первопутку на санях барать якутку!

И снова в троллейбусе все, словно по команде, стали смотреть в разные стороны.

— Что с тобой? — спросил я.

— Ничего. Просто там я стал истериком. Оказалось, что это даже удобно — быть истериком. Я, когда орал и бился на земле, мог думать о чем хотел, а потом еще выцыганивал освобождение на день.

Мы нашли двух девушек перед самым закрытием парка. Одна из них была продавщицей. Я понял, что Блюма ждет счастье. Но он, вместо того чтобы сочинять в ее честь рифмы вроде прежних: «жил на свете старый Блюм, положили Блюма в трюм», начал читать стихи из цикла «Город», написанные им в одиночке. Мы шли к Новодевичьему монастырю: в те годы там находили себе пристанище не только покойники, но и влюбленные. Блюм читал:

Друг другу протянув мосты,
Уснули берега.
Опавших с неба звезд цветы
Куда-то мчит река.
И заглядевшись с высоты,
До утренней зари
Глядят ревниво фонари
Во влажные черты.

Девушки переглядывались, потому что не знали, как себя вести. Блюм смотрел на толстую продавщицу влюбленными, сияющими глазами:

Уже много дней и сегодня опять,
Облака вроде сколотых льдин,
Шалый ветер бросает листву умирать
К равнодушным ногам машин,
Уже много дней дожди без конца,
Полотняных туманов надрыв,
Как будто бог-сын потерял отца
И плачет, лицо закрыв*.

Девушки стали весело смеяться, и Блюм тоже начал смеяться вместе с ними, то и дело поглядывая на меня. Он смотрел на меня, будто школьник, забывший урок.

— Как вас зовут? — откашлявшись, спросил Блюм продавщицу.

Та игриво поинтересовалась:

— А зачем?

— Хотите выйти за меня замуж? — предложил Блюм.

— Ой, Маш, не могу, — засмеявшись, сказала девушка.

Ночь разламывалась рассветом, которого еще не было. Но рассвет угадывался во всем: и в том, как почернела

---

* Стихи Юрия Киршона, написанные в тюрьме.

вода в реке, пожелтели фонари на набережной, и в том, как прозрачны и прекрасны сделались наши лица, в весеннем предрассветье лица людей всегда прекрасны и трагичны.

— Что же будем делать, девочки? — тихо спросил Блюм. — Я хочу, чтобы вы шли рядом с нами по набережной, а я бы читал вам стихи всю ночь, а если захотите, все утро и весь день...

— А работать когда? — спросили девочки.

— Я бы читал вам самые нежные стихи, какие только знаю, — исступленно продолжал Блюм. — Я бы рассказывал вам про то, на каком страшном и мучительном разломе мы живем, я бы пел вам буддистские гимны, которые уверяют, что середина столетия всегда приходит с добром и возрождением.

Девушки испуганно переглянулись. Я заметил, как продавщица тихонько толкнула локтем подружку. Та чуть заметно кивнула головой и стала оглядываться по сторонам.

— Ты понимаешь, девочка, — говорил Блюм продавщице, — что скоро станет утро, которое, по пророку Исайе, всегда приходит с радостью, и мне очень хочется, чтобы эта радость коснулась и тебя!

Мы поравнялись с двумя такси. Наши спутницы ринулись в первую машину и стали испуганно кричать шоферу:

— Скорей гони, шеф! Гони скорей, он псих ненормальный!

Тогда и второй шофер дал газу, и обе машины унеслись.

— Ты испугал девочек, Блюм, — сказал я. — Ты стал в лагере придурком.

— Я стал в лагере не только придурком, но еще электромонтером, контрабасистом, жуликом и импотентом, — ответил Блюм. — Правда, вешаться я пока погожу, потому что мне очень хочется посмотреть корриду, которая все-таки будет до того, как взойдет солнце.

...Он позвонил ко мне ранним утром. Его голос грохотал в трубке счастьем и добротой. Он кричал:

— Скорей приезжай! Сейчас я тебе дам адрес. Я нашел колоссальную чувиху. Она старая, живет в подвале, и окна у нее зарешеченные! Такая прелесть, честно, такая прелесть! Я почувствовал себя на свободе, понимаешь? Я почувствовал себя на свободе!

Я знал его хорошо. Со мной он никогда не играл. Если он говорил так — значит, он говорил правду.

СОВЕРШЕННО ОТКРЫТО

Поскольку наша полиграфия (если бы она одна!) являет собой технику пещерного века, я не успел внести в свои заметки новые соображения, связанные с проблемами, поднятыми на всесоюзном Уроке демократии — Съезде народных депутатов СССР.

Я начинаю с того, с чего начал в середине мая: мы приступаем к выпуску нашего Бюллетеня потому, что саботаж перестройки (подчас преступный) бюрократами, бандитизм, хулиганство, пьяное лодырничанье, наркомания, проституция, — приблизились к катастрофической отметке, дальше некуда!

Все громче слышны голоса тех, кто требует «сильной руки» и «железной дисциплины», как альтернативы плюрализму, гласности и демократии, — от них, мол, «все беды». Голоса эти принадлежат тем сановникам, которые держат в кабинетах сочинения нечитанного Ленина, а дома потаенно хранят сталинские цитатники. Сановники — в силу номенклатурного назначенчества, малой компетентности и исторической неграмотности — не понимают, что возврат к сталинизму означает их же гибель.

Наведение «железного порядка» в переводе на общедоступный русский язык означает: восстановление «троек», расстрелы — без суда и следствия (по доносу соседа-завистника, параноика или злобного недоброжелателя), право осуждения на восемь лет лагерей тех рабочих, кто допустил малейший брак; возвращение к пыткам в подвалах следственных тюрем, высылка на север семей арестованных, возрождение ГУЛАГа и «психушек», царство тайной полиции, кардинальное снижение заработка, — не более десяти зарплат в год, ибо две — как и раньше — отберут на принудительный заем «во имя дальнейшего расцвета страны победившего счастья», лишение паспортов всех, кто живет в деревне, словом, возврат к тоталитарному режиму, что, кстати, означает разрыв отношений (в первую очередь экономических) со всеми развитыми странами, — никто не будет иметь дел со сталинизмом, в какую бы тогу он ни рядился.

Однако, несмотря на опасность реставрации, пропаганда основ правового демократического государства («что же это такое на самом деле?», «неужели оно отличается ростом бандитизма и хулиганства?», «неужели

оно бессильно навести порядок на улицах, очистив их от преступного элемента?») до сих пор не стала главенствующей темой печати и телевизионных передач.

А мы *обязаны* доказать фактами, цифрами и беспристрастным исследованием истории, что только правовое государство, которое по сути своей отрицает своенравные, бесконтрольные шараханья («отменить водку» — «разрешить водку»; «сажать за «нетрудовые доходы» (бабушку подвез на машине) — «разрешить индивидуальную трудовую деятельность»; «травить проклятого частника» — «уговаривать людей брать землю в аренду») является единственно возможной и *законной* гарантией выхода из кризисной ситуации.

А ситуация, которую мы сейчас переживаем, увы, должна быть определена именно как кризисная, — не только из-за роста преступности и возрождения карточной системы на колбасу, мыло, стиральный порошок, чай и сахар, но из-за того, что у Перестройки и Демократии не просто объявились, но оформляются в некий «блок» могущественные противники. И отсчет этих противников я начинаю не с привычных «начальничков», а с пьяного бездельника, спекулирующего святым понятием «Рабочий».

Перестройка дала рабочим право на премиальные — по конечному, понятно, результату, на совместительство, которое было запрещено начиная с 1929 года, тот, кто думает о семье, может заработать. Слава Богу, желание *заработать* перестало быть синонимом «стяжательства» или, того хуже, «кулачества». Но ведь многие не хотят зарабатывать, ждут, чтобы манна небесная сама в рот свалилась! Не свалится! И кивать на кого-то нечего, — Обломов с Маниловым родились не в Лондоне!

Против перестройки блокируются когорты тех чинуш, которые, проиграв на выборах, спят и видят возвращение командно-приказной системы, — с помощью ли аппаратно-отработанных процедур, манипуляций, демагогии или скрытого подкупа тех, кто мог бы выражать общественное мнение.

Бюрократа костят, и правильно делают, но давайте заглянем в корень: исполкомовский аппаратчик права на совместительство не имеет, получает, как получал, сто тридцать рублей в месяц. На такие деньги попросту не проживешь; а взятки — пока что — брать страшно, хотя на еду не хватает, именно на еду — не на роскошество.

Вот почему пропаганда правового государства должна быть предметной и понятной трудящимся, — всем без исключения.

Что мне кажется необходимым вынести на суд читателей в первую очередь?

■ Либо мы *выбрасываем* на улицу 18.000.000 бюрократов, которые ныне совершенно не заинтересованы в конечном результате своего труда и заняты тем лишь, что подсчитывают заработки «архангельских мужиков», передовых директоров, рабочих, действительно осознавших себя ведущей силой общества (таких мало еще), кооператоров, певцов, стоматологов, академиков, закройщиков и живописцев, причем подсчитывают со злобной

завистью (зависть даже Указом Верховного Совета не отменить), и таким образом толкаем общество к *смуте*, либо руководствуемся указанием Ленина о том, что бюрократов необходимо перевести на процент с прибыли, ибо «без материальной заинтересованности ни черта не выйдет». Я убежден: все работники райкомов, обкомов и ЦК, служащие исполкомов должны получать за свою работу по конечному результату того конкретного дела, которое они курируют. В еще большей мере это должно проецироваться на работников аппарата правительства и министерств, количество которых обязано быть кардинально сокращено. На смену этим громоздким чудищам должны прийти концерны, деятельность которых будет контролироваться не отчетами, а процентом с их акций, Рынком, ибо лишь один он определяет цену и смысл *Ремесла*.

■ Теория и практика сталинизма и его последователей заключалась в том, чтобы породить в народе ненависть к понятию «собственность». Местоимение «мой» распространялось на «сына» или «отца»: «моя» — на «мать», «дочь». Земля, фабрика, дом сделались «нашими». Французская пословица гласит: «наше — это значит *ничье*». Сравните подъезд кооперативного дома с жэковским и вы убедитесь в истинности французской мудрости. То же происходит и с землей. Инфляцию и денежную эмиссию можно в какой-то мере остановить выпуском акций предприятий и *продажей* (на худой конец, сдачей в бессрочную, с правом наследования, аренду) земли гражданам СССР.

В стране нет товаров.

В стране порой не хватает денег, чтобы платить рабочим зарплату.

Но почему тогда бюрократы долгие месяцы мучают «архангельских мужиков», хозяйственников, трудовые коллективы, которые хотят взять в аренду завод или фабрику? Почему кооператорам месяцами приходится пробиваться сквозь бюрократические заслоны?

Ergo: необходим закон, который бы раз и навсегда определил обязательный срок для ответа административных органов на запросы директоров заводов и совхозов, бизнесменов-индивидуалов, кооператоров, — словом, всех тех, кто, — в отличие от скомпрометировавших себя министров, — только и может накормить и одеть народ.

Время увещеваний кончилось.

Настала пора кардинальных решений и конкретных дел. Нервы у народа на пределе.

■ Нам катастрофически не хватает валюты.

Что может дать её *немедленный* приток?

Туризм.

Я наблюдал начало туристского бума в Испании. Он начался наперекор Франко, который был — как и всякий деспот — против того, чтобы открыть границы иностранцам: «принесут отказ от корней и цинизм, сотрясут основы фаланги — истинно национального движения испанцев».

Франкисты и фаланга ушли в небытие, а вот туризм стремительно вывел Испанию из застоя.

Нашу страну сейчас посещает около миллиона «валютных» туристов. Болгарию — более шести миллионов, Испанию — не менее сорока.

Бюрократия утверждает: «в стране не хватает отелей, нет школы сервиса».

Верно. Лет пятнадцать назад я написал: «Советский сервис не навязчив». Он остался таким же, только хамства прибавилось, и кадры фарцовщиков наработали высочайшую квалификацию.

Отелей в стране мало, они отменно плохи, но в Советском Союзе живут десятки миллионов людей, которые с радостью поселят иностранных туристов в своих домах и накормят их так, как умеют у нас, — радушно, от всего сердца, щедро.

Так почему же не *открыть* границы? Почему не давать визу непосредственно на контрольно-пропускных пунктах (как в Болгарии, Венгрии, Польше), требуя от гостей лишь одно: обменять по *льготному* для них туристскому курсу не менее 500 долларов?

По самым приблизительным подсчетам, к нам приедет не менее 6.000.000 туристов. Умножим 500 на 6.000.000. Получим три миллиарда долларов.

Нужны нам эти деньги или нет?

Да. Но, если начать *таскать* это предложение по ведомствам, согласовывать и утверждать, то, глядишь, в начале будущего века мы вопрос решим. Не слишком ли мы расточительно обращаемся с таким грозным понятием, как *время*?! Воистину, «не думай о мгновеньях свысока»...

Будут возражать, что нет инфраструктуры, да хватит ли продуктов, а санитария, да не начнется ли спекуляция? — тысячу доводов выдвинут, только б заблокировать и это предложение.

Да, стране нужна валюта.

По Ялте ходят толпы иностранцев, которые хотят выпить квас или минеральную воду — за валюту; кофе — за валюту; съесть вареники — за валюту... Нельзя...

Мы-то понимаем, что «льзя», «льзя», но существуют какие-то дремучие инструкции и опасения, что «потеряем контроль», «валюта осядет в карманах продавцов»... А то, что она оседает в карманах фарцовщиков — каждодневно и *отлаженно*? Кого это волнует? А ну — разреши продавать валюту в наших банках по льготному курсу, — сколько денег принесут люди, если будут уверены, что их не арестуют у кассы...

Страна не умеет беречь время; «прозаседавшиеся» и поныне заседают часами, днями, годами, — традиция...

Сейчас — чтобы создать совместное предприятие, кооператив, получить патент на индивидуальную трудовую деятельность, выбить даже нежилое помещение — приходится ходить по десяткам инстанций: пожарники, управление архитектора, санэпидемстанция, горгаз и так далее и тому

подобное, страх господень. А ну, взять бы исполкомам и собрать, — хотя бы раз в неделю, — все эти службы в одном зале, да и получать с предприятий и кооперативов деньги за удобство и *срочность*! Сколько б мы сэкономили нервов и времени!

■ Горбачев правильно говорит, что не Москва, а именно районы, области и республики обязаны кормить, обувать, одевать и расселять в благоустроенных квартирах своих граждан.

Но где же Закон, принятый Кремлем, который бы всенародно объявил об отмене сотен тысяч нормативных актов, по сей день висящих дамокловым мечом над местными (да и столичными) руководителями?! А ведь они, — всей трагичной историей нашей, — выращены *пугливыми!* Их же таинственно и закулисно *назначали*! А стал *выбирать* народ, так сразу же пошел плач: «дискуссионный клуб! сдаем позиции!»

До тех пор, пока существуют сотни тысяч не отмененных нормативных актов, принятых в тридцатые еще годы, главный смысл которых в том, чтобы «не дать, не пущать, не позволить», мы с места не сдвинемся.

Преступить даже идиотский запрет (нормативный!) — страшно, ибо никто не забыл, как совсем еще недавно сажали в тюрьму самых смелых, оборотистых наших бизнесменов.

■ Давайте перестанем смешивать человека, торгующего горячими пирожками (по рублю штука!) с кооператорами.

Если бы государство — то есть Агропромы (или как их там сейчас?!), Минторги, Госкомцены, Госкомстандарты и т. д. и т. п., — умели оборачиваться, составляя конкуренцию спекулянтам, можно было бы легко сбить бесстыдную цену. Но — не могут! И при этом требуют новых запретов. Спекулянта можно победить не очередным Указом, но *делом*!

Истинный кооператив — это смелость и перспектива, которой его и хотят лишить грозные дяди из Минфина. Экономика не может быть «экономной», дорогой Минфин! По Владимиру Далю: «расход создает доход».

Ретивые «политические подозреватели», которые *смели* сравнивать трагедию сбитого южнокорейского самолета с провокацией гитлеровцев накануне вторжения в Польшу, совершенно затюкали экономическую стратегию Рейгана, «рейганомику». А истинный смысл этой самой «рейганомики» состоял в том, чтобы снизить налоги с тех именно, кто особенно хорошо, — с полной отдачей сил, — трудится. Давайте наконец согласимся с тем, что директор банка и главный инженер концерна, как и его адвокат, — *труженики*, а никакие не «паразиты»! В результате «рейганомики» количество миллионеров США значительно выросло, — их там теперь миллионы! Да, в США существует безработица, есть бездомные, обездоленные, нищие люди, огромный долг, но это не мешает американцам платить пособия безработным, иметь более ста сорока сортов печенья, а также все фрукты на улицах — зимой и летом! У нас тоже есть долг, и немалый, только вот на прилавках — шаром покати... Так, может, нам целесообраз-

нее немедленно насытить рынок, чтобы люди воочию увидели изобилие, а уже потом выносить на всенародный референдум экономическую реформу (включая проблему цен), имея в виду и такой вопрос: почему они могут, а мы — нет?

■ Новый Закон о налогах, который, судя по разъяснениям Минфина, бюджет не улучшит, — то есть не даст возможности государству существенно увеличить пенсии ветеранам и инвалидам, пособия многодетным семьям, заработную плату тем, кто получает менее реального прожиточного минимума, а таких в стране десятки миллионов, — направлен в том числе и против творческой интеллигенции.

Чайковский писал оперы годами, Менделеев готовил свою Таблицу всю жизнь, Блок создал «Двенадцать» стремительно, однако шел к этому шедевру многие годы... Извольте платить прогрессивный налог, сочинители!

Увы, ныне у нас нет Пушкиных (Менделеевы, слава Богу, есть), поэтому, утвердив Закон о налогах, надо принять еще один закон, запрещающий показывать по телевидению Ясную Поляну, усадьбу Некрасова, ялтинский дом Чехова, музей-квартиру Максима Горького и квартиру Алексея Толстого, чтобы не было *аллюзий:* «на какие-такие доходы понастроены или куплены эти дома и парки!?»

Что ж, будем ждать появления новой волны литературы, живописи и музыки *отчаяния*, ибо неуверенность в завтрашнем дне (оклады, госдачи, машины с двусменными шоферами и штат секретарей получают лишь чиновники от искусства) не помогает художнику видеть небо в алмазах...

Ладно, Бог с ним, с искусством, — ерунда, *надстройка*, бантик на шляпе общества, но давайте будем готовы и к тому — это, пожалуй, самое страшное, — что рабочий высокой квалификации семь раз подумает, *выжимать* ли ему своим трудом премию, — все равно *отымут* (даже у рационализатора и изобретателя!), так не лучше ли сделать что по хозяйству соседу или доброму знакомцу, который не донесет? Вот оно, минфиновское, освященное Законом подталкивание квалифицированных тружеников, — которых и так мало осталось, — в теневую экономику... (Воистину, «скопи домок — разори хозяйство!»).

Подтягивать «бедных» до уровня «богатых», а не низводить «богатых» до уровня «бедных», — в этом смысл правового государства, в противном случае мы узаконим бытующее: «начальство делает вид, что платит, мы делаем вид, что работаем».

Можно по-разному относиться к Столыпину, но его требование, чтобы законы создавались для трезвых и сильных, а не для пьяных и слабых, дает — по крайней мере — основание для дискуссии.

Да, Демократию, Гласность и Перестройку надо уметь защищать. Я сейчас не ставлю вопрос, каким образом и как скоро нам следует освободиться от некомпетентных руководителей и сановных недорослей всех уровней, — безграмотные дурни не могут управлять великой страной. Я, однако, задаю сугубо прагматичный вопрос: как правоохранительные

органы могут обеспечить спокойствие на улицах страны, когда оклад сыщика равен ста пяти рублям?

Как угрозыск может противостоять хулиганам, когда у него нет достаточного количества автомашин и раций!?

...Этой весной я выступал в маленьком американском городке. Там на каждого полицейского — автомобиль, на отделение — вертолет, не говоря о компьютерах, телексах и факсах. И, конечно, не говоря о зарплате.

До тех пор, пока страж порядка получает меньше рабочего средней квалификации, о реальной борьбе против бандитизма и наркомании речи быть не может, — отчеты будут, рапорты, обещания, но реального дела ждать не надо, самообольщение.

До тех пор, пока милиционер не будет получать надбавку (в размере ста процентов, не меньше!) за умение оказать квалифицированную первую медицинскую помощь, принять роды, объясниться на языке с иностранцем, не надо ждать притока в милицию мало-мальски культурных работников, — утопия. Неграмотному лимитчику значительно проще (точнее — сладостней) гнать художников с Арбата, чем ловить вооруженного бандюгу.

До тех пор, пока мы не разрешим тем гражданам, квартиры которых были ограблены, объявлять милиционерам премию за поиск воров и возвращение похищенного, раскрываемость преступлений особо расти не будет.

До тех пор, пока мы будем терпеть в рядах милиции «надежно-анкетных» хамов и держиморд, никакая пропаганда престиж стражей порядка не поднимет.

Эти проблемы нельзя считать «закрытыми», они ждут своего решения.

Правовое государство — это отсутствие номенклатуры, подбор кадров не по *симпатиям* и личным привязанностям, а по деловым качествам, которые определяют те, с кем человек работает, что называется, лицом к лицу.

Правовое государство — не назначение «талантов», министров, иных руководителей, — но выборы истинных талантов *снизу*.

...Никогда не забуду *государственного, то есть гражданского,* унижения, которое я испытал в Мадриде задолго до того, как у нас началась Перестройка.

С моим другом, бизнесменом и миллионером Хуаном Гарригесом (именно он, кстати, устроил мне встречу с Отто Скорцени) мы договорились вместе позавтракать; это было у него в офисе, в десять утра. Через несколько минут раздался звонок из Лондона. Выслушав собеседника, Хуан извинился: «Очень интересное дело, сулит хорошую прибыль, давай перенесем наш разговор на ужин, — я к этому времени вернусь». Ужин в Испании начинается в десять; Хуан вернулся из Лондона в половине двенадцатого, — с выгодным контрактом в кармане.

А сколько времени советский бизнесмен должен ждать *оформления* на выезд? Какой бумажной и прочей волокитой он сопровождается! В Болгарии принят закон о «двойном гражданстве», — теперь каждый может выезжать за границу в тот час, когда ему это нужно. А у нас?

...Улетая из Голливуда к никарагуанским друзьям, я долго ходил по аэропорту Лос-Анджелеса в поисках паспортного контроля; на меня таращили глаза: «Вы улетаете? Какой же тогда, к черту, контроль?! Мы контролируем только въезжающих».

Вот оно — истинное, а не лозунговое уважение к своей стране и ее гражданам!

Почему мы до сих пор являемся единственной (кроме Албании) страной, которая не разрешает звонки за границу по автоматической связи? Почему заводы и кооперативы *заказывают* разговор с партнерами и ждут его долгие часы?!

..Ленин был пророком XX века. А ежели так, то следует немедленно, массовым тиражом переиздать все его последние работы, ибо они определяют суть и смысл Перестройки, начавшейся в 21 году, предательски прерванной Сталиным в 29-м, и провозглашенной вновь в апреле 85-го.

Мы получили шанс.

И этот шанс — последний.

Если история повторяется трагедией или фарсом, то наша может повториться лишь трагедией, масштабы которой невозможно себе представить. Забвение этого постулата — преступно.

«Секретность» угодна бюрократии, это ее надежная защита.

Гласность необходима обществу, основанному на праве и законе.

Мы назвали наш Бюллетень «Совершенно секретно» еще и потому, чтобы убрать «грифы» с того, что должно быть известно каждому гражданину.

СОДЕРЖАНИЕ

Ненаписанные романы
5

Отчаяние
203

1952—1956
419

Совершенно открыто
439

литературно-художественное издание

Юлиан Семенович Семенов
Ненаписанные романы

Зав. редакцией *Н. В. Глазунова*
Оформление художника *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Е. Б. Николаева*
Корректор *А. В. Федина*

Н/К

Сдано в набор 14.08.89. Подписано в печать 15.12.89. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 23,94. Уч.-изд. л. 26,21. Тираж 500 000 экз. Заказ № 482. Цена 6 руб. Изд. № ДЭМ-15.

Издательство «Международные отношения»
107078, Москва, Садовая-Спасская, 20

Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР.
150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.

Семенов Ю.

С30 **Ненаписанные романы; Отчаяние. — М.: ДЭМ, 1989. — 448 с.**

ISBN 5—85207—001—7

Вниманию любителей политического романа предлагаются последние работы известного советского писателя, заслуженного деятеля искусств, действительного члена Академии наук США (Нью-Йорк) Ю. Семенова. Впервые выходит в свет книжное издание «Ненаписанных романов» — во многом автобиографических записок о периоде советской истории, к которому сейчас прикован всеобщий интерес: 30-е, 40-е, начало 50-х годов.

Роман «Отчаяние» — заключительная часть цикла романов «Экспансия» — повествует о судьбе М. М. Исаева — Штирлица по возвращении его на Родину в конце 40-х годов.

Для широкого круга читателей.

С $\frac{4702010201—013}{ДЭМ—89}$ Без объявл.

ББК 84.3Р7

12 Договорная цена 203
20.00 руб.

6 руб.